ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения *№ 4 | 2017*

Сергей Карбушев | Время рождения туманов | 73 × 105 | 2015

Сергей Карбушев | Бабье лето | 90 × 70 | 2012

На обложке: Угасающий день | 86 × 81 | 2011

Макушка лета | 80 × 60 | 2013

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 4 | 2017

В номере

Д*и*Н память

Борис Петров
3 Сорокоуст

Владимир Шанин
17 «На земле, на свете этом»

Д*и*Н ревю

Варвара Юшманова
16 Жизнь около

Игорь Герман
111 Премьера

118 Антология литературы для детей

Владимир Замышляев
121 Социальное пространство и культура. Философия, история, наследие

Сергей Щеглов
157 Вилла идола

45-й калибр

Ольга Корзова
21 Вспоминая родные остожья

Евгений Сухарев
51 Белое небо моё

Любовь Левитина
133 Магазин Якова

Яна-Мария Курмангалина
138 Самая обычная любовь

Анна Долгарева
149 И снег, и человеческое слово…

Д*и*Н краеведение

Виктор Аференко
22 В Зауралье по «Великой Степи»

мосты над облаками

Сергей Донбай
32 Чуткое эхо природы

Юлия Сычёва
34 Берёзовая осень

Светлана Уланова
35 Шахтёрская пехота

Галина Золотаина
36 Предчувствия

Алексей Гамзов
37 Буги-вьюги

Агата Рыжова
38 Камнем и именем

Елена Елистратова
40 Эстампы

Татьяна Ильдимирова
150 Кис-брысь-мяу

Д*и*Н диалог

Юрий Беликов, Сергей Князев
41 Точка героя, или Свои должны драться за своих

Д*и*Н роман

Александр Астраханцев
52 Хроника потерянных

ДиН стихи

Валерий Хатюшин
104 Цветок звезды

Владимир Алейников
107 Любви земной
бессмертная сестра

Николай Година
110 Жалобная книга Бога

Геннадий Васильев
112 Контур тела

Светлана Ермолаева
115 Я верю музыке

Ольга Суханова
124 Руан рифмуя с Орлеаном…

Елена Буевич
154 Лист кленовый

Иван Волосюк
156 Невооружённым взглядом…

Александр Евсюков
158 Ливням и волнам навстречу

Сергей Тенятников
159 Самовозгорающееся пламя

ДиН поэма

Александр Орлов
117 Смоляне

Иосиф Куралов
119 Братан

Библиотека современного рассказа

Александр Щербаков
122 В хорошие руки

Елена Костандис
125 Яблочный август

Семён Каминский
130 Мама Пасюка

Елена Жарикова
134 Чашечка чая с чабрецом

Мария Шурыгина
139 Марвелы в Жуковке

Рустам Карапетьян
143 Папа захлопнул чемодан

ДиН проза

Ирлан Хугаев
161 Чёрт

ДиН история

Лев Бердников
184 Превосходительная старуха

Клуб читателей

Ольга Немежикова
190 Сказание о Семруке
и Прекрасной Зулейхе

193 ДиН авторы

Борис Петров

Сорокоуст

Глава из книги «Жизнь—житуха—житие»

По моему убеждению, человек—существо парное. Учёные могут возразить, что природа такого свойства в его натуру не закладывала: в первобытных сообществах господствовала полигамия. Да, господствовала, физиологически люди до сих пор от тех задатков не освободились (как, например, от остатков волосяного покрова). Но в том и дело, что в первобытной стае обитал ещё не человек, а его биологический предшественник. Человеком он стал, когда обрёл язык, душу, совесть, способность к любви и верности. Тогда он и стал существом парным. То есть если кому досталось прошагать свой земной путь одиноко, то он изведал лишь половину настоящей жизни. Хотя сам может этого и не понимать. Глухой от рождения не знает ведь, чего он лишён, некоторые только смутно, «понаслышке» представляют, что в мире существует нечто ему недоступное. Совсем другое, если тот же путь довелось пройти вдвоём, взявшись за руки. Тогда… А вот тогда возможны, как говорится, варианты—кому что выпадет.

Когда двое сходятся в молодости, нет для них никаких правил, предопределяющих будущий результат, приходится вверять свои судьбы чистой случайности. Любовь? Она, даже если самая страстная, сводница временная: вложит две руки одну в другую и сама с любопытством наблюдает со стороны, что у них там получится? А получится или нет, надолго ли и как именно, светло либо маята на всю жизнь, это уж зависит от его и её характеров, от их способностей и разных совпадений или несовпадений.

Мне в жизни повезло: досталась вторая половинка—настоящий подарок судьбы. Благодаря ей я и понял, что горе на двоих—полгоря, зато радость становится вдвое больше, такая вот семейная арифметика. Сорок пять лет совместной жизни—достаточный срок для понимания: друг без друга каждый из нас получил бы за отпущенные года лишь полжизни, и только вместе—полную. Эту житейскую мудрость я особенно больно почувствовал, когда… Нет, пока о тяжёлом не буду.

Для знакомых—Валентина Ивановна, для близких—Валюша, в домашнем обиходе—наша мама, мама Валя… Откровенно говоря, в роли прототипа она не раз ходила у меня в разных книгах и рассказах, и странно было бы иначе. Но в соответствии с литературными законами всё время под чужими именами и даже с разными портретами. А теперь пришла пора рассказать просто о ней, моей женщине, без выдумок и литературных ухищрений, как оно было на самом деле. Видимо, в последний раз. В качестве последней благодарности. В некотором роде—литературного приношения дорогому человеку. Хорошо бы в стихах, но—увы—приходится заурядной прозой, потому как иного мне не дано. Что могу…

Весы и Козерог

Однажды она принесла с работы широкую перфоленту, заполненную машинописным текстом, оживлённо пояснила: у них в учреждении наладчики занимались профилактикой эвм (они только входили в обиход) и вот, дескать, в шутку… Это был гороскоп. Я сразу вспомнил, что когда-то в детстве видел на базаре слепого с изрытым оспой лицом, на коленях у которого помещался ящичек с бумажками, сложенными под вид аптечных порошков. На ящичке сидела рыжеватая подслеповатая морская свинка, кое-кто совал в руку гадальщику деньги, и по его приказу зверушка, быстро-быстро перебирая лапками, выхватывала из картотеки записочку, подавала её в зубах. Выбирала человеку судьбу. Современный гороскоп был выдан эвм и соответствующе оформлен входными и выходными данными, часами и минутами отработки. Но каково было изложено!

Оказалось, что наша мама Валя появилась на свет под созвездием Весов, про которое говорилось, что это Великий знак женственности, под ним родились Брижит Бардо и Софи Лорен. «Покровительство Венеры делает этих женщин обольстительно ленивыми и капризными, они любят спать допоздна. Любить и быть любимыми—их главное предназначение». Ну и тому подобное. Главное, что для мамы Вали эта велеречивая компьютерная астрология явно как-то звучала, для неё, человека достаточно разумного и прагматичного!

Наверное, её подкупало именно то, как «карты говорили». Я задумчиво помычал и заявил, что всё это чушь поросячья. Например, ей положено спать допоздна, а что-то я за ней такого не замечал.
— Да ты просто не знаешь! — обиделась моя прекрасная половина. — Это я утром на работу тороплюсь, а так-то, если б можно… Всё сходится! У нас, между прочим, и в роду вредных не было. А вот ещё смотри: «Между Весами и Козерогом наблюдается сильное влечение, но отношения осложняются раздражительным характером Козерога. Поэтому их союз неустойчив и требует постоянных усилий».
— Какой ещё Козерог?
— Так это ж твой месяц рождения!

О, Господи, только этого мне не хватало. Ну и покровитель достался, ёлки-палки, Великий знак земли. Чушь всё это конечно. Хотя, если отнестись с юмором…

Взять летний отдых на нашем Красноярском море — тут она права, тут наша мама действительно обожает подолгу валяться в палатке, и днём всяко нежится, просто радуясь окружающему миру. И действительно очень любит, когда её любят. Вдруг спрашивает: «Ты чего так смотришь, я лохматая, да?» Я, кажется, никак особенно не смотрел, но ей что-то показалось, чувствительный приёмник постоянно настроен на эту волну — как её воспринимают окружающие. И если б ответил, что я и не смотрел, это вызвало бы только обиду. Но мне в подобных ситуациях сообразительности кажется хватало.

Надо же, Козерог. Совсем земляной, что ли? И — у-у, какой упрямый — рогом упирается! Не знаю, я вовсе не считаю свой характер исключительно отрицательным и вредным. Да, иногда слышу за спиной: «Слишком много о себе думает!» Хотя лично я выразился бы иначе: не «о себе», а «про себя». Не всегда ведь в жизни лёгкость и покладистость хороши. Представить себе командира-размазню или какого-нибудь изобретателя — безвольного слюнтяя (раньше говорили: «Мухи на киселе не обидит!»), разве они добьются своего, станет полезной их деятельность? В конце концов, я представитель сильного пола, это им надо оправдывать льстивое фирменное определение «прекрасная половина». Хотя, по-моему, я и в семейном обиходе не такой уж неподъёмный могильный валун…

Оладушки

Да, с этим не поспоришь — мы с моей второй половинкой ну очень отличаемся! По характерам, по всему, как бы это сказать, мирочувствию… Вспомнился забавный эпизод во время летней жизни в палатке. Наскучив бездельем, наша мама заявила:
— А пожарю-ка я к ужину оладушков, ты не против?

Радость, которую я постарался изобразить с помощью театральной мизансцены, должна была выглядеть неописуемой. Её оладушки сами по себе прелесть, но дело заключалось не только в сиюминутном обжорном удовольствии. Я давно сам хотел научиться их жарить: очень удобная в походе еда. Стакан муки, горсть сухого молока, пузырёк масла — вес и объём компонентов минимален, а питательность — о-го-го! Каши я давно освоил, а с тестом отношения у меня не складывались. Я люблю чёткие нормы и пропорции, тесто же и само по себе, и работа с ним — дело расплывчатое и бесформенное. И вот мы всё приготовили, я уселся по-восточному у ног шеф-оладушницы, раскрыв записную книжку и навострив карандаш.
— Значит так, ты всё делаешь и последовательно громким голосом, как на уроке, объясняешь, а я добросовестно записываю. Мастер-класс в кулинарном техникуме. Вопрос первый: сколько требуется муки, чтобы получилась одна еда на одного человека?
— Откуда я знаю? Смотря какой аппетит.
— Но как-то ведь ты для начала определяешься?
— Чего я определяюсь? — искренне удивляется она. — Просто сыплешь, сколько рука возьмёт.
— Рука-а… Мне-то что писать? Стакан, два?
— Так и пиши: стакан. Можно два. Насыплешь горкой, делаешь в ней небольшую лунку и в неё постепенно подливаешь воду.
— Сколько воды? — Мой карандаш снова споткнулся на бегу.
— Ну, я так сказать не могу. Оно само покажет, когда хватит.

И соль, и воду, и чего там ещё — всё у неё на глазок, на чутьё. Ёлки-палки, что писать-то: «как рука возьмёт»?! Ничего конкретного и чёткого! То ли дело, твёрдая определённость наших мужских железа или доски: отмерял, прочертил, отрезал, угол наметил по транспортиру. А это их тесто… И всё у них так, не фиксировано, по настроению. Два разных мироощущения.

Оладушки жарить я научился, иногда затеваю их (больше ради ритуала-воспоминания). Но какими они сегодня выйдут, предсказать невозможно — то получше, то малость неудалые… И сам по себе снова и снова возникает перед глазами тот её урок.

Да, мы очень разные. В том числе и внешне. Она — смуглая «креолка» (действительно с отдалёнными — от деда по отцу — персидскими кровями), у меня в студенческие годы чуть не прозвищем стало иронически подправленное определение из немецкого философа — «белобрысая бестия».

Наверное, она себя в юности, как теперь говорят, позиционировала в облике задумчивой Татьяны Лариной, а позже втайне считала похожей на великолепную загадочную «Незизвестную» с картины Крамского (действительно, сходство замечали многие).

И тут—Козерог… А куда смотрела-то! Сама выбирала. Это мужики считают, что пару себе избирают именно они. На самом деле я давно понял, что это самообман ради ложного возвеличивания собственной роли. Ты выбрал, а она ведь может с тобой «пойти», а может и «не пойти», так что последнее слово за ними. Ага, и вот бы сошлись оба Весы! И дрыхнули б вместе до обеда. Только кто бы им этот обед приготовил! Козерог… А сама почему-то подарила мне скульптурку Дон Кихота и на книжном стеллаже вон пристроила его портрет—значит, Козерог-то не такой уж безнадёжный?

А она… Вот уж точно, кто был наделён талантом быть женой, подругой, устраивать в семье всё ладом и путём. Как она это делала? Просто объяснить не могу—по-разному. Легко, а иногда где и схитрит, пойдёт обходным манёвром. Но никогда—чтоб вызвать обиду.

Вот говорю теперь «была, была»… Про мою Валюшу? Нет, не могу я о ней в прошедшем времени, не получается!

Например, знает, что очередной ремонт в квартире для меня будто землетрясение, терпеть их не могу. Тем более отнимают выходные от рыбалки и охоты. И начинает готовить меня исподволь, задолго, сперва будто невзначай, потом настойчивее. Я с любопытством наблюдаю за её тактикой и… постепенно понимаю, что не отвертишься, в конце концов придётся—смиряюсь. Глядишь, наркоз подействовал удачно и операция проходит почти безболезненно. А ведь можно было бы добиваться своего и на нервах.

Сына она мне хорошего не только родила и вырастила, но и помогала воспитывать на пару. Главную опору у неё в этом процессе составляли ссылки на мой авторитет. «Разве настоящие мужчины так поступают?» Сынуля пробует обороняться: «А ты всё знаешь—как настоящие мужчины?»—«Поговори ещё у меня, остряк! Вот скажу отцу, он тебя не похвалит». Не знаю, как это действовало на «настоящего мужчину», а меня как-то обязывало соответствовать. И приятно, чего тут скрывать.

Портрет в охотничьем интерьере

Очень важно в нашей семейной жизни было—как она относилась к моему увлечению природой. Многие жёны считают пристрастие своих мужей к охоте или рыбалке баловством, забавой где-то на стороне, лишь отбирающей время от семейных дел. А моя сразу почувствовала, что эта страсть занимает такую часть мужниной души, что с нею или считайся и принимай как есть (наподобие какой-нибудь слишком заметной родинки на любимом лице), либо сразу откажись. Потому что бороться с этой «родинкой», пытаться вывести её с помощью скальпеля или выжечь химией не только бессмысленно, но и опасно. Я это отношение сразу оценил, но всю глубину её женской интуиции постиг годов так через 25 совместной жизни. Однажды ввязался писать сценарий для фильма и пригласил киношников к себе домой—сойтись поближе за дружественным столом.

Отвечая на один из вопросов новых гостей, она весело пояснила:
— Нет, в Сибирь мы поехали не сразу после института, сперва—в степное село: понимаете, мы тогда ещё в степи не охотились. Вот в степи поохотимся, а уж затем и в Сибирь.

Я те далёкие обстоятельства как-то уже подзабыл и, услыхав её рассказ, увидел события со стороны: это я такой был шалопай?! Муж, основа семьи… А она, выходит, ещё на заре наших отношений всё так отчётливо по-взрослому понимала? И не бросила. Но и бороться не стала. Любила, что ли своего белобрысого дурня. Поехала за ним «поохотиться» в степь, потом в тюменскую глухомань. Декабристка, понимаешь ли… Не просто покорно следовала по моим сумасбродным следам, а вполне осознанно, надеясь, что куда-то к настоящему они её муженька выведут, и ведь не ошиблась.

Подозреваю, какая-нибудь решительная феминистка в конце концов может возмутиться: «И что это он её всё время подхваливает за то, что соглашалась, на своём не настаивала—надо же иметь и собственную гордость!» Отвечаю. Во-первых, она сама выбрала такого. А другим достаются—какой-нибудь увлечённый дачник, изобретатель, актёр, спортсмен—мало ли. И—умей с этим считаться. А иначе—скандалы: «Если ты меня любишь, то должен!..» Это лучше? А во-вторых, моя Валюша очень даже умела отстаивать своё. Только без демонстрации «принципов». Я же говорю—талант, быть женой—ещё какое искусство! Наше дело проще: люби и заботься. Ну, ещё старайся не обманывать.

Да, так вот про охоту… Валя бороться не стала, и более того! Когда возник вопрос о моём переходе в «Известия», то сыграла такую роль, что я до сих пор, вспоминая этот эпизод нашей жизни, не могу отделаться от чувства величайшего изумления.

Дело обстояло следующим образом. На выбор имелось два свободных места для собкоров—Ярославль и Красноярск. В Сибири, в Тюменской

области, мы уже пожили и вернулись в Самару. Красноярск меня манил, но и несколько настораживал: всё-таки Сибирь Восточная. А уж с женской точки зрения Ярославль был безусловно более привлекательным, именно в бытовом плане. Однако места в нём требовалось немного подождать, пока сидевший там собкор решит свои проблемы с квартирой и переездом в другой город, И тогда моя Валюша вдруг предложила с задорным блеском в глазах: «А! Давай в Красноярск!» Тут уж я согласился без колебаний.

Не исключаю, что у неё могли быть свои тайные соображения. Например, хотелось быстрее разъехаться со свекровью, хотя они с нею и жили без крупных конфликтов. Дело теперь не в этом, главное, что решение, как позже оказалось, имело в прямом смысле судьбоносное значение. Не знаю, что ждало в Ярославле меня, а вот несколько собкоров-известинцев, сменивших после того друг друга в этом городе,—ни один добром не кончил. Первый вскоре умер от диабета. Второй похоронил молодую жену. Третий сам жив остался, но задавил на машине человека. Четвёртый—сорока лет не исполнилось!—умер от рака. Пришлось корпункт в Ярославле закрыть. Мистика какая-то. Но меня чаша сия миновала. И как мне теперь не быть благодарным жене за её тогдашнюю решимость и неожиданную инициативу.

Достался муж совсем пропащий, охотник и рыбак, можно было бы на это обстоятельство сердиться, а она… сама полюбила поездки в лес, жизнь по неделе в палатке во время отпусков, научилась искусно управляться с приносимой мною дичью и рыбой—всё превратила в совместные интересы и увлечения.

Но всё-таки и на природе наше поведение и восприятие сильно отличались. Допустим, отправились за грибами. Я в лесу рыскаю, образно говоря, по компасу соображений: какой вокруг тип растительности и почвы, солнечное место или тенистое—соответственно, могут расти разные грибы. Но могут сегодня и не появиться, так как влияет множество условий: дожди или засуха, стоит тепло или похолодало, сроки—всё не перечислить, что надо учитывать в поведении. Поиск грибов—сложный процесс! Ничего подобного для моей спутницы не существует. Приехали в лес—бредёт себе тихо чуть позади или сбоку от меня и смотрит под ноги, не обременяя себя думами. Глядишь, что-то и попадётся. Даже может иной раз больше, чем мне, определяющему путь…

С грибами у нас вообще сложилась целая история, о которой стоит рассказать особо. Это обозначилось как один из серьёзных личных недостатков моей молодой жены—она грибов не признавала вообще.

Точнее сказать, не знала, поэтому не только не испытывала интереса, но просто боялась их. Объяснение простое: родом мама Валя из оренбургских степей, из старинного уездного городка Бузулук—откуда там быть грибам? Только её отец, с молодости шофёр, поездивший и повидавший другие земли, иногда после дождика собирал вокруг забора молоденькие шампиньоны, сам жарил и ел в одиночестве, в то время как вся остальная семья, забившись по углам, в ужасе наблюдала, ожидая, когда он начнёт корчиться от смертельной отравы. А я—с детства грибопоклонник. И в Туле мать собирала знаменитые «алексинские» белые боровики, и уж тем более позже мы все увлекались грибной охотой в вятских лесах. Две биографии—две, можно сказать, жизненные школы. Много и упорно пришлось мне потрудиться над её воспитанием, пока не обратил в свою веру. Приведу лишь один эпизод этой долгой истории.

Однажды я принёс из лесу так называемые летние опята. Вид у них был несимпатичный—тёмно-коричневые, пахли древесной трухой, но с описанием в определителе полностью совпадали. А написано было, что они съедобны. Не так уж она была нужна, их съедобность, однако другие грибы ещё не выросли, а главное, провоцировала меня любознательность. Короче, я решил сварить эти не совсем надёжные опята, чтобы изведать на вкус.
— Ну уж нет,—решительно заявила мама Валя,—я пробовать не стану. Если тебе так хочется, вари сам. И ешь… А я буду рядом сидеть и, если что, вызову скорую помощь.
— Ха! Это ты так спокойно благославляешь меня на тот свет? Даже не пытаешься остановить! Ну и ну…
— Балда! Сам ведь затеваешь эксперимент на собственном здоровье, что же я должна стать на пути научного поиска? И так обзываешь меня консерватором.

Звонить по «03» не потребовалось, грибки оказались не вредными. Но абсолютно безвкусными. И совершенно несомненно, что по своему мирочувствию наша мама оставалась стихийной язычницей. Только дома она отмечала все православные праздники, а стоило попасть в мир природы—окружающее начинало казаться ей одухотворённым, наполненным таинственными живыми шорохами, непонятными еле уловимыми движениями, особенно за спиной. Может, и не до такой степени, что из-за каждого дерева высовывались бороды нечистой силы и криво подмигивало лихо одноглазое, но всё же. А с теми, кто открыто обитал вокруг нашего стана, у мамы

Вали складывались личные отношения дружбы или неприятия.

Взять её постоянные ссоры с воронами. Эти нас просто осаждали. Ещё до восхода рассаживались на голых высохших берёзах и начинали орать. У одной голос скрипучий, как у злой старухи. Другая, когда каркает, тужится с такими усилиями, будто одолевает рвота. Всё время растаскивают мусор, который мы складываем в специально вырытую яму. Смотришь, утром консервные банки и драные полиэтиленовые пакеты вновь разбросаны по всей округе. Противные создания, и хозяйка стана принимается их гонять.
— Кыш, кыш, паразитки! Идите работать, лес очищайте, санитары чёрные! Однако вороны воспитательных речей не воспринимают.

Вечером на нашу луговину выполз из лесных дебрей туман. Он, словно некое бесформенное, но целеустремлённое существо, медленно-настойчиво подкатывался к нам мрачноватым серым клубом.
— Посмотри, посмотри — туман, — тревожно округлив глаза, прошептала мама Валя. — Он к нам тянется.
— Ну и чо, съест тебя, что ли?
— Но ведь говорят — он едкий… — голос замирающий.
— Ништяк, если что, будем его вениками отгонять.

Или возвращаюсь с ловли — она встречает возбуждённой скороговоркой: вдруг вон из тех кустов выскочил какой-то чёрный чертёнок!
— Гм, вроде, они тут раньше не водились…
— Я сама видела, вон там сидел!
— И хвост длинный загнутый, глаза красные, да?
— Хвост не заметила, а уши длинные…
— Ха! Заяц, белячок, выбрался из урёмы погулять. Они за ночь весь песок на косе истоптали: прыгают, веселятся.
— Зайцы ведь белые! «Заяц белый, куда бегал…»
— Белые — зимой, на снегу, а летом беляки бурые, чёрный — это тебе со страху показалось. Он, поди, сам тебя напугался от неожиданности.
— Нет, сидел спокойно и шевелил ушами.
— Легко на этот раз отделалась, мог бы и загрызть!
— Тебе бы только посмеяться надо мной, — слегка обиделась она.

Женская мудрость. И женская логика

На её примере я понял, что и язычники могли быть мудрыми, одно другого вовсе не исключает. Меня много раз поражала её неожиданная способность понять и оценить события или поступки человека на каком-то совершенно ином, глубинном уровне. Однажды говорю:
— Странно у вас получается. Любила девушка парня, всей душой любила, без обмана. Проводила на фронт — рыдала, слала хорошие письма… А его убили. И что? Пострадала, погоревала и давай глазками зыркать, другого искать. Это как?
— Ты думаешь, ей легко?
— Нет, конечно. Только он-то в земле — её защищал, для него мира больше не существует, а она с другим милуется, детей наживает.
— Ну, знаешь, если как ты думать, то жизнь на земле прекратится.

Меня словно ошпарило. И её откровенностью, и неожиданным подходом к сути. «Чтобы жизнь продолжалась!» Святое дело. Но если б и меня убило, значит, она так же — с другим?! Какая же может быть жизнь, если меня на земле уже не будет?.. А после, поостыв, признал: как ни обидно, ни горько, а её правда общая больше моей личной.

Нет, умница моя Валюша, умница. Даже могла со стороны судить поведение некоторых подружек-сослуживиц. Вот, говорит, Ирка Портнягина хвасталась: у неё муж моет посуду. Специально добивалась ради принципа. Не потому, что самой некогда или нельзя, нет — он моет, а она рядом стоит смотрит, испытывает счастье. Главное, он её просил: «Ты только никому не рассказывай». Как же не рассказать, цель всей операции — чтобы победить и всем рассказать! Вот дурёха-то, наверняка у них кончится плохо. Моя мама всегда говорила: «Мужчина — он тоже ласку любит!» Ха-ха-ха!

А Ирке принцип важнее всего, как будто не знает, сколько разводов из-за этой посуды.

После таких разговоров и я иногда начинал мыть зловредные тарелки — просто так, без всяких принципов. Иногда.

Честно говоря, ход её мысли порой казался мне… скажем так, неожиданным.
— Папуля, — это её обычное ко мне обращение, — скоро весна, надо мне что-нибудь купить на ноги, а то совсем обуть нечего.
— Как это нечего? — Брови у меня сами собой озадаченно вздымаются. — Сколько всего в прихожей выстроилось, целая флотилия.
— Ну, это я не считаю! — На лице милая наивная улыбочка. Я понимаю — привела бы какие-то доводы, что-то, дескать, подносилось, другое из моды вышло. Аргументы, доказательства! Нет, мило и простенько: это она не считает, и всё тут. Попробуй опровергнуть (я и спорить не собирался, но если бы!). Поневоле приходит на ум выражение «женская логика». То есть вроде и логика, но особая, в кавычках. Не как у меня.

После купания хорошо погреться на солнышке. Тут у мамы Вали свои заботы: от ярких лучей на лбу и переносье могут вылезти веснушки. С юности

она привыкла вести с ними неустанную борьбу, и, казалось, уже победила! Но вдруг—на тебе.
— Чудачка, это же возвращается твоя вторая юность.
— Тебе нравится, правда? Ты когда-то говорил, что мне рыжие конопушки идут.
— Конечно! Хоть посмотришь настоящее русское лицо.

Такие слова—елей на её душу. Однако… борьба с веснушками всё равно продолжается непримиримая. Вот как её понять? Или я предлагаю:
— Давайте сфотографируемся на память об этих летних днях?
— Давайте! Только я сейчас немного причешусь и переоденусь.
— Но тогда будет уже неправда! А надо запечатлеть именно, как мы тут живём.
— Чтобы все видели, какая я была лохматая? Нет уж…

Красота для неё важнее истины.

Её прекрасные недостатки

Достоинств у нашей мамы неисчислимо, однако, ради справедливости, необходимо признать, что наблюдались у неё и некоторые отдельные…

Которые, в полном соответствии с учением греческого философа, являлись продолжением лучших черт её характера. До такой степени развившихся, что порой превращались в свои противоположности.

Каждое утро летней жизни на берегу она выходит из палатки свежая, как роса на восходе, с безоблачной улыбкой во взгляде—явление Венеры миру.
— Как вам спалось сегодня, моя повелительница?—почтительно интересуюсь я.
— Ох, не могу, всё болит…
— Вот бы никогда не подумал. А что именно?
— Спинушка отваливается, рука онемела, рёбрышки ноют—мочи нет.

Я не сразу понял, что это своего рода ритуал.
— Да,—заметил однажды,—твоя жизнь настоящий подвиг. В подобном состоянии надо срочно госпитализировать, а ты ещё улыбаешься.
— Балда осиновая. Тебе бы только посмеяться надо мной,
— Что ты, просто завидую!—И вдруг заподозрил:—Слушай, а ты в детстве «Принцессу на горошине» читала?
— Ха-ха-ха! Мне её отец прочитал, когда я ещё букв не знала.
— Так я и подумал. И всё помнишь?—Смеётся.— Видишь, какое ответственное дело—руководство детским чтением: с бессознательного возраста запало, что настоящая принцесса должна быть нежной и чувствительной, вот теперь и расплачиваешься за искажённые идеалы.
— Ты бы лучше придумал что-нибудь вместо своих дурацких резиновых матрасов! Тоже мне Фрейдсамоучка.

Однажды я предложил переехать всем нашим лагерем на другой залив, недалеко за горкой. Ответ мамы Вали был вполне ожидаемый:

— Нет-нет-нет!—Уезжать с нашего места? И слушать не хочу.

Это её обычная реакция на любое новое предложение, можно даже сказать, нормальная реакция. Позже она чаще всего согласится, но для этого требуются какое-то время и усилия с моей стороны. Раньше я кипятился, выходил из себя, но постепенно стал привыкать: что поделаешь, такое у неё природное свойство (на манер стадии яровизации у озимых растений). Подобная черта определяет общественное положение мамы Вали в нашем сообществе как штатного консерватора. Для неё неизменность положения вещей—сама по себе ценность, поважнее каких-то других возможных выгод. Переехать на новый залив—проститься с родимой землёй и отважиться искать счастья где-то в неведомой Америке или там Австралии—нет, такое выше её сил. Но я-то знаю, что на новом заливе всем будет лучше! Поэтому моя обязанность—найти доводы и силы, чтобы преодолеть её сопротивление и убедить. (Видимо, в этом смысле мой пол считается сильным) В том споре и было выронено вслух: «консерватор».

Она, разумеется, обиделась. Пришлось разъяснять, что меня не так поняли, порицанием данный термин служит лишь в политике, а в обыденной жизни требуются не только безудержные преобразователи, но и мудрые хранители правил и устоев. Кораблю, например, необходимы и лёгкий парус, и основательный киль, иначе недалеко бы он уплыл.
— Ага, выходит, ты красавчик парус, а я тёмный трюм или балласт, как это там у вас…
— Ффу-у, ёлки-палки, я вовсе не это имел в виду! Я о том, что в жизни необходим разумный баланс динамики и устойчивости.
— Вот и прекрасно, не поеду я на твой залив.

Конфликт разрешился как обычно. Но сперва небольшое отступление на ту же тему.

Бабушкины слова

Как-то ещё до этого спора мама Валя заявила, что мои босые пятки скоро станут чёрными и потрескаются, как у старухи-богомолки. Я поинтересовался, где это она видела таких старух? Она засмеялась:
— Где же мне их видеть? Это наша бабка нас, девчонок, так ругала. Она всё священные книги читала и сама ходила в Печорскую лавру пешком.

Очень любопытное явление эти её «бабушкины слова». Запало когда-то в детстве и лежало в глубинах подсознания без нужды и употребления. И вдруг всплывает по совершенно случайному поводу первый и, возможно, единственный раз!

Вот наша мама с показной строгостью отчитывает сынка:
— Как только не стыдно, когти отро́стил — можно на Сионскую гору лазать!

Понятно, что про Сионскую гору тоже бабушкино выражение, почерпнутое из Евангелия. Видать, крутая была гора, коли приходилось цепляться ногтями. И необычное ударение — в любом другом случае наша мама, человек с высшим гуманитарным образованием, сказала бы «отрастил», тоже понятно. Несколько сложнее далось восстановить археологию другого её выражения.

Приходим с Серёжей после вечерней зорьки и дружно требуем: ужин давай, есть хотим! В ответ:
— Вы что разгалделись, словно голодающие турки? Подождите…

Какие турки, почему именно турки? Начинаю выяснять: опять, что ли, бабушка говорила? Точно, она. А какие турки-то, откуда взялись? В ответ по своему обычаю смеётся: откуда, дескать, ей знать? Наверное, пленные, война какая-нибудь. Так это ж когда было-то! Интере-есно… А сколько лет прожила ваша бабка? Ага, если в сороковом году ей было семьдесят, действительно, могла в детстве видеть пленных русско-турецкой войны 1877–78 годов, когда генерал Скобелев брал Плевну, ничего себе! До нас дошло…

И что особенно важно: в памяти женской. Бабушка сохранила — внучке передала, и та, совершенно не задумываясь, через всю жизнь пронесла. А наш сын вряд ли запомнит, ему это ни к чему. Его больше привлекают слова новые — увы — часто совершенно дурацкие. Их он на лету схватывает, потому как больше устремлён вперёд.

Зато женщины — хранительницы устоев и традиций. Не только семейных, но и всей нации. Низкий поклон им за это. Мы-то, мужики, готовы самое святое профукать ради призрачного сиюминутного счастья.

А чтобы закрыть эпизод с новым заливом, скажу только: переехали, прожили неделю. И когда стали собираться домой, мама Валя посчитала справедливым сказать:
— Спасибо, папуля, тут на самом деле лучше…

О мытье полов и других принципиальных принципах

Естественно, между такими разными типами, как мы с мамой Валей, не могли не возникать недоразумения и конфликты. Не живёт без этого хоть большое, хоть самое маленькое человеческое сообщество. И возникает главная семейная проблема: как их, неизбежные, разрешать. Сразу вспомнилось одно такое недоразумение, из ранних, можно сказать, юмористическое.

Когда я вернулся домой из армии, потребовалось некоторое время, чтобы восстановить только-только начавшие складываться в молодой семье порядки и обычаи, нарушенные долгой разлукой. Возник разговор о мытье полов, и я залихватски бросил:
— Да я столько их в казарме передраил! — И прозвучала эта фраза с интонацией — подумаешь, делов-то, нет проблем! Во всяком случае, Валя её так поняла, будто никаких трудностей, и я готов…

Об этом её заблуждении я узнал много лет спустя, потому как двусмысленное заявление, слетевшее с языка я тут же забыл. А оказывается… что она сама, иронизируя над собой, позже говорила гостям в каком-то застолье:
— Он говорит: «Да я в армии этих полов!..» Ну, думаю, хоть в чём-то мне повезло, раз готов мыть полы. А с остальным я сама по дому справлюсь.

Слава Богу, поняв своё заблуждение, она не стала устраивать конфликтов, про себя решила пережить потихоньку. Правда, полы я тоже иногда мыл, главным образом, когда ей случалось приболеть.

Не хочется теперь вспоминать о других столкновениях, которые, как я уже признал, случались. Главное, повторю, как научиться их преодолевать. Ей это давалось легче: характером её судьба наградила лёгким, отходчивым, да и просто добрым. В её поведении преобладало стремление острые углы сгладить, всё округлить и смягчить. Природное качество. Козерогу пришлось сложнее.

В какой-то момент я подумал: вот она приняла мою охотничью заразу и приспособилась, значит, по справедливости, и я должен проявлять терпимость по отношению к её качествам, которые меня раздражают, кое в чём себя преодолевать. Например, не люблю я, когда что-то в отношениях остаётся неясным, недоговорённым, неопределённость и незавершённость меня просто угнетают. Поэтому всегда стараюсь всё доводить до полного понимания и чётких формулировок. Представляете, человек во сне увидел, что забыл поставить точку над одной буковкой «i», потерял покой, даже

проснулся среди ночи. Встал с постели, нашёл в рукописи злополучную страницу, точку ткнул и только после этого смог уснуть мирно. Так и в семейной жизни я поначалу не щадил сил и чувств ради доказательства какой-нибудь спорной истины—сражались подолгу, ссорились изнурительно. Пока я не начал понимать: бесполезно всё это и просто глупо. Правильно кто-то сказал: хочешь испортить отношения с человеком—начни их выяснять… В конце концов—не от характера, а умом, вопреки характеру—осознал: мир в семье возможен только на основе компромисса. С обеих сторон. Умом дошёл. И начал заставлять себя следовать этому житейскому правилу. Иногда более успешно, иной раз менее. Но старался.

Но даже если, бывало, повздорили… Нет, наша мама молодец, она не скрипучая. Может взвихриться, погнать волну, однако всё—особенно с сыном—вроде как понарошку. Как-то они в палатке—дождь моросил, делать было нечего—затеяли игру в слова, кто кого переговорит. Начали со словечка «гриб», и пошло: грибёнок, грибознай, грибошлёп, старичок-грибовичок… Вот закатываются! Мне надоело, и я им говорю: кончайте вы эту «погрибальную» канитель, вот вам тема для вариаций посложнее—йога. (Специально выбрал позаковыристее, думал, что…) Но мама Валя сразу нашлась:
—У нас папа йог, а сын—йогнёнок…
—Ха-ха-ха!—подхватил тот.—А мама—йогá!
—Что-о? Какая ещё яга?! Я вот тебе сейчас покажу ягу, ишь, чего придумал, мама-яга, умник нашёлся!

Бух! Бах! Бум! Пыль столбом, искры фейерверком! Но—никаких радиоактивных осадков, вот что главное.

Что я со своей стороны привнёс в наш семейный обиход, так это шутейный тон, стремление превратить ершистую ситуацию в юморок. Очень помогает. Помогало… Опять я незаметно перешёл в настоящее время. Никак не могу… Ладно, пусть идёт, как само получается. О чём я сейчас начал? Ага, о шуточках, это был мой вариант снятия напряжения и сглаживания углов. И тоже срабатывало. Со временем размолвок у нас становилось всё меньше, накал страстей слабел, разногласия перестали доходить до стадии огневого столкновения, чаще заканчивались обоюдным молчанием. Я тоже понял: да, лучше перемолчаться. Далее случалось, просто забудешь: и… Но в ответ непреклонное:
—Ты разве не видишь, что я с тобой не разговариваю?
—О, ёлки-палки, извини, запамятовал. Ты бы как-нибудь того, повыразительней, что ли. Дверью молча пару раз хлопни. А то весь воспитательный эффект пропадает. Как девочка из-за кукол.
—Сам ты балда осиновая.

Ффу-у, раз пошла в ход «балда», значит, дело налаживается. Или утром после завтрака она собирается на службу в своё учреждение, а я усаживаюсь за пишущую машинку. Вдруг из прихожей доносится:
—Папуля, я забыла журнал, который обещала Вере Николаевне! Принеси, пожалуйста, а то я уже обулась.
—О, Господи, ты ещё здесь!
—Да чем же это я тебе так надоела?
—Вот твой журнал и ступай. Иди, иди! Когда ты далеко, твой образ вдохновляет меня на творчество. Разве написал бы Петрарка свои прекрасные стихи о любви, если б его Лаура постоянно мозолила глаза в квартире? Хочешь тоже быть увековеченной в слове? Ступай, не задерживайся.

Сравнение с легендарной прекрасной Лаурой действует безотказно. Хотя ей, конечно, хочется одновременно и в стихи, и уютно обитать рядышком с поэтом…

Притащил домой здоровенный водопроводный («газовый») ключ.
—Это ещё что такое?—спрашивает она. В моём хозяйстве и без того хватает разного железа.
—Батюшки! Такой страшный?
—Путь к твоему сердцу лежит через капающий на кухне кран, а с помощью этой штуковины его можно…
—Неужели наконец собрался починить? Тогда всё правильно!

Надо сказать, что мама Валя этот ироничный тон общения не только приняла, я и сам стал порой попадать под стрелы сатиры. Скажем, рыбалка—это дело такое, что рыба может иногда клевать, а иногда почему-то не желает, хоть ты лопни. Возвращаюсь на стан и объясняю:
—Всего штук пять поймал, утро неклёвое. До того нехотя брала, еле-еле зацепляется. Кроме этих пяти, семь штук с крючка сорвались, честное слово.
—Ясненько,—понимающе кивает мама Валя.—Придётся сегодня уху варить с теми, которые сорвались.
—Правильно, ха-ха-ха!—как всегда, возникает на подхвате сынок.—Нам с тобой, мама, эти пять штук, а папе пусть все семь, которые сорвались!

Ишь, остряки! А что поделаешь, сам выпустил в обиход джинна-юмориста, теперь терпи. Эти шуточки порой в нашей повседневности выполняли роль бабочек, оживляющих пустоту воздуха. Или ещё можно сравнить с детскими рисунками-граффити на унылом сером заборе.

Дома вечером подходит мама Валя, задумчиво спрашивает:

— Как ты думаешь, если я на завтра сварю гречневый кулеш? Ты ведь его любишь.
— М-мм… Люблю? Возможно, ты лучше знаешь. Но чтобы решать, надо иметь альтернативу, а из чего выбирать-то? Предложение единственное…
— Нет никакой альтернативы! И не будет, ешьте, что дают! Ещё чего, выбирать ему захотелось. Ты что в ресторан пришёл?

Посоветовались.

Как я был Отеллой

Всё рассказываю, какая чудесная мне досталась жена, моя Валюша. И вдруг слышу ехидный скептический голос: «Вот, блин, какая идеальная. И ты думаешь, она тебе ни разу не изменила? Не бывает такого в жизни». Что ж, признаюсь: однажды точно она вильнула на сторону. А я усёк и разоблачил. Изменила мысленно. Раскрыл я это случайно.

После ужина мирно сидели и смотрели концерт по телевизору. Выступал популярный певец (назову его Х., не хватало ещё мне создавать «рейтинг» своему сопернику). Я случайно глянул в сторону притихшей жены и… Поразило её лицо! Необыкновенно озарённое, порозовевшее, глаза лучатся.
— Ты что так уставилась?—буркнул удивлённо.— Влюбилась, что ли в этого красавца?

И тут она от неожиданности себя выдала:
— Да это когда было-то! Столько лет прошло…
— Подожди, что—было?
— Ничего не было,—спохватившись, начала она срочно затыкать пролом, образовавшийся в стене обороны.—Я его только раз и видела, мы с Любкой Казанец ходили на концерт, на стадионе.
— Какой ещё концерт, на каком стадионе? А я где в это время был, почему первый раз слышу?
— Где был, где был… В командировке, наверное. Или на охоте. Дура я призналась, теперь начнёшь приставать. (Наступление—лучший метод обороны.) И не надо тебе ничего знать, меньше знаешь—спокойнее спишь. Тоже мне Отелло.

Спустя время и несколько остыв, я подумал: «На стадионе—это ещё куда ни шло. Ладно, замнём, как говорится, для ясности… А Отелле не позавидуешь. Хотя ему было проще: взял да задушил. По известному правилу: нет человека—нет и проблемы. А в наше время попробуй…»

Её глазами

Любимым чтением моей Вали-Валюши были разные женские истории, от известных и серьёзных с героинями типа королевы Марии-Антуанетты или театральной дивы А. Коонен до душещипательных романов о любви и сомнительных повествований про воровку Соньку Золотую ручку.

Дело в том, что она вообще была убеждена, что мир создан ради женщин—именно для того, чтобы их любили. Вся история человечества движется никакой не классовой борьбой или законами Адама Смита, всё происходит из-за женщин. Войны вспыхивают и миры заключаются, союзы между странами возникают, империи соперничают и рушатся, богатства создаются, дуэли и турниры гремели—всё из-за них.

(Теперь, правда, соперников просто заказывают профессионалам, но суть та же.) Всё ради женщин, по их явной или тайной воле.

С точки зрения профессиональной мне иногда кажется, что такие убеждения формируются из-за чтения «исторических» романов типа Дюма и под влиянием подобного же рода пьес и кинофильмов.

Всерьёз к такому взгляду на миропорядок, как у моей Вали, относиться, понятное дело, нельзя, да и споры заводить—если только от нечего делать. Поэтому я лишь снисходительно посмеивался.
— Хорошо, допустим, когда миром правили короли и царицы, действительно династические браки что-то значили. Хотя «кузен Вилли» и «кузен Никки» в первую мировую ещё как воевали! Германская принцесса была русской царицей и племянницей королевы Англии—и что, это как-то повлияло?

Но исторические примеры на её взгляды не действовали. Все общепринятые понятия у неё странным образом смещались, когда речь заходила о женских персонажах. Княгиня Тараканова—таинственная роковая красавица, сколько покорила блестящих дворов Европы! А подлец Алексей Орлов её соблазнил и обманом…
— Подожди,—опять не могу я сдержаться ввиду явной исторической абсурдности подобной трактовки,—но ведь она сама виновата! Явная авантюристка, государственная преступница, вздумала претендовать на российскую корону. Ты представляешь, к чему это могло привести? Была ведь уже смута из-за Лжедмитрия, полная разруха в стране, море страданий для всего народа. А тебе её жалко.
— Но она женщина… Влюбилась, как дурочка, забеременела от него, а он сдал её в Петропавловскую крепость.
— Да не влюблялась она! Экий красавец… Мужик был здоровый, но у него остался шрам от шпаги во всё лицо, чуть не полноса отрублено. Просто сама рассчитывала его соблазнить, чтобы использовать.
— Всё равно—беременную…
— Знаешь, мы так же вот с внучкой, не помню о чём—тоже возникли разные мнения. Она исчерпала все доводы и воскликнула сердито: «Не спорь со мной! Всё равно я права». Я тогда списал её «аргумент» на неразумный возраст, а теперь

слушаю тебя и начинаю думать, что дело не в возрасте, болезнь гнездится глубже.

Фундаментальной основой её трактовки хода мировой истории служило основополагающее убеждение, что главное в жизни вообще—это любовь. Такое понимание всё объясняло. Однажды я спросил:
— Валя, а что это такое—любовь?
— Как что?—Смеётся:—

Любовь—это бурное море,
Любовь—это злой ураган,
Любовь—это счастье и горе,
Любовь—это просто обман.

— Я почему спрашиваю: сегодня прочитал, медики объясняют просто—своего рода гормональный взрыв в молодом организме, чисто физиологическое явление.
— А что, очень возможно,—неожиданно согласилась она.—Чтобы—не раздумывая, очертя голову! А то ведь, если всё умом соображать, люди бы и не сходились. То одно не нравится, то другое пугает или отталкивает, решимости не хватает, Это когда уже за тридцать. А влюбился—и, не задумываясь, головой в омут!

Неожиданно трезвое её суждение на вечно спорную тему. Дело в том, что чётко определить Валину позицию по этому «простенькому» вопросу вообще очень сложно: границы понятий у неё плавают, принципы видоизменяются в зависимости от обстоятельств. Если брать вопрос в морально-философском аспекте, то любовь—это, безусловно, главное в жизни, она должна быть страстной до безрассудства, ради обожаемой женщины человек должен быть способен на всё.—«Постой, как это на всё? Давай уточним: бросить детей, предать страну, дело, друзей? Сделать несчастной другую женщину?»—«Ну,—отвечает,—это уж как сложится».—«Ха, а если этим „безрассудством“ да по тебе? Вот я влюблюсь и, как ты говоришь, всё брошу ради неё?»—Искренне обижается: «При чём здесь я? Тебе обязательно надо меня обидеть.»—«Но это же ты только что провозглашала такой принцип!»

И вдруг, придя с работы из своего учреждения, возбуждённо рассказывает, как у них молодая сотрудница без памяти втюрилась в солдата срочной службы, да ещё кавказца, бегает, словно кошка, караулит его у ворот части, её уже на КПП знают. Так все остальные сослуживицы дружно беднягу осуждают! Хором единогласных присяжных: дурочка, у тебя всё равно с ним ничего не получится! Я не вытерпел и спросил: но ты же сама пела-заливалась про любовь-безрассудство, мол, любят не «за что», а «вопреки»! «Но не до такой же степени,—отвечает,—ей ведь семью надо устраивать, детей ро́стить». Я долго подобных нестыковок в её понятиях не постигал, пока не начал подозревать наличие двойного стандарта: это нам, мужикам, положено любить их так, чтобы ради женщины пойти на всё. А им надо и соображать, чтобы не промахнуться. Мудро. Хотя и несколько однобоко. Но пойдём дальше.
— А вот курортная любовь, та же «Дама с собачкой»—это как?
Подозрительно смотрит на меня.
— Что это ты вдруг заинтересовался?

Объясняю: все человеческие законы и нормы осуждают супружеские измены. Моральные принципы утверждают: нехорошо, это предательство. Юридические кодексы грозят санкциями, раньше было—даже уголовными: побивали каменьями, закапывали живьём в землю, теперь, правда, больше гражданскими да имущественными. Все религии мира считают супружескую неверность тяжким грехом. Несколько тысячелетий формировались такие понятия в человеческом обществе и утверждались государством и религиозной идеологией! А всё равно и мужики, и женщины друг другу изменяют. И в быту не очень-то осуждают такое поведение, даже хвалятся. Как это? Поневоле подумаешь, что какие-то древние законы природы, ещё звериные, сильнее всех наших указов и кодексов. А?
— Не знаю я никаких законов,—по-прежнему весело.—Но ты только представь: если б не изменяли? Вам бы и писать в романах было нечего! И в кино снимать, и в театрах показывать. А ты говоришь: почему, зачем…

А ведь правда, скольких бы гениальных творений лишилось искусство! М-да…

Работала моя Валентина в учреждении в основном женском по составу. Кроме положенных производственных интересов, немалую долю их забот составляли события в личной и семейной жизни знакомых сотрудниц. Судя по всему, потребность поделиться собственными радостями и горестями в расчёте на сочувствие или совет часто превышала у них стремление что-то скрыть от посторонних, избежать общественных пересудов. Для меня это странно, однако со стороны дело выглядело именно так. В свою очередь, услыхав что-то интересное, задевшее её собственные душевные струны… Так эти струны долго звучали в её душе, что даже приходя вечером домой, моя женщина ещё чувствовала возбуждение, которое требовало разрядки. В результате кое-что доставалось и мне. Теперь я думаю, что откровенность некоторых её рассказов была свидетельством и того, что она мне доверяла, рассчитывала на мою порядочность и сочувствие. Теперь кое-какие её истории можно рассказать. Разумеется, при условии—ни единого настоящего имени и места действия. Да это и не

важно, суть в другом—как она всё это видела и воспринимала.

Девочка и бант

Валя приходит с работы и ещё от порога докладывает:
— Сегодня Светка Миронова водила свою Оленьку первый раз в первый класс, такое событие! Нарядила в праздничное платьице, накрутила на голове огромный бант, вручила нести красивый букет. Идут по улице за ручку, и вдруг Оленька восклицает: «Мама! Мне кажется, что сегодня все на меня смотрят!» Вот, понял, что значит настоящая женщина?

Произнесено было с такой гордостью, будто девчушка слетала в космос и вернулась героиней. Я позволил себе высказаться.
— Ну, так уж и настоящая…
— Ничего ты, балда, не понимаешь в женской душе!—с досадой отреагировала она.
— Нет, почему же, мне думается—понимаю. У неё родилось особое чувство, что она всем нравится, оказалась центром внимания, когда все взгляды устремлены на тебя. Как будто впервые вышла на сцену в свет юпитеров, сотни глаз тебя рассматривают и оценивают… Да только чему тут радоваться-то? Ей же теперь всю жизнь на этой сцене маяться, и сбежать нельзя. Непрекращающееся состояние тревоги: как ты выглядишь, смотрят ли на тебя, вдруг рядом другая, на которую пялятся больше? Всю жизнь под включённым напряжением: смотрят ли, желанна ли… Чему тут радоваться? Я бы, вдруг доведись, ощущал только досаду: жить всё время на сцене, ни минуты побыть самим собой… Зачем мне это? Других забот хватает.
— Потому что ты не женщина.
— И слава Всевышнему! Я же говорю: как представил сейчас…

«Ничего не понимаешь…» Понимаю! Только отношусь по-иному.

Если б совсем ничего не понимал, разве запомнился бы мимолётный разговор? Ведь теперь, возможно, и Оленька уже своей дочурке накрутила пышный бант и отвела в школу с роскошным букетом в руках.

Дураки в париках

— Ха-ха-ха! Послушай, что тут написано! В семнадцатом веке английский парламент принял закон, запрещавший пользоваться духами. Так как это, дескать, нечестный способ воздействия женщин на мужчин. Вот дураки-то в пудреных париках заседали, больше им делать было нечего.
— Да, в париках, но по сути смотрели глубоко: если вас не тормозить, то сами не остановитесь. Вон декольте на платьях, до того дошли—всю бюстгалтерию напоказ. Это зачем?

Тут она считает за лучшее прибегнуть к плутовато-непонимающей мине.
— Да просто… красиво.
— Но мера-то должна быть, край, где следует остановиться.

Смеётся:
— Ну, это, знаешь, у каждой мера своя.
— Знаем мы вашу меру. Разрешили юбку до колен—мало, поднимай выше! Пошли «мини», всё выше и выше, весь процесс в одном направлении—до полного разнагишания. Назад, к первобытному стаду! Если вас не остановить…
— Ты всегда до глупости доводишь.
— Я довожу? Мини-бикини я придумал?!
— Вам же нравится…
— Ах, вон что, всё ради нас!

Бесполезный, как всегда, разговор.

Жених

— В нашем отделе одна молодая деваха, Женя Ткачук—ну такая, знаешь, добрая, такая смирёная! Никак себе жениха не найдёт. А ты говоришь…— Я ничего не говорил, слушал. Наверное, она имела в виду какой-нибудь прежний спор.—Добрая, милое русское лицо, волосы очень красивые, а ресницы—густые и светлые, как у коровы! Готовит хорошо. Правда, талия у неё немного подкачала, но это ж исправимо. Девки все за неё переживают, говорят: что уж ты такая, прямо тюха-матюха, надо как-то стараться проявить себя, а где и схитрить. Годы-то летят! А живут они вдвоём с отцом. Он, видимо, тоже не вытерпел и привёл ей жениха, вместе работают в троллейбусном парке.
— Гм, любопытная ситуация…
— Она им всё приготовила, накрыла на стол, тоже присела. Говорили в основном мужики, а она слушала. На другой день девки к ней пристали: как прошло, расскажи, какой он, почему неженатый? «Он разведённый… Всю квартиру по-хозяйски осмотрел, все кушанья попробовал и похвалил. Принёс бутылку сухого вина, и ту не допили: завтра, говорит, на работу…» Девки не верят: «Сухое не допили? Не может быть! Это он из себя изображал. А ты-то что?»—«А что я?.. Он так много знает, так рассказывает…»—«Ну, это они все могут!» Короче, в первое знакомство ничего не решилось. Всем интересно, что будет дальше.

Я грешным делом спустя какое-то время тоже напомнил:
— Как там у вас развивается роман у этой, которая с коровьими глазами?
— У Жени Ткачук? Да всё похаживает её жених. Нравится ему у неё ужинать, я ведь говорила, она любит готовить. Ему что, холостому, плохо, что ль, если где кормят вкусненько?

Но однажды моя приходит с работы и—на меня:

— Какие же вы все!.. Этот умник-то, который к Жене Ткачук повадился, ходил-ходил и остался ночевать. Всё естественно, как обычно. А утром позавтракал и заявляет: «Ты бесчестная женщина! Раз меня запросто приняла, значит, и с другими можешь легко». А она, добрая душа, только хотела, как лучше. Но тут и у неё гордость пробудилась. «Я ведь,—говорит ему,—тебя ни к чему не обязывала! Можешь больше не приходить». У нас в отделе все в шоке. Нет, какие же вы все мужики…
— Сволочи!—на лету подхватил я бессмертную чеканную формулу. Она подумала, подумала и всё-таки завершила с печалью в голосе:
— Да. А мы все, бабы, дуры.

Дороже родины

— А у нас один вдруг миллионером стал! Фридрих Фридрихович Вайль. Он, правда, не совсем у нас работает, в смежном учреждении, но часто приходит по делам—инженер по рационализации. Пожилой уже. Он австриец, по-русски говорит с большим акцентом… Как в Сибирь попал? Да я не знаю, он не очень любит объяснять. Может, из пленных?

И вот у него в Австрии умер богатый дядя, всё наследство досталось этому Фридриху Фридриховичу. Пришло сообщение из Австрии, он туда поехал, но ему сказали: хотите получить этот миллион—оставайтесь здесь жить. А у него там нашлись первая жена и двое взрослых детей! Да только и здесь семья, трое подрастают, самая старшая дочь только поступила в институт. Вот он подумал, подумал, и знаешь, что решил? Миллион оставил тем, а сам вернулся в Сибирь на свою инженерскую зарплату. Наши женщины все просто его зауважали: что значит настоящий отец, таких бы побольше. Для него семья дороже какого-то там миллиона. И даже самой Родины.

Я подумал: Бог с ним, с миллионом. Но семья дороже Родины?..

Чисто женское и преимущественно женское чувство. Они ведь от рождения запрограммированы на то, что родительский дом придётся покинуть, уехать, возможно, даже далеко, выйдя за иностранца. Естественно, при такой установке собственная семья—главная ценность в жизни. А я—хоть убей!—не могу представить, как это вообще возможно сменить Родину, мою Россию?! Нет, никак невозможно.

Сюжет для чувствительной повести

Ещё одна житейская драма, поведанная мне Валей о своих сослуживицах. Приведу её в собственном пересказе.

Молодая женщина родила девочку, у которой определили синдром Дауна. Иначе как Божьим наказанием эту болезнь не назовёшь. Потому что она, хоть и является следствием сбоя в хромосомном развитии, но не наследственная (как, скажем, гемофилия), а, условно говоря, статистическая, то есть родители здоровы, ни мать, ни отец не виноваты, просто случается в природе—один или два гена не зацепились за свои места на скрученной ниточке кода человеческой жизни или прилепились где не положено. Наукой далее подсчитан процент таких трагических случайностей, но от этого никому не легче: семью постигло ужасное несчастье.

Врачи сразу посоветовали молодой маме сдать новорождённую в специальное медицинское заведение. Она долго сопротивлялась, не могла решиться на расставание со своей дочуркой, первенькой долгожданной кровиночкой. Сама не могла представить себя предательницей, страшилась и суда знакомых. Но в конце концов под давлением роковых обстоятельств согласилась. В самом деле, никакой её вины не было в случившейся трагедии, а дело-то молодое, можно ещё родить полноценного здорового ребёнка (ужасный этот процент настолько мал, что угодить в него вторично практически нельзя) и зажить нормально. Больную девочку отдали.

Но счастья семье это не принесло. Муж бедной женщины тоже переносил случившееся тяжело, в его потрясённом сознании возник «пунктик»: как это родился больной ребёнок без всякой причины? Врут, наверное, чтобы успокоить. А если причина существует, то, считал он, виновата супруга (не он же!), и стало быть, на будущее тоже никаких гарантий. Начались споры, ссоры, закончилось разводом. Переживаний за судьбу неудачной внучки и дочери, обвинённой в несчастье и брошенной, не вынес отец молодой женщины—его разбил инсульт, вместо счастливого деда стал тяжёлым паралитиком. Можно представить себе и страдания бабушки, матери несчастной роженицы. Короче, огромная семейная драма из-за нелепой «статистической» ошибки природы.

Дальше события развивались следующим образом. Дед через год умер. Молодая начала оправляться от потрясения и думать о том, как бы всё-таки устроить свою дальнейшую личную жизнь, найти хорошего человека и родить нормального ребёнка. А старая стала всё больше задумываться о судьбе сданной в спецприёмник внучки. Да, больная, но—живая душа, родная! Как она там? И не удержалась, поехала проведать.

Девочке было уже почти три года, но выглядела она не больше чем на полтора. Слабенькая, недоразвитая, почти не ходила и не говорила. Но улыбалась!

Ах, как она светло и беззащитно улыбалась… Родное, милое, слабенькое создание. Бабушка обливалась слезами, держа на руках это жалкое, беспомощное тельце, а девочка всё улыбалась ей, и такая это была по-детски ангельская улыбка, что добрая пожилая женщина просто не смогла вернуть её воспитательницам! Решение пришло само собой, без рассуждений: бабушка забрала больную девочку домой. Она не задумывалась о последствиях своего поступка, ею руководила только доброта. Это ж ясно, что в родном доме внучке будет лучше, чем в казённом заведении, на чужих руках… Многие из детей, в среду которых попала девочка, пугали непривычного человека своей явной внешней ущербностью, ибо в приёмнике содержались и настоящие уроды, произведённые на свет алкоголиками и наркоманами.

Однако неожиданное появление девочки дома привело к новому акту семейной трагедии.
— Ах, значит, ты добренькая, а я злодейка!—кричала на свою мать молодая.—Я во всём виновата! Зачем, зачем ты это сделала? Думаешь, я меньше тебя переживала, совсем бесчувственная? Только стала забывать, только отошла от горя, только начала надеяться—а теперь кому я нужна с таким дитём! Понимаешь, что ты натворила?!

И дочь ушла из родного дома, кое-как устроившись в какой-то общаге. Стала больная внучка для старой женщины единственным светом в окошке на закате разбитой одинокой жизни.

Тут надо пояснить, что эти «дауны»—как говорится, Божьи дети. Да, неполноценные в умственном развитии, но вовсе не идиоты. А по характеру добрые, улыбчивые и совершенно не понимающие зла. Попроси у него игрушку или—у взрослого—денежку, отдаст не жалеючи, всё с той же светлой улыбкой на лице. А девочка, о которой у нас речь, в заботливых бабушкиных руках стала быстро поправляться, расти, научилась ходить и понемногу ворковать какие-то детские словечки. Разве можно опять расставаться с таким созданием? Она превратилась в новый смысл существования для одинокой бабушки, не просто скрашивала её старость—необходимость о ком-то родном заботиться поддерживала саму жизнь пожилой женщины, не позволяла расслабляться и опускать руки. «Нельзя мне самой теперь ни болеть, ни, тем более, умирать: с кем же останется Настенька? Одна-то ведь пропадёт…»

Вот такую я слушал от жены на протяжении нескольких лет семейную сагу с продолжением. И даже стал думать: а ведь какой ёмкий сюжет—целая повесть, и какая глубинная, просто-таки греческая трагедия! Это я сейчас изложил всё бегло и схематично, а если с настоящими эмоциональными диалогами (молодая и её муж в первой части, думы деда, молодая и её старая мать…), да ежели со сценами-картинами, с напряжёнными внутренними переживаниями персонажей! У каждого своё: оценки, желания, поступки. И ведь главное—никто не виноват, только игра рока, вот в чём ужас-то. И на фоне событий—разные характеры, поведение. Да, почти готовая повесть, как говорится, осталось её только написать…

А написать-то и нельзя. То есть я сам не готов. Представляю: вот взялся и сделал. А кто-то потратит время и прочитает. И останется в полном недоумении: да, история тяжёлая, но что хотел сказать, на чьей стороне автор? Действительно, бабушка добрая, стало быть… Но ведь может помереть… «Дауны», они тоже долго не живут, но вдруг так случится—девочка останется одна, и что с ней станет? Вот вам и доброта, послушалась совета собственного сердца, а что в результате? Получается, доброта не всегда правильно? Хорошенькая «идея»…

С другой стороны, как осудить молодую? Она ведь мечтает о счастье, хочет родить и воспитать ребёнка—это ж великое благое дело! Вы-то, автор, собственно, за кого? Упрекать природу за её ошибки? Смешно и глупо. Тем более и она, так сказать, не со зла, а просто случайность, сам объяснял.

И что я отвечу? Допустим, не обязательно, чтобы в повести было откровенное поучение «с кафедры». Но ведь читатель и без прямого текста поймёт настроение автора, кому он больше сочувствует. А если никому, ежели вся затея сводится к многозначительному открытию; «Сложно всё в жизни…»—так это и без меня давно всем известно. И получается, что сказать мне по существу нечего. А просто потоптаться на чужом горе, эффектно посмаковать всякие «ужасти» (как сегодня часто снимают кино—только чтобы поразить разными спецэффектами)—нет, до такого я ещё не докатился. Нечего сказать—не пиши, принцип честного творчества. А жаль, такой сюжет пропал…

Без неё…

Вот пишу теперь, перебираю в памяти минувшие события, и порой остро резанёт вопрос: а зачем, кому нужно? Нет больше со мной моей Валюши, не уберёг её от подлого недуга. Вдруг подкралась болезнь из тех, что медики называют «системными», то есть которые они не лечат. Объяснить могут—ослабление иммунитета вследствие возрастных изменений в организме, необратимые процессы—а остановить не умеют. Я не уберёг…

Даже не предполагал, что она занимала в моём бытии такое важное место. Всю жизнь мужик

бьётся, чтобы «реализовать себя»—в стройках, в бизнесе, науке, в литературном слове или живописи, кому что достанется. Но вот она ушла, и я почувствовал, что все эти старания и достижения, всё как-то… плоско. Лишь она, моя женщина, придавала жизни трёхмерный объём, как бы сказать, голографическое состояние. Наверное, выражаюсь я сейчас смутно и непонятно—это надо самому пережить, тогда сразу дойдёт. Только не дай Бог.

Когда её не стало, я… Честно признаюсь: смерть отца и матери перенёс легче. Возможно, это звучит кощунственно, однако вполне объяснимо: потеря родителей естественна, она предполагается естественным ходом событий, к ней человек подспудно готов. А когда теряешь любимую женщину, с которой вместе прошёл путь в несколько десятилетий, это не только противоестественно, это незаконно, несправедливо, такого не должно быть! Но *произошло*. То есть, собственно, та полная и настоящая человеческая жизнь, которая мне была отведена, закончилась, осталось доживать, наступили сумерки дня. Они могут длиться подольше или покороче, но главное—солнца больше не увидеть. Вот такое состояние. Со временем рана затянулась, однако… всё равно остался инвалидом. Главный смысл ушёл.

Вот, к примеру, вернулся с рыбалки—будто бы всё, как прежде: отдохнул, азарт потешил, принёс хариусов. А зачем? Что я без этих хариусов не проживу, есть нечего? А то было—дома разложишь добычу: смотрите, каких я красавцев приволок, это всё для вас, для тебя, моя родная! «Ах, какие хариусы!—скажет она.—Ты у нас, папуля, сегодня молодец…» Вот ради чего они были нужны. А теперь…

Не для кого стало жить, пусто. Пишу вот—для кого, для чего? В надежде, что ещё кому-то покажется интересно и поучительно? Ох, мало вероятности, этот опыт каждый постигает только на собственных радостях и потерях. А я всё-таки пишу…

Просто вспоминаю, как рука об руку шли по земле, мысленно возвращаюсь к дорогим картинкам и «сюжетам», бормочу одно и то же. Это как в поминальной службе «Сорокоуст»—вновь и вновь звучат одни и те же слова прощания… Приношу цветы благодарности и памяти о ней. Да, пусть это будет мой «Сорокоуст». Прости меня, Валя…

ДиН ревю

Варвара Юшманова

Жизнь около

Москва: «Водолей», 2017

● ● ●

Я знаю, что когда-нибудь солгу.
Куда-то неуверенно шагая,
Я встречу человека-попугая,
И он за мной неправду повторит.

Я знаю, что когда-нибудь паду.
И чествуя души своей изъяны,
Я встречу человека-обезьяну,
Он, как и я, бесстрастно согрешит.

Я знаю, что когда-нибудь уйду
Кричать в лесах неведомых без толка,
И там я встречу человека-волка.
Он в долгой песне душу обнажит.

Я знаю, что когда-то полюблю,
Над болью возвышаясь, как калека.
Я встречу человека-человека.
И он меня не примет, но простит.

● ● ●

Впору многоцветие сменить
На простую тёмную одежду.
Мне сегодня ночью хоронить
Девочку по имени Надежда.

Я её как чудо берегла,
Трепетно в себе её носила,
А она взяла и умерла,
И спасенья даже не спросила.

Был ли свет в стеклянной лампе дня?
Был ли жаркий дикий вкус малины?
После этой ночи для меня
Станет всё убого и едино.

Я скажу ей: милая, ложись
В свой последний храм, тебя пленивший!
И пойду в свою пустую жизнь,
Будто бы себя похоронивши.

Владимир Шанин

«На земле, на свете этом»

Недавно вспомнил про день рождения писателя Александра Ероховца, решил полистать его книги, выходившие в Красноярске и Москве и подаренные мне в своё время, и так увлёкся, что не заметил, как подступило утро.

Надо же, ведь читал же раньше и умилялся простым, образным языком советской прозы, а вот, поди ж ты, будто сейчас прочитал впервые. Такова притягательная сила писателя.

«И, кажется, вновь счастливым становлюсь, вспоминая самое раннее-раннее, ещё ничем не оконченное, как-то лучше и чище вижу самого себя и всё, что вокруг, так верится во всё доброе и хорошее»,—написал о себе Александр Ероховец в книге «На земле, на свете этом». Так написать мог только тот, кто сам добр к людям и чист перед людьми. И каждое его произведение излучает живительный свет истины и добра. «Далеко, далеко от фронта», «Поздний сенокос», «В январе, на рассвете»—каждая книга как подарок времени сегодняшнему читателю, который ещё, правда, не приблизился к ним, увлечённый пока что бывшей «запретной» литературой, увлекательным чтивом, годным разве для того, чтобы только скоротать время в поезде или в самолёте.

Художественной прозе Ероховца дал оценку его земляк, журналист и поэт Иван Екимов:

> В них было всё: размашистость пера,
> К герою—человечная учтивость,
> И красок, в тон подобранных, игра,
> И строк отточенных неторопливость.

Александр Ероховец—и мой друг, и мой коллега, и мой оппонент в беседах, спорах, разговорах о жизни, о творчестве, о лежащих в столах рукописях, которые ныне писатель без наличия больших денег издать не может. У Александра написан роман, готовы к печати повести, рассказы, но чтобы всё это как-то «пристроить», надо просить милостыню у богатых людей, так называемых спонсоров. А этого сделать не позволяет гордость талантливого писателя-сибиряка. А ему уже далеко за шестьдесят. Успеть бы при жизни сделать то, что задумано бессонными ночами, что сжигает мозг своей невысказанностью.

Мог ли я подумать раньше, что время неумолимо подталкивает нас к краю жизни? Но шестьдесят шесть лет Ероховцу, когда я писал эти строки в его день рождения,—это ещё жизнь. Жизнь самая зрелая, самая осмысленная для творчества. А именно в этот период накапливается усталость, которая подтачивает силы, и неустроенность бытия угнетает мозг, всегда готовый творить,—и тогда сердце даёт сбой. Всего, что он пережил, хватило бы, наверное, на несколько романов. Однако вдвойне тяжелей переживать трагический сбой в обществе, поражённом ныне бациллой нигилизма. Какие уж тут романы, и нужны ли они кому?.. И всё-таки Александр Ероховец работал. «Поразительна была трудоспособность писателя: мог работать дённо и нощно. Торопился сделать хоть часть того, что задумано… Хотелось… выплеснуть „половодье чувств“, накопившиеся впечатления. Может, хоть что-то останется в памяти земляков». Так писали о нём его земляки в местной газете «Земля боготольская».

Нелегко в его возрасте перейти из одной общественно-политической формации в другую и освоиться в ней. Это равносильно тому, что зрелое растение пересадить в иную почву иной климатической зоны: оно либо сразу погибнет, либо почахнет-почахнет и всё равно погибнет. Для писателей нашего с Александром поколения созданы сегодня такие вот условия.

Писатель, если он по-настоящему талантливый, не может не писать, он и пишет. Но он должен издать свой труд, которому по трудоёмкости нет равных среди других профессий, однако этот источник материального обеспечения автора закрыт. Либо он пишет на потребу низменным вкусам публики, либо не пишет вовсе. Александр Ероховец не таков. Он всегда был «художником романтического склада… от рождения—самобытно-природным». Друг Александра, московский писатель-фантаст Сергей Павлов, хорошо знал его способность «добротой и обнажённой правдой слова задевать читателя за живое». «Правдоискательство Ероховца,—писал он, как нельзя более кстати пришлось на самый сложный и трудный период нашей российской истории, когда на самом верху вдруг оказалось ожиревшее потребительство, в самом низу—сильно исхудавшая от нищеты позорной духовность, а между ними постукивала костями вполне оскелетившаяся нравственность».

Литература постсоветского реализма, вероятно, сегодня опасна для Системы, если на её издание не находится денег. А спонсор с оглядкой на Систему, его вскормившую, цедит сквозь зубы, «дескать, такая литература—некоммерческая, и сотни миллионов рублей на ветер выбрасывать не намерен». Откуда же ему знать, коммерческая или некоммерческая местная литература постсоветского реализма? Он вообще ничего не читает—некогда, однако же конъюнктуру он знает чётко: рынок—его конёк и его кумир. И ещё он знает, что литература постсоветского реализма может быть и весьма критической, а значит, затронет его самого, чего он, разумеется, допустить не может.

Исчезла государственная система издательств—остановилась, замерла и литература социалистического реализма. Театру, кроме классики прошлых веков, стало нечего ставить, кинематографу стало невероятно трудно снимать фильмы—нет хорошего сценария, нет и хороших песен—одни шлягеры, умирающие на другой же день. Культуру подменила попса—популярная доморощенная самодеятельность уровня сельского клуба: голосов нет, зато бьют барабаны…

Вот о чём болит сердце писателя Ероховца: «Болела душа, что московские олигархи прибирают к рукам красноярские заводы, страна превратилась в сырьевой придаток, народ бедствует…».

«На земле, на свете этом»—название одной из книг Александра Ероховца. Это так символично, ибо на земле, на свете этом Александр родился как гражданин и как писатель, мужеству которого в отражении суровой действительности нельзя отказать. «Каждому из нас,—писал он,—предназначена своя особая судьба, которая во многом определяется тем, что заложили в нас с детства, с чем выпустили потом в большую жизнь». Вот и Сергей Павлов заметил, что в книгах Ероховца каждый «герой повествования—сильный духом человек сибирской закалки. А главное в повести—кристально чистая, как родник, суровая правда таёжного быта, нещадно болевая иногда, как обнажённый нерв». С ним солидарна и Антонина Федоровская, корреспондент районной газеты «Земля боготольская»», написавшая: «Самое главное в нём—сострадательность, искренняя, действенная любовь к человеку, редкостное умение видеть в нём только хорошее. Но не мог понять и простить ложь и предательство».

Мы чем-то сродни друг другу. Может быть, тем, что оба—так называемые «деревенщики», только он из плеяды «шестидесятников», а я—«семидесятник»; оба родились в деревне. Ачинск—Боготол—Бирилюссы—наш «треугольник», таёжно-болотистая сторонушка, родная и неповторимая, где люди оригинальные, колоритные, со своим особенным, ярким и образным языком. С них-то Александр и списывал характеры будущих литературных героев.

По натуре Александр—человек нестандартный, неуспокоенный, бродяга в самом лучшем смысле этого слова. Сотни вёрст он исходил пешком, встречался с разными людьми—и всё только для того, чтобы создать десятка два-три ярких собирательных образов, живущих и по сей день в его произведениях. «Реалист до мозга костей, до беспощадности к себе и ко многим из своих персонажей…»—таким видит своего друга Сергей Павлов.

Как-то с другим своим другом, Михаилом Перевозчиковым, он смело ринулся в утлой лодчонке по коварному Чулыму в длительное путешествие. В результате привёз несколько тетрадей с записями любопытных впечатлений и разговоров с интересными людьми. Он ходил в Саяны за золотым корнем, который потом раздавал друзьям, и за столом, тожественно вставая,

Усердно капал нам перед едой
По двадцать капель золотого корня.
—Поможет в творчестве, да и в любви,—
Как врач, твердил, смеялся хитровато.

Не жадный, не скупой человек—всё, что есть, отдаст. Приветит, напоит чаем любого бродягу, вышедшего на огонёк. Боготольцы хорошо знают своего земляка и берегут его честное имя так же старательно, как и имя другого известного земляка—Виктора Трегубовича, безвременно ушедшего из жизни талантливого кинорежиссёра. Он подолгу жил в деревне: в совхозе на Малом Кемчуге, «который, сливаясь с Большим Кемчугом, впадает в Чулым», или в Красном Заводе на Чулыме, в деревне Никольское Емельяновского района. Это всё места, исхоженные им вдоль и поперёк. «Причулымская земля вдохновляла. Душа отдыхала на родной земле…». Изредка появляясь в Красноярске, звонил друзьям, рассказывал о своих впечатлениях, планах на будущее, о творческих задумках и загорался, увлекаясь, когда вспоминал о земляках. Однажды с возмущением заговорил о том, «как золотой корень стали мешками сбывать на чёрном рынке» таёжные браконьеры.

В разговорах он всё чаще упоминал, что пишет роман…

И вот наконец-то роман готов. Написан и… лежит в письменном столе невостребованным. Некуда его нести. Рукопись пухлая, частные издатели пугаются объёма, но из приличия всё же справляются: а деньги-то на издание у тебя есть?.. Какие деньги?! Едва пенсии хватает на питание. Так и живёт стареющий талантливый писатель вдвоём с супругой Людмилой Николаевной, тоже пенсионеркой, на две крохотные подачки от государства, которому оба отдали всё, что могли отдать: молодость, здоровье, профессиональный опыт… На пенсию, в четыре раза меньшую, чем получали бы

при Советах, они ещё умудрялись помогать дочкам, у которых тоже с сегодняшним «рынком» не всё в ладу. Скромным трудягам нынче вроде бы и жить не стоит «на земле, на свете этом», где нормой человеческого бытия всё больше становится ранее осуждаемый лозунг: «Человек человеку—волк»...

Вот и всё, пожалуй, о человеке, гражданине, писателе, которого я поздравил с днём рождения и пожелал здоровья, бодрости духа и, невзирая на проклятое безденежье, творческого порыва.

А потом случилось то, что случилось... Александр умер.

Некрологи обычно подчёркивают: «Он не дожил до...»—будто бы второпях по ошибке перешагнул черту, за которой кончается жизнь. Но мы не знаем, где эта грань—грань между жизнью и смертью, и потому уходим всегда неожиданно, преждевременно, пугая родных, близких, друзей своей внезапной кончиной.

Известный сибирский писатель Александр Степанович Ероховец не дожил до своего семидесятилетия 10 месяцев.

Родившийся в селе Мельничном Тюхтетского района, раскинувшемся на Чулымском плато, в бассейне среднего Чулыма и его притока Чети с Кандатом и Чиндатом, выросший среди лесов, вольных речек и трудолюбивых людей, Саша Ероховец с детства познал жизнь: сытую—до войны, которой почти не помнит, голодную—в годы Великой Отечественной и какое-то время после. Но тогда все были равны, кроме разве вороватых властолюбцев и тех, кто стоял у распределения. На себе постигал он жестокую науку человеческих взаимоотношений: бывал бит и бывал обласкан, бывал обманут, унижен, оскорблён... Однако бывал и одаряем всепрощенческой милостью, крестьянской хваткой и мудростью, накопленной вековечным опытом, величием героического духа людей, сознанием собственного достоинства, гордостью за своё Отечество, неизбывной любовью к труду. Так и кажется мне, что двести лет назад Роберт Бёрнс, шотландский самородок из крестьян, посвятил будущему своему коллеге из России, крестьянскому мальчику Саше Ероховцу такие стихи:

Ты создан был природой шалой
Из дорогого матерьяла.
Она тобою увенчала
Наш скудный век

И каждой чёрточкой сказала:
— Вот человек!

Таким я и воспринял Сашу после нашего знакомства в 1974 году, и почти сразу же привязался к нему как к родному брату. Может, и впрямь есть это далёкое родство?

Когда-то, давным-давно, Тюхтетский и Бирилюсский уезды, уроженцами которых были мы оба, управлялись единой Мелецкой инородческой управой. Коренная народность—мелецкие, или чулымские, татары, которых историки отнесли к хакасам, очень скоро ассимилировались, обрусели, стали забывать родной язык. Так что корни Саши Ероховца, надо полагать, остались там, «на той земле», только вот «на свете этом» нет уже летописца земли причулымской, автора великолепных рассказов «На земле, на свете этом» и многих других книг, отмеченных читательским признанием и любовью.

Родина в понятии Александра Ероховца—нечто глубинное, корневое, неразрывное с человеческим бытиём, и всё творчество писателя было связано с этим понятием. Он писал о том, что видел, слышал, прочувствовал и пережил сам, выдумывать он не умел, не мог, говорил: выдумки—это фальшь; читатель зачастую умнее нас, писателей, фальшивую ноту уловит и тогда уж, извини, читать не станет Писатель Ероховец был прежде всего читателем, много читал сам, знал и любил читателей, щадил и берёг их для себя. Отчаивался, когда в памяти начинался сбой, и жалел, что люди, особенно юное поколение, не знает своих корней, не интересуется своим прошлым, своими предками.

«Многие уже забыли о том времени,—писал Александр Ероховец,—многие вообще ничего не знают, потому что позднее родились. Да и сам я не часто вспоминаю. А нахлынет всё это скопом, взахлёст лишь когда... долго бреду улицей мимо новых панельных домов, совсем равнодушный к ним. И вдруг стану в смятении перед высоким крыльцом школы—двухэтажной, деревянной, из коричневых, будто просмолённых брёвен. Пожалуй, это самое древнее здание... моего детства. И стиснет тогда сердце болью и радостью, и всё-всё вспомнится...»

Так из воспоминаний рождались его книги, издаваемые в Красноярске и Москве, от самой первой—«Весенняя черёмуха» (1959) и до последней—«Спроси сердце своё» (2002), на которую, чтобы её издать, автор оставил на чьём-то пороге последние силы свои и здоровье и которую уже никогда не возьмёт в руки. А между ними были ещё книги: «Мне нужен таёжный воздух», «Солнце, не падай», «Далеко-далеко от фронта», «В январе на рассвете», «На земле, на свете этом», «Поздний сенокос», «Забереги», «Отчая земля»,—в которых «властно заявлена тема человека, кровью связанного с сегодняшней Сибирью».

По своему характеру Александр Ероховец был непоседой. Где пешком, где на машине, на лодке, на лошади исходил он, изъездил весь необъятный наш край. Легче было бы сказать, где он не был, и из каждого путешествия привозил массу впечатлений и разбухшую от записей общую тетрадь. Боготольцы и тюхтетцы хорошо знают своего земляка, оберегают честное имя от незаслуженных нападок и злых наветов. Завистников пугает

слово правды, ведь писатель не таил в себе то, что думал, говорил прямо в глаза.

Смутное время «перестройки» и «рыночной экономики» неумолимо подталкивало его к краю жизни. Чёрствость, бездушие, самолюбование, презрение и стыдливое отрицание себя в прошлом бывших партноменклатурщиков, но ещё противней — бывших товарищей, — они-то и приблизили этот край. Александр ещё верил в чистоту и порядочность помыслов русского народа, но когда тот же народ, оболваненный чужеродными СМИ, легко позволил себя предать — всё кончилось, впереди зияла пустота. На этот раз победил Ален Даллес, в 1945 году выработавший доктрину уничтожения СССР «пятой колонной» в нашей стране. Он был цинично откровенен: «Литература, театры, кино — все будут изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства... Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого... И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдём способ оболгать, объявить отбросами общества...». Всё! Чаша терпения переполнилась и пролилась...

Последней своей книгой «Спроси сердце своё», вышедшей уже после смерти её автора, Александр Ероховец завещал нам, живущим «на земле, на свете этом», чтобы берегли и любили свою Родину, чтобы не слушали чужих голосов, а имели бы свой, твёрдый и веский голос, а что надо делать, как жить дальше, — «спроси сердце своё», оно подскажет верный выход. Впрочем, сам покойный писатель жил, как вещало его изношенное сердце. Жил он легко и трудно. Легко — потому что был добр, не скуп, отзывчив, трудолюбив, знал, что надо делать, куда идти и зачем. Трудно — потому, что не менял убеждений, как многие делали это по нескольку раз, ненавидел предательство и лизоблюдство, изо всех сил сопротивлялся насилию лжекультуры. В конце концов, обессилев, упал несломленным...

Летом Ероховцы жили в Пугачёве на даче, и ничего пока не предвещало беды. Александр Степанович не спеша перекопал грядки, потом записал в дневнике впечатления дня, вечером смотрел телевизор и нервничал: навязываемая нашим россиянам «счастливая» заморская жизнь, перенесённая на российскую почву, выводила из себя. Возмущали мерзавцы-политики, жалующиеся, что проводить горбачёвско-ельцинские реформы мешают им старики. Было невыносимо слушать, как строители «пирамид» и ваучеризаторы не могут поделить между собой сферы влияния разграбленной ими страны. Терзали душу насилие, кровь, убийства, наркомания, проституция... Да разве нормальный человек вынесет такой прессинг!

Утром Александру Степановичу стало плохо. «У меня кровоизлияние», — успел сказать он и, уложенный женой на диван, потерял сознание... Через восемь суток борьбы за жизнь сердце Александра Степановича остановилось.

Ушёл от нас этот чистый, светлый, порядочный и наивный как ребёнок человек и писатель, убитый Системой, которую он не принял, и потому был поставлен «в беспомощное положение». Ушёл честный писатель, по книгам которого можно изучать наше прошлое, историю малой родины, нравственные основы духа народного. Ушёл из жизни талантливый певец сибирской деревни, оставив новому времени свои неизданные романы, повести, рассказы, дневники. Найдутся ли меценаты, чтобы издать их?..

Хоронили покойного на Бадалыкском кладбище, слева от главной Аллеи славы. Прощание было тихое, скорбное, с ощущением то ли вины, то ли раскаяния, что не уберегли, не подставили плечо, вовремя не подали руку помощи... «Одно утешает: в день светлой памяти замечательного русского писателя... многие спросят сердце своё. Потому что он спрашивал ваше. По-доброму спрашивал в неустанном поиске правды», — «в память о друге» написал Сергей Павлов.

Последний роман Александра Ероховца «Спроси сердце своё» на презентации в Литературном музее подписывала друзьям покойного мужа вдова Людмила Николаевна.

Горько сознавать, что такой крупный сибирский писатель, известный всей России, становится неузнаваемым в исковерканном «демократией» обществе. Сегодня в почёте «мастера ремесленной литературы» и «корифеи рекламной пошлости». А писатель, отмеченный любовью народной, за свои многотрудные произведения, чтобы только увидеть их напечатанными, принужден платить сам из своих скудных сбережений или искать доброго дядю-спонсора. Наступила эра немилосердия, эра пренебрежения, неуважения, нелюбви, а то и ненависти к авторам, сохранившим веру в добро и справедливость. Особенно явственно звучит ныне пророческое: «Братья-писатели, в вашей судьбе что-то лежит роковое». А Юлия Друнина, ярчайший поэт своего времени, фронтовичка, спасшая от смерти сотни солдат, прежде чем самой добровольно уйти из жизни, написала: «Как летит под откос Россия, Не могу, не хочу смотреть...»

«Архитектор перестройки», один из главных «перевёртышей» А. Н. Яковлев недвусмысленно заявил, что «население должно полностью лишиться сбережений и привычных гарантий, тогда оно научится жить и работать так, как ему прикажут». Жить и работать «как прикажут» Александр Ероховец не пожелал, да и не смог бы, в силу своей привязанности к родной земле и отчему дому, к талантливому и мудрому народу русскому,

у которого «власти бездарны, в лучшем случае, выслуживающиеся посредственности», люди «с умершими лицами». Это они, взяточники, поругивают интеллигенцию, которая, по их мнению, «не умея… приспособиться к жизни и что-либо брать от неё, она не живёт, а прозябает в своей тихой беспомощности…».

Новый роман Александра Ероховца, как утверждает аннотация, пролежал в письменном столе до сего времени отвергаемым, «ибо автор затронул… запретную по тем временам тему…». Да, было и такое, когда рукописи лежали без движения. Но они лежат и сегодня. И даже не потому, что «тема запретна», а потому, что писателю «приказали» жить и работать по-демократически, лишив его «сбережений и гарантий». Покойному Ероховцу, можно сказать, повезло: книга вышла в издательстве «Буква» тиражом в тысячу экземпляров с помощью спонсоров: заместителя губернатора края Николая Ашлапова, секретаря совета безопасности Александра Лычковского (ныне покойного члена Союза писателей России) и главы администрации Курагинского района Леонида Марченко. На первый взгляд книга внушительная, но сам Ероховец представлен в ней только первой частью романа — «История одной любви», занявшей всего лишь 98 страниц текста из 335. На остальной площади разместились повесть Владимира Топилина и рассказы Анатолия Статейнова, проплаченные авторами. На Ероховца денег не хватило.

Большая часть романа так и лежит в столе, и нет надежды, что когда-нибудь мы полностью его прочтём. Но имя автора будем помнить всегда, пока живы сами. На ум пришли строки из стихотворения Роберта Рождественского:

Несём мы имена удивительных людей.
Не уронить бы! Не запятнать бы!

45-Й КАЛИБР

Ольга Корзова

Вспоминая родные остожья

Подведены итоги V Международного поэтического конкурса «45-й калибр имени Георгия Яропольского. Сезон-2017», традиционно проводимого интернет-альманахом «45-я параллель». Журнал «День и ночь» представляет поэтические подборки пятерых авторов, отличившихся в «Турнире-45».

• • •

Не люблю времена перехода.
Вечность рушится, давит сезон,
да вдобавок шумит непогода,
закрывая собой горизонт.
Цепенея в плену бездорожья,
чтоб совсем не изныть от тоски,
вспоминаю родные остожья
и рыбалок ночных костерки,
голос Мельницы,
вольный, великий,
от разлива до самых снегов,
и тревожные чаячьи крики
с унесённых водой берегов,
и дряхлеющий мост,
и часовни,
и не нужную больше траву…
Засыпаю, прижав к изголовью
землю, где родилась и живу.

• • •

Не верилось, а всё-таки пришло.
Кричит кукушкой, зреет земляникой,
утят окрепших ставит на крыло,
цветёт ромашкой, пахнет мёдом диким.
Короткое, желанное, постой!
Дай надышаться вольною прохладой,
пропасть на миг — навек — в траве густой,
с дождём пройтись по высохшему саду.
В лесную даль лукошком помани —
грибов набрать, малины, зверобоя,
почувствовать, как безмятежны дни,
когда они наполнены тобою.

• • •

Отчего ускользает главное,
как за ниточку ни держись?
Над пригорками, над дубравами
поднялась, улетает жизнь.
Мы глядим, заслонясь ладонями,
чтоб никто не заметил слёз.
Шар цепляется ниткой тоненькой
за сучки, за стволы берёз,
и сжимается сердце горестно:
боже мой, сколь далёк и мал!
Хоть бы сбросил немного скорости
и подольше бы не пропал…

Виктор Аференко

В Зауралье по «Великой Степи»

Глава из книги «Богатырский уезд»

Не «покорение», а возвращение домой

Автор этих строк — сторонник идеи евразийства, а потому разделяет точку зрения замечательных русских учёных и философов Л. Н. Тихомирова, В. М. Флоренского, А. Г. Дугина, Л. Н. Гумилёва.

По Гумилёву, «Великая Степь» — это территория от Тихого океана до Балкан с востока на запад, «повдоль», и от Северного Ледовитого океана до горных цепей Срединной Азии «поперёк». По ней тысячелетиями перемещались народы, и горная цепь Урала не была для них существенным препятствием. Это позже Урал стал общепризнанной границей между Европой и Азией. Зауральем называют пространство «Великой Степи» восточнее Урала и Каспийского моря. Л. Н. Гумилёв в книге «Ритмы Евразии» писал:

«*Можно сказать, что Великая Степь, простиравшаяся от мутно-жёлтой реки Хуанхэ почти до берегов Ледовитого океана, была населена самыми разными людьми. Здесь охотились на мамонтов высокорослые и европеоидные кроманьонцы и широкоскулые, узкоглазые монголоиды Дальнего Востока и даже носатые американоиды, видимо, пересекавшие Берингов пролив и в поисках охотничьей добычи доходившие до Минусинской котловины. Как складывались отношения между ними — неизвестно. Но нет сомнения в том, что они иногда воевали, иногда заключали союзы, скрепляемые брачными узами, иногда ссорились и расходились в разные стороны, ибо Степь была широка и богата травой и водой, а значит, зверем, птицей и рыбой. Так было в течение тех десяти тысяч лет, пока ледник перегораживал дорогу Гольфстриму и тёплым циклонам Атлантики*».

В. М. Флоренский, учёный-энциклопедист, вступил в новую для него отрасль археологических занятий; побудительной причиной послужило ознакомление с находками, сделанными в сибирских курганах. Его настолько поразило сходство сибирских древностей с пермскими, болгарскими, великорусскими, южнославянскими и балто-славянскими доисторическими ценностями, что невольно навело на мысль, как он писал, «не имеют ли эти памятники более прямого отношения к древнейшим судьбам славянского народа»?

После длительных исследований он издал труд в двух частях «Первобытные славяне по памятникам их доисторической жизни, опыт славянской археологии», в котором утверждал, что славяне пришли в Европу из Сибири. Монголы почти на 300 лет перекрыли пути взаимопроникновения этносов через Урал. Но искусственные стены и длинные заборы из колючей проволоки — изобретение XX века. А в XII–XVI веках не прекращалась людская «диффузия».

Бывали русичи в Средней Азии, как пленники и гости «Золотой Орды». Поморы достигали Ямала на кочах вдоль побережья Северных морей. При Великом царе Иване III территория Руси выросла в 5 раз, в том числе согласились жить в составе единого государства угро-финские народы Северного Урала, большинство из них приняли православие, образовалась Великая Пермь. И задолго до Ермака новгородцы через Великий Устюг ездили с товарами, за пушниной, на Обь и Таз, зачинали зимовья и фактории.

Картина В. И. Сурикова «Покорение Сибири Ермаком» уже полтора века является одним из символов изначальных представлений о периоде массового прихода русских в Зауралье.

Да, с точки зрения художественного мастерства, исполнения написана она профессионально. На одном из Суриковских чтений слышал прекрасную лекцию об этом.

Но взгляд на историю присоединения Сибири, Туркестана, Дальнего Востока к Российской империи Василий Иванович имел «романовский» (речь о царях династии Романовых), имперский и поверхностный. Отсюда и термин «покорение», ставший у многих и на многие годы ключевым.

Жаль, что наш великий художник-земляк дал картине тенденциозное, политизированное название. В соответствии с традициями по написанию батальных полотен картину можно было назвать «Бой дружины Ермака у столицы Сибирского ханства Исер с войском князя Кучума 26 октября 1582 года».

Никто не покорял кетов, остяков, коми, пермяков, хантов, манси, казахов, узбеков, туркмен,

таджиков, ненцев, эскимосов, бурят, гольдов, удегейцев, якутов, тувинцев, эвенков, коряков и десятки других этносов. Они как жили веками на своих территориях, так и живут; сохранили образ жизни, традиции, культуру и свой язык; никто их насильно не обращал в другую веру.

Читателей-красноярцев прошу не возмущаться и не цеплять меня за высказывания по поводу картины В. И. Сурикова «Покорение Сибири Ермаком». Наш земляк — вне сомнения гениальный художник. Вспомним, какую высочайшую оценку дали его полотнам, какие проникновенные слова написали о нём Илья Глазунов в книге «Россия распятая» и Вл. Солоухин в «Письмах из Русского музея».

Я люблю Сурикова и тоже написал маленькую книжечку «Суриков в Сухобузимском». Исследователи его творчества (к коим я отношу и себя) выявили, что идеи и сюжеты многих картин Василия Ивановича основаны на впечатлениях детства. Когда он думал, как изобразить бой дружины Ермака с войском князя Кучума, то, вероятно, вспомнил картинку из сухобузимского детства.

Суриковы арендовали небольшую избу с прилегающим двором у волостного старшины Василия Макаровича Матонина. Сухобузимское, как и большинство сибирских деревень и сёл в лесостепной зоне, возникло в начале XVIII века на стрелке, при слиянии речек Большой и Сухой (Малый) Бузим. На северном высоком берегу Малого Бузима стояли церковь и несколько домов, в одном из которых жили Суриковы. На другом, тоже высоком берегу на яру, через лощину, затопляемую вёснами водой, но в землянках-норах, в избушках-времянках обитали поселенцы перекати-поле, отправляемые из города «на кормление в волости».

Дети с той и другой стороны играли вместе, но, бывало, и враждовали. Суриков рассказывал М. Волошину, как он вместе с крестьянскими ребятишками переплывал на плотах через разлившуюся речку, и они с палками и самодельными ружьями «шли в атаку» на сверстников-переселенцев, которые занимали оборону вдоль яра.

Рассуждениями по поводу названия картины я только хотел подчеркнуть, как велико влияние искусства. Девяносто девять и девять десятых процентов из числа россиян до сих пор считают Ермака донским казаком и покорителем Сибири, хотя это далеко не так (не донской, и не покоритель).

Ошибочное мнение и мифы возникли у многих под влиянием картины Сурикова со школьной скамьи, ибо гравюры с полотна «Покорение Сибири Ермаком» и со всех других суриковских картин помещены в учебниках истории.

В отличие от европейцев русским не надо было плыть за три моря, вот она — «Великая Степь»,

Пути отрядов русских служивых
и казацких дружин в Сибирь (до Енисея)
(XV — начало XVII вв.)

иди по ней, плыви на лодках по большим рекам, поезжай на лошадях (и летом, и зимой) на родину предков, в основном к дружественным народам.

Вновь обратимся к труду В. М. Флоренского. Он писал: «*Домонгольская Сибирь — была исконной родиной многих, в том числе славянского народа, а посему народная русская волна недаром стремиться на юг и восток. Не одни материальные выгоды и политические соображения влекли нас сюда, а народный инстинкт, бессознательно сохранившийся в коллективной памяти, подобно инстинкту перелётных птиц*». И в другом месте: «*Отбросив интернационально-классовый подход, надо понять, что мы возвращаемся домой: „домой“ не только лишь в географическом смысле, но и в „дом“ своей древнейшей истории, в „дом“ своего исконного мировоззрения, неразрывно связанного с расой*».

Понятие «дом», как и понятие «покорение», тоже крайность, но крайность более доказательная, соответствующая реалиям прошлых и сегодняшних дней.

Прекрасную книгу «Чёрные люди» о событиях в России, и в частности в Сибири, в XVII веке написал Всеволод Никанорович Иванов. Отдавая должное государственной политике в глобальном деле по освоению Сибири, он не раз по ходу

исторического повествования (определение самого В. Н. Иванова) отмечал народный стихийный характер процесса.

«Тысячи и тысячи чёрных людей,—пишет он,—*собрали силу, ушли со старых северных мест, перебрались через Урал, сплывали на плотах, стругах, лодках по сибирским рекам в зелёных урманах, из которых подымаются белки снегов на острых горах. За миром к природе шли чёрные люди и сами несли с собой мир сибирским тундровым и лесным людям—приземистой самояди, рослым, румяным вогулам, скуластым, узкоглазым тунгусам и остякам, одетым вековечно в звериные, в оленьи шкуры, то с доверчивой белозубой, то с подозрительной улыбкой».*

Кем был Ермак?

В. И. Суриков считал Ермака донским казаком, потому и плавал на пароходе по Дону, зарисовывая этнографические атрибуты местного казачества для написания одежды атамана и его дружинников.

Его друг и тёзка В. И. Анучин—красноярский учёный, архивист, археолог, этнограф, увидев эскизы, настоял, чтобы художник кое-что исправил, потому что знал: Сибирь осваивали не донские казаки, а терские, уральские, волжские.

С конца XVI века на равнинах Северного Кавказа, в Прикаспии и на Нижней Волге хозяйничали терские казаки.

Откуда и почему они появились? Обратимся к знаменитому труду Н. М. Карамзина «История Государства Российского». В конце XV века образовалось пять отдельных татарских ханств: Казанское, Астраханское, Крымское, Тьмутараканское (что ни к тьме, ни к тараканам никакого отношения не имеет, а значит в переводе «крепость с большим количеством людей») и Ногайское (по рекам Ишим и Урал). В начале XVI века во главе Ногайского ханства стоял князь Ивак. И вот, некий татарский мятежник-самозванец по имени Чингис сверг Ивака и заставил его сына Тайбугина идти с войском на север, на реки Иртыш, Тура и Тобол. Тот покорил там югор, остяков и сыбыров, и основал ещё одно—Сибирское—ханство, построив на р. Туре при впадении в неё речки Тюменки крепость Чинги-Туру (ныне г. Тюмень).

Родословная цепь от Тайбугина была такой: Ходжа—Маар—сыновья его Яболан и Азер. В Золотой Орде и в ханствах борьба за власть была жестокой, постоянной, наследники, даже братья, нередко убивали друг друга. Читаем у Н. М. Карамзина:

«Яболан женился на казанской царевне. Брат её Упак убил Маара—отца Яболана. А племянник Яболана Магмет (отец Кучума) убил Упака, власть перешла к Магмету, а с 1563 года к Кучуму. Своей столицей они избрали городок Сибирь, основанный на Иртыше Тайбугином, назвав его Исер (он же Кыштым). Из-за междоусобиц сын Яболана Агиш через Ногайские и Прикаспийские степи уехал со своим отрядом на Северный Кавказ, на равнинный приток Терека».

Исследователь Сибири Г. Ф. Миллер в начале XVIII века в своём труде «История Сибири», том I, пишет: *«Приток реки Терека раньше назывался Тюменкой* (понятно почему.—*В. А.*), *на нём расположен Татарский острог, или Черкасский город, названный Тюменским городком. Этот же город получил название Терка. Князь этого города Агиш дал клятву на верность Ивану Грозному. Разрядные книги часто упоминают о двух сыновьях этого князя Романе и Василии Агишевичах Тюменских (Тюменцевых), что с 1575 года до конца столетия служили Российскому государству воеводами во многих походах».*

Странно, почему Г. Ф. Миллер ограничился концом столетия, ибо князья Тюменцевы (Черкасские) служили и при Борисе Годунове, при Шуйском, а в 1609–1612 годах руководили героической обороной Троице-Сергиевой лавры.

Роман Агишевич в сражении с поляками погиб. Кстати, донские казаки в те же годы, при Лжедмитриях в союзе с иноземными захватчиками осаждали Лавру и вошли в Москву, им было не до Сибири.

О Ермаке довольно мало художественных произведений—романов или повестей, есть кинофильм. Но есть множество статей, исследований, научные труды.

Обратимся к исследованию доктора исторических наук Александра Кедырбаева «Сказ о казаке-разбойнике» (журнал «Вокруг света» №9 за 2007 год).

Учёный использует первоисточники: Ремезовские (их две) и Ногайскую летописи. Составители их писали, что Ермак—это ногайское имя, означает «вожак», «соперник».

(Вспомним скалу в преддверии красноярских Столбов—Такмак, что значит на праязыке Евразии «голова».)

Отчество Тимофеевич ему стали приписывать два века спустя, вероятно, в связи с памятью о Степане Тимофеевиче Разине.

Ермак родился, скорее всего, в Прикаспии при браке ногайца и русской женщины, был, как написано в летописях: *«плоск лицом, чёрен, с чёрными вьющимися волосами, но со светлыми глазами… бог дал ему силу, счастье и храбрость смолоду».*

В годы мужания с отрядом пеших терских казаков прошёл по Прикаспию, переправился через р. Яик (р. Урал), далее через Ногайские степи достиг р. Ишим, по которой сплавился до Иртыша. Там, в Сибирском ханстве, Ермак разузнал, как и какими силами охраняются крепости Чинги-Тура и Исер, сколь много в них пушнины (её некуда сбывать).

Влюбился он в татарскую княжну, в чём-то традиции нарушил, брат её хотел Ермака убить, но тот вовремя уехал.

Тогда Ермак решил собрать большую дружину для похода в Сибирь *«искать славы для престола, счастья для себя»* (пушнину раздобыть и любовь свою, возможно, встретить).

Кстати, дружина его из 550 человек, к которой Строгановы ещё добавили 300 *(«послаша в Сибирь казаков и с ним литвы и татар, и русских буйственных»)*, была настоящим «интернационалом», донских казаков в ней насчитывалось немного. Не буду описывать поход Ермака в 1581–1584 годах. на Иртыш, подробных описаний о нём много.

Во второй Ремезовской летописи о гибели Ермака написано так: он успел сесть в лодку, его догнал старый враг — брат невесты, шлем у Ермака расстегнулся, и татарин воткнул ему клинок в шею. Атаман упал в воду. Нашли его после, увидев, как что-то блестит на дне. Как воина с ногайской кровью, не разрушающего капища, его похоронили с исполнением всех местных ритуалов.

Казаки (козаки), их роль в освоении Сибири

Казаки появились на Руси в XV веке при царе Иване III. Так стали называть жителей военно-административных поселений на границах Руси (России), на Дону, на Северном Кавказе, на Урале. Постоянная готовность в отражении набегов врагов зарождающейся империи определила систему жизни и традиций: обязательное наличие лошади, личного оружия, манёвренность и свобода — ведь нередко ситуации требовали немедленных решений и действий.

При этом жёсткая дисциплина, подчинение старшим — избранным командирам-десятникам, пятидесятникам, атаманам, сотникам. В то же время принятие решений демократическим путём (сходы и так называемый казачий круг).

Верстание (приём) в казаки юношей и желающих людей из других сословий. Больше равных прав, чем у смердов, а после у крестьян, для женщин. Они могли и пожаловаться на хамоватого муженька. Постепенно определился и особый стиль одежды. По этимологии слова «казак» (козак — нередко писали и произносили после буквы «к» гласное «о») есть две версии. По одной из них, козак (с «о») — это вольный человек-мигрант. По другой версии, в основе слова лежит языковой «кварк» праязыка «аза», что значит «место». Казань — место у реки. Азиаты — «люди больших пространств, из страны Азии». В Енисейском регионе есть речка и село в Большемуртинском районе — Язаевка; несколько изык («мест у реки»), Назарово (ни при чём какой-то Назар, просто, «наше», «местное» поселение).

После донских и терских (XV–XVI вв.) в XVII веке появились запорожские, в конце XVIII века — кубанские казаки, в XIX и XX — другие казачества.

Одной из особенностей нашего русского великого языка являются связки из двух слов: тайга сибирская, степь ковыльная, море студёное, козёл рогатый. В этом ряду и словосочетание казак (почему-то обязательно) донской.

Возможно из-за того, что в житие донских казаков за пять веков было много поворотных моментов, влиявших на судьбу государства. То — защитники Руси, то — нейтралитет, то — измена (в период смуты 1610–1612 гг. и во времена Мазепы). Поворот произошёл при Елизавете Петровне, тесно сблизившейся с гетманом Кириллом Разумовским и его сыном Алексеем. Донские и запорожские казаки стали верно служить царям и России. Особенно проявили себя в Отечественную войну 1812 года и в последующих битвах 1813–1814 годов, вошли в Париж, где вели себя как представители великой державы — достойно. Заходя в кафешки, шутливо командовали: «Вина и закуски! Бистро!» Так и закрепилось название быстро обслуживающих кафе — «бистро».

При посещении Бородинской панорамы ком сжимался в горле, когда экскурсовод рассказывал об одном из характерных эпизодов сражения и показывал, где это было. Мюрат во фланг нашей армии отправил конницу — прусских рейтеров на больших лошадях, закованных в латы, с палашами.

Один вид их устрашал. Но в низине их встретили казаки. По свидетельству очевидцев, бой был ужасным, с лязгом сабель и палашей, с криками матом, со ржанием раненых лошадей. Истребили друг друга почти полностью.

Прекрасно проявили себя казаки и в годы Первой мировой войны, находясь на острие Брусиловского прорыва в 1916 году. Далее читай «Тихий Дон» и слушай песню:

> «По берлинской мостовой
> Кони шли на водопой,
> Шли, помахивая гривой,
> Кони-дончаки…»
> «Казаки! Казаки! Едут, едут
> По Берлину наши казаки».

Донские казаки участвовали в освоении Сибири, но не в начальный, определяющий момент, а с середины XVII века, и то первично как ссыльные.

В дружинах и в экспедициях конца XVI и начала XVII века основу составляли терские (тюменские) казаки с Северного Кавказа.

В годы Смуты (1606–1612) после смерти Бориса Годунова присоединение сибирских земель к Российской империи продолжалось; в 1607 года русские вышли на Енисей сразу в двух местах («Новая Мангазея» — Туруханск и Верхнеимбатское), в 1611, проплыв по Оби-Тыму-Сыму, основали

поселение Сымское. Экспедиции формировали сами воеводы из острогов на Иртыше и Оби при активном участии терских казаков, которые с Северного Кавказа шли по указанию своих князей Тюменских (Черкасских), которые обороняли Троице-Сергиеву лавру. А донские казаки в это время поддерживали лжецарей. Поименование «Тюменские» вскоре перешло в фамилию Тюменцевы, как у князей и атаманов, так и у рядовых терских казаков. Широко известен исторический факт: посещение русской дипломатической миссией Монголии и Китая в 1615–1616 годах под руководством атамана Василия Романовича Тюменцева. После он стал воеводой Тарским. Его сыновья Емельян (атаман пешей казачьей сотни) и Василий (пятидесятник, вскоре тоже атаман) состояли в дружине Андрея Дубенского, собранной в 1627 году для строительства Красноярского острога. Три поколения атаманов Тюменцевых в становлении и защите Красноярского острога сыграли огромную роль.

Ходил во главе отрядов служилых, в основном терских казаков, на восток и на юг Емельян Васильевич Тюменцев. Его сын атаман Дмитрий Емельянович известен как один из руководителей острога во время красноярской «шатости» (1695–1698). Другой сын, атаман Аника, в 1702 году возглавил всё красноярское войско (700 человек!) в решительной битве со степняками в местечке «Изыка» на юге Приенисейского региона; там погиб.

Внуки Емельяна Васильевича, потомственные атаманы Пётр Аникеевич и Иван Дмитриевич, тоже несли «службы конные и пешие» в остроге. С 1647 года семьи атаманов Тюменцевых жили в своей вотчине — в поселении «пониже быка». На карте-схеме С. У. Ремезова 1701 году оно значится как «д. Тюменцева» (после большое село Атаманово). Прямые потомки атаманов два века составляли большинство его жителей, и полтора века — значительную часть. <…>

У всех восточных, в том числе у сибирских, этносов существовал родовой принцип жития (юрты — ударение на «ы», аулы, улусы), ведь в одиночку или одной семьёй в сложных природных условиях не выжить. И много людей на компактной территории у рек, речек, озёр, чтобы охотиться, рыбачить, собирать дары природы, тоже не нужно — земли, угодий достаточно, отделяйся, кочуй в новом месте.

Практика показала, что в сибирских условиях наиболее эффективны не очень большие дружины и отряды, основанные на казацких принципах: общий круг, обсуждение и единое решение; общий котёл; выборы десятников и пятидесятников (атаманы и сотники или назначались, или были потомственными); дружба, сплочённость, строгая дисциплина, персональная ответственность. Потому стали верстать в казаки стрельцов, даже пашенных крестьян. Например, енисейский воевода К. А. Яковлев в 1669 году забрал в казачью службу сразу 134 человека из «тяглового» сословия.

Привнесение казацких принципов в государевы отряды привело к тому, что почти всех освоителей Сибири стали звать одним словом «казаки». Казаки землю любили, умели хозяйствовать. Пётр I понял, побывав в Тюмени и в Тобольске в 1717 году, что Сибирь может в основном стать «казачьей», что чревато самостийностью. Своим указом в 1718 году перевёл большинство казаков в другие сословия, в основном в крестьянское, оставив в гарнизонах так называемых реестровых казаков. Возрождение казачества в широком плане произошло дважды: в конце XIX и в конце XX веков.

В интереснейшей книге о Восточной Сибири «Золото Алдана» Камиль Зиганшин приводит такой диалог казачьего есаула Суворова и его молодой жены Глаши.

«— Проша, ты всё хвалишься: казак, казак. Хоть бы рассказал, кто они, эти казаки?
— Как тебе подоходчивей объяснить? Казаки — это особое сословие. По своей сути мы двуедины: и хлебопашцы, и стражи отечества. Из века в век казачьи отряды расширяли, осваивая новые территории границы державы. Всего казачьих войск было двенадцать. Я из Уссурийского, самого молодого.
— А для чего нужны те войска?
— Да много для чего. Таможенный контроль. Ловили контрабандистов, окарауливали тюрьмы, обеспечивали общественный порядок, несли гужевую повинность — грузы всякие доставляли, прорубали дороги, строили мосты, — с гордостью перечислял казак. — А как война — первыми на защиту Отечества, — он снял с головы фуражку и, указывая на рассечённый надвое козырёк, важно добавил: „Видишь — в бою шашкой рубанули. Чуть увернулся“.
— Ужас! Как вы всё успевали?
— Выручали дисциплина, сплочённость, обычай артельных помочей».

В 1607 году терские казаки вышли на Енисей в районе Туруханска и Сымской; в 2007 году отмечалась дата 400-летия Енисейского казачества, в честь неё отчеканена медаль. В XVII и в начале XVIII века казаки в Енисейске и в Енисейском уезде составляли значительную часть его жителей, служили и хозяйства вели. После указа Петра I 1718 года о переводе большинства сибирских казаков в другие сословия (в основном в крестьянское) в Енисейске остался гарнизон реестровых казаков. В конце XVIII века границы Российской империи отодвинули далеко от Енисея.

Необходимость держать большие гарнизоны отпала, и в 1810 году казаки Сибири были сведены в казачьи городовые команды.

В такой команде в Енисейске служил Марк Суриков — родной дядя нашего великого художника.

В начале июня 1917 года на 1-м съезде енисейских казаков было возрождено Енисейское казачье войско, но с конца 1920 по апрель 1936 года все казачьи войска на территории Советской России были аннулированы. С 1936 года казачьи подразделения входили в состав частей Красной (Советской) армии.

В конце 1990 года в Москве состоялся Учредительный Первый Большой казачий круг, принявший решение об образовании Союза казаков России и создании войск. В 1991 года вновь возродились ЕКВ и в его составе станица «Енисейская» (первый атаман капитан запаса А. И. Петрик).

В Енисейске с 1996 года имеется казачья гимназия, казаки участвуют в охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий.

Мы—другие

Не было покорения Сибири, но, как утверждают многие историки, была её колонизация?

Колонизация—это установление административной власти одной страны в другой (в других); включение их в свою систему хозяйства; ограничение прав и свобод местных народов (аборигенов).

Колонизация так же стара, как само человечество, начиная с первобытнообщинного строя. Её пик, её финал на планете Земля пришёлся на XV–XIX века, начиная с эпохи Великих географических открытий. К концу XIX столетия, как выражаются историки, «весь мир был поделён» между европейскими странами-метрополиями.

Но факты прошлого таковы, что нельзя в одном ключе рассматривать европейскую колонизацию целых континентов вне своих стран, за морями-океанами и продвижение русичей по «Великой Степи», по единому материку, по Флоренскому, «при возвращении домой».

Александр Гельевич Дугин—философ, полиглот, умница—доказательно развивает концепцию о том, что в силу природных и географических причин по-разному жили и живут народы континентального материка Евразии—евразийцы и народы стран и островов, омываемых Атлантическим океаном и его морями,—атлантисты (греки, итальянцы, испанцы, португальцы, голландцы, французы, скандинавы и англо-саксы). Они с древних времён, используя в основном морские пути (хотя, иногда и сухопутные), распространяли свою экспансию на другие народы по всему Земному шару.

В этом контексте надо рассматривать Троянскую войну, походы Александра Македонского, завоевания римлян и походы крестоносцев; колонизацию Африканского, Американского, Австралийского материков, Океании и частично Азии. Они бы и остальную часть Азии и Европы включили в состав своей империи, в которой «не заходит Солнце». Но евразийцы (славяне, тюркеты, китайцы, арабы) не позволили их завоевать. В своё время против агрессии с Запада совместно выступали русичи и татары «Золотой Орды».

Этот и некоторые другие факторы легли в основание гипотезы об едином русско-татарском государстве, в котором длительное время шла гражданская война между воинами (в основном татаро-монголами и тюркетами) и земледельцами, в лице русичей (древлян, кривичей, вятичей и др. субэтносов).

Говорил об этом Л. Н. Гумилёв (с ним яро полемизировал писатель Вл. Чивилихин), а в наше время это утверждают учёный В. Буровский, писатель А. Бушков и др.

Одним из пиковых моментов в многовековом противостоянии евразийцев и атлантистов было нашествие на нашу Отчизну гитлеровских выкормышей—фашистов. Бесноватый Адольф, считая себя лидером «истинных арийцев», на одном из митингов в Нюрнберге восклицал: «Мы должны очистить территорию континентальной Европы и Азии от жидов, комиссаров, угро-финнов, славян, монголов и прочих недочеловеков». Не получилось!

Атлантисты при колонизации многих стран и народов на всех материках и на многих островах использовали весь набор средств захвата и принуждения:

- военные операции, покорение (крестовые походы, англо-бурская, англо-индийская и другие войны);
- создание резерваций, натравливание одних племён на другие, например на Североамериканском континенте. Это ярко показал в своих романах Фенимор Купер, романтизировавший англо-саксов. У него Чингачгук—сниматель скальпов из могикан—герой, а индейцы племени диу—дикари, враги. Англо-саксам стоило бы рядом со статуей Свободы поставить памятник и Ф. Куперу. Так же Киплинг превознёс белых в Южной Африке, поставив им в заслугу почти полное уничтожение зулусов (см. книгу «Питер Мариц—юный бур из Трансвааля»);
- покупку людей, перевезённых пиратами с Африканского на Американский континент. Несколько миллионов негров. Эксплуатация их. Это прекрасно отображено в новелле Проспера Мериме «Таманго», в книгах «Хижина дяди Тома» и «Унесённые ветром»;
- обман и грабёж испанцами и португальцами наивных инков в Мексике и в Перу. Вершиной бесстыдства, воистину бандитской акцией являются деяния бывшего свинопаса Писарро. Пришелец вошёл в доверие к вождю инков, попросил его сообщить подданным о свозе золота в столицу, что главный инка и сделал с помощью оригинальной почты—узелкового письма. Писарро золото забрал, присвоил, а вождя умертвил.

Оппоненты могут упрекнуть автора: а разве не было в XV–XVIII веках военных стычек в Сибири; не было фактов грабежа, спаивания «огненной водой» северных народов, не было «новокрещенов»? К сожалению, было. Но отличие прихода русских в Зауралье от европейской колонизации существенно и заключается в трёх факторах принципиального характера.

Фактор первый: разная политика глав государств и правительств, официальных лиц, военных и администраторов. Королеву Изабеллу не интересовал вопрос, откуда столько золота у Колумба, и бандит Писсаро получил признание и почёт. А статуя знаменитого пирата Дрейка уже давно встречает в Лондонском порту всех приезжающих в Туманный Альбион.

В России при освоении Сибири с конца XVI века был взят курс на мирную политику (строгое соблюдение договоров, торговля, освоение земель, взаимопомощь). Русским промысловикам строго запрещалось охотиться на пушных зверей во владениях местных этносов и племён. Нельзя было строить поселения на местах кочевий и охоты аборигенов. Эта установка «работала», исполнялась. Грабежи местного населения пресекались в корне.

Конечно, на гигантских просторах в тайге, в тундре, трудно уследить за всеми, кто законы, установки нарушал, а ухари среди русских были, ведь в служилые возводились и бывшие гулящие люди, и ссыльные, городская голытьба («захребетники», поселенцы).

Г. Ф. Миллер в книге «История Сибири» (том 2, стр. 248–249) публикует такой документ: «*Из отписки из Маковского острога П. Албышева и Ч. Рукина, „О наказании Петрушки Парабельца, укравшего у одного кетского остяка его вещи“*». «*Да писал ты к нам* (имеется в виду кетский воевода А. Ф. Челищев.—*В. А.*) *на Петрушку Парабельца, что он привёз к нам из Кецкого острогу ясашного остяка; и к нам Петрушка остяка никакова не приваживал, а сказывает взял де он у остяка котлишко, да 3 соболишка, да лыжишки подволошные, и мы у него Петрушки то котлишко и соболишки и лыжишки взяли и послали к тебе с берёзовским казаком Таганашкой Анфилофьевым за печатями, а ево Петрушку за то били батоги „нещадно“*».

Были хамы, мздоимцы с загребущими руками среди воевод, сотников, атаманов, детей боярских. Причём некоторые и к своим служилым относились как эксплуататоры, считая их «чёрными людьми». Известен факт злоупотреблений красноярских воевод С. Дурново, братьев Башковских, что вызвало «Красноярскую шатость» в 1695–1698 годах.

Известный енисейский атаман Иван Галкин, приехав с «ленской службы», представил на таможне 468 «личных» соболей. Родион Кольцов—атаман конной сотни в Красноярске— имел большие заслуги, но был уличён, привлечён к сыску за продажу ружей киргизам, что запрещалось категорически под страхом смертной казни. Кольцов едва избежал суда.

И, конечно, знаменательно устрашающей, жёсткой, стала акция Петра I—повешение за злоупотребление сибирского губернатора князя Гагарина.

Выполнялись и другие требования. В XVII—начале XVIII века свои поселения русские могли создавать только по берегам Енисея. И красноярцы 80 лет (!) не создавали их в местах кочевий аринцев в бассейнах Бузима, Подъёмной, Берёзовки, Есауловки, а возникли деревни и сёла только по берегам Енисея; от острога до Енисейска, большинство из них сохранилось до сих пор. Единственное исключение—Матона, зачатая в 1695 году, в годы «красноярской шатости» на Бузиме, в 5 верстах от Енисея, казаками, братьями Львом и Аверьяном Матониными (об этом славном роде речь впереди).

Второй фактор: в отличие от атлантистов не создавались резервации, огораживания, не было рабского труда. Аборигенов не эксплуатировали, не заставляли трудиться по перетаскиванию лодок через волоки, грузов, не ходили они в бурлацких лямках, не горбатились на пашнях во время жатвы, над ними никто не стоял с бичами, как плантаторы над «дядей Томом». Тем кто служил, участвовал в походах, платили так же, как русским; на разные хозяйственные работы нанимали за деньги.

Огромную роль играли взаимоторговля и взаимопомощь, иначе бы за короткий исторический срок не дошли до Тихого океана, не основали тысячи поселений. В «Чертёжной книге Сибири» У. С. Ремезова в 1701 году их только до Байкала обозначено 5000.

Местные люди продавали лошадей, были в походах проводниками, указывая волоки, тропы, охотничьи угодья, рыбные места. Учили охотиться на соболя.

Многое перенимали аборигены от русских. Яркие зарисовки на этот счёт оставили нам писатели.

Из книги Н. П. Задорнова «Амур-батюшка»:

«*Однажды Анга* (жена русского промысловика Ивана Бердышева.—*В. А.*) *привела в землянку Кузнецовых молодую кривоногую гольдку в щегольском халате и с серебряным кольцом в плоском носу. На руках у неё был заплаканный косоглазый ребёнок.*

— Бя-я-я… Б-е-е,—укачивала его мать.

Это была молодая жена мылкинского богача Писотьки—та самая, которая родила ему сына. Она приехала на собаках вместе с мужем, чтобы полечить ребёнка у Анги, но та шаманить отказалась и привела женщину к старухе.

Раздев младенца, бабка ужаснулась его виду. Ребёнку было более года, но мать, по-видимому, ещё

ни разу не мыла его. У мальчика вздулся животик, тело покрылось струпьями.

— Все мальчишки у него, как родятся, помирают,— объясняла Анга.— Отец говорит: «Кто вылечит — ничего тому не пожалею».

Бабкино лечение продолжалось весь день. Наталья натаскала воды и нагрела её в печном котле. Старуха стала купать маленького гольда, вымыла его дочиста, вытерла насухо и, завернув в свою чистую посконную рубаху, положила на подушки.

— Эй, тряпки эти надо выбросить,— сказала Дарья, вырывая из рук женщины лохмотья.— Надо новые брать, эти никуда не годятся, чистые надо, давай-ка толмачь ей,— велела старуха Анге.

С тех пор мылкинские гольды повадились лечиться у Дарьи. Их нарты, запряжённые мохнатыми псами, часто останавливались над берегом, напротив кузнецовской землянки. Бабка ворожила, вырывала больные зубы, лечила разные нарывы, болячки, опухоли».

А какая чудесная зарисовка, как былинная песня в форме белого стиха нисходит к читателям со страниц книги В. Н. Иванова «Чёрные люди»:

«Сибирские люди самосеянно родились, как грибы под зелёными сводами лесов, и не умели, не могли свалить дерева, чтобы сложить избу,— нечем было! Костяным-то топором много не срубишь! Вековали они в чумах из жердей, покрытых корьём, берестой, заваленных шкурами ими убитых и съеденных животных. Лес их растил, хранил, кормил, укрывал от жары короткого лета, от морозов и бурь зимы, и с ужасом, с любопытством следили лесные жители, как ловко новые пришельцы валили, выжигали деревья, рушили зелёные покровы, открывая синее небо, складывали из лесин избы, железными когтями сох вздирали мягкую, словно медвежье сало, землю, кидали туда зёрна.

И не пропадали те зёрна, скоро лезли зелёными щетинами из земли, вырастали в золотые жатвы на лесных целинах, кормили новых людей душистым сибирским хлебом.

Страшны были боги этих лесных обитателей — грозные, смутные, безжалостные, могучие, голоса которых чудились им в оглушительных громах, в треске рушащихся, ломающихся под ураганом деревьев, в визге зимних вьюг, в вечном гуле, в могучем рокоте леса.

А с новыми людьми пришли в Сибирь и новые их боги: в их рубленых избах из передних углов молча смотрели благостные человеческие глаза с ликов, окружённых зарным сиянием, или скорбные глаза матери, прижимающей к груди своей сына, полные тёплой любви, да сияющие глаза суровых, добрых старцев.

И всё больше и больше не хотели лесные люди жить по-старому, звериным обычаем.

Легко сходились, роднились, братались кровью, крестами менялись с лесными зверовыми людьми новые сибиряки, сливались в один сибирский народ, перенимая друг от друга всё полезное для вольной жизни».

Весьма показателен тот факт, что в XVI–XIX веках большой процент русских мужчин женились на девушках из местных племён. Известно, что предками В. И. Сурикова по линии матери были аринцы, что явно отразилось в её внешнем виде. Он не раз в письмах к своему брату Александру из Москвы в Красноярск писал с любовью: «От имени меня поцелуй мамочку в „печёные яблочки“». Имелись в виду щёки Прасковьи Фёдоровны, от природы широкоскулой.

Третий фактор отличия от атлантистов заключается в том, что мы — другие, у нас другой менталитет, другая евразийская сущность. Только что народ пережил татаро-монгольское иго. Пережил нашествие Мамая, собравшего в своё войско многих врагов с востока, юга и запада.

Помню, когда после неуёмных игр мы создавали в нашей избе кавардак, мать говорила: «Как Мамай воевал!» Пережил народ и злодеяния Ивана Грозного, западное литовско-шведско-польское нашествие. Сибирский служилый народ, начиная от воевод до рядовых (в основном выходцев из тяглового сословия Центральной и Северной Руси), не говоря уж о священниках, кустарях и крестьянах, сохранил свою истинную глубинную суть: привычку к труду благородную (в том числе к ратному труду), терпение, стремление к справедливости и к общинности.

В Сибири не было помещиков. Начиная с первой четверти XVIII века в основе жизни крестьянского сословия, а к нему относились в Зауралье 85–90 процентов граждан России, в течение трёх столетий (до 1929) лежала триада: община — род — патриархальная семья. Да и после в артельных (коллективных) хозяйствах общинные, семейные принципы и традиции сохранялись и сохранились. И ныне в условиях «гибридной войны» против нас, мы можем выстоять, опираясь на всё лучшее, что накопили веками, в том числе в освоении зауральских пространств.

Об особенностях освоения и развития Сибири говорится в современных учебниках истории. Откроем на стр. 17 труд Л. Г. Олеха «История Сибири» (учебное пособие для студентов вузов, издательство «Феникс», Ростов-на-Дону, 2013), читаем:

«Следует согласиться с тем, что элементы колонизации в политике центра по отношению к национальным образованиям (в России, в СССР.— *В. А.*) имели место, в этом нет сомнения. Однако

это был *необычный колониализм: ставились и рушились (не всегда, впрочем, удачно) задачи выравнивания экономического и культурного уровня народов. И эта установка не была чисто идеологической* (в советское время.—*В. А.*), *не имеющей эмпирического социального содержания. „Колонии“ развивались за счёт „метрополии“, хотя шёл также обратный процесс* (в отличие от западного колониализма.—*В. А.*)*, развитие ранее отстававших народов шло более высокими темпами. Это как в количественном, так и в качественном отношении наблюдалось в Сибирском суперрегионе».*

Огромную роль в духовной сфере россиян играла православная церковь, стоящая на страже нравственности, крепкой моногамной семьи. В числе первых строений во всех острогах были церкви, например, в Енисейске в 1627 году шла служба в трёх храмах. Крещёными, верующими с детства являлись более 90 процентов сибирских сельчан. На каждые полторы-две тысячи жителей округи имелись большие церкви—приходы, чем и отличались сёла от деревень.

В середине XVII века, в пиковый период прихода русских в Зауралье, произошло на Руси событие вселенского масштаба—церковный раскол, ставший на века истоком разных противостояний вплоть до наших дней.

Лидер староверов Аввакум был сослан с семьёй в Сибирь, некоторое время жил в Енисейске, о чём, думаю, большинство енисейцев и красноярцев знают. Его митинговые проповеди против злоупотреблений и жестокости находили сочувствие у служивых. Он настолько стал опасен для властей вплоть до царя, талантливый и неистовый защитник старой веры, что его сначала упрятали подальше в Забайкалье, а после было поручено сопровождать его лично в Москву бывшему воеводе Енисейска Афанасию Пашкову—властному человеку. Сторонников протопопа преследовали, отрезали им языки, морили в холодных темницах, в подвалах и в ямах (см. книгу В. Личутина «Раскол»). Негативную окраску получило слово «раскольник». Дольше других несли крест противостояния русичи в дебрях Нижегородской губернии, на реке Керженец. Сосланные в Сибирь, они получили знаковую кличку «кержаки». К ним стали относить вообще упёртых, сильных по характеру сибиряков. Прекрасно отобразили мощный склад непокорных, самостийных натур в своих романах Мельников-Печерский, наш земляк Алексей Черкасов, Е. Пермитин (роман «Горячие Ключи», первичное название «Любовь»).

Знаменитый историк С. В. Бахрушин в настольной книге красноярских историков и краеведов «Очерки по истории Красноярского уезда в XVII веке» (Научные труды, том 4) описал такой факт. Красноярские служилые из староверов в конце XVII века среди других поселений зачали деревушку на правом берегу Енисея, в 150 верстах от острога, в устье речки Кузеевой.

Об игнорировании канонов Никонианской церкви узнали власти Красного Яра. Прислали в 1689 году военный отряд против раскольников. Старейшины Ф. Черкашенин и Яков Нагой собрали родственников в избу и с песнопениями сожгли себя вместе со стенами. Деревню после этого назвали Погорелкой. Вскоре она исчезла совсем.

Удивительно, что, преследуя староверов, которые скрывались в леса, в скиты, русские проявляли веротерпимость к язычникам (не рушили капища и идолов), буддистам, шаманистам, мусульманам, иудеям, ссыльным полякам-католикам. Были новокрещены: молодые девчата—жёны русских или дети, взятые у вдов из местных, чьи мужья погибли в совместных походах. В Красноярском остроге упомянуты случаи купли их. В Енисейске же документами такого не зафиксировано. Новокрещенов усыновляли, они вырастали вместе с родными детьми под одной фамилией и в последующих поколениях абсолютно никакой разницы не наблюдалось. Яркий пример тому судьба Ивана Архиповича Айканова и всего ставшего большим рода Айкановых в Красноярье. О нём написал книгу «Дикая кровь» А. И. Чмыхало.

Ещё один важный вопрос этнографии—это судьба малых народностей, их «исчезновение». В Красноярском и Ангаро-Енисейском округах (округах в смысле административных единиц) «исчезли» аринцы, яссы (ястынцы), котты, асаны, «тасеевцы» (до сих пор не установлено, к какой ветви они относились), качинцы, киргизы, для них имеется в виду «исчезновение» с места проживания на юге региона.

Причин три, но ни одна из них не связана с геноцидом.

Киргизы, ведомые джунгарами, ушли в Среднюю Азию. Увели с собой часть качинцев и аринцев, с которыми находились в родственных отношениях через межэтнические браки.

Оставшиеся киргизы и мигрировавшие на юг качинцы и арины в результате естественной ассимиляции образовали хакасский этнос. Естественная ассимиляция как раз и является главной причиной этнических потерь.

Показательна судьба рода (улуса) аринцев, проживающих на р. Бузим возле Матоны (Кекура). Они породнились с русскими ещё в конце XVII века; казаки братья Матонины взяли в жёны себе дочерей их главного князца, поэтому те и другие жили рядом, вместе. Г. Ф. Миллер пишет, что он встретил в Красноярске аринца с речки Бузим, который помнил ещё свой родной язык и рассказал интереснейшую легенду о своих далеких предках.

Миллер применил к нему термин «последний». Прошло более ста лет, и другой исследователь Сибири академик Миддендорф тоже пишет о встрече с «последним аринцем». И он ошибся. У нашей матери из рода первых красноярских казаков Шахматовых и Матониных—основателей Кекура—были аринские черты лица. Она рассказывала: «*Мне было 5 лет* (а это 1910 г.—*В. А.*), *девчонки взяли меня с собой: „Пойдём, посмотрим на мать деда Григория Тихонова—она, говорят, при смерти*“.

Пришли. На кровати лежит маленькая, скрюченная, чёрная, явно нерусская старушка. Я аж испугалась».

Есть ещё несколько побочных примечательных фактов о недавнем аринском «следе». В Атаманово жил приехавший из Кекура сельчанин Павел Матонин. И у него, и у сыновей, родившихся в начале 30-х годов прошлого века, овал лица и редкие бородки выглядели, как у степняков.

До 1929 года, до коллективизации, кекурские крестьяне называли избушки и зимовья на дальних пашнях юртами. У малых народов исчезли тела, но в геномах многих сибиряков остались участки их генов. В жилах членов и нашей семьи и у многих других чалдонов есть капли аринской крови.

Рубеж первый—бассейн реки Оби

Одно из положений приверженцев евроазийства, к ним относится и автор книги, заключается в том, что территорию Великой Степи от Чёрного моря до Байкала и от реки Янцзы до Северного Ледовитого океана несколько тысячелетий занимали арьи, скифы и славяне, от которых пошли ветви других народов, прежде всего русичи (русские, украинцы, белорусы) и тюркеты.

На самых древних картах у греков большое пространство в верховьях Оби и Ангаро-Енисейская провинция названы Тартарией. В X–XI веках нашей эры, по Гумилёву, за хребтами в Центральной и Юго-Восточной Азии был благоприятный климат, достаточно влаги, росли большие травы, паслись миллионы голов лошадей и копытных и резко выросла рождаемость у монголов. Они не пахали землю, и с юных лет мужчины готовились в воины. И на вершине воинственной пирамиды появился Чингисхан—самый беспощадный завоеватель и тиран всех времён и народов. Монголы подчинили себе, уничтожив, многие тысячи землян: журдженей, татар, скифов, угро-финнов, кето-остяков и десятки других этносов и племён по Великой Степи. 400 лет собирали дань, в том числе и с русичей, разорили и пожгли многие города. Но не вечно царство, построенное на рабстве и крови. Несмотря на гнёт, поднялась, окрепла главная антимонгольская сила—русичи. И в конце концов вышли за свои пределы, в Поволжье, на Урал и, наконец, за Урал, с целями мирными в своей основе, без большой крови и рабов. Присоединение к Руси Зауральских земель, приход в Сибирь, её освоение не началось с конкретной даты, с какой-то одной акции, как считают до сих пор ещё многие.

Государевы деяния совместно с общенародным стремлением похода в новые земли на волне пассионарности дали быстро должный результат, существует даже такое выражение: «Русские прошли сквозь Сибирь как нож сквозь масло». За 25 лет: 1582 (бой дружины Ермака с войском Кучума)—1607 (выход на Енисей)—к России была присоединена гигантская территория бассейна Оби. Были построены сотни поселений, среди них опорные пункты—остроги: Тюменский (1585), Тобольский (1587) Сургутский (1595), Нарымский (1595), Томский (1604), Кетский (1604), Тарский (1600), Мангазейский (1601) и другие.

Поэты Кузбасса

Сергей Донбай

Чуткое эхо природы

Особенности истории побеждённых народов

Я был туристом в стане побеждённых:
Вот немец и француз, поляк и швед.
История народов просвещённых
Не помнит громких не своих побед.

А если вспомнит, так переиначит
И уведёт, так выгодно шутя,
Что пресловутый «писающий мальчик»
Всего важнее станет для тебя.

И победитель в стане побеждённых
Не знаменитый силою медведь,
А русский неуклюжий медвежонок—
Так легче снисходительно смотреть.

Все эти карлы и наполеоны,
Нас приходившие завоевать,
Лжедмитрии и гитлеры опять
В истории народов просвещённых
Нас варварами жаждут называть.

Донской монастырь

Молюсь на купола Донского
Монастыря через окно.
В сиянье неба голубого—
Иконописное оно.

А купола строги, как туча.
Их пять. И рядом благовест.
И, словно поднебесный кучер,
Над ними золотится крест.

Темнеют купола Донского
Среди Москвы монастыря,
Чтоб тучу с поля Куликова
Не забывали из Кремля,

Чтоб жили не единым хлебом
В мироточенье бытия
И подружилась с русским небом
Церквей и звонниц толчея,

Молюсь на купола Донского…
Никем не писаный канон—
В сиянье неба голубого
Иконописное окно.

День шахтёра в Кемерове

Хворостовский пел на стадионе.
Высоко на Западной трибуне
Слушали его под облаками—
Разный люд в соседстве с горняками.
Сразу после чудного романса
Как он белозубо улыбался!

Не щадя ладоней отвечали,
Хлопая певцу кемеровчане.
Меломан в соседстве с горняками
Вытирали радость кулаками.
По причине той же у плеча
Жёны тушь пускали в два ручья.

В небе над ареною спортивной
Притихал летевший реактивный,
Чтоб унёс домой в душе сосед
Голоса инверсионный след.
С головой в искусство окунувшись,
Стадион сидел не шелохнувшись.

По причёскам, юбкам, как повеса,
Ветерок гулял среди оркестра.
И с пюпитров ноты улетали,
Словно музыкантов проверяли…
Солнце то скрывалось, то сияло—
Знать, поёт в Сибири—не в «Ля Скала»!

Русскую народную над крышами
Голос поднимал, как будто крыльями.
А над ними, золотя свой взор,
Слушал песню Знаменский собор.
Дождь то припускал, то унимался…
Хворостовский пел, и улыбался.

* * *

Полдень чуть теплится зимний.
Чуткая роща линяет—
С кружев берёзовых иней
Медленно перлы роняет.

Миг задушевной погоды
Сводит метели на нет.
Чуткое эхо природы—
Русский наш менталитет.

● ● ●

Вымирает читатель стихов.
В трубку, стиснув тетрадную пропись,
Он как будто уходит на зов
(Сам себя заманил крысолов)
В Интернета безвылазный хоспис.

● ● ●

Одинокая нота
Веселится в полях,
Ей одна лишь забота:
Ля-ля-ля, ля-ля-ля!

Одинокая нота,
Но не грустно, отнюдь.
Ничего ей не надо,
Ничего не отнять.

Словно ей то ли дело
Под прицелом стоять,
Безрассудно и смело
Палачам напевать.

Одинокая нота
Далека, но близка.
И плывут отчего-то
Хорошо облака!

Может всё, что хотите,
А всего лишь одна.
Словно ангел-хранитель
Беззаветна она.

Одинокая нота:
Ля-ля-ля, ля-ля-ля—
Беззаботно свобода
Распевает моя.

Чибис

Вале

Радости случились,
Не прошла печаль:
Позабытый чибис
Окликает даль.

И по-детски смело,
Только нам двоим,
Лето вдруг запело
Голоском твоим.

Поднимись, воскресни,
Чибис у дорог,—
Пионерской песни
Давний ветерок.

«У дороги чибис…
Он кричит… чудак!»
Радости случились,
Лишь печаль—никак…

● ● ●

Родной язык в нас снова растревожит
И русскую тоску, и нашу прыть.
От первых потаённых чувств: «Быть может…»
И до надежды страстной: «Может быть!»

Родной язык. Мы все уйдём и сгинем.
Но строчка будет жить, ей хватит сил:
«Скажи поклоны князю и княгине»,—
Так Бунин в прошлом веке попросил.

А в детстве, кто из нас, как небожитель,
Не отхлебнул из русского ковша?
Родной язык—и ангел наш хранитель,
И песня, словно общая душа,

Которую всё реже дарит радио,
Но верещит всё громче на износ.
Родной язык: «Не в силе Бог, а в правде»,—
В тысячелетье прошлом произнёс.

Народа нет и не было немого.
И гордость, и смиренье на лице
Он выразит: «В начале было Слово…»,
«Пусть… будет пухом…»—он вздохнёт в конце.

Он узелок на память нам и—затесь,
Он оберег наш и—сторожевой,
Он был и есть, как Бог, без доказательств.
Родной язык—наш промысел живой.

Враки

Золотое времечко предчувствий,
А в кармане мелочь да табак.
Ничего и всё на всякий случай.
В Ювенильном море шторм-дурак!

Враки, что не знаем, что случится
(Наперёд, мол, видеть не дано),—
На меня в киножурнале мчится
Паровоз советского кино!

Враки, что не знали, что случится
(Будущее, мол, не ближний свет),
Если с каждой на тебя страницы
Коммунизма счастье вопиет!

А теперь вот никаких предчувствий…
Свет включай, подкручивай фитиль—
Не видать ни зги, хоть крайний случай.
Шторм, как бабочку, пришпилил штиль.

Тихий ужас мчится самолётом.
Коммунизмом хоть детей пугай.
Снова разыграли, как по нотам?
—Враки!—крикнул в клетке попугай.

Поэты Кузбасса

Юлия Сычёва

Берёзовая осень

* * *

Шофёр никуда не торопится,
кепчонку надвинул — и в путь!
Дорога от дома до офиса
даёт мне возможность вздремнуть,
утешась приснившейся малостью
как в сказке — лети, лепесток!
И сесть, поперхнувшись реальностью,
за пыльный компьютерный стол.

* * *

И дым отечества, и запах,
А также вид его и цвет…
Пеняет прогрессивный Запад
Расположению планет.

В глубинке мы не лыком шиты!
Пусть полдень, двадцать первый век —
Считаем непомерным шиком
Ушанку, ватник и мопед.

* * *

Чем дальше в жизнь, тем тише шаг,
и детство ближе,
оно, от счастья чуть дыша,
сосульку лижет.

Мой город, тот, что налегке
был мной оставлен,
плывёт корабликом в реке
и машет ставнем,

незакреплённым, на ветру,
пугая птичку,
и яблочком кислит во рту —
соседской дичкой.

Берёзовая осень

пережив
в переносном смысле
иго листьев,
златой их гнёт,
перед всей
поднебесной высью
обнажённою
предстаёт

* * *

Глаголом я бью что есть сил о кресало!
Напрасно — не воспламеняется трут…
И, чувствую, ждёт меня участь Кассандры:
Сперва не услышат, а после побьют.

* * *

Друг далёкий, единственный, верный,
всё, что раньше писала — забудь.
Нас нещадно подправило время,
неизменна лишь самая суть.

Я по-прежнему в бога не верю,
но отчётливей день ото дня,
наверху, за небесною твердью
он, похоже, поверил в меня.

Собрату по перу

Не обласкан похвалой неискренней
Не осыпан золотым дождём
Этой божьей стихотворной искрою
Ты наказан — не вознаграждён

Эта искра человеку пагуба
Нерасположенье горних сфер
Будет у меня своя Елабуга
Будет у тебя свой «Англетер»

А пока собрат мой доморощенный
Возлюбивший и хорей и ямб
Почитай свои стихи на площади
Равнодушным толстым голубям

* * *

Сытно, и тепло, и сухо
В конуре людской.
Месяца висит краюха
Прямо над трубой.

Смотрит на неё сердито
Беспризорный пёс.
Где же косточка зарыта?
Или кто унёс?

Поэты Кузбасса

Светлана Уланова

Шахтёрская пехота

* * *

Всё так банально и так привычно.
И слава Богу, что всё отлично.

Простое утро, совсем не праздник…
Простые чашки, простые фразы.

Полоски солнца на стол упали.
Нам друг без друга прожить…едва ли.

Всё так привычно, всё так нормально.
Любить банально, и жить—банально…

Но это утро за занавеской!
И наше Счастье в кроватке детской!

Ещё не время

Пришла беда, стоит у двери…
Я не могу в неё поверить!
Я не хочу её примерить,
Зачем стоит у нашей двери
Упрямо?

Я по тебе уже тоскую,
С болезнью я борюсь вслепую…
Я от судьбы не жду ответа
Мне нет роднее человека,
Чем мама…

Больница, белая палата—
Ещё не время для заката!
Я поделюсь с тобою кровью,
Здоровьем, жизнью и любовью!
Встань, мама!

Шахтёрская пехота

Отбой, закончена работа!
И, чёрным обливаясь потом,
По шпалам бодро, как по нотам,
Идёт шахтёрская пехота…

В пластах угля звенят пустоты,
Летят по штреку анекдоты,
А «на-гора» в свои заботы,
Идёт шахтёрская пехота…

Идёт шахтёрская пехота.
Дожить до пенсии охота.

* * *

Планету эту знаю наизусть,
Созвездия, с которыми дрейфую
Повсюду в жизни, и порой вслепую,
На радость, натыкаясь, и на грусть.

Я этот ветер знаю наизусть…
И у него семь пятниц на неделе:
То ураган, то ласков беспредельно…
И пусть бывает солоно на вкус.

Я это небо знаю наизусть—
Чем выше, тем таинственней и глубже,
И чтоб не быть приземистей и уже,
За облаками взглядом тороплюсь.

У витрины

Богатством сверкают витрины,
Гламуром и лоском маня,
И, глядя на эти картины,
Вздыхает дочурка моя…

Пойдём мы от этого места,
А вечером дома—вдвоём,
Состряпаем счастье из теста,
Любимую песню споём…

Украдкой смахнула слезинку,
Встряхнулась… Чего это я?
И дочке сказала: «Соринка…
Чуть-чуть не попала в меня».

Бабушке

Ночь крадётся чёрной кошкой,
Испугавшейся свечи.
Тянет из сеней морошкой,
Хлебным духом из печи.

Вспомним, милая, о прошлом
Или просто помолчим,
Пусть молчанье о хорошем
Растворяется в ночи.

Посиди со мной немножко,
Слово нужное скажи,
Проведи своей ладошкой
Мне по краешку души.

Поэты Кузбасса

Галина Золотаина

Предчувствия

Полуночница

Почернею и окаменею часам к четырём,
Как младая вдовица, бредущая за катафалком.
Удавиться к чертям на берёзе за пустырём,
Да ещё босоножки не сношены. Выбросят. Жалко.
Недочитанный Стивенсон между столом и стеной
Корешком коленкоровым целит в облупленный плинтус,
Ничего не случится красивого в жизни со мной,
Где же тела и духа хвалёный поэтами синтез?
Вот и птаха запела, незримая в тёмной листве,
Вот котёнок проснулся и лапкой песок загребает…
Просыпается жизнь, льнёт к рассвету. Как муха к халве,
Тьма безлунная медленно кожей шагреневой тает…

Предчувствие осени

В жёлобе лета тихонько июль иссякал,
Нежно журчал и примолк — не заметили даже,
Только желтеющий лист в бредешке гамака
Робко шепнул об естественной этой пропаже…
Август ленивым котом на пороге лежит,
Рыжей горжеткой, заплатой на фоне зелёном…
Грусть не о том, что присущи всему рубежи —
Грустно на них натыкаться врасплох иль спросонок…

Предчувствие весны

Деревья голы, но уже не спят.
Стыдливо опуская очи долу,
смиренье и терпение хранят,
и зова ждут к весеннему престолу.
Снег рыхл и тёмен, ноздреват, липуч,
навязчиво пристав к твоей подошве,
он тщится выжить, но весёлый луч
врезается в его сырую толщу.
И с детской беспощадностью, смеясь,
стирает все молекулы снежинок,
все атомы,
оставив только грязь
на глянцевой поверхности ботинок…

Мартовский триптих

1.

Март слёзками разжалобит —
Поверишь, а потом
Очутишься на палубе
С каким-нибудь с котом.
А палуба качается,
А кот поёт романс,
А ночь всё не кончается —
Такой вот декаданс!

2.

Печалиться будем потом,
Под музыку пана Шопена —
Ты встал предо мной на колено, —
А это отличный симптом!
Свободны, как два небосклона,
Как две полноводных реки —
А женятся пусть дураки…
Под музыку бэн Мендельсона!

3.

Не надо, чудо кончится,
Раскрой кавычки рук!
По-прежнему, по отчеству
Тебя я назову.
Трамваи в вашем городе
Шумливы и тесны,
Пускай не будет повода —
До будущей весны!..
Представленные заново,
Чужих играем роль,
Лишь Алька Алифанова
Поймёт, что — не чужой.
Лишь ей, сидящей рядышком,
Понятно, что к чему,
Она за ушко прядочку
Смахнёт и — никому…

Поэты Кузбасса

Алексей Гамзов

Буги-вьюги

Стриж

Как стриж от сентября до мая
в чужом краю
витает, дома не свивая —
так я не вью.
Ведь всё-таки, при трезвом взгляде,
из мест земли
отрадней берег тот, тебя где
произвели.
Ведь всё же, если без притворства —
тот край главней,
где стал потомком, дашь потомство:
держись корней.
Листом берёзовым под пальмой
лежать и преть —
изнанка жизни пасторальной:
по сути, смерть.
Но помести навек в Россию,
закрой маршрут —
я столько счастья не осилю:
сгнию и тут.
И я, и стриж не без причины
в пути всегда:
не можем мы и без чужбины —
и без гнезда.

Буги-вьюги

Как буги-вьюги жгло!
Как изгородь ломало!
Как иссекло стекло!
Иссякло. Доиграло.

Пурга несла пургу
на людоедской мове,
а нынче ни гугу:
спеклась на полуслове.

Прохожий, что дубел,
теперь бредёт, развязен.
Башмак его не бел,
а чёрен, грязен.

Где злость? Где трубный звук?
Где чистота и ярость?
такая юнь вокруг,
а будто — старость.

* * *

Счастье закипает на плите.
Бабочки хлопочут в животе.
Фроста дрозд и Китса соловей
К нам летят, сверкая, из полей.

Но в ответ на «я тебя люблю»
Паузы неловкие ловлю.
И завоет ветер в темноте,
Потому что мы уже не те.

Отходная

На войне — ура! — мы
отличились.
Хоть имели раны —
отлечились.
Все ребята рады,
веселятся:
из палат пора бы
выселяться.
Этот говорлив:
— Забудь заботы!
Тот, насупротив:
— Зовут заводы!
— Всласть отпировать
на смертной тризне,
отполировать —
и к новой жизни!
— Прощевай, ребят!
наш путь неблизок.
— Будет супостат
низвергнут, изверг!
— Ждут нас всех красотки…
— Извините:
отходная. Водки!

А в зените
плыли бомбовозы,
вражья стая,
бомбы,
словно слёзы,
вниз
роняя.

Поэты Кузбасса

Агата Рыжова

Камнем и именем

● ● ●

Всё, что есть человечьего, слабого, мягкого, малого
И земные дела, что до боли в затылке вещественны—
Словно шубу с плеча, отдаю, чтоб прожить тебя заново.
Всё, что кроме любви, для бессмертной души не существенно.

Облетели слова прошлогоднею лиственной сыростью.
Мы сменили лицо, будто платье в казённой примерочной,
Опасаясь из прежнего рта всеми чувствами вырасти
И в кармане бряцая сомненьем—затёртою мелочью.

Всё, что кроме любви, отцветёт по весне и осыплется.
Жизнь на полном ходу расплеснётся машиною гоночной.
Человечьи мечты на прощанье туманами зыблются.
Над унылой землёй вместо сердца несу мячик солнечный…

● ● ●

Когда я была ребёнком,
земля под ногами мчалась быстрей.
На спине я лежала в кроватке
и вертела упругий шар.
Такая игра: как ночь проливается в день, смотреть.
Ни одну из пустынных ночей мне не было жаль.

Когда я была ребёнком,
я строила домики из песка.
В песочных, как коржик, домах
поселялись жуки.
Потом приходили мальчишки,
разрушение и тоска.
Букашке погибшей я лепетала:
живи, живи…

Когда я была ребёнком,
мне снился белёсый сон.
Дом из песчаных плит,
пустыня а-ля Дали,
и я на верху плиты в сорочке стою столбом,
и вдоль горизонта ползут по песку корабли.

Когда я была ребёнком, мне снилось, что падаю
каждую ночь.
Плита подо мною ломалась, песчинки царапали кожу.
И мама тогда говорила: у меня подрастает дочь.
А голос во сне говорил:

человек, никогда не взлетавший,
упасть не может.

• • •

Это—как будто рассвету признаться в любви.
Вот он, рассвет,
его, как буханку, пекли
солнечным светом ли,
голосом птицы ли,
кровью ли.
Соком свекольным щёки ему навели,
бросили в небо—
лети, ясный сокол, лети…

От сотворения мира свободен—какие б силки ни плели.
Вечный удел Ярославны—ждать, облака проливать
горькою жалобой—
ах, мне кинжала бы!..—
сеять кровавые слёзы—вырастут с крыльями корабли.

Это—засыпанный солью, невидящий взор.
Это беспомощный лепет,
как лепесток, ветру брошенный.
Это послание-пение всем—лишь для тебя одного:

где ты, хороший мой?..

• • •

Нечего помнить и незачем жить—я живу,
Плача некстати и пряча глаза от прохожих.
Что мне поможет, когда ничего не поможет?
Голуби с просьбами к Богу по небу плывут.

Выдалось лето, каким не пугают во сне:
Улицы мёртвых надежд опухают от влаги.
Буква кровавым побегом растет на бумаге,
Чтоб хиросимно и ярко цвести по весне.

Всем уходящим—счастливо к забвенью доплыть!
Каждый свою обретёт драгоценную Мекку.
Как написать о небесной любви к человеку?
Всякая буква увянет, и незачем жить.

• • •

Заповедь старцев примерю по-своему:
Всё, что разрушено—будет построено.
Камень разбросан—и время собрать его.
Счастье—врагов перекрещивать братьями.

Всё, что построю—однажды разрушу я.
Что нарушаю—костями наружу, и
Вывернет сущность мою всю изнанкою:
Миру хозяйка—и самозванка я.

Самоизбранница на покаяние.
Я—воздаяние, я—со-стояние,
Вместе стояние с камнем разбросанным.
Храм воздвигаю—и лягу в нём росами,

Алыми каплями в вечности Библии.
Аз есмь начало и память о гибели.
Отче, храни меня! Муж, оттолкни меня!
Миру верни меня—камнем и именем.

Поэты Кузбасса

Елена Елистратова

Эстампы

Эстампы

1.

На октябрьское небо надежды немного.
Поздней осени оттиск—морозом по коже.
И темнеет на плоскости жизни дорога,
И шагает по ней одинокий прохожий.

Воскресенье не празднично, не многолюдно.
Погулял бы с собакой, да нету собаки.
Голос сипнет и рвётся от ветра простудно,
Птиц чернеют едва уловимые знаки.

Он и сам, как пичуга, нахохлен и мелок—
Под изменчивым небом так сыро и сиро,
Средь домов и древесных расхристанных веток
Запятой проступает на матрице мира.

2.

Вот опять чёрно-белая копия—
Я иду, ты идёшь, все идут…
Ни следа от весеннего опия,
Что дурманил людей там и тут.

Вот опять—белый снег, птицы чёрные,
И следы тут и там на снегу
Образуют полотна узорные…
Все бегут, ты бежишь, я бегу.

Скуден мир и не блещет нарядами,
Но внезапен и Богом храним.
И столкнувшись случайными взглядами,—
Ты стоишь, я стою—мы стоим.

3.

Отражения, дежавю…
Будто всё это прежде было.
Будто сам с собой интервью
Записал. И читаешь уныло.

Взгляд скользит по зыбкой черте,
И слепит белизна зимы…
Мы всё те же, но мы не те.
Где тогда настоящие мы?

Вот попробуй, найди себя
В зазеркалье похожих зим,
Искажаясь, множась, дробясь,
Торопясь то от них, то к ним.

● ● ●

Кто там глядит в микроскоп на мираж этот:
Как проникает рассвет за черту ночи,
И суета обживает пятно света,
Словно заполнить собой пустоту хочет?

Птицей встревоженной бьюсь о стекло неба,
Рыбкой потерянной бьюсь о стекло утра—
Может, минуют раскаты Его гнева,
Может, устроится всё, как всегда, мудро.

● ● ●

От топота копыт и грохота тачанки,
От пляски на костях и рёва площадей,
От лающей взахлёб космической морзянки,
Пугающей смешных ленивых голубей.

От беготни вокруг да около, от чванства,
От брани за спиной и визга тормозов,
От воющих сирен, кромсающих пространство
На лоскуты сварливых северных ветров.

От смуты и вражды вселенского размаха,
Где брата гонит брат, детей бросает мать,
Где продана душа, и пропита рубаха,
Пыль по небу летит—и Бога не видать.

● ● ●

Сон деревьев рождает сумерки,
Белокрылый полёт шмеля.
Бабы снежные, словно мумии,
Зимний саван влачит земля.

Мысли теплятся, чувства теплятся,
В пасти чудища голова.
Вьюга рыщет, лохмотья треплются,
Сердце бьётся едва-едва.

Спят деревья, густеют сумерки,
Тьма таится с изнанки век.
В этом городе мы не умерли,
Но не каждый из нас человек.

Юрий Беликов, Сергей Князев

Точка героя, или Свои должны драться за своих

На мой недавний вопрос: «Помнит ли он кинорежиссёра и поэта Сергея Князева, с которым познакомился в самом начале уже далёких девяностых?» Михаил Тарковский ответствовал без обиняков: «Не только помню, но мне о нём время от времени рассказывают красноярцы». Хотя Князев давно уже в Красноярске не живёт. Впрочем, наведывается. В последний раз — в ранге председателя жюри Первого международного кинофестиваля. Однако, будучи сибиряком, здесь жил, снимал документальное кино, выпустил свой, на сегодня единственный и в известном смысле итоговый стихотворный сборник «Давний дневник». При этом к стихам Князева в разное время проявляли и продолжают проявлять интерес достаточно полярные в литературе личности: от Олега Чухонцева до Станислава Куняева, от Валентина Курбатова до Эдуарда Балашова. Чем полярнее, тем лучше. Это говорит о магнитном поле князевских стихов.

Но точно так же, как о Князеве «время от времени рассказывают красноярцы», помнят его и в бывшем Свердловске, нынешнем Екатеринбурге. А спросишь о Князеве в Перми — и здесь он на слуху. Оказывается, у истоков проходящего в городе на Каме многолетнего кинофестиваля нового документального кино «Флаэртиана» стоял он, Сергей Александрович. Красноярск, Екатеринбург, Пермь — некий пространственный крест, на котором распят своей памятью мой собеседник.

Я знавал его ещё в те времена, когда он не носил такую гималайскую седую бороду, могущую сравниться и посоперничать разве что с бородой сибирского классика Сергея Кузнечихина, да и то — в лучшую его небрадобрейную пору. Нынешняя борода Князева вызывает не только уважение — она обладает действенной и даже преображающей силой.

Вот идёт кинорежиссёр и поэт в Москве по Тверской, а навстречу, если вспомнить строки Маяковского, — «как сельди в сети чулок, плывут кругосветные дамы». Не будем уточнять, что сказали бы они носителю любой другой бороды или, допустим, усов. А Князеву:

— Батюшка, отпусти грехи!..

И подспудный, проступающий в Князеве батюшка эти грехи отпускает. Всем своим творчеством — кинематографическим и поэтическим. Потому что:

> …наше царство предавшие люди
> пребывают во мне.

Князев не делит людей на падших и ангелоподобных. И те и другие:

> Пребывают во мне, копошатся,
> произносят тупые слова,
> но дрожат пред молитвою старца.
> Вся Россия сейчас такова.

Выясняется, что не только «вся Россия», но и весь русский мир. Всё больше и чаще живущий той самой «молитвою». Призывающий и рождающий своих героев. Об одном из них — тридцатидевятилетнем пермяке Александре Стефановском с позывным Мангуст, командире разведроты, павшем смертью храбрых за свободу Луганской Руси 5 августа 2014 года, — Сергей Князев снял новый фильм по заказу Министерства культуры России. Так получилось, что в какой-то мере я стал соучастником съёмок и первым зрителем «Повести о сыне».

— Серёжа, в одночасье кнопкой пульта я угодил на некое телевизионное ток-шоу. И там известный тебе писатель Эдуард Лимонов, лично для меня всё-таки ценный своей хронической поперёшностью, застолбил примерно следующее: мол, нынешние времена не дали России героев, обращающих на себя внимание. И, вообще, — героев.

Сдаётся, автор романа «Это я, Эдичка!» числит единственным героем современности исключительно себя. Словно в противовес этому «безгеройству» твой новый фильм имеет посвящение: «Памяти народного героя современности Александра Стефановского». Значит, время крупных личностей всё-таки не заканчивается древнегреческими богами и представлениями Лимонова?

— Юра, ты же знаешь: я телевизор не смотрю — мы его выбросили из дома лет пятнадцать назад, потому и не могу никуда «угодить» кнопкой пульта. Особенно — в такое место, где толкаются писатели для поддержки собственной «популярности». Что же касается фильма «Повесть о сыне», могу сказать: ничего мной не делалось «в противовес» чему-то и кому-то. Сама судьба распорядилась так, что, наконец, появился и этот фильм о Мангусте, и посвящение к нему. Фильм возник неожиданно

в моей жизни летом 2015 года, и так продолжался и продолжается по сей день. Я начал над ним работать, не имея ни копейки денег на производство, и лишь в конце 2016 года получил первый транш по субсидии от Минкульта России, выигранной мной летом 2016-го. Но была и предыстория…

В 2013 году мы вместе с моими киношными друзьями Евгением Костромитиным и Павлом Брызгалиным часто бывали на Хопре, в Урюпинском крае, где шла смертельная борьба хоперских и донских казаков против строительства никеледобывающих предприятий на нашем Черноземье. На стороне строителей оказались некоторые культовые журналисты (Андрей Караулов) и священники (Дмитрий Смирнов). И вот мы увидели настоящих современных героев — людей, дерущихся за землю, которая родит хлеб. И я лично был в азарте борьбы за Черноземье, воспетое поэтом Константином Случевским, и сам писал, быть может, несколько пафосные строки, тем не менее вдохновлявшие борцов:

О Черноземье! Золото России!
Подсолнух твой на берегу пологом
Весь день бежит за Солнцем как за Богом
И миг за мигом прибавляет в силе!

Мы сняли, смонтировали, сделали официальную премьеру в «Славянском фонде» и выложили в Сеть фильм «На лугу пасутся кони». И это помогло казакам в борьбе за чистоту их древней земли. Для нас было очевидно в ту пору: Юг — это бочка с порохом, достаточно одной искры, чтобы она «полыхнула». Но было очевидно и другое: настало время героическое, жертвенное, ищущее самоотдачи и бескорыстия сердец… Прошло ещё немного — и такие люди начали являться — чистая молодёжь нашей страны.

Юность мира в траншеях, на вахтах морей,
за колючками концлагерей…

Это слова Павла Антокольского, песенка Вертинского… Как видишь, близка нашему времени… Так вот, уже тогда, во время упомянутых мной событий на Хопре, в Перми существовал исторический клуб, созданный сварщиком Александром Стефановским, и на занятиях этого клуба обсуждались в том числе и тектонические разломы и сдвиги современной истории. Для Александра и его друзей по историческому клубу — людей с учёными степенями — было понятно, что на юго-востоке Украины, при усиленной украинизации русского народа, возникает движение сопротивления этим процессам. «В определенный момент, — считал Александр, — нужно будет к ним поехать и помочь разобраться в том, что происходит, чтобы победить в предстоящей борьбе».

Весной 2014 года этот момент настал. Русские города заёрзали, зашевелилась и Пермь… Пришло время «Слова и дела». И вот тут-то выяснилось, что совсем немногие решились оправдать своё существование конкретными делами. Александр, ни секунды не сомневавшийся в своей правоте, отбыл на электричках в Воронеж, а дальше, по известным тропам, — в Луганск.

Здесь следует оговориться: много героев, но таких, как Мангуст — пожалуй, больше нет. Это абсолютный пассионарий, убеждённый харизматик, со знанием жизни, с высотами самообразовательных знаний, с массивной родовой памятью, с воцерковленной супругой, с былинными детьми, имена которых — Лада, Ярослава и Илья — говорят о многом… Тут всё сконцентрировалось в единую точку — точку Героя. Да и событий, подобных происходящему на юго-востоке Украины, в нашей истории тоже ещё не бывало. Поверь: с выходом фильма «Повесть о сыне» с годами имя и образ Мангуста станут хрестоматийными, войдут в учебники средних школ. Во многом именно потому, что он — герой народный и в нём проявились лучшие черты русского характера. Поэтому вслед за тобой я повторю: время крупных личностей не заканчивается древнегреческими богами и представлениями Лимонова, или (добавлю от себя) представлениями кого-либо ещё из современных знаменитостей.

— «Повесть о сыне»… Гольфстрим сознания сразу относит к двум художественным, но практически документальным лентам: «Повести о настоящем человеке» и «Балладе о солдате» (неслучайно однополчане Стефановского смотрят в твоём фильме ещё один фильм — хронику Великой Отечественной). Вспоминается и поэма уже упомянутого тобой Павла Антокольского «Сын». Но я сейчас — не столько об ассоциациях, которые, возможно, ты держал в уме, сколько о странном, на первый взгляд, но, наверное, закономерном и даже символическом «двоении», уловленном мною в твоей ленте…

— Образ Стефановского как бы складывается из соборной родовой личности, созданной в этом фильме: это сам Александр, его жена Елена Михайловна, мать Лариса Павловна, дядя — художник Игорь Павлович Одинцов, боевые друзья (прежде всего, воин с позывным Север) и соратники Стефановского по историческому клубу. И это всё: он — в них, и они — в нём. В этом смысле «двоение», о котором ты говоришь, может подразумеваться, но не в смысле «двойничества», а в смысле дополнения черт характера от одного к другому. В большой семье ведь все дополняют друг друга, и каждый, кто рождается, таким образом, «до опыта приобрели черты».

— Тогда уточню. Я пересмотрел фильм несколько раз. В том числе и потому, что как человек

дотошный пытался для себя уяснить: это мать или вдова? В «Повести о сыне»—две женщины, но они чем-то неуловимо похожи, даже внешне, словно горе сравняло их лица. И у той, что различает в сугробе памятник на могиле, и у получающей эсэмэски от Саши: «Бой, молись», а потом говорящей: «Я ему написала: „Будь смелый, отважный!“»

— Понятно, что ни жена, ни мать не хотели бы, чтобы Александр погиб, но они также не хотели и чтобы их сын и муж оказался трусом или предателем… Фильм даёт им возможность отныне быть рядом и вместе, теперь уж ради детей и внуков и ради памяти об их герое Сашеньке—сыне, муже и отце.

— Мне сперва представлялось: это матушка призывает его быть смелым и отважным. Оказалось, жена. И она привиделась мне Ярославной на стене Путивля. Как будто призыв пришёл—оттуда, из тех времён. Да и предсказание—словно трансформировалось из «Слова о полку Игореве»: накануне гибели Александра—рассыпавшиеся сами по себе бусы, им подаренные. И эта фраза не то матери (хотя она ведь мать троих детей Стефановского!), не то вдовы: «Бог всегда человека готовит…»

— Ты прав: в фильме есть отголосок «Слова о полку…», но здесь плачет не только Ярославна, а ещё и дочери Саши—Ладушка с Ярославой: «Милый папочка, приезжай, я буду тебя ждать…» А ещё ведь, кроме рассыпавшихся бус, был «бантик» на голове: след от снаряда, который Мангуст «отбил» своим лбом. Этот «бантик» как бы говорил устами его супруги: «Саша, будь осторожней». Однако он от неё же и получил напутствие: «Будь смел и отважен. Рискуй…» В том весь Мангуст. В отличие от героя «Слова о полку…», он не возвратился живым к жене, но прибыл в Пермь живой легендой, героем, за словом которого люди готовы идти и дальше по этой жизни.

— Вот я и хочу спросить тебя как режиссёра: ты это «двоение» изначально подразумевал или оно отворилось внезапно, по наитию? И—только мне? Может, другие ничего такого и не заметят?

— Пока ещё не было премьеры и фильм не участвовал в фестивалях. Я все свои вещи делаю по интуиции, ничего специально не «подразумевая». Но всё-таки, как я уже сказал, я создавал из нескольких персонажей фильма соборную родовую личность, чтобы показать и живущим сейчас, и нашим далёким потомкам красоту моего родовитого современника. Кто он такой?.. Открываем, например, «Задонщину», читаем о тех, кто пришёл биться с темником Мамаем на Куликовом поле: «А по вере они были русские». Мангуст, по нашему фильму, задаёт именно такой вектор: он стремится к образцу жизни людей, русских по вере. Их отличает от других желание жить по правде: «Ты думаешь, правда проста?.. Попробуй, скажи…» Это слова Марии Петровых, великой молчальницы, о которой Давид Самойлов как-то заметил, что она «втайне вырастила стих».

Вспомни: древний наш летописный свод так и назывался—«Русская правда». Шукшин утверждал в прошлом веке: «Нравственность есть правда», Довженко говорил, что «Красота выше правды», Достоевский—что «Красота спасёт мир», а Тургенев констатировал: «Делание добрых дел выше самой сияющей красоты… Всё пройдёт,—по слову Апостола,—любовь останется…».

Теперь мы с тобой подошли к трём «движущим силам» образа Мангуста—Правда, Красота и Любовь. Эти силы в разное время фильма сопутствуют разным его персонажам, но все они вместе—Мангуст: он правдив, красотолюбив и любвеобилен.

— Всё же память недаром вынесла меня к «Слову о полку Игореве», потому что в Александре Стефановском сквозит некая былинность. Особенно—в кадрах, отснятых им самим в мастерской его дядюшки—пермского художника Игоря Одинцова. Кстати, тоже Игоря. Здесь Стефановский ликом—прямо-таки Добрыня Никитич, если не Илья Муромец! Говорят, он слагал былины?

— Он вдохновенно импровизировал в этом ключе и стилистике…

— Например, о Правде и Кривде: «…но Кривда воспротивилась: „Нет, я не помню, когда меня создал Бог. Бог меня не создавал“». И там же: «Мы защищаем не Добро и Зло, а Правду. А Кривда очень часто строит из себя Добро…» Правда, по Стефановскому, заключается в том, что «свои должны драться за своих». И дальше: «Соответственно, я—русский и дерусь за русских».

— Не знаю, является ли былиной «Слово о полку Игореве». Это скорее авторский поэтический репортаж о горьких событиях своего времени с плачем-призывом Евдокии-Ярославны князю Игорю поскорее вернуться домой… А в отношении былин—помнишь, рефреном проходит по Древности: «Матушка Добрынюшке наказывала…». Вот и наказывает матушка (жена и мать, по твоему видению, к которому я присоединяюсь), своему самому доброму, самому умному, самому любящему и любимому сыну и мужу… Мне подсказывает ассистент, что во время работы, когда фильм был уже смонтирован, я говорил об эпизоде с бусами и песней: «Это плач Ярославны на Путивле»… Так что ты, опять-таки, угодил в точку! В точку Героя. Не хочется делать лишних натяжек, чтобы не впасть в экзальтацию, но действительно, времена смешались, иной раз кажется: мы сидим глубоко «в веках» и смотрим оттуда на то, что случится через десяток столетий…

Что же касается сказки о Кривде и Правде, Александр имел такое дерзновение переложить это древнее произведение на современный лад; я для фильма взял лишь небольшую частичку сымпровизированного им произведения—рассказанной видеосказки. Словно бы походя, с богатырской лёгкостью он создаёт новый мультимедийный жанр: авторскую видеосказку. И именно с высот древней сказочной мудрости рассказывает о Злой Правде, способной выколоть глаз Кривде, и о том, как события этой битвы отразились в русской поговорке «Правда Кривде глаз колет». Не та, современная «пиарская» Кривда, которая часто прикидывается доброй, правит миром, по Стефановскому, а именно злая Правда, способная выколоть Кривде лживое око…

Ну вот, поэтому «Свои должны драться за своих»—это основа мировоззрения Александра, стоящая на высшей ступени его иерархии. Всё остальное—и обязанности перед семьёй и родственниками, и другие действия, и поступки в пространстве и времени—существуют лишь в объёме этого глубочайшего смысла. Как человек, искушённый глубокими историческими знаниями, перед мысленным взором которого проходили эпохи, времена и народы, Стефановский видел, как великие цивилизации утекали в нети, и поэтому был убеждён, убеждён и ещё раз убеждён: для того, чтобы мы сохранили своё лицо и перестали умаляться, приумножаясь и в численности, и в территории, и в добродетели, свои должны драться за своих.

—Вот какого посыла не достаёт сегодня в «материковой» России! В которой, как ни парадоксально, слово «русский»—едва ли не под спудом, во всяком случае, произносится с оглядкой…

—Да, такие, как Мангуст,—сегодня в меньшинстве. Хотя окружающие обычно трепещут, видя свободного, красивого, талантливого человека, легко раздающего людям крупицы золота своей небесной души. Таким, как Мангуст, верят. Такими облагораживается весь русский мир, и никто не посмеет назвать иного, к примеру, «русской свиньёй». Сам образ Мангуста запрещает действовать таким силам. Вот что такое сила Правды и заступничество «своих за своих»!

—Ощущение, что подлинная Русь ныне там, на Донетчине, где, между прочим, когда-то и разворачивались события, описанные в «Слове…»? И многие русские пассионарии оттого-то и тянутся туда? И не только потому, что «свои должны драться за своих», но, вероятно, и по той самой причине—что здесь, в теперешней РФ, «Русью не пахнет»?

—Там, на Донетчине, как ты говоришь, были островки подлинной Руси с весны до осени 2014 года; она там проявлялась, как в стихотворении Николая Рубцова:

> Теперь она, как в дымке, островками
> Глядит на нас, покорная судьбе…

Русь в Луганском краю проступала там, где находился Мангуст. Основной помысел его разведроты был чист, высок и прекрасен. Ни о каком мародёрстве или чём-то ещё подобном там не могло быть и речи. Мангуст знал, для чего он стоит на подступах к Луганску, защищая пригород Комброд. Основной девиз ЛНР «Воля и труд» произнесён его устами. Философия воли—каждодневная работа Александра с бойцами, объяснение, для чего мы здесь, за что воюем и за что воюет противоположная сторона. С уходом Мангуста из жизни я сомневаюсь, что на каких-то островках Донетчины теперь пахнет Русью, хотя девиз «Воля и труд» и сегодня красуется на шевронах.

—Я впервые перефразировал этот пушкинский афоризм про «русский дух» ровно тридцать лет назад—в 1987 году. И было это в редакции журнала «Юность». Тогда, как ты помнишь, она издавалась миллионными тиражами и располагалась на Тверской-Ямской. А у входа с наступлением сумерек светился зелёным неоном узнаваемый рисунок Стасиса Красаускаса…

—Примерно в то же время, году в 85–86, целую пачку моих стихотворений принёс в «Юность» Олег Григорьевич Чухонцев. Несколько лет над моей подборкой работали редакторы…

—Да, они умели работать. Годами! Позднее завотделом поэзии Натан Маркович Злотников меня «просветил»: «Юрочка! У нас—своеобразная табель о рангах: сначала автор выходит с колоночкой, затем—с полосочкой и только потом мы даём ему разворотик!..» И вот как-то раз, дождавшийся вожделенной «колоночки», я на одном из заседаний тамошнего знаменитого литобъединения, тем не менее, выступил, можно сказать, с программной речью. Она заканчивалась весьма дерзновенно: «Здесь,—тут я сделал паузу,—Русью не пахнет!» Сам понимаешь, сей выпад не мог не вернуться ко мне бумерангом…

—Да, с определением запашка ты явно не ошибся…

—Впрочем, года через три—примерно тогда, когда мы с тобой познакомились и подружились—я был приглашён Виктором Липатовым, будущим главным редактором и тогдашним замом главного, войти в редколлегию «Юности». По тем временам—почти сенсация! Во-первых, я оказался в том составе единственным, живущим в провинции. Во-вторых, на тот момент самым «юным» (лет… тридцати) из всех членов редколлегии «Юности».

— В общем, самый юный провинциал в «Юности»… Я бы сказал просто: пермяк-чусовщик в «Юности».

— Чусовщик — не тусовщик…

— Вот именно! Я же с твоими стихами познакомился, находясь в Красноярске, в гостях у тогдашней супружеской пары Наташи Гашевой и Павла Полуяна. Это были «Пять таблеток анальгина», «Глаза моей матери» и «Романс о музее»… Наташа читала и всё приговаривала: «Но Юра — он мастер…» Потом появилась её статья «Пристальное поколение восьмидесятых», где немало строк было уделено и твоим, и моим стихам… Статья эта сохранилась в моём архиве…

— А в моём архиве — выпуски «Русской провинции», года на два прописавшейся в «Юности». Такую рубрику я предложил Липатову учинить в журнале. Виктор Сергеевич тут же заговорщицки приложил палец к губам: дескать, не надо вслух, всему своё время. И оно настало — самое начало девяностых…

В «Юность» заглядывали не только Василий Аксёнов, Владимир Войнович и Юлий Ким. Оглашаю авторов из своего списка: Сергей Князев, Михаил Тарковский и Сергей Нохрин. Впрочем, были как представители «Русской провинции», так и своего рода межклассовые персонажи, тоже пришедшие в «Юность» со мною. Об одном из них ты даже снял фильм. Название — подходящее: «А гений — сущий дьявол». Но фильм-то — не только о нём. Кто-то до сих пор думает, что — о нём. И главный герой поначалу так думал. А ведь ты, ко всему прочему, изнутри увидел тогдашнюю «Юность»! Причём не столько как журнал, сколько как некое типическое явление. Не случайно Виктор Сергеевич Липатов, очевидно, что-то «раскусивший» в задумках Князева, постоянно ускользал из кадра. Что за культурный пласт «разверзся» перед тобою и насколько, по твоему мнению, он живуч в теперешней России?

— Киношники любят повторять: «К экрану колокольчика не подвесишь!» Поэтому мне немного неловко, что я «развякался» тут, как говаривал Аввакум Петров в оны дни. Но! — «Рассказывать, так уж рассказывать!» — повторю вслед за другим духобором Сергеем Антоновичем Клычковым. Упомянутый тобой в начале нашего разговора Эдуард Лимонов в 1993 году, перед выборами, выпустил книгу о Жириновском. К тому времени я закончил работу над фильмом «Остановка» о сибирских игроках в бисер, заглушивших в Красноярске-26 (ныне Железногорск) атомный реактор АД-1; к концу 1994 года находился в стадии монтажа и изготовления субтитров для фильма «Россия. Опыт молчания», снятого в тех же пермских пределах. В эти годы у меня вполне сложилась картина метода реального кино, так сказать, типологическая схема малого кинематографа, состоящая из эффекта Флаэрти, эффекта Вертова и эффекта Эсфири Шуб. А ещё — структура и манифест Молодёжного Творческо-Производственного Объединения «МИФ» на Центральной студии документальных фильмов, где я был главным редактором, у которого — отдельный кабинет, а на столе — графин с гранёными стаканами…

— В этом месте случайный слушатель нашего диалога, думаю, озарится репликой: «Отдельный кабинет и графин с гранёными стаканами — это мы понимаем и даже приветствуем, а вот «эффект Флаэрти, Вертова да ещё Эсфири Шуб» наступал, вероятно, в результате столкновения этих самых стаканов?»

— Особенно — когда я приходил в гости в журнал «Юность», где ты меня и познакомил с великим мифотворцем Юрием Влодовым…

— А причём тут Лимонов, выпустивший книгу о Жириновском?

— Помню, Влодов протянул мне руку: «А Вы знаете Жириновского?..» И пояснил: «Вот человек, полукровка, который легко нарушает установленные границы нравственности и в поведении, и в словах. По-видимому, он гений. Ведь гений — это тот, для которого нет запретных границ…»

А вслед за этим Влодов отрекомендовал и себя: что и он — гений. И попросил меня прочесть свои стихи. Я прочёл. Он констатировал, дескать, я талант, а «Влодов и Беликов, в отличие от меня, — гении: им не подвластны границы цензурных или иных запретов!..» Я не стал спорить — отстаивать себя и свой путь в поэзии: ведь во мне мгновенно созрел замысел фильма о человеке-полукровке. К тому времени в «Юности» вышли и твои «Легенды о Влодове». Убеждать «меценатов» пришлось недолго. Я быстро написал заявку, мне поверили, и вскоре начались съёмки государственного неигрового фильма с рабочим названием «Евангелие от Влодова»…

— И это стало своего рода высокой местью таланта всяким там «гениям»?..

— Тут — согласно Пастернаку: «Талант — единственная новость, которая всегда нова…» Ты помнишь, что было на кинофестивале «Россия» в 1995 году, когда показали фильм «А гений — сущий дьявол» в основной программе?! Кое-кто из жюри буквально сучил ножками! Липатову же редакторы отдела поэзии Злотников и Новиков, скорее всего, сказали, кто я такой и что моя подборка готовилась к публикации в «Юности» с подачи самого Чухонцева!.. А так как Виктор Сергеевич был, как он сам однажды выразился, «в словах и в делах — осторожен», конечно, он избежал съёмки в том фильме. Но, правда, и не попал в Историю… Так как фильму суждено храниться в Госархиве

до тех пор, пока будет существовать наша страна (он снят на киноплёнке, что хранится веками).

И вот поэт Юрий Влодов в этой «бессмертной» киноленте утверждает, что русский язык не даётся человеку иноязычного происхождения, а даётся только своим — коренным носителям языка… Но правда и трагедия в том, что он и сам является полукровкой — сыном русской матери и отца-еврея. Отец, по словам моего героя, иногда, в пылу ссоры, называл свою жену «русской свиньёй», а мать, в свою очередь, не долго думая, именовала супруга «жидовской мордой». Когда же мальчик высказывал не то любопытство, не то недоумение по поводу взаимных родительских нападок, матушка отмахивалась: «А! Любовь, сыночка!»

При таком воспитании их сын стал сначала вором в законе, а потом поэтом. Дерзость, присущая ему с детства, позволила Юрию Александровичу легко верховодить среди слабохарактерной интеллигенции. Писал же он виртуозно, но, на мой взгляд, не более чем технично. Я сразу же уловил в его стихах интонации Ильи Сельвинского и однажды сказал ему об этом, назвав его даже эпигоном автора «Улялаевщины». Это привело Влодова в бешенство, но факт остаётся фактом: позже выяснилось, он действительно занимался в семинаре Сельвинского в Литинституте в шестидесятых годах! Меня же очень огорчало его беспардонное и панибратское отношение к Иисусу Христу. Я знал, что жизнь Влодова будет чрезвычайно трагична, ибо известно, что «смерть грешников люта».

Фильм этот я оставляю на суд будущим поколениям, они многое узнают через него о нашем времени, но нас к той поре уж давно не будет на свете. В этом фильме и журнал «Юность» с его «Литературной гостиной», и наша с тобой Юность, Юра… Заглядывавший тогда в редакцию поэт и бард Нохрин Серёжа ушёл путём всея Земли, Тарковский Михаил охотится в сибирской Бахте и пишет свои стихи и рассказы, Влодов Юрий Александрович шагает по страницам Интернета под хоровые возгласы «Гений! Гений! Гений!», и его сопровождают монтажные листы из моего фильма с описанием кадров, сделанным восторженными почитателями: «Гений переходит улицу», «Гений в кабинете главного редактора»… «Гений, гений!». «Пасынком русого солнца и пасынком рыжей луны» назвал себя человек, стоящий на языковом перепутье; знающий о собственном «величии», но, с моей точки зрения, ни разу не узнавший на опыте, что такое живой природный русский язык… Такова сила крови… Таков «культурный пласт», о котором ты спросил. Такова трагедия тех, кто не свой.

— Стало быть, мы опять, как на колесе обозрения, воротились к посылу «народного героя современности Александра Стефановского»: «Свои должны драться за своих»?

— Как видишь, колесо обозрения встречается не только в парках, но и в диалогах.

— … и этот посыл, хотим мы того или нет, выражает один из главных конфликтов нынешнего дня? Кстати, ты — конфликтный человек? Я почему так в лоб спрашиваю? Несколько раз мысленно ловил тебя примерно на одном и том же. Ты будто проговаривался: «У меня — конфликт с заказчиками фильма про девяносто третий год» (который, помню, я озвучивал). Или, казалось бы, маловероятное: «У меня — конфликт с епархией!» (Это уже — про фильм «Приношение русским святым», также озвученный мною, а заказанный, если я не ошибаюсь, Владимирской епархией.)

Помню давние строки из Игоря Шкляревского: «Но чем трудней как человеку, тем как поэту легче мне». Лично для меня Сергей Князев — не только несомненный поэт, но и поэт в кинематографе. Поэтому я представляю, каким ты выходишь из конфликта. Однажды мне рассказывал тот же Влодов, как ты знаешь, обожавший выдумывать и мифологизировать: «Гляжу, ма-а-а-ленький такой Князев пыркается у ЦДЛ на каких-то громил. Буквально подлетает к ним с кулаками, при этом нисколько их не боясь…»

Возможно, этого эпизода в твоей жизни и не было, но, я думаю, вполне мог состояться. Как заметил ещё Осип Мандельштам:

А мог бы жизнь просвистать скворцом,
Заесть ореховым пирогом…
Да, видно, нельзя никак.

Наверняка твоя творческая судьба богата на схожие ситуации? Насколько конфликт мешает или помогает творчеству и профессии?

— В 1998 году, в конце июля, я сдавал худсовету Творческого Производственного Объединения художественных фильмов Свердловской киностудии свой дебютный в игровом кино короткометражный фильм «Двинский чай», снятый по мотивам романа Сергея Клычкова «Сахарный немец». Один человек на худсовете, начальник, но без ВГИКовского образования, режиссёр-документалист в прошлом, начал прямо-таки взбешиваться (иного слова я не подберу!), задавать мне вопросы с придирками: «Где мотивировка? Где конфликт в эпизоде?..» Я сказал в ответ, очень резко: «Мотивировка и конфликт — в герое, ясно Вам?..» Им ничего не ясно. Им ясно одно: если к ним придёт, не дай Бог, самый-самый-самый режиссёр, они ему покажут кузькину мать!

В истории нашего кино это был первый фильм о Первой мировой войне. Мы с оператором-постановщиком Антоном Антоновым, художником

Валерием Лукиновым и композитором Сергеем Сидельниковым разработали и сняли фильм, я вырезал засветки и в монтаже дошёл до финала. Я посмотрел получившееся. Всё выражено точно. Герой не сломался, Дон Кихот не отступил от своего идеала. Он идёт до конца, окружённый предательской сворой. Вот бы киностудии поддержать созданный фильм! Но нет! Наоборот — люди стали мне грубить и хамить от своего отчаяния и творческого бессилия: «Поповское кино!» (хотя в фильме нет ни одного священника!), ну и ещё несколько ярлыков и эпитетов… Я отряхнул прах со своих ног и больше никогда не показывался в Цареубийске…

— Известно, что в том же году на кинофестивале «Киношок», проходившем в Анапе, эта твоя работа взорвала аудиторию, и на пресс-конференции весь интерес публики был обращён к Сергею Князеву, так что кое-кому приходилось просить кинокритиков (теперь уж покойных) перевести стрелки на фильм «Дети понедельника» Аллы Суриковой и актёра Игоря Скляра, сидевшего в зале рядом с тобой… А продюсер из Казахстана Газиз Шандыбаев говорил с восторгом тому самому Князеву: «Если бы твой фильм вышел в Казахстане! Тебе были бы везде открыты дороги!» Но фильм Князева вышел в России в 1998 году, в самый дефолт!

— Юра, я кратко рассказал о том, что было в период производства, и ты дополнил, что приключилось во время показа всего лишь одного фильма, но у меня работа над каждым из них, начиная с самого первого, являет собой увлекательный детектив (если, конечно, посмотреть со стороны). Конфликты на тех фильмах, где мы работали с тобой вместе (голос твой выражал мои главные мысли), можно отнести к заурядным или банальным. Это были уже двухтысячные годы, мне приходилось порой иметь дело с людьми иного интеллектуального склада. Поэтому сейчас кажется: ничего удивительного не было в том, что я находился в конфликте с заказчиками от какой-то епархии или от людей, связанных с событиями осени 1993 года. Несмотря ни на что, мне удалось создать образ святителя Афанасия (Сахарова) в часовом фильме «Приношение русским святым» и образ народного героя девяностых годов, казака, сотника Виктора Морозова в тридцатидевятиминутном фильме «Улица казака Морозова», где тоже звучит твой голос…

Я поступал во ВГИК, подав на предварительный конкурс работу «Особенности авторского монтажного видения в поэме А. С. Пушкина „Кавказский пленник“». Я был участником двух всесоюзных совещаний молодых писателей, мне предложено было вступить в Союз писателей СССР в 1989 году, я снял свой первый фильм, используя стихотворное композиционное построение (я был с самой ранней юности уверен, что могу и умею быстро и качественно снимать и монтировать фильмы наподобие стихов). Второй свой фильм я выпустил с подзаголовком «Стансы», это было абсолютно новое слово в построении кинематографической формы. Поэтому фильм получил Гран-при на Международном кинофестивале «ВГИК-92», обо мне был снят телевизионный фильм на Первом канале в программе «Под знаком пи» с ведущим Игорем Николаевым.

— Как говорится, перед Сергеем Князевым открывались прекрасные творческие горизонты…

— И я готовился к постановке фильма «Живи и помни» по Валентину Распутину и снимал экранизацию «Игры в бисер» Германа Гессе в документальном варианте. Это был колоссальный эксперимент соединения игрового и документального кино. Но… 21 сентября 1993 года началось противостояние в Белом Доме, а 3 и 4 октября были расстреляны мирные жители России, и страна резко поменяла свой курс и вступила в иную формацию. В 1993 году не состоялся фестиваль «ВГИК-93», где я должен был возглавить жюри. Далее — в ознаменование «смены вех» — заинтересованные люди организовали молодёжный кинофестиваль «Святая Анна». Я вернулся из дальних странствий по Сибири в Москву и увидел, что обо мне здесь уже забыли. Но это совсем не беда. Я быстро напомнил о себе и продолжил работать.

Однако не будем невежами: до Шкляревского ещё Блок говорил о том, что страдание рождает стих. Поэт не находится в конфликте к окружающему миру. Он, наоборот, ищет гармонии. И нет больше счастья для него, чем «жизнь просвистать скворцом». Но, ей-богу, об ореховом пироге как-то грешно мечтать. Действительно, «нельзя никак…». Тут прав Осип Эмильевич, хоть он и обещал «построить такие дремучие срубы, чтобы в них татарва опускала князей на бадье». Больно уж мне не нравится это его желание. И всегда хочется не дать ему нашалить в отношении русских князей! Между прочим, иногда для некоторых произведений бывает очень актуальным «хрущёвский» конфликт между хорошим и очень хорошим. От этого конфликта всегда появляется на лице улыбка и наступает долгожданный катарсис…

— Один из фильмов твоей начальной кинематографической поры, который ты уже упомянул, — «Россия. Опыт молчания». Это лента о первом подвижнике Святогорского мужского монастыря игумене Варлааме, начавшем поднимать из запустения знаменитую прикамскую обитель. Название фильма — стопроцентно лично выстраданное. У поэта и кинорежиссёра Сергея Князева «опыта молчания» хоть отбавляй. 1984 год. Ты — участник VIII Всесоюзного совещания молодых писателей. Семинар Роберта Рождественского и Петра Вегина. Казалось бы, далее пути в литературу открыты.

Но поэт Князев качнулся в сторону кино. Да и сам ты в автобиографии отмечаешь: «В кино пришёл из поэзии. В поэзии являюсь одним из последних учеников ленинградского поэта Глеба Сергеевича Семёнова». У поэтической книги, которую ты в 1991 году выпустил, будучи тогда в Красноярске, тоже говорящее название: «Давний дневник». После чего — тот самый «опыт молчания». Он, конечно, не означает, что Сергей Князев не пишет стихов, однако широкому читателю как поэт он неизвестен.

Но ведь и в кино у тебя — тот же опыт молчания, который ты уже отчасти очертил. Я не знаю, каким периодом ты этот кинематографический «опыт молчания» исчисляешь (быть может, целым десятилетием?), но то, что ты вдруг «оттаял», вышел из тени, приехал в Пермь и снял фильм о «народном герое современности Александре Стефановском», а в Москве открыл дискуссионный киноклуб «Златая цепь», свидетельствует только об одном: что этот «опыт молчания» прервался. Тогда я как бы закольцовываю предыдущий вопрос: во благо или во вред подобный «опыт» для творческой личности?

— Когда я был на съёмках в Перми в феврале 2017 года, то очень обрадовался, что в здешней библиотеке духовного возрождения любят и ценят тот самый мой фильм о Белой Горе. Они удивились и даже восхитились, узнав, что именно я и есть автор старого фильма «Россия. Опыт молчания». Этот фильм в 1994 году получил Большой Приз кинофестиваля «Образ веры». И мы вместе с директором фестиваля Виктором Максимовым и актрисой Ириной Купченко ездили в Калязин, чтобы показать эту ленту и наградить калязинских кинолюбителей за их успехи. И там я перед сеансом прочёл цикл «Стихи о Белой Горе»... Просмотр обрёл иной уровень от соединения чистой поэзии с поэзией кино. Здесь повенчались две правды — стихотворная и кинематографотворная. Я писал брошюру о Белой Горе и сценарий художественного фильма «Неупиваемая чаша» на этом же материале. Но и то и другое осталось незавершённым. По сути, уже тогда я начал разрабатывать трансмедиапроект. Технология эта стала актуальной не так давно, и появился уже специальный курс по предмету «трасмедиа» — он читается в Высшей школе экономики. Ни фильм, ни цикл стихов с тех пор не устарели.

В конце 90-х годов мне позвонили с телевидения. Православная телепередача на каком-то московском канале. Наговорили лестных, торжественных слов, попросили видео. Там был ещё какой-то чел с величественной фамилией Державин. Какой-то учёный кандидат стал проявлять интерес к судьбе убиенных монахов, к игумену Варлааму (Коноплёву)... Ну, я и принёс ему ксероксы списков и копии некоторых других документов... И все они, повторяю, нахваливали и меня, и мой фильм... Даже как-то неловко было...

А через неделю вышла некая передачка о том, как православное агентство вместе с Патриархом посещают Белую Гору. Нарезан там некоторый кадровый салатик, и из моего фильма взяты кадры, чтобы сделать из них заплатки по видео. Я позвонил, спросил, в чём дело. В ответ получил хамское женское гавканье о том, что я должен бы поблагодарить их передачку за то, что они соизволили взять для своих заплаток кадры из фильма «Россия. Опыт молчания», который, по их словам, всё равно никому не нужен и будет стоять у меня дома под кроватью... А так хоть пригодился несколькими кадриками... Не знаю, как распорядились мужчины полученными от меня ксероксами... Больше мне никто не звонил и ничего не говорил об этом...

Я приехал домой, открыл «Добротолюбие», Нила Синайского: «Кошка стережёт мышь видимую. Но мышь невидимую стережёт мысль молчальника». Вот, Юра, я и учусь стеречь мысль невидимую...

Молчание — сквозная тема моего творчества, как в поэзии, так и в кино. Но то, что ты подразумевал в своём вопросе, больше относится, видимо, к замалчиванию? Это такая технология. Технология борьбы с человеком. Например, не так давно одна наша коллега, документалист из старшего поколения, решила для одного киношного ресурса вспомнить о жизни Свердловской киностудии 90-х годов. Там упомянуты все мои друзья. Кроме меня. По её воспоминаниям, меня не было на этой студии в 90-х годах! А ведь я даже выручал её, создавая из некоторых беспомощных материалов её творческого объединения, за которые никто не брался из боязни, киножурнал, коему студийные начальники присваивали высшую категорию! Если это не опыт замалчивания, то что?

Один мой друг-киношник приходит и дарит мне на День рождения папье-маше с надписью «Мастер», говоря при этом, что подарок сей не за кино, а за поэзию: он ведь сам киношник, и папье-маше с такой надписью больше приличествует ему! Мой фильм «Наш день. Стансы» как получивший Гран-при на фестивале ВГИКа должны показывать студентам этого вуза, но так как там преподают мои «друзья», бывшие коллеги по Свердловской студии, они обкрадывают студентов тем, что не желают демонстрировать им этого фильма. Это все тот же опыт замалчивания. Но этот опыт хорош — он учит быть независимым в суждениях. При таком опыте у людей появляется творческое и поведенческое бесстрашие.

Мне хорошо и вовремя подсказал Глеб Сергеевич Семёнов о вреде чрезмерной публичности. Году в восьмидесятом прошлого века мы возвращались с занятий ЛИТО «Нарвская Застава» на

Петроградскую сторону, где жили по соседству: я — в доме №13 по Большой Зелениной, а он — в доме №16, на четвертом этаже. Я пользовался излишком трамвайного времени, чтобы поговорить с мастером, успеть задать ему важные вопросы о поэзии. И вот он вдруг стал говорить мне, что подумывает о моей публикации в альманахе «Молодой Ленинград». Я ответил, что, может быть, ещё рано мне выходить в альманахе. Надо бы уж выйти, так выйти — допустим, как Евтушенко, или, вот, как Вознесенский… — «Это как?.. Со скандалом?», — спросил меня Учитель… Слава Богу, я никогда не выходил на публику со скандалом! Может, именно потому, что получил первый и главный урок молчания от Глеба Сергеевича.

В просторной комнате, на массивном пустом столе, покрытом тёмной скатертью, лежала чёрная синодальная Библия. Сердце моё трепетало, когда я смотрел на этот величественный, увенчанный Библией, рабочий стол Глеба Сергеевича.

И вот, живу на верхнем этаже.
Душа поближе к Богу захотела, —

писал он незадолго до своего ухода. У него было чему поучиться!..

Отвечая на твой вопрос о моих периодах молчания, скажу, что я не показывался на публике, потому что не успевал — был всё время занят налаживанием кинопроизводства. За мою творческую жизнь произошли два революционных перехода кинематографа на новые форматы: с плёнки на видео стандартного разрешения, а позже — на видео высокой чёткости. Всё это хайтек, и я это знаю довольно основательно. Я стал «продюсером поневоле», «рыцарем печального офиса», потому что с 1997 года развиваю собственную производственную базу. А это связано с ответственностью и рисками, и чаще всего с внезапной нищетой, из которой ох как непросто выходить!.. Но именно благодаря этой базе я смог снять довольно много авторских фильмов и помочь некоторым хорошим режиссёрам снять их собственные работы. Правда, почти не ездил на фестивали и почти не показывался на телевидении. Сам я нигде не печатал своих стихов, сценариев, рассказов, статей… Если они где-то и увидели свет, то усилиями близких моему сердцу подвижников.

Но сейчас я, действительно, выхожу к людям. Именно с фильмом о народном герое Александре Стефановском. Хочу посвятить его памяти и иные свои труды — написать книгу и снять художественный фильм на материалах его судьбы. Может быть, как продюсер. Может быть, как режиссёр и продюсер. Посмотрим, как будет идти дело сие, мною начинаемое… Не буду гневить Бога — поблагодарю за все страдания и за счастье прожитых лет. Ведь парадокс в том, что человеку всё идет на пользу, даже невинное страдание. Он даже и обязан страдать невинно, если желает хотя бы чуть-чуть подражать Христу. На нём же не было никакой вины, а как Он страдал!..

— Даже если бы я не смотрел твоих фильмов, а просто цепким взглядом пробежал бы по их названиям, картина авторских предпочтений вырисовалась бы сама по себе: ещё раз «Россия. Опыт молчания», «Чувство Родины», «Отченька», «Приношение русским святым», «Отец Глеб». «Монахиня Георгия», «Куликовская битва»… И — точно так же — даже если бы я не читал твоих стихов, мне достаточно было бы заглянуть лишь в их начало: «Я ходил по глубинной России…», «Родина! Пни да овраги…», «Меня уносит шитик Аввакума…», «Я стал бы странником сопелковского толка…», «Глубиною крестьянского рода не славословься, душа…» — и я бы уже узнал своего, дикоросса. Как определил дикороссов наблюдательный критик Алексей Комаров из Иркутска, «приютские» никогда не лезли на глаза, всегда «тишились», узнавая друг друга по выражению глаз, всегда держались «стайкой» — против всех (потому что отдельные «представители всех» били «приютских частенько…»). Думаю, это про меня и про тебя. Про тех, кто живёт и занимается творчеством в глубинной России. И кого она не отпускает как тема. В глубинной России — своё время. Не местное, а своё. Не откажу себе в удовольствии процитировать Князева:

Слава Богу, никто и не вспомнит,
Что в селенье Косые Мысы
Есть одна из оставленных комнат,
Где идут, как попало, часы.

Скажи, в нынешнем отечественном кинематографе и современной русской литературе нас, действительно, «стайка»? Это хорошо или плохо? Я не беру сейчас в качестве примера эмблематичное кино и точно такую же литературу (эмблематиков предостаточно!), я имею в виду тех, кто видит, слышит и в силу данного им дара выражает селенья, «где идут, как попало, часы». Или теперешним смотрителям за ходом часов хочется, чтобы их стрелки непременно соответствовали московскому или, по крайней мере, местному времени? А может, воистину, «Слава Богу», что из смотрителей «никто и не вспомнит» про показания времени в «оставленных комнатах»?

— В одной из моих биографий написано, что в поэзии Сергей Князев примыкает к созданному Юрием Беликовым движению дикороссов. Что это означает? Ну вот, не так давно, оказался я вдруг на станции метро Зябликово в Москве, где во мне пробудились такие стихи:

Здесь выход или переход?
Ещё не так уж поздно, вроде —
Куда девался весь народ?
Мы передохли в переходе.

Это стихи дикоросса. Как видишь, в них тоже время как бы присутствует, слегка блуждая… Это я сейчас вдруг обнаружил, после твоих замечаний о стихотворении «На часах отворяется дверца». У меня есть синопсис фильма с названием «Времяисчислительный снаряд» о нижегородском мастере Кулибине, не доделавшем часы для купца, пожелавшего их преподнести императрице. Екатерина II приняла недоделанные часы, но вместе с ними пригласила в Петербург и самого Кулибина, чтобы он сей «Снаряд» довёл до ума в столице. Как видим, над временем трудятся все.

В моём фильме «Наш день. Стансы» есть эпизод, где часы действительно идут вразнобой! Мама спрашивает: «Ну-ка, скажи, сколько времени?»,—а отец отвечает: «А сколько тебе надо? Вон, посмотри»… Один из моих последних фильмов называется «Аркаимское время в стране городов» о загадочном городе-обсерватории на Урале. Пятидесятидвухминутному фильму сопутствуют стихи, где меняется пространство и время:

> На древней Родине, на Юге мы Урала.
> Здесь лесостепь меняет образа
> За мигом миг. Смотри! Лишь солнце встало—
> Ан белый горний свет зовёт мои глаза.
> Спиральной маковкой пестрит Гора желаний,
> И током вихревым объят поток людской,
> Спешащий в лабиринт потусторонних знаний,
> Как будто в лабиринтах есть покой…

Некоторые темы я веду с самого начала своего творчества и никогда их не бросаю. В поэзии или в кино—они всегда присутствуют и получают развитие. В фильме «Повесть о сыне» время отсчитывает сверчок за спиной у Саши, и Мангуст знает, что ему отмерено совсем почти ничего, и в то же самое время предстоит целая вечность. Поэтому он улыбается мёртвый. Застывшая на лице улыбка, нет времени, чтобы кого-то осудить или назвать нехорошим словом.

Если мультипликатор Александр Петров (автор «Коровы» и «Старик и море») берёт в руки иллюстрацию к какому-либо произведению, у него сразу же возникает замысел мультфильма, то я, когда читаю стихи—сразу же вижу, как можно поставить конкретное стихотворение конкретного автора. Вот, например, твой стихотворный «Марш долгового облака», за который неслучайно ухватился Евгений Евтушенко, очень интересно бы смотрелся в пластической мультимедийной динамике!.. Впрочем, Юрий Левитанский в своей книге «Кинематограф» (вроде бы само название обязывает!), увы, выглядит эрзац-поэтом, там нет ни кино, ни поэзии, к сожалению. А вот у Фёдора Тютчева в «САНЕ-САНЕ»—великая кинодраматургия и само кино!

Среди эффектов кино существует картинка в картинке. Это «Соррентийские фотографии» Владислава Ходасевича:

> Двух совместившихся миров
> мне полюбился отпечаток.

Сосуществование кино и поэзии мне всегда казалось таким естественным, что я, по своей наивности, полагал, что и другие поэты ощущают нечто подобное. Поэтому даже создавал когда-то специальные школы, чтобы обучить поэтов кино. Но эти попытки оказались наивными и не оправдавшими себя. Я, наконец, понял, что такое видение свойственно далеко не всем, и даже очень жалел об этом, честное слово!

—У тебя есть строчки:

> *Что с того, что я видел святыни,*
> *если выпростал сердце, как ковш?*

Давно хотел тебя спросить как человека, в отличие от меня, глубоко воцерковленного (я всё же, увы, не отличаюсь строгим соблюдением обрядов и постов и предпочитаю, насколько это возможно, общаться с Творцом не посредством церковного купола, а напрямую): как разрешаешь ты в себе противоречие, заложенное в этом стихотворении, потому что дальше Сергей Князев свидетельствует: «…наше царство предавшие люди / пребывают во мне»? То есть если продолжить сравнение—«сердце, как ковш», с одной стороны, в нём, в сердце-ковше,—«святыни», а с другой—«предавшие люди». Так? Не только «святыни», но и—«предавшие»? Иными словами, если ты—Достоевский, в тебе—Алёша Карамазов и Смердяков, князь Мышкин и Рогожин? То есть ты не «выпрастываешь» из своего «ковша» предателей и отступников? Тогда насколько нужны они в сердце, если могут вытеснить увиденные «святыни»? И не стучится ли к тебе замысел снять реальное кино—о подобном «сердце-ковше»? Тем более что автор в заключительной строке утверждает: «Вся Россия сейчас такова».

—Здесь всё просто. Через какое-то время после причастия ты согрешаешь, и занятое ангелами место остаётся пусто, туда и поселяются эти существа. Они могут и управлять тобой. Но изгоняются они только постом и молитвой. А вычищается сердце и освещается вся плоть только причастием. Вот и вся премудрость экзорцизма. Эти стихи я написал в конце 90-х годов, в них я уповаю на Старца. Сейчас этого ничего нет. Последний старец архимандрит Кирилл (Павлов) пролежал в коме десять лет после того, как «добрые люди» ему «помогли» полечить зуб. И недавно покинул сей мир. Я успел побывать у него, и даже 22 июня 1990 года благословился на творчество в кино и литературе. А остальные так называемые старцы—не старцы…

По поводу Достоевского: очень много ты хочешь напихать в меня всего этого человеческого «добра». Достоевский был кантианцем и поэтому любил антиномии, порой очень страшные. Артисты, глубоко погружающиеся в мир Достоевского, как правило, сходят с ума. Мы таких видели. Мне ближе Кальдерон, Сервантес, Шекспир, Пушкин наш с такими героями, как Сильвио, что ушёл с отрядом Гарибальди бороться против Римского Папы… Я живу с «Историей села Горюхина», которую я отлично «вижу» и даже могу поставить в кино… Это—к вопросу о замыслах, которые «стучатся».

Сейчас другое православие в Московской Патриархии, его проще назвать «Православием-Лайт», где с ужесточением вертикали власти развивается механистичность и исчезает душа. И это делается, к несчастью, в такое время, когда народ ещё не умеет отличить Филиокве от Бергольо…

— «Отличить Филиокве от Бергольо»? Вот чем заканчиваются беседы двух русских людей!

45-Й КАЛИБР

Евгений Сухарев

Белое небо моё

Памяти Евгения Евтушенко

Жизнь оказалась длиннее на строчку,
ту, что когда-то чернильным пятном
капнула с пёрышка—да на сорочку,
в классе взрослеющем, переходном.

Жизнь оказалась короче на строчку,
ту, что теперь завершит некролог.
Вот распускает апрельскую почку
чёрной ольхи семенной уголёк.

Жизнь оказалась… да нет, показалась
легче серёжки, ольховой такой…
Вот и запомнится самая малость—
вечный весенний и летний покой.

• • •

В глазах весны ледок застыл,
и в поступи—застыл.
И я уже не тот, что был,
совсем не тот, что был.

О как я медленно живу,
с оглядкою живу—
стежком по шву, стежком по шву,
по хоженому шву,

пока не сломится игла,
ходя туда-сюда
над краем швейного стола,
по самой кромке льда,

пока я вовсе не замру,
сухой водой звеня,
и снег поспешный на миру
не занесёт меня.

• • •

…И я почему-то решил,
что мало на свете грешил
и снова глаза закрываю
на всё, что содеяно мной,
и вот, как волчок заводной,
крутясь, то коплю, то теряю,
и, скорое слыша ку-ку,
костистое тело влеку,
до чада печного сгораю
и в чёрную землю теку.

А белое небо моё
обжило давно вороньё
и рваным пером запятнало,
и трупным заткнуло тряпьём,
и сам я валяюсь на нём
от века ни много ни мало,
и, кажется, разницы нет,
какой это крап или цвет,
и чей, и чего не бывало,
чего не молчалось в ответ…

Летите себе, я не ваш,
я вашей породы не славлю,
чужой не пятнаю пейзаж
и свой не бросаю на травлю,
и где бы я ни был теперь,
а слово заветное знаю,
ничем никому не пеняю
в моей веренице потерь.

Александр Астраханцев

Хроника потерянных

Часть вторая[1]

Глава первая

В те годы в городе у нас работал некий молодой журналист с университетским дипломом и партийным билетом (билет был куда более важным аксессуаром для журналиста, чем диплом!), пробовавший себя, кроме журналистики, в разных литературных жанрах. Его высмотрели в Большом Чуме и пригласили на должность референта к Хвылине, предложив хорошую зарплату, хорошую квартиру и ряд других благ. Думаю, даны ему были и обещания относительно его будущих публикаций и книг — едва ли многообещающий и не без амбиций молодой журналист прельстился бы одними лишь бытовыми благами…

За эти блага он должен был писать книги публицистического характера, авторство которых должно было принадлежать Хвылине… Неизвестно, диктовал ли ему Хвылина свои тексты, предлагал ли черновики или всего лишь давал «направления», но книги эти были написаны. Хвылина, подписывая их собственным именем, названия им, судя по всему, придумывал сам — потому что именно в названиях более всего заметен его собственный стиль: так, первая названа «Думой о строителе», вторая — «Думой о крестьянине», и третья — «Думой о рабочем». Это были сувенирные издания с ярким оформлением и многочисленными вклейками цветных фоторепродукций.

В магазинах эти книги никто не брал, так что через некоторое время они были списаны, по цене макулатуры отданы Хвылине, и он дарил их официальным гостям, искренне считая их (свои книги) лучшим сувениром, какой только можно увезти на память о нашем городе.

Имени того журналиста вспомнить, к сожалению, никто у нас не смог — он перебрался вслед за Хвылиной в Москву в надежде продолжить сотрудничество; однако там Хвылина так ничего и не издал, а у московских Хозяев полно своих собственных журналистов, так что след нашего журналиста в Москве затерялся.

И вот после выхода трёх этих книг конфликт Хвылины с писательской организацией вступил в решающую фазу.

О, если бы прозорливая цыганка нагадала молодому Хвылине, мягко говоря, не совсем честное авторство и последствия этого авторства — он бы, наверное, обозвал предсказание бредом сивой кобылы… Отчего многие люди с возрастом, постепенно деградируя, становятся совершенно неспособными к критической самооценке? От интеллектуальной неразвитости? От душевной лени? От отупляющей работы руководителя, много лет каждодневно пользующегося властью? Только факт остаётся фактом: выпустив в свет эти три книги, Хвылина пригласил к себе в Большой Чум Кулебякина с Финк-Червяковым и завёл с ними разговор, полный экивоков на то, что история человечества изобилует государственными мужами, ставшими при этом ещё и серьёзными писателями, и привёл тому достаточно примеров: уже однажды упомянутого нами Марка Аврелия (почему-то это имя не давало ему покоя), Макиавелли, Ивана Грозного. Кулебякин с Финк-Червяковым сидели и недоумевали: куда он клонит и откуда у него эти диковинные познания?..

А Хвылина вил нить разговора дальше: странно, мол, получается — профессиональные писатели совершенно не обратили внимания на его книги: ни рецензии, ни критической статьи в печати с их стороны, — они что же, настолько высокомерны, что не удостоят своим вниманием земляка, если он не член Союза писателей?.. Наши литературные бонзы потели, не решаясь ничего сказать в оправдание, лишь мыча нечто неопределённое, но уже догадываясь о направлении мыслей Хозяина и чутко ловя каждое его слово.

Хвылина же, в конце концов, запутался в своём мудрёном монологе и закончил напрямую: поскольку он чувствует неодолимую тягу к культуре вообще и к литературе в частности, будучи автором трёх книг (Кулебякин с Финк-Червяковым согласно кивали, хотя были осведомлены об истории их появления), то хотел бы, чтоб писатели признали его «своим», а потому желает вступить в их Союз и просит у них рекомендаций.

Кулебякин с Финк-Червяковым оказались в щекотливом положении. Конечно, оба заверили

1. Окончание. Начало в №1/2017.

Хвылину, что книги его, конечно же, произвели на них огромное впечатление и они готовы дать ему рекомендации, однако… мялись они, писатели в большинстве своём — «существа недоброжелательные и завистливые; многие из них, к сожалению, своих собратьев по перу не читают и не отдают им должного… Тем более что голосование при приёме тайное…»

Хвылина, поняв их сомнения, возразил на это вполне резонно, что есть много способов узнать мнения недоброжелателей; он сам готов пригласить всех поочерёдно к себе и с каждым побеседовать, узнать, о чём они думают и в чём нуждаются, да подарить каждому по комплекту своих книг, а потом устроить читательскую конференцию по ним, да предоставить каждому возможность честно высказать своё мнение… Затем поделился соображениями, как превратить тайное голосование в открытое.

Тогда Кулебякин с Финк-Червяковым осторожно выдвинули следующее возражение: здесь, у нас в городе, принять Хвылину, конечно, можно — ничего невозможного в этом нет; самое трудное — утвердить его приём в центральном правлении, в Москве. Хвылина на это возразил, что и там можно подёргать за кое-какие ниточки,через то же министерство культуры, например; там ведь теперь свой человек, Выжлецова! Да, в конце концов, пригласить всё центральное правление Союза писателей сюда, да устроить грандиозную встречу!..

В общем, разговор получился конструктивный. И сколько ни находили смущённые Кулебякин с Финк-Червяковым новых осторожных возражений, чувствуя, что замысел Хвылины, несмотря на кажущуюся абсурдность, прост и в то же время чреват: слишком аморфен и неподатлив человеческий материал, которым они совместно управляют, — Хвылина отмёл весь этот лепет сомнений и, не любя откладывать в долгий ящик, тут же, при них, написал и вручил Кулебякину заявление о приёме. Затем он вызвал через селектор Большечумовского специалиста по оформлению документов и дал задание подготовить документы для его вступления в Союз писателей, и тот, не моргнув глазом, заверил: «Сделаем!»

А Кулебякину с Финк-Червяковым ничего не осталось, как тут же, не сходя с места, написать Хвылине рекомендации.

Вскоре после того разговора жена Хвылины Людмила Васильевна позвонила Кулебякину и пригласила его вместе с супругой на праздничный вечер в «узком кругу»: предстоял самый почитаемый Большим Чумом праздник, 7 ноября.

Из слухов, ходивших в том кругу, где вращались Кулебякины, было хорошо известно, что Хвылина с супругой устраивают праздничные вечера на «правительственной даче», причём «узкий» этот круг строго определяет сама Людмила Васильевна, чтобы все там чувствовали себя свободно: в круг входили все заместители Хвылины, а также начальник областного снабжения, два-три директора самых крупных заводов да два-три «заслуженных» артиста. Все — с жёнами. Хвылина, будто бы, возражал против артистов — они приглашались по инициативе Людмилы Васильевны для поддержания «культурного уровня», иначе женщины на этих вечерах умирали со скуки.

Все в том кругу были хорошо между собой знакомы; правда, мужчины, блюдя субординацию, вне деловых отношений не общались, однако жёны их перезванивались, и хотя между ними тоже существовала субординация, много значили личные привязанности и симпатии; женщины при этом обменивались «внутренней» информацией (т. е. сплетнями), регулировали отношения мужей и даже роднились, знакомя и сводя вместе детей и внуков.

Все же прочие «круги», узкие и не очень, расходившиеся по городу, подобно кругам на воде, хоть и любопытствовали по отношению к частной жизни «высшего круга», сплетничали, насмешничали и злословили по его поводу, но всё же втайне желали бы хоть разок попасть туда, уже потому хотя бы, что там, по слухам, ели и пили то, что всему остальному городскому населению было недоступно.

Кулебякин понял мотив Хозяйкиного жеста: ему протягивают руку и открывают двери дома, однако приглашение обязывает; принимая его, надо открывать карты: будет ли он при приёме Хвылины на его стороне?

Антон Сидорович задумался. Руководя писателями, он и боялся их, и чисто по-человечески презирал: не мог он на них положиться и дать Хвылине гарантии… Он мог бы, конечно, притвориться простаком, и, если при тайном голосовании писатели «прокатят» Хозяина, развести руками: «Вот, как Бог свят, не виноват: у нас — демократия!..» Но более чем писателей он боялся Большого Чума: от него зависело не только издание его книг, но и всё так хорошо налаженное благополучие. Стало быть… он не в силах отказаться от приглашения. Да оно и соблазнительно: последствия могли стать самыми головокружительными… Но и сомнения грызли: сможет ли он отработать доверие Хозяина и Хозяйки?

Не в силах справиться с сомнениями, он призвал на совет жену, директрису большого книжного магазина, женщину деловую и энергичную; она отмела все его сомнения, и они целый вечер проговорили, отрабатывая до мелочей стратегию и тактику их появления «там»: как одеться, как вести себя с Хозяином, с Хозяйкой, с гостями, насколько расслабиться, сколько пить, даже — какие цветы подарить Хозяйке, какие анекдоты рассказать.

И они, надо сказать, сразу и довольно легко вписались в «высший круг» — будто всегда там были: Кулебякин повидал в своей жизни многое, за словом в карман лазать не привык и очень, будто бы, оживил своей выдумкой и находчивостью эти званые вечера, по сведениям, чопорные и скучные, пока все были трезвы, несмотря на присутствие «заслуженных» артистов, служивших скорее мишенями для острот подвыпивших начальников.

Кулебякин же — или оттого, что терять ему было нечего, или уж привык к своей относительной свободе? — в первый же вечер произнёс за столом мудрый, витиеватый и лукавый тост, так что мужчины потребовали переписать его для них на будущее — чтобы блистать заёмным остроумием в других застольях; затем, уже под хмельком, не моргнув глазом («А я что? Так народ рассказывает — за что купил, за то и продаю!»), «выдал» несколько свежих забористых анекдотов, в том числе один про самого Верховного Шамана, так что мужчины лишь крякали, сдерживая смех и крутя головами; а потом, чувствуя, что ему всё сходит с рук («Что с него возьмёшь? Писатели — они же как дети!»), и вовсе такой непристойный анекдот загнул, что мужчины ржали, как подростки, а женщины розовели и смущённо прыскали в ладони; затем раскачал всех на застольную песню, сам затянув её сочным басом — такого здесь отродясь не бывало, чтоб за столом пели; и «русскую» плясал, выбрав в партнёрши не кого-нибудь, а саму Хозяйку, и та, разрумянившись, плясала с молодым задором; а под конец раззудил мужчин на возню, что-то вроде рукопашной борьбы, и взрослые, солидные, пузатые мужики пыхтели, как ребятня, причём он их всех переборол, кроме, разумеется, Хвылины, старательно тоже пыхтевшего и жаждавшего первенства даже здесь, — Кулебякин просто поддался ему, обратив в шутку свой подхалимаж: «Победила молодость!» — а после этого вообще разделся до пояса, шутливо демонстрируя свою крупную, но дряхлеющую мускулатуру, волосатую грудь и большой рыхлый живот — в общем, дурачился, как мог, взяв на себя роль enfant terrible, смущая своей грубоватой непосредственностью надутых от непомерной важности мужчин; дамы же были от Кулебякина без ума и единодушно решили, что теперь подобные вечера без него просто уже немыслимы.

В ожидании дальнейших событий жизнь писательской организации замерла; Кулебякин по-прежнему честно отсиживал свои часы в кабинете; регулярно наведывался Финк-Червяков, чтобы не упустить бразды партийного руководства; рядовые же писатели попрятались по домам, не показывая глаз и обдумывая своё поведение на предстоящем собрании, чтобы и лица не потерять, и неприятностей не нажить. Остальная же часть города (из тех кто был в курсе дела) с интересом и злорадством ждала дня позора писателей.

Их уже вытаскивали по одному на приём к Хозяину, и все они там побывали, предпочитая никому не рассказывать, о чём с ними шёл разговор; во всяком случае, шли они туда скрепя сердце, сидели перед Хвылиной ни живы, ни мертвы, что-то лепетали, изливаясь в благодарностях, когда Хвылина, энергично пожав руку, вручал им комплекты из трёх «своих» книг с заранее заготовленными, каллиграфически написанными автографами, причём писатели потом, дома, внимательно изучая стандартные автографы, пытались угадать по ним собственную судьбу и подозревали, что даже автографы эти — подделка, написанная всё тем же журналистом-референтом, явно чувствовавшим удовлетворение от такой странной формы творчества: полного слияния в творческом акте со своим боссом…

Была организована по этим книгам и городская читательская конференция. Она проходила при значительном стечении публики в конференц-зале областной научной библиотеки, с фоторепортёрами и операторами кинохроники. В президиуме сидел сам Хвылина, серьёзный и торжественный, как и полагается чествуемому автору, ибо ничем иным, кроме как чествованием и триумфом, эта конференция быть не могла. И по одну руку от него — директриса библиотеки, а по другую — Кулебякин, который вёл конференцию.

Преобладающую часть публики составляли ветераны войны и труда в торжественных костюмах с бортами, сияющими от орденов и медалей, и областные руководители всех рангов, тоже в праздничных костюмах — будто это был парадный смотр их сил; остальную часть публики составляла молодая смена руководителей: дисциплинированные молодые люди в скромных серых пиджаках со скромными же галстучками, глядевшие на слабости старшего поколения снисходительно, но с уважением…

Правда, несколько последних рядов в зале заняла разношёрстная молодая и шумная публика (скорей всего, завсегдатаи читальных залов библиотеки, изгнанные оттуда библиотекаршами на «мероприятие», чтобы конференц-зал выглядел полным), с ироничными выражениями лиц ожидая, видимо, общественного скандала и провала конференции.

Однако никакого скандала не произошло, и ироничная молодая публика была посрамлена, с постными физиономиями покидая потом зал и сожалея о потерянном времени. А в фойе всем гостям обеспечена была бесплатная раздача книг виновника торжества.

В выступающих с отзывами о книгах недостатка не было. Запев конференции сделали Кулебякин с Финк-Червяковым, оба умеющие выступать

ярко, убедительно и не без ораторского блеска; их поддержал только один писатель, Пыхтеев; правда, некоторые из них на конференцию не явились, сказавшись больными и запасшись на всякий случай медицинскими справками.

После писателей выступила профессорша-литературовед, хорошо владеющая риторическими приёмами, отработанными не на одном поколении студентов; начав свой скучноватый, но по-научному обстоятельный доклад издалека, со «Слова о полку Игореве» как первого в русской литературе ярчайшего примера слияния воедино пафоса, публицистики, тончайшей лирики и патриотизма. Виртуозно ведя свою мысль далее, через всю историю русской литературы, она незаметно подвела слушателей к книгам Хвылины и как дважды два доказала, что без этой трилогии духовная жизнь нашей области теперь уже просто немыслима.

А потом пошли так называемые простые читатели из зала, которые отличались лишь одеждой, но не темами выступлений, будь то седые ветераны или молодые люди в скромных пиджаках; и все дружно говорили об актуальности трилогии, о благотворном влиянии её на молодёжь, о кругозоре и полёте мысли автора, совместившего в себе политический ум и незаурядный литературный талант… Ни одного отрицательного отзыва в тот вечер, вопреки ожиданиям иронистов, так и не прозвучало.

Возможно, кому-то и покажется, что в нашем исследовании время бежит этаким курьерским поездом, весело погромыхивая на стрелках — а на самом-то деле всё было не так спешно и торопливо, хотя Хвылина постоянно торопил события, схватившись, что называется, в поединке и с самим временем, и с чисто провинциальным, страшно медлительным стилем той нашей жизни. Так, за те несколько лет, что писались эти три «Думы», вырос и тридцатипятиэтажный колосс, наш Культурный Центр.

И в том самом морозном декабре, когда Хвылина собрался вступить в Союз писателей, строители готовили Культурный Центр к завершению, чтобы тот засиял, наконец, огнями бессчётных окон, гостеприимно распахнул двери и украсил собою город.

Хвылина пообещал Кулебякину отдать под писательскую организацию в Культурном Центре целый этаж с просторными кабинетами, с пресс-центром и большим залом заседаний.

— Да зачем нам столько, Стефан Маркаврелиевич? — будто бы скромничал смущённый такой щедростью Кулебякин. — Нас всего-то тринадцать! Мы народ тихий, без претензий, мы и в нашем особнячке проскрипим!

— Э-э, батенька, нет, нет, и не думай! — шумно протестовал Хвылина (с некоторого времени он усвоил чисто ленинское обращение «батенька»). — Во-первых, ваш особнячок дышит на ладан, и мы его снесём: на этом месте парк будет шуметь — так архитекторы задумали!.. А во-вторых, сколько вы собираетесь быть чёртовой дюжиной? Это же нехорошая примета! Я разобью вашу чёртову дюжину, я буду у вас четырнадцатым! — полушутя погрозил он пальцем. — В области, которая стала флагманом борьбы за культуру, и всего тринадцать писателей? — продолжал он дальше. — Да вас должно быть тридцать, сорок, пятьдесят — прокормим! Жизнь у вас кипеть должна, вы должны быть самой крупной организацией в Сибири, так что, батенька, давайте занимайте этаж, и никаких отговорок!..

Как потом оказалось, Хвылиной двигала отнюдь не широта души, когда он хотел выманить писателей из особнячка… Дело в том, что на том месте, где стоял особняк, запроектирован был на будущее не совсем парк, как походя обронил Хвылина, а всего лишь сквер, а в центре его, на пересечении всех пешеходных дорожек, архитекторы предусмотрели (об этом до некоторых пор знало всего несколько человек) обрамлённую гранитными блоками площадку для памятника самому Хвылине, ибо в недалёком будущем, к своему шестидесятилетию, он надеялся выхлопотать вторую Золотую Звезду Героя Труда (первую он получил к пятидесятилетию), и тогда ему полагался на родине бронзовый бюст на гранитном постаменте. Однако родиной его была не существующая ныне деревня в Херсонской области; не станешь же ставить собственный памятник среди пшеничного поля? Так что, конечно же, он присмотрел для него наш город, в котором прошли лучшие годы его жизни, а в нём — именно это заметное место рядом с его детищем, Культурным Центром, поскольку другое заметное место, центральная площадь перед Большим Чумом, было занято огромной скульптурой Ленина с рукой, указующей в заречные дали; скульптура эта была водружена по совместной инициативе Хвылины и Выжлецовой, ратовавших за украшение города произведениями монументального искусства и сумевших за свою бытность украсить город семнадцатью фигурами Ленина, поставленными перед всеми административными зданиями, не считая двенадцати, поставленных до них.

Этот бронзовый гигант перед Большим Чумом был их большой гордостью. Автор его — весьма именитый в те годы московский скульптор, академик и лауреат, специалист по каноническим изображениям Ленина. Наши местные скульпторы, будучи завистниками своих более хватких и удачливых столичных коллег, грустно ехидничали, что Великий Курултай сажает эти скульптуры по стране квадратно-гнездовым методом — как картофель. Они уверяли также, что академик этот дал

однажды курсовое задание целому курсу своих воспитанников, студентов академии: вылепить «образ Ильича», затем лучшие из них собрал и спрятал, а потом вытаскивал по одному, касался пальцами, лишь чуть-чуть что-то добавляя или убирая, затем увеличивал до гигантских размеров и продавал провинциальным городам как свои, а самые лучшие предлагал ещё и на Госпремии; и сплетня эта не была такой уж необоснованной — среди местных скульпторов были его ученики, узнававшие в его памятниках собственные студенческие работы.

Злые языки утверждают также, что уставший от бесконечной ленинианы московский академик отказался, было, выполнять заказ для нашего города, и Выжлецова, чтобы заполучить «образ Ильича», изваянный знаменитостью и лауреатом, будто бы сама ездила к нему и провела с престарелым академиком ночь в его мастерской, и он, восхищённый её обнажённой фигурой, лепил с неё той ночью образ «Революции, вдохновительницы искусств»…

Так вот, по замыслу Хвылины, монументальное украшение города должно было завершиться — и уравновеситься при этом — памятниками двум столь значительным лицам в истории города и государства: Ленину и себе.

Глава вторая

Итак, к собранию, на котором Хвылину должны были принять в Союз писателей, всё было готово; одни ожидали его со страхом, другие — потирая руки: ох, что-то будет!.. Но все были согласны: «что-то» всё-таки будет…

Однако прежде чем рассказать о том знаменательном собрании, надо упомянуть ещё об одном человеке, участвовавшем в нём. Это писатель Иван Егорович Ожогин, наш земляк, живший в Москве, хотя и родившийся в селе Сосновка на юге нашей области. Прожив почти всю жизнь вне области, он своей *малой* родины не забыл и частенько к нам наведывался, навещая родное село, в котором и сейчас живут его родственники. А в сельской школе, где он начинал учиться, создан музей его имени, и вообще память о нём там чтут до сих пор.

Сейчас, когда его уже нет на свете, мало кто о нём помнит, а в те-то годы — о, как он был известен! Да что известен — знаменит! Имя его, лауреата многих премий, гремело по всей стране и, кажется, даже за рубежом. Не было в стране издательства, где бы не выходили его книги, журнала, в котором бы он не печатался — да журналы и издательства за честь почитали печатать столь известного автора; все его крупные вещи были экранизированы; падкие на модное имя кинорежиссёры подбирались уже и к его рассказам, и хотя они в своих киноверсиях не оставляли ничего от Ожогина и он страшно обижался на «киномошенников» (как он бранил их в прессе), однако и ценил их за внимание к его персоне. Газеты наперебой публиковали интервью с ним, в которых он бичевал пороки общественной жизни и в которых, как крупинки соли, рассыпаны были и значительная доля правды, и доля брюзжания, высокомерия и эпатажа по отношению к почтительно внимающей ему публике (странно, как наша публика любит, чтобы её унижали и хамили ей, причём каждый индивид считает, что подобное хамство относится не к нему, а к остальным, и ещё радуется: «Так вам, дуракам, и надо!»).

В общем, ему каким-то загадочным образом дозволялось говорить то, что у всех на уме; этим пользовались журналисты, по возможности впихивая в интервью с ним побольше собственных фраз или наводящими вопросами подталкивая его к крамольной мысли. Может, именно поэтому интервью с ним и были так популярны?

Но где всё это сейчас? Отшумело и ушло в сень истории вместе с тем поколением, что несло нашего именитого земляка на своих плечах, как знамя. Новые же поколения принесли с собой новых идолов, безжалостно, как дети надоевшие игрушки, топча старых, и его в том числе. О, равнодушное, как гусеница танка, время, ты рассыпаешь в прах не только камень и железо, но и земную славу, и печатное слово, на которое так уповают жаждущие вечной памяти о себе, мня собственное печатное слово бессмертным!..

Однако было отчего появиться в творчестве Ивана Ожогина и горечи, и высокомерию по отношению к публике: в самые нежные свои годы он сполна претерпел всё, что было отмерено его поколению: раскулачивание родителей, насильную высылку их на Север… Заметьте: всё это в чём-то близко и судьбе самого Хвылины. Правда, Ожогин был старше и испытал смерть близких, сиротство, детский дом, участие в войне, так что достаточно накопилось у него обид и претензий и к властям, и к своему народу — в то время как Хвылина всего этого сполна хватить всё-таки не успел, а потому, по выражению Ожогина, остался «замороченным».

Так что наш знаменитый земляк тоже был, согласно классификации патриарха местной литературы Баранова, из поколения «этой наглой молодёжи», понюхавшим пороху, да ещё покалеченным войной — всю жизнь потом хромал и ходил с палочкой… Остальных подробностей его биографии пересказывать не стану — их вы с лихвой найдёте в монографиях о нём. Вот такой был человек — маленький ростом, старый и хроменький; но как — вдвойне, втройне — сладко было ему, такому, властвовать над умами!

Литературоведами он, надо сказать, был заласкан: «совесть народа», «оплакиватель деревни» — не самые последние трафаретки, какими они обвешали его, несмотря на то, что сам он

литературоведов не жаловал, за исключением двух-трёх льстецов, обидеть которых было просто грешно.

Впрочем, заласкан он был не одними литературоведами и почитателями, но и центральной властью в Москве, судя по обилию премий, полученных им из её рук, по многочисленным его книгам (издание которых тогда тщательно регулировалось), а также судя по его славе, к которой центральные власти были весьма ревнивы, и по количеству интервью, которые печатались в принадлежавших ей же газетах.

В нашем городе он снискал себе славу ещё и тем, что во время устных выступлений крыл этих самых властителей с умопомрачительным бесстрашием: называл проходимцами, недоумками, клещами на теле народа и бандой разбойников, по которым верёвка плачет… По-моему, это всё-таки слишком: ну не разбойник же, в самом деле, Хвылина, и Выжлецова — никакая не авантюристка, и Таратутина недоумком не назовёшь…

Я долго думал над этим явлением: почему Ожогин, так нелицеприятно критиковавший власть, ею же и обласкан? И, наконец, понял: да потому, что он бичевал *только* народ и *только* провинциальную власть! Поедет на периферию, хотя бы и к нам — и напишет про нашу провинциальную дикость обличительный очерк! А Центру это и нужно: да разве можно *такой* народ и *таких* местных властителей оставлять без твёрдой центральной власти? После его блистательных очерков этот вывод напрашивался сам собой. И, конечно же, Центр внимательно следил за властью провинциальной; как только она усиливалась и умнела, Центр решительно её нейтрализовал: переводил набравшего силу Хозяина в Москву, под своё крыло и опеку, или посылал очень уж строптивого и толкового пожизненным послом в какой-нибудь Габон или Бурунди и забывал его там, или отправлял на пенсию «союзного значения».

И наш Ожогин был таким вот репрессивным орудием Центра, его специальным разъездным осведомителем… Но, видимо, наш Хозяин был не самым толковым и самостоятельным, чтобы представлять собою опасность для Центра, потому что продолжал и продолжал себе властвовать, несмотря на огненные очерки Ожогина в центральной печати.

Понятно поэтому, что приезд Ожогина вызывал у нашего Большого Чума болезненную аллергию, в то время как остальное население города (наиболее просвещённая его часть) всколыхивалось; Ожогина непременно просили выступить в областной библиотеке, и, несмотря на козни, подстраиваемые кем-то, вплоть до отключения в библиотеке электричества, выступление всё равно имело место при огромном стечении публики, жаждавшей свежего слова; доброхоты записывали выступления Ожогина на магнитофоны, и хотя местным газетам не было позволено даже упоминать о нём, о том, что говорил Ожогин и какие выдавал перлы, знал потом весь город.

А чтобы дать более отчётливое представление об отношении к нему Большого Чума, позволю себе поместить здесь выборку из монолога небезызвестного нам Таратутина:

— *Ожогина-то? Ну как же не помнить? Это сейчас его подзабыли, а тогда-то он в живых классиках, понимашь, ходил!.. Деревенщшык — так их тогда называли. Вроде как большие спецы по деревне. А он и деревни-то толком не знал! Да и как ему знать-то — их же, когда раскулачили, он, кого там, пацанёнок был: не то семь, не то восемь годочков, и всё, и ку-ку для него деревня! Кому-то же надо было и Север осваивать, лес валить для социализьма, верно?.. А смотри-ка ты, живучий оказался; все перемёрли, понимашь, а этот выжил! Потом на фронте его фашисты маленько не добили — опять выжил!.. И уж такой, понимашь, боевой — дальше некуда! Сколько раз его одёргивали? До того, бывало, договорится — ему уже и совецкая наша власть не нравится. Распустили, понимашь, а потом вон до чего дошло: каждый может тебе в лицо сказать, что думат! Сказал бы он так в тридцать седьмом, при Сталине? Посмотрел бы я, что бы он там запел, такой смелый!.. А отчего всё? Да в Москве вожжи, понимашь, расслабили, некоторые газеты его высказывания печатали, в книгах иные места. А я ведь предупрежда-ал!.. Окопался, понимашь, в Москве, а сюда только ездил регулярно, натурально за материалом. Мы хотели, чтоб он совсем к нам переехал: живи, прокормим!.. Не-ет. Приедет — и наши же писателишки бегут к нам: дайте «волгу», встретить по-человечески! Ну, дашь. Думашь: нет-нет, да и проснётся в человеке совесть, зайдёт поблагодарить, поклониться родной власти — куда там, дождёшься! То с писателями гужуется — наши же люди кругом, о каждом шаге его знаем! — то с матросами в порту, то с шофернёй. Это что, народ, по-вашему? Называется, человек приехал за материалом? И что хорошего может сочинить такой писатель?.. Никак нам было его не ущучить. И телеги-то на него в Москву отправляли — ничего не брало: как же, лауреат! Я просто диву давался, понимашь: как так можно людей распускать? А теперь удивляемся: почему нет дисциплины? Да откуда ей взяться, если, начиная с известных людей, такой пример показывать?..*

Так вот, кто-то из писателей уведомил Ожогина, что ожидается большой *прикол*: приём Хвылины в писатели, чтобы тот приехал, посмотрел на это представление и, может быть, своим авторитетом помог местным писателям избегнуть позора, т. к. сами они боятся, что уступят Хвылине.

И Ожогин прилетел, невзирая на нездоровье, на то, что собирался за рубеж, что были проблемы с билетами, и он рисковал застрять здесь надолго, ибо улететь отсюда, если он вдрызг рассорится с Большим Чумом, уже никто не поможет. Причём прилетел он, никого не предупредив, и пришёл на собрание перед самым началом, когда никто не знал: будет он или нет. И те, кто тайком ждал его, уже повесили носы, хотя слухи, что приедет, ходили и подогревали ажиотаж. Но, возможно, то была просто надежда слабых на чудо.

А с другой стороны, был пущен слух о том, что Хвылина заказал в ресторане «Север» шикарный банкет, водки и шампанского будет—залейся, и что, хоть он, в принципе, и против всяких «обмывок», считая коллективное пьянство дикостью и пережитком, но против не им установленной традиции, даже имея столь твёрдые принципы, идти не хочет: такой вот он либерал.

Собрание было закрытым, однако посторонних набралось достаточно: присутствовали чуть ли не все воеводы идеологического и культурного фронтов Большого Чума и города; они сидели внушительной кучкой, готовые решительно защищать своего лидера, и в середине их—сам Хвылина, торжественный и слегка побледневший перед предстоящей схваткой; были также литературоведши из пединститута—те пришли, кажется, из чисто женского любопытства и тайной жажды крови: как это всё произойдёт?.. Так что небольшой зальчик писательского особняка, плохо приспособленный для подобных «мероприятий», был полон.

Кулебякин уже и собрание объявил открытым, и тут входит Ожогин, встреченный одновременно и одобрительным, и враждебным гулом (скорей всего, и подгадал-то он специально, чтобы создать эффект разорвавшейся бомбы). Кулебякин пригласил его в первый ряд, но тот отказался; проковылял, стуча палочкой, в середину зала и, скрипя креслом, прочно там уселся.

И собрание после заминки покатилось по накатанной дорожке: избрали председателя и секретаря, огласили повестку дня, Кулебякин произнёс вступительное слово о том, что они уже несколько лет никого не принимали, что давно пора распечатать их чёртову дюжину, и зачитал заявление Хвылины. И вот уже сам Стефан Маркаврелиевич предстал перед собранием, подобранный и энергичный. Как человек государственный, в начале своей речи он обрисовал политическое и экономическое состояние страны и области; положение это, согласно его оценке, несмотря на отдельные трудности, прочно и незыблемо; затем сказал, что, несмотря на занятость, выкроил время пообщаться с писателями и рассказать немного о себе; что когда он писал «свои» книги, то не помышлял ни о каком вступлении в столь авторитетную организацию, но товарищи его, прочитав их, стали просто настаивать на этом, и он, будучи человеком уступчивым, не смог не поддаться увещеваниям, действительно не видя в том ничего зазорного, и вот он здесь, перед их судом, чувствует себя немного неловко, поскольку он ещё и официальное лицо, но убедительно просит не обращать на это внимания, не делать никаких скидок и отнестись к нему со всей требовательностью—только как к товарищу по перу… Затем он, как и положено, рассказал автобиографию, немного кокетничая своим демократическим происхождением и знанием глубин народной жизни, из толщи которой вышел, которой обязан всем и благу которой служит, не жалея сил и здоровья.

И вот уже Кулебякин и Финк-Червяков пересказывают свои письменные рекомендации и добавляют к ним ещё несколько существенных похвальных фраз в адрес Хвылины, которых они просто не могли здесь не произнести—о его партийной чистоте, душевной скромности и, разумеется, о его несомненных разносторонних талантах…

Затем выступила преподавательница пединститута, кратко повторив свой доклад на читательской конференции. Затем председательствующий предложил выступить всем, кто пожелает. И тут наступила долгая, тягостная пауза; писатели склонили головы и опустили глаза… Тогда поднял руку Алексей Афанасьевич Карманов, встал, прошёл вперёд и, как человек с интеллигентскими замашками, которых так и не вытравили годы лагерей и ссылок, высказал весьма мягкое предположение о том, что книги Хвылины, наверное, имеют право на существование—об этом судить читателям, но, может быть, и не стоит торопиться с приёмом *всякого* автора, поскольку Союз писателей—не клуб авторов, а профессиональный союз?..

Но тут бразды правления взял в свои руки бдительный Кулебякин, отодвинув в сторону председательствующего, и своим густым рокочущим басом заглушил тихоголосого Карманова:

—Что значит *всякого*, Алексей Афанасьевич? Для нас Стефан Маркаврелиевич не *всякий!..* Наш уважаемый Алексей Афанасьевич, как всегда, пытается сражаться с ветряными мельницами,—обратился далее Кулебякин к залу, объясняя поведение Карманова,—и, как всегда, попадает пальцем в небо! Мы с вами, разумеется, великодушно его простим, потому что наш славный Дон-Кихот много лет провёл вдалеке от живого литературного процесса. Будучи надолго оторван от него, он порой не совсем точно отличает просто книгу от литературного произведения…—Кулебякин ещё некоторое время рокотал, снисходительно сочувствуя Карманову и его прошлому репрессированного, а стало быть, неполноценного писателя, отставшего от жизни и не умеющего ориентироваться в обстановке, и рокотал до тех пор, пока Карманов, пробовавший возразить, не махнул

рукой и не вернулся на место; тогда Кулебякин остановился и, не теряя времени, попросил выступить Ивана Тихоновича Пыхтеева. Тот, застенчиво краснея и заикаясь, стал бормотать что-то невразумительное о пользе книг Хвылины и его гражданском подвиге, осторожно, как минное поле, обходя молчанием собственное мнение о них.
— А что ты предлагаешь конкретно?—всё же допытывался у него Кулебякин.—Будем или не будем принимать Стефана Маркаврелиевича?
— Можно поставить вопрос на голосование,—осторожничал Пыхтеев, уже садясь и прячась за спины товарищей.
— Мы и так ставим на голосование,—возразил ему Кулебякин.—Но сам-то ты предлагаешь проголосовать «за» или «против»?
— Да, да!—бормотал Пыхтеев, весь красный от смущения, и так и осталось непонятным, «за» или «против» предлагает он голосовать.

Наконец, Кулебякин отстал от Пыхтеева, и снова в зале воцарилось молчание. И тогда все взгляды обратились в сторону Ожогина.

Ожогин встал и, роняя в напряжённую тишину зала шарканье искалеченной ноги и сухой стук палочки: стук-шарк, стук-шарк…—может, даже нарочито долго проходил он эти десять-пятнадцать шагов, добираясь до председательского стола, стоя около которого выступали все, за неимением трибуны. Вышел, внимательно оглядел сидящих перед ним, заглянув чуть не каждому в глаза, и когда молчание стало невыносимым, начал:
— Что-то я не пойму, дорогие земляки: куда я попал и что здесь происходит?—и опять долгая, напряжённая пауза…

Ничего не скажешь, умели эффектно выступать и Кулебякин, и Финк-Червяков, и преподавательница пединститута, и Хвылина—все говорили отменно артистично; но не менее артистично умел это делать и Ожогин.
— У меня такое впечатление, что передо мной—чудовищный фарс, и все вы—действующие лица в нём,—продолжал он, медленно бросая слова.—Но позвольте мне, стороннему зрителю, ваш фарс раскритиковать—слишком плохо он срежиссирован и ужасно к тому же играется… О каких книгах здесь речь? Одно из двух: или эту стряпню можно назвать книгами, или я сумасшедший,—он потряс одной из книг Хвылины, которую держал в руках, и открыл её на странице, отмеченной закладкой.—Больше я ничего доказывать вам не буду; послушайте лишь отрывок из этого шедевра!—и он начал читать страницу от начала до конца.

Страница была бесконечно длинна и скучна и изобиловала соцветиями заурядных журналистских штампов той поры: «Время подготовки к пуску было насыщено героическим трудом», «Соревнуясь за достойную встречу Октября, строители взяли на себя повышенные обязательства ввести ещё один агрегат» и т. д. и т. п. Закончив страницу и захлопнув книгу, Ожогин обратился напрямик к Хвылине:
— Простите меня, Стефан Маркаврелиевич, за грубость, но никакой литературой здесь не пахнет—это просто неумная стряпня какого-то неудавшегося журналиста. Говорят, что ваши книги написаны вовсе не вами. Я был бы рад, если бы это оказалось так—мне кажется, вы намного умнее, чем эти книги, и если бы сами взялись что-нибудь написать, ей-богу, у вас получилось бы лучше. Так что вот вам мой совет: гоните взашей того журналиста, который исхалтурился на дармовых хлебах, и если хотите писать—сядьте и напишите сами хоть с полсотни страниц и пришлите мне. Торжественно клянусь перед всеми: честно прочту, дам советы, даже отредактировать помогу, если позволено будет… Ну а то, что я держу в руках—просто дурная мистификация: столько хорошей бумаги истрачено, столько ухлопано труда редакторов, художников, наборщиков!..—он подержал в руке книгу, брезгливо разглядывая её, и с презрением швырнул на председательский стол.

Хвылина, сидевший в кольце единомышленников, между тем набычивался и наливался кровью, а по сжатым его губам пробегала злая гримаса.
— Но если даже вас здесь примут,—продолжал далее Ожогин,—в Москве вы всё равно не пройдёте—это заявляю вам я, потому что состою в правлении и всё сделаю, чтобы вас там не пропустить. Так что вам лучше… отложить, что ли, приём на неопределённое время?—подсказал он наименее болезненный для всех вариант решения. Закончил на этом и заковылял на своё место.

Кулебякин попытался сгладить резкость Ожогина: сказал, что это всего лишь частное и единственное мнение, и притом мнение гостя, приученного к тому же волею обстоятельств мыслить обособленно и экстравагантно, чего не позволено им, смертным, так что мнение это не обязательно для остальных, и предлагал выступить ещё комунибудь; однако ни один писатель после Ожогина слова не взял; выступали теперь только посторонние: ещё одна литературоведша, потом Таратутин. Они изо всех сил нахваливали книги Хвылины и, главное, напоминали о нём как о выдающемся государственном деятеле. Однако впечатления ни на кого эти речи уже не производили и существенного изменения в атмосферу собрания не внесли; писатели их даже не слушали, оживлённо вполголоса разговаривая.

Решили, наконец, закончить прения и начать голосовать; выбрали счётную комиссию и провели тайное голосование. Счётная комиссия заседала в закрытой комнате больше часа, подсчитывая голоса и о чём-то споря там и томя остальных, хотя о чём спорить-то—всего, как ни крутите, тринадцать голосов!.. И вот, наконец, объявили

решение: большинством голосов Хвылина в Союз писателей не прошёл!..

Сразу после этого сообщения Хвылина вместе со своими единомышленниками дружно встали, вышли из зала заседаний и прошли в кабинет Кулебякина, где давеча разделись. Следом прибежал сам Антон Сидорович.

Здесь под бесконечные извинения краснолицего и потерявшего от волнения голос хозяина кабинета компания молча оделась и, отодвинув Кулебякина в сторону, плотной кучкой вышла на улицу, где у подъезда ждала шеренга чёрных «волг» с «нулями», разобралась по машинам, почти одновременно хлопнув дверьми так, что получился звук пушечного выстрела, и машины, взревев и разом развернувшись, исчезли в темноте. А писатели, оставшись одни после тяжелейшего нервного напряжения, в простодушии своём облегчённо вздохнули наконец и громко и оживлённо заговорили.

Кто-то сожалел о ресторанном банкете. Кто-то, будто предчувствуя недоброе, уставший и проголодавшийся, поскорее отправился домой. А большая часть писателей, галдя, устремилась в подвальчик на «посиделки», где Миша Новосельцев с буфетчиком Игорем уже ждали их — знали, что сегодняшний вечер у писателей будет долгим и застольным разговорам не будет конца, а потому хорошо запаслись и выпивкой, и закуской.

Глава третья

На строительстве Культурного Центра в те декабрьские дни царила спешка: городской штаб во главе с Хвылиной требовал закончить все наружные работы к Новому году; 35-этажный корпус был практически уже возведён; внутрь нужно было вводить сантехников, электриков, отделочников; этому мешал уже ненужный высоченный башенный кран, стоявший рядом со зданием, и была команда демонтировать его ночью, после второй смены.

Вопросов, на которые я так и не получил вразумительных ответов, при этом достаточно: кто, например, дал команду демонтировать его ночью, хотя любой механик скажет, что такой сложный и громоздкий механизм демонтировать ночью нельзя? И почему кран взялись валить именно в ту ночь? Что конкретно делала и чего не сделала бригада монтажников во главе с мастером, которые его демонтировали, и в каком состоянии они были: трезвыми или пьяными? Или случай с неудачным демонтажом этого крана был типичным случаем российского разгильдяйства?.. Ответов, вероятно, уже не найти: судебное разбирательство было замято, следствие хоть и велось, но к каким выводам пришло — неизвестно: следственное дело уничтожено как не подлежащее длительному хранению, и следователь переведён в другую республику; оказывается, перевод следователей в другое место после всякого тёмного дела был тогда правилом — во избежание, видимо, утечки излишней информации. Но кто был тот всесильный, что переставлял следователей, словно шахматные фигуры — этого я не знаю: команды давались устно и нигде не зафиксированы.

Известно только, что при демонтаже крана в ту ночь у монтажников почему-то вырвало из *запасовки* трос, и эта стометровой высоты железная решётчатая громадина со стрелой, противовесом из бетонных блоков и пустой кабиной наверху рухнула плашмя, достала верхней своей частью до писательского особняка за забором и накрыла его.

Особнячок развалился как карточный домик. Когда опешившие монтажники пришли в себя и густое облако пыли в лучах прожекторов, светивших с крыши здания, рассеялось, на месте особняка лежала груда обломков, среди которых торчала одна оставшаяся дальняя стена, да ещё, в другом месте, угол.

Земля, конечно же, от такого удара содрогнулась; раздался страшный треск и грохот, как от взрыва... Очевидцы катастрофы уверяли, что кран падал в морозном тумане, будто в замедленной съёмке фильма ужасов.

Кран упал, особняк рухнул, а неторопливое наше, никакими усилиями не поддающееся ускорению провинциальное время продолжало течь неторопливо. Монтажники (все они при этом остались целы), придя в себя, несколько раз обошли повержённый кран и развалины особняка, вслушиваясь: не раздаются ли из-под обломков звуки — и опасливо, как набедокурившие школьники, начали совещаться: как и что им говорить в оправдание?

Перед ними со всей неумолимостью встал вопрос: был ли кто-нибудь в особняке?.. Сообща припомнили: вроде бы окна были тёмными, а один из монтажников, бегавший часов в одиннадцать к забору по малой нужде, даже уверял, что видел сквозь щели в заборе, как кто-то запирал там входную дверь. И бригада, как за спасительную соломинку, ухватилась за это и уверяла потом, что особняк был заперт.

Посовещавшись, они вместе с мастером пошли докладывать по телефону о происшествии начальнику. Телефон находился на первом этаже небоскрёба, в помещении штаба, где ночью дежурил сторож. Пока это до сторожа достучались...

Разбуженный среди ночи столь неприятным телефонным сообщением начальник, выслушав сбивчивый доклад мастера, первым делом разразился долгой руганью, в то время как терялось драгоценное время. Мастер, пока начальник ругался, успел даже, устав держать трубку, положить её на стол и закурить. Выдохшись, начальник немного успокоился и велел, во-первых, срочно

прислать за ним дежурную машину, которая была у бригады, а во-вторых, вызвать на место происшествия милицию.

«Дежурку» отправили за начальником и принялись звонить в милицию. Дозванивались ещё полчаса: телефон там был без конца занят.

Тем временем приехал начальник, обошёл и осмотрел место аварии, задал несколько вопросов и опять стал ругаться; похоже, так ему было легче соображать. Затем сходил в дежурку, позвонил кому-то и после этого сразу велел бригаде немедленно разбирать поверженный кран на части, а там, где он искорёжен, разрезать автогеном, чтобы к утру всё было разъято. После этого он сел в машину и помчался собирать автокраны и автомашины с платформами, чтобы к утру увезти все детали, чтобы не мозолили глаза, по принципу: меньше вещественных доказательств — меньше разговоров. Встречаться с милицией ему, похоже, не хотелось… Но почему он так уверенно отдавал приказы? И кому доложил об аварии? Эти вопросы для меня так и остались невыясненными.

Для приехавшего наряда милиции авария, похоже, не была событием, из ряда вон выходящим: они тоже обошли и осмотрели развалины и лежавшие поверх них искорёженные конструкции поверженного крана, затем в помещении штаба сняли предварительное дознание с монтажников и написали протокол. Вся бригада при этом единодушно заявила, что пока не знает, отчего упал кран — они всё делали по инструкции; но что в разрушенном особняке никого не было — это точно: до семи вечера там горел яркий свет, а около подъезда табунился косяк чёрных «волжанок»; потом оттуда вывалила орава мужиков, села по машинам и отвалила, и свет в особняке сразу ослаб; окончательно же он погас часов в десять, и *все* видели, как кто-то вышел оттуда последним и запер дверь на ключ… Милиционеры, было, засомневались в том, что можно в темноте, да ещё из-за забора, пусть и дырявого, увидеть, как запирают дверь, однако монтажники возразили, что при прожекторах — можно; причём главным доводом монтажников было: они же — не пьяные!..

Милиционеров этот довод убедил, тем более что они торопились: вызовов, как всегда по ночам, невпроворот, и довод этот нужен был им самим. Они быстро закруглились с дознанием, составили протокол и помчались дальше.

Начальник монтажников организовал дело так, что в шесть утра, несмотря на то, что уже началась суббота, выходной день, на месте происшествия уже работали два автокрана и стояли под погрузкой несколько автоплатформ; все части искорёженного крана в течение часа погрузили и увезли. Видели это всего лишь двое зевак; так что тем, кто проходил здесь позднее, в восемь утра, было уже невдомёк, отчего лежит в руинах особняк возле новостройки, ещё с вечера светивший окнами — может, так и надо, когда кругом всё рушат и перестраивают?.. Стало быть, утром в городе никто, кроме высокого начальства, наряда милиции, бригады монтажников да двух случайных зевак, не знал ни об обрушении, ни о его причинах.

С другой стороны, родственники некоторых писателей с утра начали звонить в разные организации: пропал, не вернулся ночью глава семьи.

Почему начали звонить только утром? Да потому что кое-кто из потерянных предупредил дома накануне: возможно, надолго задержится вечером. Да ещё кое-кто из них имел дурную привычку, загуляв, остаться ночевать у приятеля, а кое у кого вообще некому было беспокоиться о его потере.

Возможно, были ночные звонки в «скорую» и в отделения милиции, но вразумительно ответить оттуда, естественно, никто не мог: милицейский наряд, побывавший на месте аварии, всю ночь мотался потом по другим вызовам, а утром разъехался по домам, в то время как их докладная с протоколом дознания легла вместе с кучей других срочных бумаг на стол вышестоящего милицейского чина и дальнейшего движения пока что не получила.

Обеспокоенным родственникам ничего вразумительного не могли ответить и с Кулебякинского домашнего телефона: какая-то старушка отвечала, что Антоша поздно вечером укатил на все выходные вместе с семьёй на дачу. Остальные писатели, оказавшиеся дома, тоже бормотали нечто невразумительное.

И дежурный в Большом Чуме ничего не мог ответить: Хвылина с утра уехал в район по делам, новая заместительница Хвылины по идеологии, назначенная вместо Выжлецовой, — в Москве с отчётом; остальные заместители писателями не занимаются.

Что было дальше?.. Вызванная в субботу с утра служба расследования строительных аварий, со своей стороны, все выходные занималась расследованием обрушения особняка и составила свой акт, в котором выявила причину аварии: вырвало из запасовки трос при демонтаже крана. И строительное начальство быстро «отреагировало» на это: в понедельник выпустило приказ о наказании виновных: мастера перевести в рабочие; а поскольку самих рабочих переводить было уже некуда, их предупредили: впредь быть внимательнее, — и лишили премиальных за последний квартал.

А между тем всю первую половину субботы жёны потерянных писателей (потерянных пока оказалось двое: Зуев и Светлый) вели бесплодные телефонные разговоры, не очень-то настойчивые (видимо, надеясь, что потерянные найдутся сами: сбивало с толку, что их двое), и лишь к обеду

с ужасом узнали, что писательский особняк ночью рухнул. Что предпринимать, они не знали. Первым делом примчались на развалины и ходили вокруг с плачем и причитаниями. Пробовали разбирать руины своими руками — да куда там: громадные кирпичные глыбы перемешаны с уходящими вглубь железными и деревянными балками, а сверху всё накрыто искорёженной железной крышей!

Здесь к жёнам Зуева и Светлого присоединилась гражданская жена Гоши Худякова Анжела: она уже успела по привычке обежать вытрезвители, морг, все отделения милиции и всех Гошиных дружков, пока кто-то не подсказал, что писательский особняк ночью приказал долго жить.

Анжела и организовала поход жён потерянных писателей в Большой Чум, чтобы прорваться в кабинет к кому-нибудь из дежуривших там чиновников и устроить скандал, чтобы тот что-нибудь предпринял.

Дальше вестибюля в Большом Чуме их, естественно, не пустили, но они подняли такой гвалт, что милиционер, не выдержав, начал названивать по внутреннему телефону, и тогда к ним спустился какой-то начальник, стал успокаивать женщин и обещал обязательно помочь. Женщины, потолкавшись ещё немного, снова отправились на руины — ожидать теперь помощи там. Кто-то помог им развести костёр, т. к. мороз усиливался, а короткий декабрьский день уже переходил в долгие чернильно-фиолетовые сумерки.

Сквозь слёзы и всхлипы женщины обменивались соображениями; так, совместными усилиями они предположили, что если даже их мужья и были ночью в особняке, то могли остаться в живых, т. к. там, они знали, был подвал, где они устроили нечто вроде клуба; далее, они, скорее, высчитали, чем узнали, что среди потерянных вполне мог оказаться и Карманов, который жил в последние годы с какой-то вдовушкой, но его, будто бы, настойчиво гнали из квартиры взрослые вдовушкины дети, и где он сейчас, никто не знал; мог там оказаться и Имангильдин — тот вообще жил один-одинёшенек, и дома его тоже не было. Далее, именно женщины обратили внимание, что каким-то странным образом потеряны писатели, чаще всего выступавшие против Большого Чума или хотя бы не поддерживавшие его начинаний… Кто-то из этих женщин знал, что в пятницу на собрании Хвылину должны были принимать в писатели. Приняли они его или нет?.. Какая-то во всём этом была странная, страшная загадка…

Тем временем город накрыл тёмный и морозный декабрьский вечер, а помощи женщинам ниоткуда не предвиделось, и уже некуда было идти жаловаться, так что они решили разойтись по домам и звонить теперь в самую последнюю инстанцию — в Великий Курултай.

И, может быть, именно эти вечерние попытки дозвониться до Великого Курултая возымели действие, потому что когда на следующее утро, в воскресенье, они снова появились возле развалин, то увидели, что развалины плотно оцеплены одетыми в полушубки и валенки солдатами, которые перекидывались шутками и, похохатывая, ходили по очереди греться к разложенным внутри оцепления кострам, а ещё больше солдат облепило сами развалины; там же трудолюбиво урчали кран и бульдозер и стояли под погрузкой самосвалы. Но когда женщины попытались туда пройти, солдаты их не пустили, и сколько женщины ни умоляли пропустить их или хотя бы позвать командира, солдаты, до этого добродушные и весёлые, оставались тверды и неумолимы: не положено!.. Так в тягостном ожидании прошли ещё сутки.

В понедельник утром Хвылина из своего кабинета в Большом Чуме имел телефонный разговор с Кулебякиным, вернувшимся с дачи.

Кулебякин уже знал о несчастии; Хвылина же, как всегда, говорил бодро и энергично: не отвлекаясь на мелочи, посочувствовал обрушению особняка и потере нескольких писателей и твёрдо пообещал, что как только Культурный Центр сдадут в эксплуатацию, писателям тотчас выделят целый этаж под кабинеты и самую дорогую современную мебель… «Может, новая обстановка поможет вам и работать по-новому?» — многозначительно добавил он. «Да, конечно», — рассеянно ответил ему Кулебякин, недоумевая: ведь не из-за того же позвонил в столь драматический час Хвылина, чтобы только сказать про мебель и кабинеты?.. И точно, помедлив, Хвылина осторожно поинтересовался: успели ли они отправить в Москву протокол собрания, и не потерялся ли «этот, как его» (многие заметили, что Хвылина никак не может выговорить вслух фамилии Ожогина — всегда только: «этот, как его»).

Кулебякин ответил, что протокол, разумеется, отправить не успели, и он, видимо, погиб среди руин, на что Хвылина, будто бы, удовлетворённо крякнул. Второй же вопрос Хвылины Кулебякин воспринял как приказ разузнать, где сейчас Ожогин, поэтому тотчас после разговора он позвонил в Москву и уже через пять минут разговаривал с Ожогиным. Тот, оказывается, почти сразу после собрания уехал в аэропорт, а там пошёл к диспетчерам и, к счастью, набрёл на своих почитателей: те усадили его в первый же самолёт и всё, что с него взяли — несколько книжек с автографами, которые он на всякий случай возит с собой.

Кулебякин рассказал ему о случившемся и об одновременной потере нескольких писателей; ему было интересно, как отреагирует на это Ожогин.

Тот повёл себя странно: молчал так долго, что Кулебякину показалось даже, что прервали связь, и он с тревогой крикнул в трубку: «Алло!»—«Да-да,— отозвался Ожогин.—Я думаю… Наверное, это и должно было случиться… Но меня, можно сказать, уже нет: всё решилось—лечу за рубеж! Надеюсь, потерянные найдутся?»—и положил трубку. Испугался, значит: дрогнуло у нашего Сцеволы очко, когда представил себе, что сам мог оказаться ночью в особняке, и ох как захотелось ему сразу в загранкомандировку!—со злорадством подумал Кулебякин. А когда попозже докладывал Хвылине о разговоре с Ожогиным, тот, будто бы, не в трубку, а кому-то сидящему рядом—или себе самому?—пробормотал: «Жив, значит, сукин сын?..»

А солдаты, разбиравшие развалины особняка с помощью крана и бульдозера, сменяя друг друга, работали двое суток, и днём, и ночью, причём ночью при прожекторах. До чего они там докопались, никто из гражданских лиц не знал, даже самые близкие родственники пропавших.

Тем временем по городу пополз слух, будто после собрания, где Хозяина не приняли в писатели, эти самые пропавшие писатели, испугавшись мести, договорились взорвать особняк и сбежать; кто-то даже видел их той ночью на вокзале… И кому только надо было придумывать такой нелепый слух?

Наконец, через трое суток тех родственников, что не спали ночами, переживая по поводу потери писателей, официальным звонком из управления внутренних дел уведомили, что никаких человеческих останков в развалинах не обнаружено, поэтому искать их надо в другом месте.

Когда же недоверчивые и измученные ожиданием родственники через три дня кинулись к руинам, то обнаружили на месте их ровную площадку, на которую самосвалы, несмотря на мороз, привозили и ссыпали чернозём, а солдаты раскидывали и ровняли его лопатами; тут же, согласно архитектурно-планировочному чертежу, делали разбивку пешеходных дорожек, обкладывали их бордюром, засыпали гравием, трамбовали. А ещё через день, несмотря на всё усиливавшийся мороз—даже высажены кусты и заасфальтированы дорожки. В самой же середине площадки выложен из полированных гранитных блоков большой ровный круг, так что точно определить место, где стоял особняк, было теперь невозможно.

Это потом уже, когда в городе появилось слишком много машин и на автостоянке перед Культурным Центром стало тесно, а сам Хвылина перебрался в Москву, так и не дождавшись второй Золотой Звезды, и о нём стали здесь понемногу забывать, тот сквер с кругом из гранитных блоков убрали, и на его месте соорудили новую стоянку для служебных машин.

Глава четвёртая

А теперь вернёмся к тому злополучному вечеру после собрания, на котором писатели «прокатили» Хвылину: что же происходило в особняке дальше?

Хвылина со своей командой, как мы уже знаем, расселись по машинам и уехали. Куда? Да, конечно же, на заказанный в ресторане банкет: не пропадать же заказу, за который уплачено одним из предприятий по статье расходов «культурно-массовое мероприятие»! Ни Кулебякин, ни Финк-Червяков приглашены туда не были—слишком уж Хвылина на них обиделся: не смогли, пентюхи этакие, организовать собрание!

Примечательно, что, ещё стоя на улице, в окружении своей команды, остывая после собрания, Хвылина, дав волю раздражению, будто бы произнёс следующий монолог:
—Что они себе позволяют? Пора, кажется, разогнать эту шайку шарлатанов и собрать новую!.. Я до них ещё доберусь, я им устрою!.. И всё равно стану членом их дерьмового Союза, чего бы это им ни стоило!..—а потом, уже в ресторане, в подпитии он, куражась над своей командой, выкрикивал:—Ну, кто ещё хочет в писатели? Кишка тонка? Бездари, вы только кучей сильны: облепить любое *дело* и заболтать до смерти!..

Про то что «пора разогнать эту шайку шарлатанов», что он доберётся до них и «устроит» им нечто страшное, никто бы, наверное, и не вспомнил—мало ли грозных кар он в своей жизни изрёк! Да если бы они все сбылись, от нашей области вместе с её насельниками и праха бы не осталось; ну, разгневан начальник—чего в гневе ни брякнет… Если бы слова его не оказались пророческими! И гадай теперь: давал он кому-то задание или хотя бы намёк на него или не давал? Или, может, кто-то из ретивых подчинённых, всё понимающих буквально, устремился исполнить эти его угрозы как приказ? И почему у монтажников вырвало трос именно в ту ночь? Сами ли они не доглядели, будучи нетрезвыми, или кто-то посторонний в темноте ослабил болты и помог этому самому тросу выскользнуть из *запасовки*, пока они ужинали с возлиянием доброй дозы спиртного? Или следует верить в мистическую силу слов, обретших в угрозах Хвылины силу материальную?.. Догадки можно строить сколько угодно, но доказательств—никаких, только совпадения. И ответов на вопросы, похоже, уже не найти никогда.

А что же произошло в тот вечер с теми, кто остался в особняке, и куда делись *потерянные*?

Как мы уже говорили, после отъезда Хвылининой команды часть писателей, словно сорвавшись, начала галдеть, кучковаться, торжествовать победу и трясти руку Ожогину, освободителю их совести.

А между тем незаметно исчез, от беды подальше, осторожный Финк-Червяков. Уехал домой на служебной «волге» и удручённый Кулебякин, попрощавшись с Ожогиным, поблагодарив за приезд и своевременное вмешательство в ход собрания. «Вы должны меня понять: ведь *он* наседал, ох как наседал!»—оправдывался он перед Ожогиным, разводя руками.

Ожогин попросил отвезти его в аэропорт. Но поскольку его ещё тащили вниз, в кафе, желая выпить с ним «за победу», Кулебякин пообещал ему прислать «волгу» с шофёром, как только тот довезёт его самого до дома.

Ожогин будто бы предложил своим землякам в подвале полушутливый тост: «за спаянность и споенность», единственное оружие, с коим только они и могут выстоять в круговой осаде против Больших, Средних и Малых Чумов, слившихся в единую Галактику и желающих лишь одного: чтобы на земле не осталось ни одного противостоящего им человека. При этом он выпил стограммовую стопку коньяка, закусил бутербродом с ветчиной и долькой лимона поверх и поблагодарил всех за тёплые слова в его адрес.

Обещанная Кулебякиным «волга», конечно же, не вернулась—шофёр потом, будто бы, рассказывал со смехом, что Кулебякин, доехав до дома, показал шофёру кукиш и сказал: «Вот такую Москву он у меня сегодня получит!»—и велел шофёру ехать в гараж. Поэтому двое или трое молодых писателей, догадываясь о кознях Кулебякина, поймали для Ожогина на улице такси, усадили его и благополучно отправили в аэропорт, а сами вернулись в особняк. И вечернее бдение в подвальном кафе пошло своим чередом, разгораясь час от часу. Правда, после отъезда Ожогина некоторые потянулись домой, и часам к девяти там остались, не считая Миши Новосельцева и буфетчика, ещё семь или восемь человек.

Оставшиеся, утолив первые позывы выпить и высказаться, продолжали обсуждение собрания уже спокойнее, углубляясь в детали.

Ещё примерно через час (хотя времени уже никто не замечал, каждый знает, как скачкообразно бежит оно в подобных ситуациях), сдвинув столики, разгорячённые выпитым и возбуждённые всплесками собственного красноречия, обсудив к тому времени собрание, Хвылину, Ожогина и Кулебякина, писатели стали наседать на Пыхтеева, беря его за лацканы и обвиняя в оппортунизме и трусости. Тот, уже пьяный, оправдывался: «На меня давили, потому что я смелый и с моим мнением считаются! Я виноват не больше, чем вы—вы вообще молчали!» Но лепет его оправданий только подливал масла: да, они молчали, но молчание—это уже протест!..

Выручила Ивана Тихоновича «Прекрасная Елена», Чернышёва—она тоже уже *захорошела* и пыталась спеть романс «В том саду, где мы с вами встретились…», но слушать её никто не желал—не до неё было; галдёж неминуемо скатывался к мордобитию Пыхтеева; тогда Елена Максимовна влезла на стол и, вынув изо рта папиросу, стала, защищая Ивана Тихоновича, обвинять остальных в том, что они не мужчины, а «оно» и «дерьмо», достойное её презрения, затем попыталась отбить на столе чечётку, но схватилась за поясницу и осторожно, с помощью поданной благодарным Иваном Тихоновичем руки слезла. «Ах, Лена, Лена, ты всё ещё баба хоть куда!»—сказал он ей, и Елена Максимовна ответила ему с задором: «А ты думал, старый хрыч, меня уже в утиль списывать пора? Не-ет, мы ещё побарахтаемся в этом говне!»

Однако обиженный, да и от греха подальше, Пыхтеев вскоре всё же засобирался домой и увёл с собой совсем опьяневшую Чернышёву.

Следом подвал покинул фантаст Ерохин, вспомнив, что жена ревнует его, когда он приходит поздно, и бьёт чем попало по голове, источнику его литературных фантазий. А поскольку он тщательно берёг этот источник, то вовремя ушёл, хоть и на нетвёрдых ногах, держась за стены и долго борясь с непокорными дверьми; его-то, возможно, и видел один из монтажников выходящим около одиннадцати вечера из особняка, буквально минут за сорок до того, как рухнул кран…

Итак, мы установили, что после одиннадцати в тот вечер в особняке оставалось семь человек: Миша Новосельцев и упорно называвший себя барменом буфетчик Игорь, а также пять писателей: Зуев, Карманов, Светлый, Имангильдин и Худяков,—и больше никто уже из особняка не вышел.

Оставшиеся тоже порывались разойтись, но откладывали намерение; кроме того, двое были уже неходячими: Имангильдин и Худяков; позже к ним присоединился старенький Карманов. Они спали, причём в самых разных позах: Имангильдин свернулся калачиком в кресле; Карманов сидел за столом, подперев голову руками, так что казалось, будто он сидит, задумавшись; но стоило одной руке соскользнуть—и голова его падала на стол, после чего многоопытный и волевой даже в пьяном сне Карманов снова подпирал голову руками. Худяков вообще норовил сползти под стол и устроиться там; в конце концов, заботливому Мише надоело поднимать его, и он оттащил его на старенький диван у противоположной стены, а чтобы он и там не сполз, перенёс туда ещё и Варфоломея и положил рядом, и они лежали теперь рядышком, трогательно обнявшись во сне, один—с волосами, как вороново крыло, а другой—русый с рыжиной… В боковой комнате, которую буфетчик приспособил под склад, стоял ещё один диванчик, персональный диван буфетчика—туда хотели положить Карманова,

но тот сопротивлялся, бормоча, что не спит, а сидит и думает.

Итак, бодрствущими из писателей теперь оставались только двое: Зуев и Светлый, антиподы по натуре: Фёдор Матвеевич Зуев воплощал в себе начало пессимистическое, даже мрачное, а Аркадий Светлый, наоборот, солнечное, аполлоническое. Естественно поэтому они вели в тот вечер нескончаемый спор (который и помог им остаться бодрствующими). Миша Новосельцев сидел вместе с ними и слушал их; обе стороны казались ему правыми; но когда одна начинала терпеть поражение, Миша поддерживал её аргументами до восстановления равновесия. Когда же приходили к согласию, Миша предлагал выпить за это, и они, чокаясь, пили втроём «за святую правду на Руси».

Буфетчик Игорь сидел по другую сторону буфетной стойки, был мрачен, посасывал от нечего делать рюмку ликёра и ворчал, что уже пора «закрывать лавочку», а Миша уговаривал его: «Потерпи, Игорёк! Потом можешь хоть неделю отдыхать, а сегодня дай им расслабиться — видишь, какой праздник у них: может, первый раз в жизни достоинство отстояли».

Нет, чтобы Игорю настоять на своём! Однако он сидел и, посасывая ликёр, терпеливо ждал, когда кончится *эта бодяга*. Такой выдержанный парень на беду оказался!

Вот тут-то всё и началось. Вдруг погас свет, одновременно раздался страшный треск и грохот, подвал содрогнулся, а с низкого сводчатого потолка посыпалась щебёнка, стал рушиться кирпичный свод и падать целыми глыбами, с хрустом, как яичную скорлупу, сплющивая столы и стулья. Стол, за которым бодрствовали трое и дремал четвёртый, к счастью, стоял возле самой буфетной стойки; на него тоже посыпались щебень и кирпичи; было совершенно непонятно, что произошло, но что-то заставило их всех в темноте шарахнуться от стола — Миша и Светлый были люди ещё молодые, с не умершим пока инстинктом самосохранения и хорошей реакцией на опасность; Зуев же, правда, немолод, но поджар и жилист и т. к. желал прожить долго, то много сил уделял здоровью и тренировкам, да к тому же был почти трезв; старенького же и нетрезвого Карманова длительное состояние репрессированного приучило быть готовым к опасности в любом состоянии… И всё-таки не всем удалось в тот страшный миг быстро отскочить в безопасное место — во тьме уже слышались стоны…

Буфетчик Игорь, самый удачливый из всех, успевший присесть за буфетной стойкой метровой высоты, остался невредим, хотя и разбил себе в кромешной тьме лоб, отчего тотчас выросла шишка и гудела голова; подождал, постепенно приходя в себя от испуга, две или три страшно долгих минуты после того, как грохот и треск утих и движение ломаемых частей дома прекратилось, и прислушался. Теперь только сыпалась мелкая щебёнка, да где-то булькала, стекая, вода. И тут совсем рядом послышался мужской стон, более похожий не то на звериное рычание, не то — боже упаси! — на предсмертный хрип. Он, привычным движением хлопнув себя по карману, нащупал газовую зажигалку, вынул, зажёг её и, осторожно поднявшись на ноги, держась за стойку и подняв зажигалку над головой, осмотрелся.

Зрелище предстало ему ужасное. Весь сводчатый потолок в середине зала — вот он, в двух метрах — обвалился; сквозь него прямо на столики и кресла, сплющив их в лепёшки, рухнул сверху, так и оставшись торчать стоймя и заклинившись, огромный столб всяческих обломков: торчала наискось, врезавшись одним концом в каменный пол, стальная ржавая балка, торчали изломанные деревянные брусья и толстые доски с нашитой на них дранкой и кусками штукатурки, и всё придавлено глыбами рваной кирпичной кладки; но крепкий свод потолка (вот что значит старинная кладка!) был пробит только посередине, а вдоль стен держался, поэтому между стенами подвала и бесформенным, чудовищно ощетинившимся обломками столбом оставалось немного пространства; причём вдоль по чудовищному столбу уже бежали сверху струйки воды.

Голова срочно требовала объяснений произошедшего. «Землетрясение!» — сделал он для себя первый попавшийся вывод — иначе как объяснить всё это? Но присутствия духа, надо отдать ему должное, парень не потерял.

Будучи практичным, он сразу рассудил, что если сильное землетрясение — значит, разрушений в городе много и до них доберутся нескоро… Помянул в уме Бога за то, что остался жив. Отметил про себя, что есть у него и свечи, и подсвечник: свет в подвале гас и раньше, и — как чуяло сердце — запасся целой пачкой их. И винцо, и коньячок, и продукты остались!.. Нагнулся, нашарил в нижнем шкафу свечи: «Здесь!» Достал одну, зажёг, вставил в подсвечник, зажигалку по-хозяйски сразу потушив. Разогнулся, теперь уже держа в руке подсвечник со свечой, и негромко крикнул:

— Э-эй!

— Да-да! — ответил из темноты голос, кажется, Мишин. — Кто там?

— Это я, Игорь! — отозвался буфетчик. — Где остальные?

— Не знаю, я здесь один! У тебя какой-то свет?

— Да, свеча!..

В это время близко от Игоря снова раздался стон. Игорь перегнулся через стойку, посветил свечой и различил во тьме: кто-то, подперев спиной стойку, сидел на полу, скорчившись и зажав

голову руками, а по волосам и пальцам течёт чёрная во мраке кровь. Игорь поставил свечу на стойку, крикнул Мише: «Погоди, я кого-то нашёл!» — обогнул стойку и, оббивая ноги о густо рассыпанные кирпичи, подошёл и попробовал поднять пострадавшего.

Это был Аркадий Светлый. Буфетчик, крепко обхватив его, затащил в буфетный закуток, единственное не тронутое разрушением место, усадил на стул, отнял его руки от головы и, приблизив свечу, осмотрел. Рана была обширная, но, кажется, неглубокая; из неё текла обильная кровь, заливая лицо.

— Потерпи! — сказал Игорь, быстро нашёл в шкафу чистое полотенце, разодрал его вдоль, одной половиной обмотал голову Аркадия сверху вниз, завязав под подбородком, причём на темени оно тотчас напиталось кровью. Второй половиной полотенца, смочив его конец в сухом вине (просто не было под рукой воды, зато была початая бутылка рислинга), он попытался отмыть от крови его лицо.

— Хочешь выпить? — спросил он, и ему показалось, что Аркадий кивнул. Достал из буфета початую бутылку коньяка и стопку, налил и поднёс Аркадию; тот сделал глоток, но поперхнулся, застонал, отвёл руку Игоря и снова скорчился на стуле, стиснув руками голову.

— Ладно, посиди тут, — сказал Игорь, взял свечу, вышел из-за стойки и отправился на поиски Миши, крикнув ему в темноту:

— Эй, Миша, я иду к тебе!

— Давай быстрей! — отозвался Миша. — Я тут кого-то нашёл!

Освещая дорогу мятущимся пламенем свечи и осторожно пробираясь вдоль стены на голос, Игорь через несколько шагов увидел Мишу, чуть не налетев на него — тот сидел на корточках над кем-то, лежащим на полу.

— Ну-ка посвети! — сказал Миша.

Игорь наклонился вместе со свечой. Теперь видно было, что на полу, упёршись головой в стену и уткнув лицо в согнутую руку, лежит Алексей Афанасьевич Карманов — его легко было узнать по седой шевелюре. Одна нога его, лежащая свободно, судорожно дёргалась, а вторая — придавлена кирпичной глыбой. Миша, поднявшись и упёрши руки в глыбу, попробовал сдвинуть её, однако она не шевельнулась. Игорь поставил свечу на пол, и они попробовали сдвинуть её вдвоём — она не поддалась, но шевельнулась, осыпая отдельные кирпичи, больно бьющие по ногам; Алексей Афанасьевич при этом дёрнулся, как от электрического удара, и издал долгий тяжкий стон.

Игорь с Мишей пошли вдоль этого проклятого столба, пытаясь разыскать при слабом колеблющемся пламени свечи какой-нибудь рычаг, могущий приподнять глыбу, внимательно рассматривая всякий хлам и обломки. Обломки досок были то слишком коротки, то слишком длинны и зажаты. И вдруг Миша с некоторым даже ликованием обнаружил торчащий из стены хлама толстый железный стержень. Обоим пришлось повозиться, пока они выдернули его. Это было то, что им нужно: почти готовый лом, хотя и с тупыми концами.

С помощью этого стержня край глыбы вдвоём всё-таки приподняли — ровно настолько, чтобы высвободить зажатую ногу Карманова, в то время как сам он скрипел зубами, рычал, стонал, ругался и дрожал всем телом.

Решили и его отнести в буфетный закуток: там пол деревянный, и есть где положить. Понесли — Игорь впереди, держа одной рукой за ноги, а другой держа свечу и освещая путь, а Миша — сзади, подхватив Карманова подмышки. Не обошлось без того, что, запнувшись, Миша повалился прямо на него. И всё же донесли и положили рядом со стулом, на котором всё в той же позе: скорчившись и обхватив голову, — сидел Аркадий.

Растормошённый, Карманов теперь непрерывно стонал, закрыв глаза и сжав зубы. Игорь и Миша склонились над ним, не зная чем помочь.

— Дай-ка ему коньяку, может, полегчает? — сказал Игорь, налив немного в стопку и подав Мише.

Миша приподнял Карманову голову и попробовал влить жидкость ему в рот, но Алексей Афанасьевич не мог разжать зубов. Миша, чтобы коньяк не пропадал, выплеснул его в собственный рот.

— Как ты думаешь, что у него с ногой? — спросил он.

— Снимите ботинок… давит, — прохрипел Карманов.

Миша расшнуровал и осторожно снял с его ноги ботинок — ботинок был зимний, высокий, меховой и сидел на ноге плотно. Игорь, склонившись, светил и поддерживал ногу. Ступня, как оказалось, была неестественно вывернута, сплющена с боков и уже разбухла от кровоизлияния; носок пропитался кровью и прилип к коже, поэтому снимать его не стали. Ботинок подсунули ему под голень, чтобы ступня свободно висела, ни за что не задевая. Алексею Афанасьевичу стало легче; он, наконец, разжал зубы и прохрипел, не открывая, впрочем, глаз:

— Что у меня там? Плохо дело?

— Да, неважно, Алексей Афанасьевич, — вежливо и откровенно ответил Миша. — Придётся потерпеть.

— Мне не привыкать, — горько усмехнулся Алексей Афанасьевич, умолк и больше уже не говорил. Однако стонать перестал.

— Надо остальных искать, — сказал Миша. — Пошли.

Действительно, оставалось ещё три человека: Зуев, Худяков и Имангильдин, живы ли они? Ни Миша, ни Игорь вслух об этом не заговаривали. Идти страшно не хотелось — усталость и страх навалились на них как-то разом. Свеча у Игоря

стала короткой, и он вставил в подсвечник новую, а огрызок спрятал в шкафу. Затем они отправились тем же путём вперёд.

Дошли до места, где освободили из-под глыбы Карманова. Подобрали железный стержень и двинулись дальше.

Дальше дорогу преградила доска, косо торчавшая из кучи, упёршаяся в стену и ощетинившаяся штукатурной дранкой и гвоздями.

— Такая могла и пропороть — торчал бы сейчас, как шашлык на шампуре! — пробормотал Миша.

Он попробовал вывернуть её, но куча, в которой доска была зажата, дышала и осыпалась, грозя расползтись и придавить обоих; решили её не трогать, проползли под ней.

Наконец достигли противоположной стены; здесь было просторней. Где-то тут стоял диван — где он?..

— Да вот же! — обрадовался Игорь, обнаружив, наконец, старенький диван, зажатый вокруг глыбами кирпича, а на нём — невредимых, спящих ангельским сном Гошу с Варфоломеем. Даже не проснулись, счастливчики!.. Решили их пока не будить — пусть досматривают пьяные сны; проснутся — а их уже наверх тащат, и не узнают того ужаса, что пережили они.

А в самом дальнем углу обнаружили и Зуева — тот сидел на корточках, прижав к груди левую руку и покачиваясь, будто баюкает её, как младенца, или просто дремлет таким странным образом; но когда он увидел приблизившихся со свечой Игоря и Мишу, то встрепенулся: «О-о, живые!» — полагая, видно, что все остальные погибли.

Он рассказал, что хотя и слышал голоса и отблески света, но решил, что у него начались галлюцинации, и что тоже пережил жуткие минуты, когда в момент обвала остался во тьме, тем более что его ударило в бок и отбросило к стене; тогда он уполз и забился в угол.

И настроение у Миши и Игоря поднялось, словно с душ их свалился тяжкий груз: они не чаяли найти всех живыми и готовы были расцеловать всех в благодарность за это!

Вернувшись в буфетный закуток, теперь уже с Зуевым, Миша помог ему закатать рукав свитера и рубашки и осмотрел ушибленную руку; состояние её было нехорошим: кожа на предплечье содрана, кровоточила, и разбухал на ней огромный синяк, а ниже локтя рука, похоже, вообще сломана — кисть неестественно вихляла, доставляя ему страдания.

Налили Зуеву стакан единственного лекарства — коньяку, и тот без уговоров выпил. Игорь достал последнее полотенце; Миша выломал из спинки стула, на котором сидел Аркадий, широкую планку, и они с Игорем туго примотали её полотенцем к руке Зуева в месте перелома; Феёор Матвеевич мотал головой, рычал и здоровой рукой отирал со лба холодный пот.

Наконец, первая помощь пострадавшим была оказана; надо было что-то делать дальше... Оба уже заметили, что лестница, ведущая наверх, рухнула, а вся лестничная ниша забита глыбами кирпичной кладки. Путь наверх отрезан.

— Что будем делать? — спросил Миша у Игоря; он чувствовал свою ответственность за остальных.

— Может, попробуем разобрать? — кивнул Игорь на столб из глыб и обломков посреди зала.

— Боюсь, — покачал головой Миша. — Чуть тронешь — вся масса поползёт вниз и раздавит нас, как тараканов.

— А что ты предлагаешь?

— Пока не знаю.

— Может, нас будут искать? Нас же семеро!

— А если это атомный удар, и там ни души? — возразил Миша.

— Можем и подождать. Продукты есть, — сказал Игорь. — Давай положим раненых на мой диван — может, им легче будет?.. Устал я что-то.

Миша поднёс руку к свече и взглянул на часы.

— Немудрено. Два часа ночи.

С предосторожностями перенесли на диван в кладовке Алексея Афанасьевича; сбоку от него осторожно прилёг Зуев со своей туго спелёнутой рукой. Аркадий, всё так же сидевший в оцепенении, лечь отказался — сидеть ему было легче, и его больше не тревожили.

Теперь, когда все относительно устроены, настало время подумать и о себе. Миша сказал, что пойдёт прикорнуть с Гошей и Варфоломеем — диван просторный, и он выкроит там себе местечко; Игорь решил спать здесь, прямо на полу, в закутке родного буфета — у него тут и тёплая куртка, и шапка есть. Он отдал Мише огарок давешней свечи, и тот пошёл спать к ребятам на диван; сам же Игорь, достав куртку и шапку, стал устраиваться на деревянном полу: подложил под голову шапку, укрылся курткой и погасил свечу.

В подвале теперь стояла мёртвая, гнетущая тишина, нарушаемая единственным звуком: тихим бульканьем воды, неутомимо бегущей откуда-то сверху. Давеча он обратил внимание: на полу уже образовалась лужа, пока что заполняя собою углубления и впитываясь в трещины и поры; но ботинки уже успели промокнуть... А что если, пока они спят, вода поднимется?.. Игорь встал, зажёг снова свечу, осмотрелся внимательнее. Ему пришла хорошая мысль: соорудить себе кровать из двери, которая вела в склад. Он снял её с петель, принёс несколько обломков кирпичей и положил дверь на них: получилась лежанка высотой сантиметров в тридцать над полом; теперь можно было спокойно выспаться — думать о завтрашнем дне уже не было сил.

Он сумел уговорить лечь рядом с собой Аркадия, даже отдал ему под голову свою мягкую ондатровую шапку, а себе соорудил изголовье из

большой хозяйственной сумки, лёг, укрыл себя и Аркадия курткой, прижался к нему, потушил свечу — и сразу в сон, как в глубокий обморок.

Глава пятая

Проснулся он оттого, что его трясли за плечо. Он разлепил веки, приходя в себя — перед ним смутно маячили три фигуры: наклонившийся к нему Миша с огрызком зажжённой свечи в руке, а по бокам — испуганные, пришибленные какие-то Гоша с Варфоломеем, оба с втянутыми в плечи головами; обоих била дрожь. А Миша всё тормошил Игоря и повторял:

— Вставай, вставай! Потоп!

Игорь рывком скинул куртку, которой был укрыт пополам с Аркадием, приподнялся, опустил вниз ноги, и они тотчас по щиколотки ухнули в холодную воду; он резко поднял их, и лежанку захлестнула волна. Теперь он видел, что эти трое тоже стоят в воде. Оставалось одно: встать в воду самому. Она была холодной, но не ледяной — терпимой.

Теперь, когда он встал, сразу почувствовал, как в *подвале* остыло; воздух сильно увлажнился, и всё кругом: стены, остатки каменного потолка и весь этот страшный столб обломков и глыб — влажно блестит. Вверху на этом столбе уже намёрзли гроздья сосулек; а вода всё бежит и бежит — кажется, даже сильнее, чем давеча: нашла, наверное, себе верный ход и стекала теперь небольшим водопадом, прорываясь сверху и паря — была, видимо, тёплой.

— Надо что-то делать — нас затопит! — взволнованно сказал Миша.

— А вы слышите: сверху кто-то стучит? — вдруг сказал Варфоломей и посмотрел в потолок.

Все подняли вверх головы и замерли. Из соседнего помещения, шлёпая по воде и прижимая к груди замотанную руку, вышел Зуев.

— Тише! — шикнули ему.

Зуев замер на ходу. Действительно, сверху донёсся глухой стук. Значит, там кто-то живой, и этот живой хочет им помочь.

— Ребята, нас ищут! — взволнованно сказал Миша.

Спасение мнилось близким; что ж тут удивительного: их хватились!.. Но пока до них доберутся — надо думать, как продержаться.

— Слушай, Игорёк, — осипшим голосом обратился между тем к буфетчику Худяков, красноречиво потирая шею. — У меня голова не соображает, что тут происходит. Подлечиться бы, а?

— Тут дело о жизни, а тебе — лечиться! — попытался одёрнуть его Миша.

— Так говорите, что делать! — раздражённо проворчал Худяков.

Посовещались. Решили с помощью лома разобрать деревянный пол в буфетном закутке, а также использовать дверь, диванные спинки и устроить поверх буфетной стойки настил: вода до него доберётся нескоро.

Возились часа четыре. От малосильного и похмельного Варфоломея толку было мало, от Худякова не больше: выклянчив всё-таки опохмелку, он совсем потерял волю и нудно зудил, что если их отыщут — зачем тогда суетиться? — а если не отыщут — они тут всё равно утонут, и настил не поможет…

Из всех деревяшек получился настил, достаточный, чтобы разместиться семерым; перенесённый сюда первым Карманов лежал молча, закрыв глаза, и когда его спрашивали о самочувствии, тихо успокаивал остальных: «Всё нормально, ребята — не беспокойтесь».

Пока возились с настилом — вымокли, устали и замёрзли: слишком много ненужных усилий приходилось делать в темноте: шлёпать по воде, преодолевать сопротивление древесины, работать без всяких инструментов, с одним тупым куском железа, отдалённо напоминающим лом, да ещё с большим кухонным ножом, имевшимся у Игоря. Потом, забравшись на настил, подкрепившись ветчиной с хлебом и водкой, согрелись и теперь сидели, прислонясь один к другому, чтобы унять противную дрожь, и негромко переговаривались, вслушиваясь в звуки, идущие сверху, и ожидая, когда же разверзнется наверху дыра и голос снаружи громко позовёт: «Эй вы, там! Есть живые?..»

Прошло ещё несколько часов. Стук и возня наверху давно прекратились, а они всё сидели и чего-то ждали… Опять всем захотелось есть. Но продукты пора было начать экономить. Кто-то высказал предположение:

— Может, действительно атомная война и там уже ни души?

— А кто стучал? — возразили ему.

— Американцы, — хмыкнул кто-то. — Сдаваться будем?

На версию о войне нашлись контрдоводы:

— Почему же удар был недостаточно сильный?

— Потому что эпицентр далеко, — возразили на контрдовод.

— Если далеко, почему тогда все должны погибнуть? И почему вода продолжает литься?

— Это остатки в трубах.

— И долго, интересно, она будет литься?

— Нас затопить хватит.

— А что же мы тогда сидим? — спохватился Худяков. — Давай, Игорь, водку — устроим «пир во время чумы»: веселей умрём!

Однако его провокацию не поддержали: никто не верил, что это конец.

А между тем холодало и холодало; оставалось, наверное, уже только градусов шесть тепла; ни у кого, кроме Игоря, не было здесь верхней одежды; становилось понятно, что если это и не атомная

война, то всё равно через несколько часов температура упадёт до нуля — и всем крышка…

— Не верю, не верю! Чего тогда сидеть? — крикнул вдруг в отчаянии самый молодой из них и нетерпеливый, Игорь, спрыгнул в воду, схватил тяжёлый тупой лом и начал остервенело бить им в ощетинившуюся досками и брусьями косную массу из обломков и глыб посреди зала. Лом стучал об неё то звонко, то глухо, то откалывая куски от крепких кирпичных монолитов, то чиркая по ним и высекая искры, то застревая в вязком отсыревшем дереве и отколупывая щепки.

Минут через десять, выбившись из сил, он поставил лом и побрёл на своё место на настиле. На смену ему спрыгнул воодушевлённый его порывом Миша и тоже около десяти минут до изнеможения стучал ломом; результат был тот же. Следом сполз Варфоломей; тому сражения с тяжёлым ломом в руках хватило минуты на три. Снова соскочил Игорь и снова с ожесточением бил в неподатливый, смёрзшийся уже столб обломков и глыб, затем, выдохшись, поставил лом и побрёл обратно… Миша с Варфоломеем больше уже и не пытались. Снова всеми овладело безразличие.

А вода лилась и лилась, поднявшись уже до колен, и останавливаться, похоже, не собиралась… Прошло ещё несколько часов. И тут Миша Новосельцев, рассеянно глядя на её поверхность, обратил внимание на странное явление: щепки, что обильно плавали теперь вокруг после их сражения со столбом, медленно, но неотвратимо уплывали — и все в одном направлении: в дверной проём Игорева склада. Почему?.. Теперь долго наблюдали за щепками все вместе, насколько позволяла свеча — хоть какое-то развлечение, работа для ненужного здесь мозга… Да, явление имело место и представляло собой загадку, которую, несмотря на маячивший перед ними где-то совсем недалеко ужасный конец, хотелось разгадать…

— А ну, пойдём, посмотрим: что там такое? — неожиданно встрепенувшись, сказал Миша Игорю, и они, захватив свечу, решительно спрыгнули в воду и побрели в складскую комнату. За ними увязался Имангильдин. А вода стояла уже выше колен, и идти было трудно.

Зайдя в склад, они обратили внимание на то, что все щепки почему-то прибились там к задней стене — даже не ко всей стене, а к небольшому участку её. Миша поднёс свечу ближе к кирпичной кладке, осмотрел внимательно и сказал Игорю: «Принеси-ка лом!» Тот пошёл, светя себе зажигалкой, и принёс. Тогда Миша показал пальцем на один из кирпичей в стене, сантиметров на десять выше уровня воды, и скомандовал: «Ударь здесь!» Игорь размахнулся и шарахнул туда ломом. И вдруг кирпич улетел куда-то, и на его месте зачернела дыра. «Ещё!» — скомандовал Миша. Игорь ударил снова: дыра стала больше, и оттуда пахнуло сухим затхлым воздухом… Теперь Игорю уже не надо было командовать — он бил и бил по кирпичам, которые рушились в пустоту, увеличивая дыру: то была ложная стена, кирпичная перегородка… Но когда дыра стала высотой сантиметров в шестьдесят, кирпичи перестали вываливаться, и в стене обозначился полукруглый проём. Ниже перегородку рушить было нельзя — туда хлынет вода. Поэтому Миша остановил Игоря и просунул в дыру руку со свечой — там стал виден сложенный из кирпича подземный ход с полукруглым, кирпичным же сводом и земляным полом, уходящий во тьму.

— Хм! — произнесли нечто неопределённое все трое, стоя перед дырой в растерянности, не совсем ещё веря глазам.

— Пошли, проверим? — предложил Миша.

Терять было нечего; пыхтя, помогли друг другу пролезть в тесную дыру, а затем, пройдя на сухое место, первым делом разулись, сняли брюки, отжали их и вылили из обуви воду; затем осторожно пошли вперёд. Пробирались гуськом, полусогнувшись, чтоб не удариться головой о низкий неровный потолок, который местами ещё и просел.

Прошли, наверное, метров двадцать, когда ноги стали путаться в чём-то хрустком; Миша посветил под ноги, и все трое с ужасом увидели, что топчут высохшие человеческие останки. Похоже, лежали они здесь давно: одежда, серая от пыли, разваливалась от прикосновения; сухо постукивали, рассыпаясь, кости; кожаная обувка с торчавшими из неё костями превратилась в тёмные, ссохшиеся, бесформенные сухари, а руки и два пустоглазых черепа, обтянуты мумифицированной тёмной кожей. Судя по остаткам волос, черепа принадлежали мужчинам, можно было даже различить на одном седые, на другом — чёрные волосы.

— Интересно, однако, — ввернул меланхоличный Варфоломей. — Как в сказке: подземный ход, мертвецы…

Замечание заставило выйти остальных из оцепенения. Ногами осторожно подвинули останки к стене и двинулись дальше.

— Да, интересно, — поддержал Варфоломея Миша. — Чьи же это дела? Полицейских? Золотопромышленника? Или чекистов?

— Какая разница? Главное, куда он ведёт, — отозвался Варфоломей.

— Золотодобытчик должен был к реке копать, — сказал Игорь.

— А я думаю, к оврагу, — возразил Миша (за центральной частью города в те годы ещё существовал овраг, частью уже засыпанный и застроенный, а частью ещё используемый для несанкционированной свалки и заросший высокой крапивой, в которой постоянно валялись трупы собак и кошек).

Переговариваясь так, прошли ещё метров тридцать и остановились: ход тянулся дальше, свеча

обгорела, а запасной свечи не взяли — на обратный путь могло не хватить. Посовещались. Столь чудесно найденный тайный ход так вдохновил и настроил их на скорое спасение, что продолжать сидеть в полузатопленном подвале уже не хотелось — решили вернуться, перетащить сюда остальных, забрать все свечи и идти на разведку дальше.

Перебазировка из подвала в сухой подземный ход заняла несколько часов. Карманова опять несли на руках. Перенесли также дверь-лежанку, все доски и все остатки съестных припасов: окорок, колбасу, хлеб, банки с соками, сахар, чайную заварку, кофе и несколько бутылок водки, вина и коньяка, — так что если экономно расходовать, можно растянуть дней на пять, а уж за это время выкарабкаются, — так они рассудили.

Плохо только, что все были мокры и замёрзли, а разжечь костёр нечего было и думать. Решили поэтому жечь лишь камелёк из деревянных стружек меж двумя кирпичами, разводить который поручили Варфоломею, чтобы греть чай в металлическом чайнике, который был у Игоря. Но даже слабый дым от камелька разъедал глаза, и нечем было дышать.

Снова сняли и отжали брюки, носки и стельки, вылили из ботинок воду, а уж сушиться приходилось собственным теплом, да ещё подогревом небольшими дозами водки.

Дыру в подвал поначалу решили держать открытой — на случай, если их будут искать; но оттуда так тянуло сыростью, да ещё оттуда стала переливаться вода, грозя подтопить и подземный ход, так что единодушно решили заложить дыру кирпичами и подпереть их досками, оставив лишь щель вверху — чтобы слышать, что делается в подвале.

Когда перебрались в подземный ход и поужинали с водочкой и тёплым чаем — настроение у всех поднялось, даже у Аркадия с его разбитой головой и у Зуева со сломанной рукой; в затуманенных винными парами мозгах забрезжила надежда, и всё показалось не так уж и безнадёжным — этаким крутым, опасным, но и забавным, чёрт возьми, приключением!

Только Карманову лучше не становилось: лёжа мокрым, без движения, хотя и под пледом с Игорева дивана, он промёрз, и вечером у него начался сильный жар и бред: он то плакал, молился и просил, чтоб его не убивали (все сначала решили, что он обращается к ним, и принялись его успокаивать, пока не поняли, что он бредит), то клялся кому-то, что никогда не будет писать о репрессиях, то вдруг стал признаваться в любви какой-то Леночке…

А Миша с Игорем, оставив всех на бивуаке, пошли в разведку.

На этот раз прошли метров сто. Дальше путь преграждала стена рыхлого суглинка; рука погружалась в него легко; было понятно: ход завалило. Возникал соблазн прокопать ход сквозь завал. Но сколько, интересно, метров копать: два, три, десять? Выход, казалось, совсем близко!

Вернулись… Из подвала по-прежнему — никаких лишних звуков: никто их не искал и не беспокоился об их потере; только текла и текла вода.

В тот же вечер взялись за подготовку к расчистке туннельного завала: с помощью кухонного ножа вырезали из досок две деревянных лопатки, одну короткую, другую подлинней, и с утра пораньше (не очень-то спалось в тех подземельях!) вчетвером: Миша, Игорь, Худяков и Имангильдин — захватив с собой лопатки, лом и обломки досок для крепления шурфа, отправились к завалу.

Аркадий с Зуевым как покалеченные от копки были освобождены и остались бодрствовать рядом с лежачим Кармановым, но света их лишили — надо было экономить свечи, поэтому те лежали в темноте на досках и от нечего делать продолжали начатую ещё позавчера дискуссию о светлых, аполлонических, и тёмных, демонических, началах в жизни и о взаимной соотнесённости этих начал; за ночь они успели обсохнуть, приобвыкли к новым условиям обитания и за неимением ничего иного нашли друг в друге относительно интересных собеседников, чего раньше лишены были в силу большого разобщения, и время у них текло быстро и плодотворно.

У Карманова продолжался жар, и он лежал, не поднимаясь, то дремал, то произносил нечто невразумительное, постоянно находясь в пограничной области между сном и бодрствованием…

У землекопов же дело пошло споро. Поскольку было тесно, решили работать попарно: один копал и отбрасывал землю назад, другой разравнивал и утаптывал её, а двое отдыхали поодаль, чтобы тотчас, как только первая пара устанет, сменить её.

Прокопали три метра — и наткнулись на бетонную стенку. Расчистили её пониже и повыше — стенка оказалась метровой высоты и хорошо простукивалась. Попробовали пробить — и пробили; дыру расширили. Это оказалась теплотрасса в бетонном коробе; оттуда пахнуло горячим воздухом — вот где отогреться-то!.. Стало понятней, отчего обвалился ход: видимо, экскаватор копал траншею под теплотрассу поперёк кирпичного хода, раздавил его и засыпал, так что экскаваторщик — пьяный, наверное? — ничего и не заметил!

Но что делать дальше?.. Путей было два: проделать в бетонном коробе дыру насквозь и двигаться дальше: где-то же должен быть конец тоннеля? Второй путь — вверх: теперь, по крайней мере, понятно, что до поверхности земли не так уж высоко, и не надо долбить кирпич тоннельного свода…

Попробовали копать вверх. Копать было неудобно: земля сыпалась на голову, в глаза, в рукава, за ворот. Тотчас же наткнулись на мёрзлый грунт: с тупым ломом да с деревянными лопатками пробиваться вверх сквозь мёрзлый грунт было тщетно. Оставалось—вперёд.

Стенку короба сокрушили часа за четыре. Хотя она оказалась всего сантиметров в шесть толщиной—очень уж неудобно было бить в неё ломом, лёжа на животе. Однако ими двигала вперёд надежда: скорый выход из проклятого подземелья: чем-то же оно должно было кончиться?.. Пришлось ещё повозиться и с металлической сеткой, залитой в бетоне, но прорвали и её.

Теперь нужно было пересечь короб теплотрассы с лежащими в нём трубами и сокрушить следующую стенку. Стали пробовать пробить и её. Но работать в тесном коробе над трубами теплотрассы было ещё труднее: только ползком, едва-едва протиснув голову вместе с руками. Кроме того, в канале теплотрассы было душно, жарко и пыльно. Да и просто уже не было сил двигаться дальше.

Посовещались. Решили с утра снова копать вверх над теплотрассой в надежде, что земля за ночь оттает: теперь из дыры в теплотрассе шёл тёплый воздух, и вечером вернулись на бивуак (хотя понятие «вечер» было относительным, они потеряли ориентацию во времени: часы—от сырости или от пыли?—у всех показывали разное время).

А тем временем проклятая вода, которая вторые сутки сочилась сквозь кое-как заложенный лаз из подвала, расквасив земляной пол в тоннеле в жидкую грязь, успела подступить к самому бивуаку и к утру обещала подтопить и его.

Обстоятельства вынуждали откочевать дальше. Но сначала решили отдохнуть, подкрепиться и—для поднятия настроения—выпить немного водки.

Варфоломей затеплил камелёк—согреть чайку. Всей вернувшейся оравой стали готовиться к ужину. Аркадий же и Фёдор Матвеевич, дежурившие целый день на бивуаке, сесть с ними скромно отказались, признавшись, что «заморили червячка».

Вернувшихся это признание насторожило: в целях экономии утром договаривались лишь завтракать и ужинать; но раз «заморили», что ж... Достали остатки хлеба, окорок... И тут оказалось, что довольно увесистый окорок ополовинен.

— Куда дели?—подступил Миша к Аркадию, угрожающе держа остаток окорока за торчащую из него кость как булаву, готовую обрушиться на голову виновника.

— Извините, ради Бога!—взмолился Аркадий (Зуев помалкивал).—Замёрзли, выпили, и-и... Темно было... Разговаривали... Не заметили, как...

— За это по морде бьют!..—заорал на него возмущённый Миша.

— Извините! Не будем мы больше прикасаться к продуктам!—оправдывался Аркадий... Миша лишь досадливо махнул рукой...

После инцидента ужинали в гробовом молчании.

Поужинав, решили перебраться дальше; распределились, кому что нести. Получалось, что нести Алексея Афанасьевича опять Мише с Игорем. Миша наклонился разбудить Карманова, а он уже холодный.

— Ребята, отмучился наш Афанасьич,—тихо сказал он.

— Как так?—подошёл Зуев; все побросали вещи и обступили распростёртое у стены тело Карманова, с которого Миша стянул плед.—Я час назад подходил—он был живой!—продолжал, будто оправдываясь, Зуев.

Никто ничего больше не сказал, присмирев перед таинственной, где бы она ни была, смертью. Тем более смертью одного из товарищей по несчастью, самого пожилого и невезучего: на их затянувшееся подземное приключение начинал накладываться отсвет трагедии. Казалось, каждый задал себе вопрос: кто следующий?

Опять что-то надо делать... Первая мысль—оставить тело как есть: выйдут наверх и расскажут обо всём; ведь кто-нибудь потом да спустится сюда и заберёт его, и сделает что надо?..

— Нет, ребята, давайте исполним долг!—попросил Миша.

Вспомнили, кстати, и о чьих-то останках, брошенных рядом.

Чтобы никуда не нести, стали копать яму прямо тут. Копать было нелегко: твёрдый сухой суглинок приходилось рыхлить тупым ломом и резать ножом. Сказывалась усталость от длинного дня, горели мозоли...

При этом случился ещё один безобразный инцидент. Начал копать, как почти всё начинал в этом подземном заточении, подавая пример, Миша, предложив Игорю: «Давай начнём»,—и тот нехотя повиновался. Однако оба быстро выдохлись и предложили Варфоломею и Гоше сменить их.

Варфоломей взялся безропотно, а Худяков заартачился:

— Я устал, у меня мозоли болят!

— У всех мозоли, все устали,—заметил ему на это Игорь.

— Так чего тогда надрываться, раз устали?—сказал Гоша.—План, что ли, выполняем? Давайте хоть здесь будем свободными!

— Но ведь решили же!—проворчал Игорь.

— Вы решили—вы и копайте!—заявил на это Гоша.

И тут Игорь—именно из его рук не взял Гоша лома—раздражённо вспылил, уже не в состоянии себя сдерживать:

— Ты, гений для удобрений! Я тебя сейчас ломом отоварю! Водку жрать — так первый, а работать — тебя нет?
— Не тебе указывать, что мне делать, торгаш несчастный! — с совсем уж безобразной заносчивостью ответил Гоша — так все были усталы и взвинчены, что хватило мелкого повода, чтобы взорваться.
— Да, торгаш, но не алкаш, не то, что ты, ничтожество! — разразился гневной тирадой Игорь. — Работай, гад — я за тебя горбатиться не буду! — и, поскольку Гоша не пошевелился, подошёл к нему и грубо толкнул к яме, а так как Гоша упёрся — ещё и ударил его кулаком по лицу. Гоша покачнулся, схватился руками за лицо, но устоял и только произнёс:
— Я тебя, фуфло, *щас* так уделаю — ты у меня сам в яму ляжешь!..

Миша, спохватившись, встал между ними и рявкнул:
— А ну, прекратить! — и чуть тише — Ребята, вы что — опомнитесь!
— Гниды! Паскуды! — разряжал между тем свой гнев Игорь. — То общее мясо жрут, то работать не хотят — каждый только о себе! Пис-сатели! Сами хорони́те своих мертвецов! — сплюнул вгорячах, отшвырнул лом, пошёл, достал бутылку коньяка, глотнул из неё как следует, сел, демонстративно взял кусок колбасы и стал грызть его, время от времени продолжая выкрикивать: — Я для вас старался! И продукты запасал — для вас!.. И плевать — я молодой, выживу и десять, и двадцать суток протяну, а вот вы попробуйте!.. И всё равно выйду, а вы сдохнете тут, как тараканы! Только других учить можете!.. — и всё продолжал рвать крепкими молодыми зубами колбасу.

А между тем Миша с Варфоломеем продолжили копать яму; ни Гоша, ни Игорь из упрямства так ни к одному из инструментов и не прикоснулись. Смиренно сидевший до этого на досках Аркадий, устыдившись, встал и предложил Мише свою помощь...

И всё же, выкопав яму сантиметров в семьдесят глубиной, — на большее уже не хватало сил — они в тот вечер положили туда тело Карманова; перенесли сюда и останки тех двоих, что нашли в тоннеле, засыпали и утрамбовали ногами. Всё — молча, с единственным желанием: скорей управиться... Для них, воспитанных в самых агрессивных формах материализма, человек не был ни тайной и венцом природы, ни вместилищем божественного духа, а всего лишь сгустком живой материи, пока в нём текут биоэнергетические процессы, этаким ходячим, мыслящим и говорящим куском жидкой грязи, который, умерев, сгнив и высохнув, превращается в пыль и кучку гремучих костей — примеры валялись под ногами... Так вот умер и был похоронен осколок старинного купеческого дома, писатель и прекрасной души человек, много претерпевший от своеволия и злобы властей предержащих, в правление которых досталось ему жить скромным мучеником.

А Игорь, наевшись колбасы, молча закурил; Гоша лишь злобно взглянул в его сторону; сигареты остались у одного Игоря — остальные курящие просили у него окурки, и он не жадничал — давал...

Глава шестая

С утра опять попробовали оба пути к спасению: копать вверх, сквозь мёрзлую землю, и пробиваться сквозь бетонный короб теплотрассы; однако ни тот, ни другой по-прежнему не давались.

И тут обнаружился третий путь: в коробе теплотрассы между горячими, обёрнутыми изоляцией трубами и верхней крышкой оставалось пространство сантиметров в тридцать высотой; не потерявший любопытства Варфоломей, переползая через трубы, глубже сунул голову в тёмную-претёмную щель между трубами и верхними плитами теплотрассы, вслушался — и вдруг заявил:
— Мужики! А там, однако, люди есть!
— Где «там»? Какие люди, «однако»? — передразнивая его, скептически отозвались остальные, всегда готовые поднять простоватого «меньшого брата» на смех; но уж настолько у всех обострено было желание спастись, что ни малейшим шансом пренебречь они не могли, поэтому тотчас же, оттащив Варфоломея, тоже стали по очереди совать головы в щель, всматриваться и вслушиваться, заставляя остальных замереть. И действительно, откуда-то издалека доносились голоса: будто бы двое мужчин о чём-то спокойно беседуют; слов не разобрать, но интонации различить можно. Даже если всмотреться, далеко-далеко впереди виден серый просвет. Какое до него расстояние, определить невозможно, но это открытие привело всех в возбуждение; пробовали кричать в щель и вслушивались, но ответа не следовало.
— Давайте, я полезу туда? — предложил Варфоломей.
— А если застрянешь? — засомневались остальные.
— Я худой, не застряну!..

Это было бы просто замечательно: пролезть и позвать на помощь!.. Все с этим согласились. Варфоломей сбросил с себя пиджак, оставшись в рубашке, брюках и ботинках; ему помогли влезть в щель между трубами и потолком. Он только-только втискивался в неё — трудно было даже представить себе, что будет, если он застрянет где-нибудь посередине... И все же он бесстрашно исчез в дыре... Через каждые пять минут ему кричали: «Как ты там?» Он отзывался: «Лезу!» — и голос его звучал всё глуше и глуше.

Прошло, наверное, с полчаса; Варфоломей отзываться перестал. Решили, что он теперь так далеко, что его голос уже не долетает. Однако после

долгого молчания оттуда, наконец, донеслось: «Я застря-ял!» Поворчали на него; надо спасать, а как?.. Пришла запоздалая мысль: дать бы ему в руки нож, чтобы он расковыривал изоляцию и тем самым расширял ход!

Попробовал следом влезть туда хлопотливый Миша — не получилось: слишком широк; попробовал Игорь — то же самое; смог бы, наверное, Гоша Худяков, но на него никакой надежды… И тут родилась новая идея: содрать с труб изоляцию! Попробовали — получается…

Правда, одна из труб оказалась настолько горячей, что обжигала кожу; значит, изоляцию надо снимать с одной трубы!.. Оставалось как-то приспособиться; изоляция была из колючей минеральной ваты, обмотанной грубой тканью, но довольно легко резалась ножом и отдиралась кусками, лишь колола руки, и от неё зудила кожа.

Чувствуя себя виноватым за вчерашнее — или уж от нетерпения поскорее выбраться? — Игорь рвался в эту щель… И дело пошло: он забрался, лёг на трубы — и метр за метром стал продвигаться вперёд, круша изоляцию и сбивая её вниз, на дно канала.

Его не было долго. Остальные просто изнывали от ожидания. Миша, не выдержав, тоже полез, было, следом, прополз несколько метров, обдирая себе руки, живот, спину, поскольку там, в тёмной, тесной, душной и пыльной норе приходилось извиваться как червяку, задевая задом, спиной и затылком жёсткие бетонные неровности потолка, и прокричал: «Э-эй!» Слышно было, как далеко впереди, круша изоляцию, Игорь, кашляя и отплёвываясь, отозвался: «Всё пока нормально!»

Пятиться назад было ещё труднее; помогая себе руками и ногами и извиваясь всем телом, Миша выполз обратно; но какое зрелище он теперь собой представлял: с серым, запылённым потным лицом, с продранными на коленях брюками, с оторванными на рубашке пуговицами! Да-а, ни Варфоломею, ни Игорю там не позавидуешь!..

Но вот, наконец, показались сначала Игоревы ботинки, долго и беспомощно елозящие вдоль труб, потом оголённые икры с задранными штанинами, потом энергично извивающийся зад, а потом уж и весь Игорь, тянувший, в свою очередь, за ноги Варфоломея.

Варфоломей был жив, но почти без сознания; когда его вытащили из дыры, голова его безжизненно моталась. Причём обоих было невозможно узнать — настолько они были испачканы и оборваны: одежда на них висела клочьями, на чёрных от грязи лицах виднелись только белки глаз да красные, словно кровавые раны, рты.

Игорь и сам-то был в полном изнеможении: он даже стоять от усталости не мог — сел, привалившись к стенке… Но имелось отличное лекарство: коньяк; отдышавшись и сделав пару глотков, он взбодрился.

С помощью коньяка же привели в чувство и Варфоломея. Очнувшись, тот рассказал, что свет впереди — явный: конец теплотрассы виден, и голоса впереди то слышны, то пропадают — точно люди приходят и уходят.

Следующим решил лезть Миша; ещё один день подходил к концу, и всем уже просто не терпелось посмотреть: что же там за просвет?.. А Гошу Худякова, дав ему огарок свечи, послали за водой, поскольку чайник воды, пусть даже грязной и вонючей, был выпит, а пить продолжалось хотеться.

Ходил Гоша неимоверно долго, причём вернулся без воды и, божась, доложил, что никакой воды в подвале уже нет, а вместо неё он завален чёрной грязью… В его информации усомнились; однако идти проверять её никто был не в силах — настолько вымотались, так и не успев расчистить ход внутри теплотрассы; судя по часам, был уже поздний вечер. Пожевав колбасы и запив её рислингом (каждому досталось по полкружки), как были чумазые, в изодранной одежде (правда, у Игоря ещё осталась целой куртка, у Миши — свитер, а у Варфоломея — пиджак), с окровавленными, в сплошных ссадинах руками, коленями и спинами, завалились спать прямо здесь, на рыхлой сухой глине. А утром пошли посмотреть: что в подвале за грязь?

Действительно, кирпич, которым они заложили лаз, выдавило какой-то чёрной грязью, заполнившей подвал доверху; часть её вылезла оттуда и застыла по эту сторону широко растёкшимся конусом.

Происхождение грязи было непонятно; они внимательно всматривались в неё при свече, тёрли в пальцах, нюхали — грязь как грязь. Гадали, спорили: что это такое и как оно сюда попало? Высказывали разные гипотезы, порой смелые: вплоть до вулканического её происхождения, и тотчас же отметали за несостоятельностью.

Была смутная догадка, что подвал завален элементарным чернозёмом. Но зачем? — вопрос мучил их кажущейся бессмысленностью. Однако при всём том на них навалилось теперь ощущение полного сиротства и отрезанности от мира. И, что страшнее всего, нечего было пить, кроме двух последних бутылок вина, двух водки и одной коньяка. Вода была рядом — побулькивала в трубах теплотрассы, но они прекрасно понимали, что им её не достать. Подступала новая опасность — погибнуть от жажды. Оставалась последняя надежда — канал теплотрассы; надо торопиться с лазом…

Лаз в канале проделали только к концу второго дня… Когда уже оставалось метров пять и стал чётко виден просвет впереди, Миша (как раз была

его очередь пробиваться) в самом деле явственно услышал впереди мужские голоса. Выбившийся из сил и возбуждённый близостью людей, он начал изо всех сил звать на помощь, и отчаянный его голос был услышан: ему ответили, но как! Просвет впереди кто-то заслонил, и оттуда донеслось:

— Чё орёшь-то? Сидишь там—и сиди!..—и неизвестный добавил трёхэтажного мата, а потом со смехом объяснил кому-то—засел там какой-то дух и орёт: «Помогите!»

— С похмелюги, наверное,—ответил ему другой голос.

— Не с похмелья я! Мы в беду попали—помогите!—завопил ещё громче Миша, несказанно обрадованный, что, наконец, услышан.

— Да пошёл ты!..—ответили ему с добавкой очередной порции нецензурщины и отошли от просвета.

Но Миша не хотел, чтобы его оставили без внимания, и продолжал орать; тогда просвет опять потемнел, и тот, кто его заслонил, крикнул:

— Будешь орать—пасть заткну!—а поскольку Миша продолжал кричать—просвет исчез вообще: видимо, его чем-то заткнули.

И всё-таки там были люди, и до них оставалось не более пяти метров! С новой энергией он стал наощупь кромсать в полной темноте куски изоляции, спихивая их вниз, обдирая в кровь пальцы и ладони, задыхаясь от пыли и обжигая полуобнажённое, потное, липкое тело о горячие трубы, и лез вперёд. И часа через два, теряя последние силы, выбил заткнутый тряпьём проход и наконец-то смог высунуть голову из канала и дохнуть свежего воздуха!

И что же он увидел?.. Увидел бетонную кубическую камеру теплотрассы высотой примерно в рост человека, с пересечениями труб и с большими задвижками на трубах, с двумя закрытыми железными люками в потолке камеры и со ступеньками из толстой проволоки, вделанными в стену—там, за железными люками вверху, была свобода! А на самих трубах в вальяжных позах, развалившись на каких-то подобиях грязных матрацев, лежали два небритых мужичонки в засаленных телогрейках и засаленных же шапках-ушанках; у одного на ногах были войлочные ботинки без шнурков, у другого—кирзовые сапоги… Эту картину, освещённую огарком свечи, прилепленным на одной из задвижек, Миша увидел разом и очень ярко оттого, наверное, что долго пробыл в совершенно тёмном канале и этот свечной огарок его ослепил.

Странно, но, увидев высунувшуюся из канала Мишину голову, мужички нисколько не удивились—будто видят такое каждый день. Мало того, один из них сказал Мише раздражённо:

— Куда лезешь? Не *вишь* разве—занято здесь!

Миша начал сумбурно объяснять, что их засыпало и они не могут выбраться иначе, чем через этот канал, что он пролез по нему метров тридцать и не собирается отнимать у них место—им нужно наверх!.. Объясняясь, он между тем выполз из канала и, не в силах стоять, присел на шаткий тарный ящик в углу.

Мужички теперь, когда он вылез совсем, с заметным изумлением уставились на Мишу—даже их удивил его внешний вид; во-первых, был Миша почти совершенно гол—рубашка и брюки настолько изодрались, что лишь отдалённо напоминали брюки и рубашку, даже трусы, выглядывавшие из-под брюк, были изодраны; а во-вторых, весь он, с головы до ног, был чёрен, как негр: пыль, смешанная с потом, покрывала не только его лицо и руки, но и остальное тело, видневшееся в прорехах.

— А вы кто, мужики?—полюбопытствовал между тем Миша, воспользовавшись заминкой и желая поплотнее войти с ними в контакт.

— Хэ!—фыркнул тот, что до этого молчал.—Мы ж не спрашиваем, кто ты! Дворяне мы, во дворце живём, понятно?—и загоготал.

— *Дак* куда ты вверх попрёшь, дура—ты на себя посмотри: за кого тебя примут? Да и зима ж на улице, не знаешь, что ли?—несколько миролюбивей сказал другой.

— Тебя любой мент заметёт как придурошного!—сказал следом первый, всем выражением лица передавая презрение к гостю как к более грязному и оборванному, чем он сам, а потому существу более низшего порядка.

А Мише очень захотелось высунуться на улицу, сделать хоть один глоток свежего воздуха—так он устал от этих подземелий! Нет, уйти сейчас в город он даже не помышлял: его ведь ждут товарищи под землёй, но хоть одним бы глазком глянуть и убедиться, что город на месте и спасение рядом!

— Я, мужики, только гляну,—решительно предупредил он, отдышавшись и придя в себя, и полез по лесенке вверх.

«Мужики» матерлись и ворчали, что только-только устроились по-человечески, а он опять напустит холода, но, похоже, шевелиться, чтоб пресечь Мишино своеволие, им не хотелось, и Миша безнаказанно поднялся, упёрся головой в заиндевевшую крышку люка, поднатужился, приподнял её плечами и головой и, наконец, высунул голову до подбородка. И сразу же, поперхнувшись, задохнулся до головокружения и сухого кашля от колючего морозного воздуха, окатившего его с головы до ног, будто грубым наждаком прошедшего по его потному, сырому телу, и моментально заледенела и примёрзла к железу ладонь, державшая крышку, а Миша стоял и смотрел, зачарованный. Был поздний вечер, темнота, огни кругом и морозный лёгкий туман. Местность перед ним была совершенно незнакомая: не то городская площадь, не то пустырь с домами, выстроившимися

полукругом поодаль, и ни души нигде, ни машины — будто город вымерз…

Миша никогда не видел города с уровня земли, и он показался ему сейчас некой чужой неприступной крепостью, залитой огнями, с круговой обороной против них, отторгнутых, и ему сделалось на миг страшновато из-за этой широкой и пустой ничейной полосы, которую надо будет преодолеть… А снизу уже летела ругань, и его дёргали за ногу:

— Ну ты чё, т-твою мать-то! Ты или туда, или сюда!..

Он захлопнул крышку и быстро слез, теперь уже в кромешную тьму. Один из мужиков, продолжая ругаться и не вставая, с зажжённой спичкой в руке отыскивал свечной огарок.

— Что же нам-то делать? — растерянно спросил Миша, скорей самого себя, пропуская их ругань мимо ушей.

— А — вон! — показал тот, что зажёг свечку, на другую дыру, в которую уходили трубы, более толстые; дыра была шире той, из которой вылез Миша.

— А что там? — спросил он.

— Лезь — узнаешь, — ответил немногословный мужик.

— Там — *коммунизьм*, всем место найдётся, — подсказал второй.

— Там что, тоже люди? — спросил Миша.

— Дак про чё те и толмачат-то!..

Никакой информации больше выжать из них Миша не смог. Надоедать расспросами и ссориться с ними было не с руки. Что там за «коммунизьм», куда показал один из хозяев камеры, он вообразить себе не мог, поскольку действительность, с которой он столкнулся, превосходила самые смелые фантазии. Единственное, что он себе уяснил: хуже, чем есть, уже не будет, а потому решил поскорее вернуться, доложить обо всём и посоветоваться…

Минут через сорок, выползши из канала прямо в руки с нетерпением ожидавших его товарищей, он доложил обстановку.

Согласились уходить отсюда, захватив с собой остатки продуктов. Конечно, тяжелее всех придётся Аркадию и Зуеву — им надо было как-то помочь. Ползти решили в следующей очерёдности: впереди — Миша, за ним Аркадий, потом Игорь, потом Зуев, и последними Гоша с Варфоломеем.

Аркадию действительно пришлось туго: он без конца задевал своей разбитой, окровавленной, обмотанной куском полотенца головой за потолок, останавливался превозмочь боль, стонал и, чтобы облегчить её, ругался вслух… Каково в таком случае было Зуеву с его сломанной и затянутой в лубок рукой?

— Погоди, дай отдышаться! — время от времени глухо молил Аркадий, ползя вслед за Мишей.

Миша останавливался, хотя ему хотелось поскорее миновать этот проклятый канал, и кричал Аркадию:

— Как там, позади тебя? Игорь с Зуевым ползут?

— Не знаю, не слыхать! — отвечал Аркадий, и после паузы — ты не читал рассказ Кафки «Превращение»?.. Представляешь, там главный герой превращается в какую-то ползучую тварь, вроде сороконожки!.. Эта тварь спит в постели с простынями, а утром ползёт на кухню пить кофе — и весь мир балдеет от фантазии автора!.. Какие там, к чёрту, фантазии — жалкий лепет невротика! А когда целую компанию литераторов превратили в червей, и мы должны тут извиваться и проделывать ходы, чтобы выползти! Вот уж воистину: *мы родились, чтоб Кафку сделать былью…* Помнишь, как в школе учили? «Человек — это звучит гордо!..» А, интересно, сколько идиотства может вынести человек?.. — орал он, выхаркивая пыль, которая набилась в рот и скрипела на зубах, и не то всхахатывал, не то всхлипывал.

— Потерпи, Аркаша! Ещё чуть-чуть, уже скоро! — кричал Миша, пытаясь его успокоить.

— Не могу я больше, я сейчас сдохну! — кричал Аркадий в пароксизме отчаяния, уткнувшись лицом в обжигающе горячие трубы. — Когда это кончится, наконец? — продолжал он прямо-таки завывать, выплёскивая накопившуюся боль и усталость и понапрасну теряя силы на эти всплески.

— Да хватит ныть, возьми себя в руки! — рявкал что было сил Миша. — Хватай меня за ногу — я тебя потащу за собой!

Аркадий действительно вцеплялся в его ногу, но, устыдясь своей беспомощности, отпускал и, бормоча что-то и всхлипывая, снова полз вперёд.

Хозяева той камеры, до которой давеча добрался Миша, уже мирно почивали в полной темноте, когда Миша вновь выполз к ним из канала.

— Ну вот, и я со своими цыганятами, — шутливо-извиняющимся тоном пробормотал он, вылезая из дыры.

— Давай, давай дальше! — проворчал в темноте один из «хозяев».

— Я вам целую свечку в подарок оставлю! Мы вас стеснять не будем, — он зажёг свою свечу, поставил на место их сгоревшего огарка и стал ждать. Хозяева кашляли, чесались и ворчали, что ни днём, ни ночью им нет покоя; Миша дружелюбно переговаривался с ними, пытаясь превратить их сетования в шутку… Но вот появился, наконец, Аркадий. Миша помог ему выбраться и усадил в углу, чтоб тот отдышался и не мозолил хозяевам глаза.

Потом появился Игорь. В камере стало тесно.

— Ну что? Вперёд? — предложил ему Миша, показывая на другую дыру.

Тот лёг на трубы, уже, кажется, отполированные человеческими животами, и, извиваясь телом, исчез в дыре.
— Принимай там остальных — крикнул ему вдогонку Миша и предложил Аркадию нырять за Игорем, помог лечь на трубы и даже подтолкнул.

А в первой дыре, кряхтя и скрипя зубами, уже появился Зуев. Молодец, Зуев! Потерпи, Зуев, ещё немного — и всё будет хорошо!..
— А где там Гоша с Варфоломеем? — спросил Миша, помогая ему перебраться с его больной рукой из одной дыры в другую.
— Ползут! — ответил терпеливый Зуев.

Глава седьмая

Этот второй канал был шире и просторнее первого, и уж до того, видимо, отполирован животами тех, кто «шёл» этим ходом раньше их, что ползти, можно сказать, было одно удовольствие, тем более что трубы шли под уклон — тело чуть ли не само скользило по ним, как по каткам: воистину, всё познаётся в сравнении! И в конце концов они, выныривая по одному, уже встречаемые на том конце Игорем, оказались в какой-то странной подземной галерее.

Высотой более роста человека, она была даже освещена редкими тусклыми лампочками, почти ничего не освещавшими, и казалась поначалу совершенно пустынной. Но какие-то звуки откуда-то всё же доносились, и, если всмотреться, вдалеке колебались тени.

Игорь помог вылезти из дыры замыкавшему на этот раз их команду Мише, и, топчась тут же, около дыры, не зная, куда двигаться дальше, они опять решили посовещаться. Пока собирались вместе, Игорь, щёлкнув зажигалкой, посветил вокруг, осмотрелся внимательней.

Вдоль одной стены галереи проходили трубы и гирлянды кабелей на кронштейнах. Трубы были разной толщины; одна из них, самая нижняя, почти метрового диаметра, лежала на полу; по трубам, тихо булькая, бежала вода. Но, несмотря на близкое соседство воды, было здесь сухо и тепло, только воздух был затхловат и пропитан застарелыми фекалиями, старым тряпьём и почему-то ещё — прелым сеном.

Осветив этот полумрак, Игорь обратил внимание на что-то продолговатое, лежавшее метрах в двух от них на большой трубе. Он подошёл ближе и поднёс огонёк зажигалки — это что-то вдруг зашевелилось, и раздался хриплый недовольный голос:
— Чё те надо? Убери свет!

И тогда все сразу обратили внимание на то, что на этой трубе через небольшие промежутки лежат люди и раздаётся отовсюду то тяжёлое сонное сопение, то бормотание, то глухой кашель.

Пока наша компания продолжала стоять в нерешительности, вполголоса переговариваясь, неожиданно меж ними втёрся, невесть откуда взявшись, тщедушный человечек в телогрейке, с непокрытой, коротко стриженной головой и рябым, в оспинах лицом, с интересом осмотрел нашу грязную оборванную компанию, насколько можно было рассмотреть её при столь скудном свете, и спросил, откуда они взялись. Миша показал на дыру.
— А-а, — понятливо кивнул тот. — Наши, значит. Ну пошли к нам.
— Куда к вам? — спросил Миша.
— К Хозяину! — пожал тот плечами.
— Как? У вас тоже Хозяин?

Рябой незнакомец окинул Мишу недоумённым взглядом и, презрительно усмехнувшись, ответил небрежно, словно вопрос не стоил серьёзного ответа:
— А как же без Хозяина?
— А если не пойдём?
— Что значит — не пойдёте? — посуровел сразу рябой, шагнул в сторону, ткнул рукой одного за другим нескольких лежавших на трубе и приказал: — А ну встаньте, помогите разобраться с *этими!*

Те нехотя начали подыматься... Ах, вон у них какие порядки!..
— Ну что, может, и в самом деле пойдём, объяснимся? — предложил своим Миша, и, больше ничего не спрашивая, они потянулись следом за рябым. Шли долго; один раз пришлось подлезть под уходящие куда-то вбок трубы; через другие перелезали или перешагивали... Кое-где узкий ход преграждали лужи, однако через них брошены были дощечки или кирпичи, чтобы перебраться не замочив ног.

В одном месте от галереи пошёл боковой ход — здесь, на перекрёстке, было просторнее и светила вверху довольно яркая лампочка; именно сюда и привёл их незнакомец. Компания остановилась и огляделась.

На свободной от труб площадке стоял большой перевёрнутый ящик, на ящике — рассыпанная колода карт, несколько пустых пивных бутылок и мутных стаканов, а вокруг этого импровизированного стола сидело шестеро: трое — на низком, без ножек диване с рваной обивкой, неизвестно как сюда доставленном, остальные трое — на ящиках же, спиной к пришедшим. Ещё несколько субъектов, слабо светя физиономиями, лежали в тёмных углах на каком-то тряпье. Тех троих, что сидели напротив на низком диване, можно было рассмотреть довольно отчётливо: по бокам два молодых парня с тусклыми худосочными лицами, а посередине — мужчина средних лет с упитанным, но бледным лицом, бритоголовый и безбровый, причём одну надбровную дугу его пересекал красный шрам, отчего глаз под ним казался прищуренным, будто человек во что-то внимательно

всматривается… Все, кто был тут, повернув головы, молча уставились на нашу компанию.
— Добрый вечер,— вежливо поприветствовал их Миша, как и все в его компании, он сбился со счёта времени: ему казалось, что сейчас вечер.
— Кому — вечер, а кому — и ночь,— спокойно поправил его бритый сухим хриплым голосом; кстати, у всех у них здесь были такие голоса: хриплые и осипшие.— Откуда к нам?
— Мы писатели,— с достоинством ответил Аркадий.
— Описывать нас пришли? — усмехнулся один из сидящих.
— Попали в беду — нас засыпало,— продолжал отвечать Аркадий.
— И хотим скорее наружу,— добавил Зуев, не разжимая челюстей: после всех этих каналов он ещё бережнее прижимал к животу перебитую руку и ходил сильно сутулясь и сжав челюсти.
— Покажите нам выход, и мы уйдём, мешать не будем,— сказал Миша.
— И куда пойдёте? — спросил бритый.
— Домой!

Бритый сдержанно засмеялся — верней, просто ощерился — и вся его компания тоже сдержанно скривила рты.
— Да вы напугаете там всех! Вы меня-то чуть не напугали, ха-ха! И как вы пойдёте — там же мороз под тридцать!
— А у вас найдётся что одеть? Мы расплатимся,— спросил Миша.
— Чем? — спросил бритый.
— Ну-у… водкой, например.
— Покажи.

Миша вынул из пакета и показал бутылку. Однако предложение его оказалось опрометчивым: глаза застольной братии дружно впились в неё.
— А ну дай, попробую,— протянул руку бритый.
— Только баш на баш,— ответил Миша, пробуя улыбнуться.
— Давай-давай! — потребовал бритый.— У нас тут коммунизьм, всё общее, ха-ха!

Наша команда насторожилась. Бритый же коротко махнул рукой, и все пятеро, что сидели с ним за столом, вскочили и бросились отнимать у пришедших пакеты — они были у Миши, у Варфоломея и Игоря. Миша и Варфоломей отдали сразу, а Игорь воспротивился; однако один из подскочивших приставил к его животу нож, больно кольнув острым лезвием, в то время как другой стал выкручивать ему руку, и Игорь нехотя расстался с ношей.
— Так-то лучше,— оскалился владелец ножа, юркий и тщедушный; Игорь мог бы, наверное, одним ударом искалечить его, и по тому, как играли на его лице желваки, ему очень хотелось это сделать, но он, видимо, реально оценил обстановку: на помощь товарищей надежды не было, и он сдержался.

Пакеты тотчас оказались вывернутыми на столе, и глаза застольной компании ещё ярче заблестели при виде столь, видимо, непривычного для них разнообразия: водка, коньяк, сигареты, банки с консервами!
— Свободны, мужики,— объявил подобревшим голосом бритый.— Счастливо вернуться по домам и написать по хорошему роману, ха-ха! А мы тут за ваши успехи немного *хряпнем*,— он благодушно улыбнулся.
— Есть у вас вода — попить? — взмолился Миша.
— Серый, дай им воды,— приказал бритый.

Как он их различал по цвету — уму непостижимо: все сидевшие вокруг были одинаково серыми; однако один из них, видно, самый серый из всех, достал из-под ног большой прокопчённый чайник без крышки и сначала приложился к носику и попил сам, как бы показав гостям, что вода — питьевая, затем, оторвав ото рта носик и оставляя на нём паутинку слюны, подал им. Наша компания пустила его по кругу, преодолевая брезгливость и делая жадные глотки, хотя вода была тёплой и противной на вкус.
— Сколько времени? — спросил Миша у сидящих за столом.

Бритый, сорвав тем временем пробку с бутылки водки, опрокинул бутылку в рот, сделал несколько глотков, крякнул и только тогда проворчал:
— Ну вот, вам ещё и время скажи. А времени, между прочим, четыре часа ночи — все культурные люди давно спят.
— Спасибо,— сказал Миша.— А с одеждой как? Мы же почти голые.
— А где мы её возьмём? — ответил с вызовом один из дружков бритого, парень с тупым выражением лица и со свистящим тенорком, вылетавшим из его щербатого рта вместе со слюной, пузырящейся в дырке, где отсутствовал зуб.— Не с себя же снимем?
— Разве он вам не объяснил: у нас коммунизьм, ничего лишнего нету! — ёрнически ввернул другой дружок бритого.
— Вон, просите у них,— показал ещё один пальцем вдоль галереи, уходящей во мрак.— Может, у кого найдётся?
— А где у вас выход на улицу? — мрачно спросил Игорь.
— Серый, проводи их,— приказал бритый.

Тот самый «Серый», что подал им воды, с миной недовольства на лице поднялся из-за импровизированного стола и повёл их по подземному лабиринту вперёд, а за спиной у них весело зазвякали стаканы, забулькало содержимое бутылок и вспыхнул оживлённый галдеж. Но все это нашу компанию уже не интересовало — они устремились за своим Сусаниным.
— Вот выход,— остановил их поводырь в совершенно тёмном, как погреб, расширении, сменившем узкий проход, когда они прошли ещё метров

двести, и зажёг спичку. Здесь тоже можно было смело выпрямиться во весь рост. При свете спички стал виден бетонный потолок с двумя железными заиндевелыми люками и две лесенки по стене, ведущие туда.

— Спасибо,— поблагодарил Аркадий «Серого».

— Не за что. Приходите ещё!— усмехнулся поводырь и исчез. Они даже не успели спросить: где, в какой части города они находятся?

Толкаясь и торопясь, все, кроме Миши, слазали по очереди по лесенкам вверх, открыли люки и выглянули на улицу — убедиться: да, вот она, свобода, вот он, их родной город! — и тут же, обожжённые ледяным морозным воздухом, чуть не кубарем скатывались обратно, в спасительное тепло: ловушка их не отпускала… Меж тем кто-то из старожилов уже ворчал и крыл их матом из глухой темноты, что напустили холода.

Наша же компания, охладившись таким образом, поняла, что с наскока на улицу не выбраться. Стали совещаться, как быть.

Положение вынуждало решать быстро. Провели ревизию всей имеющейся одежды; получалось, что лучше всех экипирован Игорь; у него, конечно, как и у всех, брюки и рубашка в лоскутьях, зато на нём свитер и куртка, правда, тоже уже изрядно порванная и грязная, но тепло ещё держать может. К тому же он самый молодой и быстрый; решили выделить ему ещё и брюки (ими согласился поменяться Аркадий — у него они сохранились лучше всех) и отправить его, чтобы он как можно скорей добрался до дома, привёл себя в порядок, а потом, не теряя ни минуты, нашёл какую только можно одежду для остальных. Кроме того, Аркадий и Зуев заставили его запомнить их номера телефонов: чтобы он позвонил им домой, объяснил ситуацию и попросил жён быстро собрать сумки с одеждой. Затем Игорь должен был, не жалея денег на такси, привезти всё это сюда… На всю операцию, прикинули они, должно было уйти часа три-четыре, не больше. К этому времени настанет утро, и сегодня же они будут, наконец, дома!

Приступив к выполнению плана, Игорь переоделся в брюки Аркадия, рывком вымахнул наружу, и за ним с лязгом захлопнулась железная крышка.

Чтобы скоротать это время, остальные решили вздремнуть, ибо их валило с ног от усталости и бессонной ночи; по примеру старожилов галереи они нашли себе по свободному участку на большой тёплой трубе и расположились на ней. Почти все тотчас же уснули; только Аркадий, более впечатлительный, чем остальные, долго не мог уснуть, перебирая густо толпящиеся в возбуждённом мозгу впечатления последних трёх суток… А тут ещё бубнят и бубнят в темноте, где-то совсем рядом два неторопливых мужских голоса:

— …Кодеин с содой — самое милое дело.

— Да и анальгин неплохо.

— А настойка боярышника — та *ваще!*.. Пузырей пять как засосёшь — ма-ать родная: ликёр и ликёр!

— Да где её нынче найдёшь-то?

— Настойка пустырника тоже ничего. Эта, как её… календула тоже.

— А я любую беру.

— Не-ет, как ни крути, а кодеинчик с содой лучше всего. Насыпешь жменю, да как вмажешь — сутки меня не трогай: ничего не надо!..

А тут ещё сосед… Слово за словом Аркадий втянулся в разговор с ним, словоохотливым и любопытным. Лица его он не видел: лежали голова к голове; сначала Аркадий ответил на его вопрос: кто он и как сюда попал; потом очередь рассказывать перешла к соседу. Мужик оказался толковым, и рассказ его *тянул* на социологический трактат, однако, поскольку тот не имел дара повествования, Аркадию приходилось подбрасывать наводящие вопросы, и вот что изложил ему мужик об этой весьма любопытной форме существования человеческих организмов, в которой они сейчас пребывали: живут тут, по его словам, не самые последние *ханыги*, потерявшие всякий облик (*ханыги*, как объяснил тот, ошиваются по вокзалам, а едят и окурки собирают из заплёванных мусорниц); здесь же народ хоть и бездомный, и беспаспортный, и не ладящий с властью, но в чём-то и самостоятельный: выходят наверх, занимаются кто чем может: подрабатывают, воруют, людей *шмонают*; у кого есть заначка — берут бутылку, идут в какую-нибудь забегаловку, садятся в уголке, ужинают, выпивают…

Звали Аркашиного соседа Николаем, и он довольно подробно изложил историю своей жизни. Правда, Аркадий так и не понял: или соседа и впрямь прорвало на исповедь, или это всего лишь легенда, сложенная из чужих судеб (будучи литератором, Аркадий знал, как они слагаются); но тем лучше: значит, рассказ дышит правдой не одного человека, а многих…

И вот что поведал ему Николай: бродяжью жилку замешала в нём матушка: закончив сельскую школу, она подалась на поиски счастья — это называлось тогда «ехать по зову комсомола», и ей всюду хотелось успеть: ни Дальний Восток без неё не мог обойтись, ни Крайний Север; кругом были такие же романтики, как сама, которым под гитару и под водочку с сигареткой о чём-то вечно поёт «зелёное море тайги», и на полпути куда-то родила в ускоренном порядке, семимесячным, его, Николая; чтобы легче прокормиться с пацаном, пошла в продавщицы — и проторговалась: кому в долг, кому за красивые глаза, а кто-то и сам у неё крал… А правосудие известно какое: крал ли, не крал, а не отвертишься, если в лапу судейским кинуть нечего; там ведь, как объяснил Николай, собирается тёплая *компашка*: следователь,

прокурор, судья и защитник, и договариваются, какой срок паять, и ты выходишь против них, как баран против паровоза; одно спасение—рвать когти и прятаться, где только можно: в тайге, в горах, в подземельях,—так что мать его, наверное, и поныне скитается где-то—так же, как и он сейчас…

Так что свобода у него в крови, и потому он тоже человек свободной профессии: портовый грузчик. И всё бы хорошо, да полной свободе в Сибири мешает зима: полгода жилы выматывает… Были когда-то у Николая, как у всех добрых людей, даже жена и дочка, сам на заводе работал; только свобода дороже жены и дома; прямо 1 Мая *позубатился* с драгоценной своей: не припасла бутылки на красный праздник! Психанул, хлопнул дверью и пошёл в магазин; встретил там *кирюху, захорошели…* А через неделю, в чём был, оказался на Лене, даже домой забежать не получилось…

А на той самой Лене, или на Енисее, или на Оби,—да на любой сибирской реке чином пониже их брата летом—что *бухары*: с геологами, с топографами, в портах, на лесозаготовках, у лесохимиков на подсочке,—всем места хватает, и денег всем хватает и на жратву, и на выпивку, и на баб на этих—жизнь ягодой-малиной катится!.. Но как только зима продерёт хиуском да жахнет морозцем—тут-то все эти армии, дивизии и полки в сто ли, в двести тысяч, а может, и в миллионы; кто их когда считал?—как Наполеон из Москвы всё равно!—отступают, бегут позорно, рассасываются по городам на зимние квартиры, потому что местные *Бичегорски* только и могут обогреть в своих *бичарнях* отсилы несколько сот, ну тысячу…

И нет у него теперь ни родичей, к кому бы зимой приткнуться, ни паспорта—загнал по пьяни однажды, а кто новый даст?—это же с ментами связываться… Забил себе с осени место на одном чердаке—просто красота: дом новенький, чердак чистый, труба горячая рядом, матрасик мяконький—спасибо хозяевам: берегли, прежде чем выбросить на помойку! Стол себе из ящика замастырил, стены из картона поставил, газеты каждый день свежие: утром вынешь из почтового ящика—вечером обратно положишь; живи—не хочу: культура, свежий воздух, рядом магазины, забегаловки… Но морозы нынче просто задавили: под тридцать да за тридцать; воспаление лёгких кому зарабатывать охота?—верный гроб тогда, а коньки отбрасывать рано, не весь кайф словил, вот и пришлось откочевать сюда… Беспокойно только: на том чердаке его купе займут,—скорей бы уж отпустило, да снова на вольный воздух… Мечтал на зиму в Чимкент или в Алма-Ата—там вообще рай! Не получилось…

— Как видишь, и здесь люди живут,—смиренно оценил здешнюю обстановку Аркашин Вергилий.—Знаешь, сколько этих тоннелей под городом? Ещё один город!.. Сунутся, говоришь? А кому соваться-то? Слесаря—те ходят, но у них свои дела, никто никому не мешает… Да им и ходить не надо: авария какая—сами прибежим, скажем, так что им—стучи себе в домино да пивко посасывай… Женщины? Не выдерживают они тут долго, только заработать приходят… Да тут всякого народу—как проходной двор всё равно… Вот только не слыхал, чтоб писатели…

И впервые за сколько-то суток расслабившись и разомлев в тепле, хоть и на слишком покатой для отдыха трубе, Аркадий крепился и напрягал волю, чтобы не уснуть и не пропустить рассказа, полного любопытной для него информации, однако сколько ни крепился—уснул…

Его тряс Миша.

— Что случилось?—испуганно дёрнулся Аркадий, чуть не кубарем соскальзывая с покатой трубы.

— Во сне стонешь. Думал, заболел.

— Нет, ничего…—пробормотал тот, отходя ото сна.—Сколько времени?

— Полдень,—ответил Миша.

— Как?—Аркадий полностью проснулся.—А где Игорь?

— Сам не пойму,—ответил Миша.—Уже дважды мог прийти.

— Вот сволочь! Может, просто уснул дома и спит, как сурок?

— Может, и уснул,—согласился Миша.—Но нам-то что делать?

Аркадий не ответил.

— А где остальные?—наконец, спросил он.

— Кто где,—вяло отозвался Миша.—Зуев отсыпается. Гоша с Бритым общается—они его накормили. Говорит, мужики нормальные, даже знакомого алкаша здесь встретил. Теперь снова ушёл, стихи им читает.

— Пожрать бы тоже; кишки как штопором сверлит,—вздохнул Аркадий и приласкал пустой живот ладонью.—Но Игорь-то где? Неужели обманул?

— Н-не знаю… Чует сердце: что-то там не в порядке…

Однако осмысливать предчувствия глубже обоим мешал зверский голод.

Сосед Николай куда-то ушёл; Аркадий предложил Мише занять место рядом с ним на трубе и теперь соображал вслух: как бы всё-таки выбраться отсюда, дойти до первого телефона-автомата и позвонить жене?—она всё сразу поймёт и придумает; только бы дозвониться!..

Потом Аркадий снова задремал. Но не в сон его потянуло теперь, а в оцепенение: лежать бы вот так, в полном покое, не шевелясь, не разговаривая—и ничего больше не надо; даже голод проходит, и накатывает неодолимая лень: всё, что там, наверху, отодвигается в дальнюю-дальнюю даль: жена, дом, стихи, книги, издательство… Кому, зачем всё это?.. И, лёжа в ожидании Игоря с одеждой, он вдруг

проникся судьбой здешних подземных жителей и спросил себя: да уж не эта ли дремотная жизнь без усилий и есть блаженная мечта человека: «рай», «сады Эдема», «нирвана», или, по терминологии здешних обитателей, «коммунизьм»?..

Однако полного покоя, в который так манило Аркадия, не получалось: и здесь тоже была своя суетная жизнь: шмыгали по проходу какие-то субъекты, переговаривались, попыхивали красными точками цигарок, окутывая себя и других удушливым в стеснённом пространстве табачным дымом; где-то кто-то глухо стонал, кашлял…

Спустя немного появился оживлённый, благоухающий портвейном Гоша Худяков. Он принёс буханку хлеба и круг ливерной колбасы, растормошил товарищей, разделил между ними угощение, и пока те ели, делился впечатлениями от более близкого знакомства с местным населением.

Буханка, правда, хрустела на зубах песком — сколько и где, интересно, она валялась? — а колбаса была склизкой и несвежей, однако брезговать угощением ни у кого уже не было сил. И только когда всё съели, Гоша заявил, что еду дали ему в виде аванса, который следует отработать.

— Как отработать? Когда? — возмутилась наша компания.

— Приходил мужик с улицы, звал ночью цемент разгружать, — объяснил Гоша. — Там бригада собирается.

— Что ж ты сразу не сказал — я бы не дотронулся до этой колбасы! — возмутился Аркадий. — Я надеюсь сегодня дома быть, а не с цементом возиться!

— А я подумал: может, так легче выбраться? — оправдывался Гоша.

Но пока что никто никуда их не звал.

А Зуев перехитрил всех; оказывается, у него была припрятана денежная заначка, и он сумел тихонько сторговаться с соседом, рядом с которым давеча прикорнул: тот продал ему свои телогрейку, шапку и брезентовые верхонки, и Зуев, оправдываясь перед товарищами, что у него сломана рука и ему надо в больницу, переоделся и ушёл… Все понимали, что ему действительно нужна помощь, попрощались с ним и отпустили с миром; даже помогли подняться наверх. Однако осадок после его ухода остался: возились с ним, помогали, а он свою сделку совершил тайком…

Уже и вечер наступил, а Игоря всё не было… Однако Мише не верилось, что он их предал: наверняка там что-то случилось. Но что?..

Вечером пришёл посыльный и велел идти к «Хозяину».

Гоши опять не было — его пригласили в другую компанию: он уже пользовался здесь успехом и, уходя, посмеялся:

— Продолжу изучение нравов «дна» — буду потом отнимать лавры у нашего классика Алексей Максимыча, — и по выражению его лица и тону голоса чувствовалось, что это изучение для него не тягостно и не скучно. Так что с посыльным от «Хозяина» ушло всего трое оставшихся: Миша, Аркадий и Варфоломей; форма приглашения была категоричной, и шли они туда со смешанным чувством: с неохотой и страхом, но и с надеждой.

Их снова привели в импровизированный кабинет с низким ободранным диваном и опрокинутым ящиком вместо стола, за которым по-прежнему восседал Бритый (не спал он, что ли, с тех пор?) в окружении отчасти старых, а отчасти и новых приятелей: ни дать ни взять президиум на собрании, ибо перед столом стояла, рассредоточившись, жиденькая толпа человек в десять (сосчитать в полумраке было трудно; да и зачем?).

Аркадий с товарищами оказались прямо перед столом.

На столе лежал истрёпанный паспорт без фотографии, и один из приближенных Бритого под шуточки и замечания вклеивал в паспорт фотографию: послюнил её языком с оборотной стороны и крепко прижал к паспорту ладонью, а сам обратился к стоявшим:

— Все собрались?

— Все, — откликнулись голоса.

— Сейчас пойдём.

— А как же пойдём мы? — обратился к «президиуму» Миша, воспользовавшись случаем поклянчить одежонку. — Мы совсем раздеты!

— Ну, это ещё не совсем, — усмехнулся тот, который придавил ладонями паспорт. — У нас умеют раздевать так, что и трусов не оставят! — и хрипло хихикнул… Как отметил про себя Аркадий, ни открыто проявлять гнев, ни смеяться они здесь не умели, лишь тусклые гримасы на губах, и в каждой интонации их, даже у этих — заискивание перед толпой и неразделимость с ней… И как только тот, что давил ладонью паспорт, бросил реплику — тотчас посыпались подковырки, никоим образом письменно не воспроизводимые.

Надо сказать, что язык тех подземных жителей хоть и покажется непосвящённому экзотически изощрённым, на самом деле убог и однообразен: три-четыре непечатных слова, комбинациями из которых несчастные носители их пытаются передать все нюансы своих чувств и действий, при этом формируя фразы не без некоторого искусства, так что подлежащие и сказуемые, определения и дополнения состоят только из этих трёх-четырёх слов, причём каждое несёт десятки значений. И всё же фразу понять можно. Дело тут, скорее, не в изобретательности и изощрённости, а в исключительной простоте жизни, при которой другие слова оказываются не нужны и из-за неупотребления забываются, и остаются лишь эти три-четыре

звукосочетания — как у птиц и животных… Пожалуй, этим же можно объяснить и столь частое употребление этих слов в те времена среди всех слоёв населения, начиная с подземных жителей и кончая Верховным Шаманом.

Кстати, теперь стало щегольством эксплуатировать эти три-четыре слова в беллетристике — ими пользуются даже женщины-писательницы. Но я на этот приём попасться не хочу; во-первых, никого уже не удивлю — если ещё не столь давно приём этот был свежим и эпатировал читателя, то теперь кого эпатировать-то? — читатели и читательницы, которых было чем эпатировать, исчезли, и никакая Красная Книга их не воскресит. Теперь, скорей, нужен *контрприём:* уметь рассказать о нашей примитивной, полной уродства жизни, не опуская до него самих себя…

Итак, когда Аркадий Светлый с товарищами, стоя перед импровизированным столом подземного президиума, красноречиво предъявили свои отрепья, человек, что был занят изготовлением паспорта, всё же снизошёл до сочувствия к ним, велел выдать им одежду, и она тотчас безо всякой волокиты была выдана. Одежда состояла из рабочих штанов и рваных телогреек и была до того пыльной — в ней, видимо, разгружали цемент уже много раз — что когда они стали облачаться в неё, на них брезгливо прикрикнули: «А ну, отойдите, не пылите тут!» Кроме того, штаны и телогрейка, что достались Аркадию, тяжко воняли мочой и потом, однако выбирать было не из чего, и он, преодолевая отвращение, напялил всё это на себя, мешковатое, короткое, повязав сверху верёвочный пояс.

Похоже, ждали только их — толпа, ухмыляясь, наблюдала, как облачаются в рванину интеллигенты. Аркадию кто-то сунул ещё и шапку-ушанку, которая никак не лезла на его крупную, да ещё обмотанную куском окровавленного полотенца голову; пришлось подвязывать её тесёмками под подбородком, чтобы держалась, и когда «приоделись», сразу же все во главе с обладателем паспорта двинулись в путь, разобравшись в узкой галерее в колонну по одному, и шли долго, сворачивая то в одно, то в другое ответвление.

Аркадий с Мишей и Варфоломеем держались вместе, идя где-то в середине колонны и тихо переговариваясь: «Надо как-то отрываться, мужики… Как-то потихоньку отрываться!..»

Но, поскольку путь был тягуче-медленным, ноги шли сами, подчиняясь общему ритму; руки — тоже заняты, касаясь на тёмных участках то стены, то трубы; головы же ничем заняты не были; Аркадий занимал её, рассуждая про себя: вот если бы эта компания шла сейчас убивать, пошёл бы он с ними, хотя бы и под принуждением, или бы протестовал, и в какую бы форму вылился его протест? И что бы, интересно, с ним сделали? Убили? Или изнасиловали — здесь, говорят, это запросто?.. Он, всю жизнь считавший себя человеком свободным, поскольку не ходил вместе со всеми утром на работу, не давился в часы пик в набитых автобусах, удивлялся сейчас неприятным открытиям в себе, тихо клокотал и возмущался тем, что вынужден подчиняться проходимцам, назвавшим этот свой подземный рай «коммунизьмом», в который он свято верил, считая, что коммунизм не построен до сих пор только из-за неумных начальников; именно с ними он пытался скромно бороться там, наверху. Однако негодяи, что послали их сейчас, явно подражали тем, верхним…

Возмущало его и унижение, которому подверглось его чувство собственного достоинства; он вдруг понял, что боится людской массы и что страх этот растили в нём с детства: в детсаду, в школе, университете, пестуя в нём обожание организации, общества, толпы; он мог роптать на неё, но идти ей наперекор, оказывается, не мог: это выше его сил… И он шёл и терзал себя: ты раб толпы, её евнух, ты связан с этими несчастными пуповиной, ты по крови, по породе — их, и никуда тебе от них не деться; даже если ты сбежишь — не распрямиться тебе никогда, а быть вечным рабом, потому что на тебе — её заклятье, в тебе — её гнилая рабья кровь!..

Глава восьмая

А куда же делся Игорь? Неужели он, несмотря на срывы, такой с виду серьёзный и надёжный, оказался столь равнодушен к товарищам в беде, что, выйдя из подземелья, тотчас же о них и забыл?

А с ним произошло вот что. Вылезши ночью из люка, он пересёк пустырь, углубился в городские кварталы, узнал, наконец, место, где находится, сориентировался и, не теряя времени, бодро зашагал в свой район. Да и мороз не давал идти вразвалку — подгонял почти бегом.

Дом его находился в противоположной стороне города, чуть ли не на окраине, так что идти пришлось всю оставшуюся часть ночи. Трижды по пути он заходил в подъезды домов греться у тёплой батареи. И к утру пришёл.

Жил он со своей семьёй в так называемом «семейном общежитии». Этот устойчивый бытовой термин тех лет, в самом себе содержащий абсурд, наверное, требует расшифровки. Словосочетание это совсем не означало, что в том доме были общие семьи или общие жёны и мужья. Конечно, жили в тех «семейных общежитиях», или «малосемейках», тесно, но своих мужей и жён там различали, и если изредка бывала путаница, когда, ошибясь дверью, муж или жена нечаянно забирались в чужую постель, то случаи эти, как и во все времена, служили поводами для жестоких скандалов. А если точнее, то термин этот — «семейное

общежитие»—обозначал многоэтажный дом, на каждом этаже которого вдоль по заставленному ящиками, мешками и детскими колясками коридору через каждые два-три метра—картонная дверь, и за каждой—комната, которая одновременно служит гостиной, спальней, столовой, ванной и прачечной; и в каждой комнате бьётся с нуждой и теснотой, не теряя, впрочем, надежды на везение и счастье, семья, чаще всего молодая.

В одной такой комнате и жил со своей юной женой и трёхлетним бутузом наш Игорь (он и в систему «общественного питания» попал, уйдя из рабочих, только затем, что решил сколотить денег на кооперативную квартиру, не преминув предварительно посоветоваться с женой, воспитательницей детсада); и в то раннее морозное утро, когда до рассвета ещё добрых три часа, он появился на пороге своей комнаты, грязный, оборванный, заросший щетиной, качающийся от усталости и голода, с ввалившимися и красными от недосыпа, грязи и мороза глазами. Ключ от комнаты он берёг, несмотря ни на что, как талисман, как залог своего спасения…

Кстати, здесь можно было бы подурачить тебя, читатель, подбросив в Игореву комнату, скажем, удачливого соперника со всеми вытекающими последствиями, но нет, не жди от меня заигрываний: буду предельно правдив!

Конечно же, Игорь, тихо войдя, первым делом шагнул к кровати и с бьющимся сердцем стал в темноте шарить по ней руками… И с облегчением перевёл дыхание: слава Богу, жена на месте! Он с нежностью погладил её разметавшиеся по подушке волосы, лицо, шею, плечо; только теперь он, по-настоящему чувствуя навалившуюся на него стотонную усталость, не раздевшись, опустился на колени и зарылся лицом в её мягкую, пахнущую молоком и свежим молодым телом грудь.

Жена его, ещё не проснувшись, но уже узнав его, жаркая, податливая, порывисто обхватила его голову горячими руками, сильно, судорожно прижала к себе и захныкала: «Ну почему ты так долго не шёл? Где ты был?»—«Ой, Танюша, погоди чуть-чуть, я грязный и голодный. Дай сначала приведу себя в порядок»,—зашептал он, задыхаясь в её объятиях и высвобождаясь из них. И только тут, услышав его реальный осевший голос, она окончательно проснулась; быстро включила боковой свет, вскочила, трепетная, полуобнажённая, в короткой полупрозрачной рубашонке, и заметалась: снова порывисто обняла его, прильнув всем расслабленным телом, потом кинулась к заёрзавшему сыну, заслоняя его кроватку от света спинкой стула, и принялась помогать мужу раздеться и разуться.

—Погоди, Танька, не суетись,—осадил он её, сдирая с себя рванину и брезгливо швыряя к порогу.—Дай бельё и полотенце, в душ сначала сбегаю, а ты пока поставь чай и давай на стол всё, что есть—жрать хочу, как сто волков!

—Сейчас, Игорёша, сейчас, миленький,—бросилась она исполнять его желания, благо, всё, что для этого нужно, было под рукой, дрожа при этом всем телом от возбуждения и продолжая хныкать и причитать.—Что же *они*, гады, с тобой делали, где тебя держали?..

Между тем он переоделся в спортивное трико, схватил поданные женой бельё, полотенце, мыло, мочалку и, прыгая через две ступеньки, помчался в подвал, в душевую.

Вернувшись через двадцать минут свежим, чистым и бодрым, он сел за крохотный кухонный столик и с жадностью накинулся на приготовленный женой завтрак: шипящую на сковороде скороспелую глазунью, хлеб, колбасу, масло, джем,—пихая всё разом в рот и ещё прихлёбывая обжигающий чай; щёки его раздувались, глаза алчно взирали на еду, а губы, скулы, виски, уши, кадык—всё ходило ходуном; при этом он с набитым ртом успевал ещё и скупо, урывками посвящать жену в свои похождения, отчего картина похождений получалась непоследовательной, а потому непонятной для неё и ирреальной, но она, сидя напротив и глядя на него влюблёнными глазами, успевала намазывать маслом и подавать куски хлеба, слушать его, кивать и ещё говорить сама, без конца повторяясь, о том, как им с сыном было тут без него плохо и как мучительно они по нему соскучились.

Наконец глаза его пресытились видом еды и успокоились, желваки на висках и скулах стали ходить медленнее; потом, выпив последнюю чашку чая, он окончательно отвернулся от стола, обратил взгляд на жену, улыбнулся ей благодарно, подмигнул игриво и протянул руки; она с готовностью порхнула в его объятия и уютно устроилась у него на коленях; он крепко, до хруста косточек, обнял её, впился в её сочные полуоткрытые губы долгим поцелуем, затем поднял на руки и потащил в постель…

Ах, как неумолимо неслось у них время: глядь, ей уже надо бежать с сыном в детсад, да и у него на душе висело обязательство везти товарищам по несчастью одежду, выручать из заточения.

Вместе с одетыми женой и сыном он спустился вниз, проводил на улицу, а сам пошёл к дежурной позвонить жёнам Зуева и Аркадия Светлого.

Дозвонился он до них в этот ранний час быстро, но сам разговор оказался долгим: пришлось не однажды повторять разволновавшимся и оттого переставшим что-либо усваивать женщинам, что в случившейся беде со всеми перипетиями их мужья живы—да живы, живы, чёрт возьми!—хотя, может, и не совсем целы и сейчас пока не в состоянии попасть домой из-за такого пустяка,

как одежда, и что всё теперь зависит от расторопности их жён — насколько быстро они соберут и привезут ему одежду, чтобы он смог передать её им. Он не только сообщил им свой адрес, но и со всеми подробностями рассказал, как и на чём до него быстрее доехать, какой у него номер дома, этаж и комната; только слепой не смог бы теперь его найти.

Дав этим бедным женщинам час времени: переварить информацию, унять волнение, собрать вещи и привезти, — сам он после этих телефонных разговоров поднялся к себе, быстро разделся, повалился в постель, потянулся, расправляя все до единой усталые мышцы, связки и кости, и тотчас же ухнул, как в чёрную дыру, в глубочайший молодой сон.

Но разбудили его не через час, как он рассчитывал, а гораздо раньше. И совсем не писательские жёны.

В дверь постучали, и когда Игорь, моментально подскочив и натянув трико, распахнул дверь, то увидел перед собой двух молодых людей примерно одного с ним возраста, ничем не примечательных: оба чуть выше среднего роста и среднего телосложения, с неброскими, открытыми и вызывающими доверие лицами, правда, одетых довольно легко для зимы: в куртки какого-то неопределённого тёмного цвета. Причём оба вроде бы и разные, а в то же время и чем-то, словно родные братья, неуловимо похожи. Симпатичные, в общем-то, ребята, хотя это их сходство между собой, бросаясь в глаза, немного настораживало. Но именно их открытость, как он потом понял, позволила ему так легко довериться им… Вызвало его доверие к ним и то, что позади них стояла дежурная, в закутке у которой он полчаса назад названивал по телефону, простодушная бабёха, знавшая всех жильцов в лицо и по именам; она кивнула на него и представила незнакомцам: — «Вот он, наш Игорёк!» — будто привела к нему старых друзей. Парни поблагодарили её и отпустили, и один из них вежливейше, но довольно твёрдо попросил:

— Позвольте войти? Надо поговорить, в коридоре неудобно…

Игорь отступил и широким жестом пригласил их; они вошли и скромно встали в дверях, как бы ощущая неловкость оттого, что вынуждены вторгнуться без приглашения. Причём лицо одного из них было Игорю чем-то неуловимо знакомо… Где же он с ним встречался?

— Мы к вам вот по какому поводу, — сразу же продолжил тот, что спрашивал разрешения войти, в то время как другой, тот, что с неуловимо знакомым лицом, продолжал хранить молчание. — Нам стало известно, что вы вернулись из подвала писательского особняка…

— Откуда вам известно? — изумился Игорь. — Я же только что пришёл!

— Неважно откуда. Мы из той организации, которой должно быть известно *всё*, — с нагловатой самоуверенностью ответил незнакомец.

— Но откуда? Неужели бабы?..

— Я повторяю: это сейчас неважно! — уже строже сказал тот. — Мы хотели бы получить от вас подробные сведения: что там произошло, кто жив?

— Пожалуйста, я расскажу, — пожал плечами Игорь, поглядывая на стоявшего в двери молчаливого парня со знакомым лицом. — Проходите. Извините, что тесно. Но откуда?..

— Дело в том… Мы бы хотели попросить вас проехать с нами — это связано с некоторыми формальностями.

— Но я не могу, ко мне должны сейчас приехать, я назначил время.

— Внизу ещё один наш товарищ: он встретит и заберёт вещи.

Игорь опешил: он ещё ничего не сказал о вещах! — будто не с писательскими жёнами, а с ними он только что разговаривал по телефону!

— Оденьтесь, — настойчиво предложил разговорчивый. — Не бойтесь, мы вас долго не задержим. В конце концов, это же общая задача — спасти писателей: чем больше тянем время, тем опасней для них!

Это была правда, с этим Игорь полностью согласился, поэтому, не теряя времени, быстро оделся, вышел вместе с ними, запер дверь, и они двинулись по коридору и по лестнице вниз.

В вестибюле их действительно ждал третий. Оставив ненадолго Игоря, они о чём-то посовещались, и тот, что ждал их, так в вестибюле и остался, а эти двое вывели Игоря на улицу. У крыльца стоял легковой «газик».

Игорь не был таким уж наивным простаком, который никогда не слышал, что такое КГБ. Конечно же, и до него доходили слухи об этой организации и её всесилии, о стукачах в каждом коллективе, о переодетых агентах в любой толпе; он знал, что за серое здание, некое подобие средневековой цитадели, крепко вросло в землю в центре города, но никогда не принимал слухов близко к сердцу — слишком это было далеко от его личной жизни. Всё равно как человек всю жизнь живёт в Сибири, не задумываясь над тем, почему ему суждено жить тут, если на свете столько благословенных стран и краёв, где без конца цветущая весна и жаркое лето — настолько он привык к холоду, родившись и выросши в нём, что попросту его не замечает, и когда, собираясь в мороз на улицу, надевает свитер, пальто и шапку, то думает не о морозе, а о чём-нибудь более насущном и приятном. Точно так же и со слухами о КГБ: он родился и вырос с этими слухами, а тут ещё на мозги без конца капают: «рыцари без страха и упрёка», «кость от кости своего народа», «надёжный щит и карающий

меч на страже завоеваний»… И как человек может прожить всю жизнь в Сибири, не замечая никаких неудобств от холода, хотя и может однажды сильно промёрзнуть, простудиться, схватить жесточайший бронхит или воспаление лёгких, выключившись на целые недели из обыденной жизни, да ещё глянуть одним глазом за край могилы—тут он, возможно, и проклянёт суровый климат и впредь будет в противостоянии ему осторожней; так и Игорь, трясясь на заднем сиденье «газика» в окружении двух твердокаменных парней и молчаливого, как глухонемой, шофёра, уже чувствуя своё бессилие, глядя на их непроницаемые лица, начинал припоминать и осмысливать всё, что слышал когда-то о кгб, и мысли его торопливо разбегались сразу по трём тропкам: во-первых, он, словно во вражеском плену, прикидывал, как себя вести: что рассказывать и о чём молчать, чтобы не навредить себе, семье и товарищам по несчастью, причём о честном рассказе и речи быть не могло; во-вторых, он на всякий случай тщательно прощупывал в памяти всё своё прошлое, ища в нём компрометирующие факты, чтобы суметь извернуться, если *они* о них знают; и в-третьих, всё-таки очень интересно: из каких источников они о нём узнали?.. Именно по этим тропкам и бежали его мысли в тот момент, так ни разу и не свернув на четвёртую: как помочь этим ребятам разобраться в истинном положении дела…

И в этом судорожном движении мыслей, сопоставив ещё раз всё, что было ими сказано, с тем, как быстро они примчались, он догадался наконец: они слышали его телефонный разговор!.. У него даже от сердца отлегло: теперь, по крайней мере, он знал, что именно они знают, а чего нет… Как здорово, что они дали ему передышку!.. И—как в школе на экзамене: решив, наконец, задачу,—он расслабленно откинулся на спинку сиденья. И тут—о, этот дар мгновенных прозрений!—глянув на лицо соседа, неуловимо знакомое, он вдруг спросил:

—Слушай, ты же Серёга? В шестьдесят второй школе учился?

—Да, учился,—сдержанно ответил тот.

—В параллельном классе?—раскрылась наконец полностью память Игоря.

—Я тебя тоже узнал,—ответил тот.

—То-то я думаю: где тебя видел?.. Восемь лет!.. Скажи, времечко летит, а? Но как ты *там* оказался—ты же в политех поступал?

—Хватит базарить,—мягко, но решительно остановил их общение другой, похоже, он был у них старшим. А Игорю припомнилось теперь, что Серёга этот, как и сам он, успехами не блистал, но зачем-то попёрся в «политех», и на каком-то курсе его, конечно же, попёрли… Кто-то рассказывал, что эти неудачники, чтоб не загреметь в армию, косяками прут в милицию, в кгб… И на душе у него отлегло: какой ни есть, а свой человечек. Не инопланетяне же они, значит!

А «газик» тем временем упёрся в глухие ворота, и половинки их тотчас без всякого сигнала ушли в стороны; машина въехала, и створки, лязгая, опять затворились: как в сказке… Все втроём легко выпрыгнули из машины.

Находились они теперь в низком обширном помещении; никого вокруг, только ряд пустых машин у стены… Они вошли в дверь, и Игорь с ними: со стороны посмотреть—троица друзей с задания вернулась.

Сразу за дверью—вестибюль, вертушка и барьер; за барьером—лейтенант в форме. Старший из их группы показал какой-то жетончик, и дежурный пропустил всех троих через вертушку—всё молчком.

Лестница с несколькими поворотами, затем коридор, извилистый, ветвистый, с какими-то нишами и тупиками. И пока шли по нему, Игорь всё старался на всякий случай запомнить дорогу

Его ввели в комнату, усадили на стул и оставили одного.

Он осмотрелся. Обычный чиновничий кабинет: два однотумбовых стола, дешёвые стулья, которые обычно разваливаются через месяц после покупки; полупустой книжный шкаф с несколькими книгами за стеклом; в углу—топорно сваренный железный ящик, именуемый, конечно же, сейфом; на стене—репродуктор и напечатанный на бумаге Дзержинский в рамочке.

Дзержинский добродушно щурился и подмигивал Игорю: дескать, ты уж потерпи, не бойся: эти ребята ничего серьёзного тебе не сделают—не те чекисты нынче. Но помурыжат. А как же: это тебе не фунт изюму; врагов надо карать… «Да какой я враг!—хотелось взмолиться подавленному Игорю.—Я простой человек, никого не трогал, властям не изменял!»—«Хе-хе, простой человек»!—ядовито будто бы усмехнулся Дзержинский, и щёлочки его глаз сделались жёсткими.—Ты вот буфетчик, лавочник, денег мечтаешь накопить—мы всё о тебе знаем!.. Всякий простой человек—потенциальный буржуй, а стало быть, враг. Так-то, това-арищ!»—с издёвкой произнёс он последнюю фразу и замкнулся в презрительном взгляде, оставив Игоря без всякой поддержки.

Затем он обратил внимание на окно; хотелось подойти и глянуть на всякий случай, куда оно выходит, однако подняться не решился, казалось, за ним следят чьи-то глаза и подслушивают невидимые устройства… Странно, почему никто не идёт? Казалось, что-то нарушилось в их процессе… Может, потому что Серёга—знакомый?

Тут как раз и вошёл тот, что разговорчивей, уже без куртки и шапки, в сером костюмчике, в голубой рубашке со скромным полосатым галстучком,

румяный, причёсанный, бодрый. Не спеша прошёл, сел, достал из стола пачку бумаги, ручку, поёрзал на стуле, занимая удобную позу, незаметно, как показалось зорко следившему за каждым его движением Игорю, включил спрятанное в столе записывающее устройство, представился Игорю просто по имени: «Олег»,—и, обращаясь, чисто по-товарищески, на «ты» и без отчества, спокойно предложил, словно партию в шахматы:

— Ну что, начнём?

Игорь вёл осторожный рассказ про всю последовательную цепь событий, произошедших с того памятного вечера, взвешивая каждое слово и старательно следя за собой, ни словом не обмолвившись о том, как они там, в тёмных подземных норах, ссорились, что в отчаянии говорили, выкрикивали и проклинали. Никакого регламента и никакого насилия в допросе не было, можно сказать, и не допрос то вовсе был, а свободный рассказ внимательному слушателю; лишь иногда—скромные поощряющие восклицания: «Ну-ну, дальше?», «Это интересно», «А потом?»…

Рассказ Игоря длился часа два; увлёкшись, он попросил ручку и бумагу, стал рисовать примерные схемы их движения под землёй, а следователь затем эти схемы забирал себе… Когда же рассказ Игоря достиг места, когда они, наконец, выбрались в густо населённую подземную галерею, интерес следователя к рассказу иссяк: тот вдруг заявил, что Игорь, наверное, устал, и нужно сделать перерыв. Игорь запротестовал: он совсем даже и не устал, готов рассказать всё до конца и идти домой, но тот неумолимо предложил Игорю пройти в соседнюю комнату и немного отдохнуть.

— Сколько это—«немного»?—спросил Игорь, и тот холодно ответил:

— Немного—это и значит немного.

Тогда Игорь заявил, что, во-первых, его ждут товарищи по несчастью, а во-вторых, у него слишком много своих дел, чтобы отдыхать, да ещё здесь, но собеседник его твёрдо ответил на это, что, во-первых, о его товарищах теперь побеспокоятся они: это их прямая обязанность—спасать людей в беде, поэтому они освобождают его от неё; а во-вторых, почему он считает, что распутывание столь тёмного события, как обрушение особняка, гибель человека и злоключения остальных—не самое сегодня важное дело? Так что это их право—во имя выяснения истины держать его столько, насколько это целесообразно… И тогда Игорь понял, что спорить здесь—занятие бесплодное, так что, во избежание худшего, лучше пока подчиниться.

Его провели в другую комнату и опять оставили одного.

Комната как комната: стол, табуретка, на столе кипа старых газет и журналов… Даже кушетка есть и санузел за перегородкой: унитаз, раковина… Только вот дверь наружу странная: без ручки! Захлопнули за тобой—и ку-ку! Это арест, что ли?..

Он сразу ринулся к окну… Окно как окно: внизу—внутренний заснеженный дворик без всяких входов-выходов; четыре забытых машины с шапками снега на них, да посередине—клумба с торчащими из снега чёрными стеблями… А переплёты в окне, между прочим, если всмотреться,—стальные, и стёкла, кажется, небьющиеся; интересно бы проверить. Но чем? Попробовал тронуть табуретку—привинчена к полу; стол—тоже. Поня-атно!.. Первая реакция—колотить в дверь, и как только кто сунется—ударить, выхватить оружие и—вперёд! убивая всякого, кто на пути… Но следом—сомнение: а зачем? Подожди, успокойся, никаких зацепок у них нет… Не имеют права! И ни одного слова больше без условий!..

«Вот вам! Вот вам!»—показал он кукиш на все четыре стороны—невидимому, следящему за ним глазу. Затем собрал старые журналы, завалился на кушетку с твёрдым валиком под головой, раскрыл первый журнал и… крепко уснул. А проснулся неизвестно сколько времени спустя (часы он взять утром забыл), оттого что в комнате кто-то появился.

Он подскочил и сел на кушетке. Перед ним стояли двое: всё тот же молодой и ещё один, постарше—лет за тридцать.

— Здравствуйте!—бодро сказал новый, называя Игоря по имени-отчеству, улыбаясь и чуть ли не с объятиями—этакий рубаха-мужик, душа нараспашку.—Приносим извинения, что задержали, но виноват только я! Он меня ждал, а я задержался. Зато вы тут время, смотрю, не теряли—выспались! Задаю несколько вопросов—и свободны! Договорились?—между тем разговорчивый этот мужик с размаху оседлал табуретку, оказавшись перед Игорем глаза в глаза.

— Согласен,—угрюмо буркнул Игорь.—Давайте вопросы.

— Прекрасно! Чувствую, поладим!.. Олег, позволь нам побыть одним?—обратился тот к молодому, переминавшемуся сзади.

— Пожалуйста,—пожал тот плечами, даже, кажется, с обидой, будто не заранее заготовленный спектакль они ломали, и сразу вышел.

Развесёлый этот мужик, оставшись наедине с Игорем, сразу посерьёзнел и, глядя ему в глаза, стал задавать свои вопросы, не скрывая, что прекрасно осведомлён обо всём. Его интересовали конкретные подробности: что именно говорили они, когда остались одни в засыпанном подвале? Когда и как умер Карманов, и что перед смертью сказал? В каком состоянии сейчас Зуев, Светлый, Имангильдин, Худяков?..

— Так вы ещё не освободили их?—удивлённо спросил Игорь.

— Ну почему же, ими занимаются — но им сейчас пока не до разговоров! — сказал весёлый мужик и посмотрел на часы, и Игоря опять осенило: а ведь о них тут знали, наверное, раньше, чем вышел оттуда он сам!..

А мужик между тем сменил тему, уже обращаясь к Игорю по-приятельски, как к старому знакомому:

— Ты, я вижу, честный, открытый парень. Просто ума не приложу: чем ты теперь заниматься будешь, как кормить семью? Ты думал над этим?

— Не знаю, — удручённо ответил Игорь. — А что?

— Да есть у меня на примете местечко, — выдержав паузу, продолжил мужик. — Наши артисты решили Дом актёра организовать. Что-то вроде своего клуба, а при нём ночное кафе: артисты же, полуночники!.. Злачное будет место. И, я думаю, выгодное для бармена, — мужик снова выдержал паузу.

Игорь всё-таки был сообразительным — намёк понял и сразу спросил:

— А что для этого нужно?

— Совсем немного, — ответил тот. — Держать нас в курсе дел. Там ведь интеллигенция будет собираться…

— Нет, я не хочу на это идти, — ответил Игорь, сразу всё поняв.

— Да ты не торопись, подумай, — продолжал мужик. — Приди домой, пораскинь мозгами, взвесь… Место надёжное; потом, смотришь, ещё лучше что-нибудь предложим… Только с женой советоваться не надо — тут, как ты сам понимаешь, разговор не женский. Если согласишься — это будет в некотором роде наша с тобой маленькая государственная тайна, и ты дашь обязательства. А жене и всем, кто интересоваться будет, скажешь по секрету: дружок, мол, один по блату пристроил. И — всё. Подумай. Тут — понимаешь? — целый комплекс и твоих личных проблем завязан: заработок, квартира, всё твоё будущее… Жена, опять же, ребёнок.

— А причём тут жена? — насторожился Игорь.

— Да как же! Она ведь воспитатель в детском саду, так?

— Так, — Игорь поразился их осведомлённости.

— Ты ведь должен понимать, — продолжал между тем мужик, совсем приблизив своё лицо к Игореву и твёрдо глядя в глаза — гипнотизируя, можно сказать, и взглядом, и голосом, — мы не каждому предлагаем. Проверяем человека. А у неё там неважно дела складываются: не всё у неё там получается; с директрисой неувязки.

— А ребёнок причём? — совсем уж дрогнул голос у Игоря.

— А ребёнок ваш в этом детсаду устроен. Уйдёт жена — придётся и ребёнка забрать… А вы, наверное, ещё и второго завести хотели?

Игорь был обескуражен: они что, берут «на пушку» или действительно знают, о чём жена шепчет ему в постели?

— Но это я так, к слову… А сейчас — свободен! — опять весело и беспечно сказал мужик, разведя руками. — Езжай домой, отдыхай и о писателях не думай — берём их на себя!..

Вот такой разговор состоялся у Игоря в том сером здании; но имел ли он продолжение — не скажу: не имею права разбалтывать тайну исповеди, доверенной мне — хотя столько уж лет прошло после того разговора между Игорем и тем мужиком! Так что не взыщи, дорогой читатель, если некоторые тайны тех лет так и останутся тайнами.

Вернувшись в общежитие, а было это уже под вечер: ранние сумерки окутали город морозным туманом, и везде зажглись огни, — он первым делом зашёл к дежурной поинтересоваться: приходили ли женщины и оставляли ли вещи? Дежурная ответила, что женщины приходили, с ними разговаривал мужчина, который ждал их тут, и вообще это всё — не её ума дело!

Понятно: её припугнули.

Тогда он стал звонить Зуеву и Светлому: вернулись ли они домой?..

У Зуевых ответил звонкий мальчишеский голос: «Да, папа уже был, они с мамой поехали в больницу!..» Ну, значит, они и в самом деле вышли, — с облегчением подумал Игорь обо всех пленниках подземелья (ещё не зная, что Зуев выбрался из катакомб сам по себе), и камень с его души спал… Но когда для надёжности он позвонил ещё и Светлому, телефонную трубку взяла жена Аркадия, и когда он назвал себя, то услышал такой поток клокочущей брани, что растерялся и ничего не мог разобрать, кроме отдельных фраз: «Как вам не стыдно!.. Какая низость, какой цинизм — обманывать в беде!..» Он попытался остановить этот поток и выяснить, что произошло, но бесполезно; когда же он стал раздражённо кричать в трубку, что ничего не понимает, ему ответили: «Ах, вы не понимаете? Вы всё понимаете! Я с вами больше не желаю разговаривать!..» — сказали ему и повесили трубку.

Он поднимался в свою комнату подавленным, с пакостным настроением — будто его весь день пытались, взявши за шиворот, ткнуть лицом в зловонную жижу — так горько и неприятно всё это было!

Глава девятая

Наконец бесконечная подземная галерея упёрлась в небольшую квадратную камеру с люком наверху. Стали по одному выбираться наружу.

Район был заводской — воздух благоухал дымами с химическими привкусами; однако, как понял вылезший первым из их компании Аркадий, по сравнению с прошлой ночью мороз отпустил.

Озираясь, он пытался узнать место: они толклись на пустыре — или то была какая-то городская

площадь, безлюдная в столь поздний час? По одну сторону от них, столпившихся вокруг люка, из которого продолжали выныривать по одному члены их экспедиции, светились поодаль окна пятиэтажек жилого района, а по другую, уходя в темноту, раскинулась широкая улица с трамвайными путями посередине и высокими заводскими заборами по обе стороны, а за заборами громоздились тёмные корпуса и возносились в небо непрерывно курящиеся кирпичные трубы.

Но почему так безлюдно? Ведь ещё не ночь? Редкий прохожий быстро пройдёт вдоль забора и ускорит шаги, завидев вдалеке на снегу странную неподвижную группу; прогрохочет трамвай, взвизгнув поросёнком на закруглениях рельсов… Видно, люди устали от морозов, торопятся скорей добраться до своих тёплых квартир… Скоро же Новый год!

И вот, наконец, все выползли из люка и неорганизованной толпой двинулись вдоль пустой заводской улицы.

Аркадий продолжал нашёптывать товарищам: как только появится возможность — смываться!.. Однако возможности пока не предоставлялось — всё шли и шли вдоль нескончаемых заборов, прерываемых лишь заводскими проходными, в которых за большими окнами виднелись сидящие охранницы в беретах и чёрных гимнастёрках… Так прошли, наверное, с километр, пока дорогу им не пересёк железнодорожный путь, уходящий в полуоткрытые ворота; туда и свернула бригада.

Сразу за воротами стояла пустая сторожевая будка, Аркадий с Мишей и Варфоломеем, чуть поотстав, юркнули за неё и притихли. Только повизгивал теперь снег под ногами уходивших.

Однако владелец поддельного паспорта, почтительно именуемый остальными «бугром», держал бригаду в поле своего внимания, возможно, предвидя отлынивание; он тотчас обнаружил недокомплект и принял меры: несколько вертевшихся возле него мужичков ринулись искать беглецов, сию же минуту обнаружили их за будкой и с криками: «Убежать решили, с-суки?» — заламывая им руки, поволокли на правёж.

Беглецы, снова оказавшись среди бригады, заныли, что и не думали бежать, а отлучились по нужде, однако толпа продолжала подвергать их остракизму, изливая на них собственное тупое раздражение и одновременно развлекаясь; однако «бугор», сберегая бригаду для работы, прекратил свару.

Двигаясь по путям мимо навесов и штабелей железобетонных изделий, вышли на зады высокого, обшитого досками сарая; под освещённым яркими лампами навесом между путями и сараем уходили под землю глубокие хранилища, перекрытые на уровне пола частой решёткой из толстых стальных стержней, по которым можно было свободно ходить.

Тут появился расторопный заводской распорядитель и, как старому знакомому, пожал бригадиру руку, затем взял троих, отвёл куда-то, и те принесли ворох лопат, ломы, кувалды, брезентовые рукавицы и связку респираторов, которые тут же расхватали; однако их на всех не хватило, и среди тех, кому не хватило, естественно, оказались три наши героя.

Почти сразу же подогнали железнодорожный состав, состоящий из десятка бункерообразных вагонов, и начали разгружать по одному вагону.

О, легендарные инструменты героического двадцатого века, лом и кувалда, коим надобен величественный памятник, с помощью которых, главным образом, и строилась та великая эпоха счастья, потом уже, на излёте её, наречённая эпохой «развитого» шаманизма!.. Так вот, с помощью кувалд и ломов открывали нижние люки вагонов, и цемент, поднимая пыльное облако, мощными струями устремлялся из вагона в подземные хранилища; но вскоре он всё-таки забивал решётки; надо было быстро расшуровывать его лопатами и помогать ему вытекать из вагонов, а затем ещё зачищать вагоны от остатков. На разгрузку вагона уходило минут двадцать. Затем люки закрывали, распорядитель и бригадир громко кричали, чтобы все отошли, локомотив свистел, состав передвигался на один вагон, и всё повторялось. При этом бригадир ещё покрикивал и подгонял всех, чтоб быстрее шевелились, и разгрузка шла споро.

Аркадия по-прежнему жгла мысль о побеге; кстати, юркого Варфоломея уже нигде не было видно: похоже, сбежал во время передвижки состава, и никто его пока не хватился. Теперь была их с Мишей очередь.

И тут случилось ЧП: при очередной подвижке состава в облаке пыли стукнуло рамой вагона одного зазевавшегося бригадника, который почему-то не отошёл, несмотря на предупредительные крики: скорей всего, оглох, напичканный «наркотой». Его ударило, и он рухнул на решётки. Сразу же все обступили лежавшего; крови на нём не было, лишь на виске виднелась вмятина, исказившая его лицо. Подошли бригадир и распорядитель:
— Что произошло?

Кто-то путано объяснил. Бригадир присел на корточки над лежащим, взял его безжизненную руку за запястье, проверяя пульс. Отпустил и изрёк:
— Готов, — и спросил распорядителя: — Что с ним делать будем?
— Не знаю! — заносчиво ответил тот. — Мы как договаривались? Вся техника безопасности — под вашу ответственность! Есть у него документы?
— Да какие документы! — вяло махнул рукой бригадир.
— Я знаю одного тебя, с тобой договор заключаю! — заявил распорядитель бригадиру. — А эти, он кивнул на остальных, меня не касаются, их

у меня нет, так что забирайте его себе—мне он не нужен!
— А мы куда его денем?
— Не знаю! Но чтоб на нашей территории его не было, иначе деньги не отдам! Меня ж милиция потом затаскает! Вы что, мужики? Так—нечестно!
— Ну давайте кто-нибудь,—обратился тогда бригадир к бригаде,—тащите его за ворота… Да подальше!

Но тащить мертвеца, видимо, никому не хотелось… И тут Аркадий, вместе с толпой глазевший на смерть человека, сообразив, ткнул локтем стоявшего рядом Мишу, и тот всё сразу понял: они шагнули вперёд, наклонились и попробовали поднять мёртвое тело. Однако вдвоём его было не унести.
— Давай ещё ты!—скомандовал бригадир, хлопнув по спине ближайшего от себя мужичонку, наверное, даже не разглядев в суматохе, что тащить мертвеца взялись ненадёжные люди.—Двое за руки, один за ноги, и—быстро попёрли!.. Остальные—разгружать дальше; нечего стоять!..

И они втроём потащили мертвеца к воротам.

Нести было далеко, тяжело и несподручно: тело долго не застывало, обвисало и норовило выскользнуть из одёжек. Раз пять останавливались передохнуть и взяться половчее. Но всё же донесли, хоть и выдохлись, вымотались и взопрели.

Миновав ворота, пересекли пустое подобие улицы и положили тело под забором на противоположной стороне. «Как дохлую кошку. Или собаку»,—подумал Аркадий. Однако серьёзных переживаний на сей счёт не было—слишком уж много накопилось их за последнее время. Главное, что они с Мишей свободны. Спасибо тебе хоть за это, мертвец!
— А ты давай, мужик, *канай* обратно,—объявил третьему, что нёс с ними мертвеца, Аркадий, стараясь выражаться в стиле собригадников,—и скажи *пахану*, что мы рвём когти—у нас свой интерес, понял?
— Да вы *чё, в натуре*?—не понял мужик.—Закалымили и линяете?
— Возьми себе нашу долю.
— Х-хэ!—удивился тот их наивности.—Кой дурак отдаст?.. Ну дело ваше… Я тогда посмолю чинарик да подамся помалу—как раз к моему приходу и зашабашат,—примерно так выразился мужик, если отбросить затейливо вплетённые в его речь матерные арабески.

Когда Аркадий с Мишей отошли и оглянулись, их компаньон за неимением другого удобного места сидел прямо на мертвеце и светил в темноте блуждающей звёздочкой папиросы, подперев рукой подбородок, подобно роденовскому «Мыслителю», в раздумье о чём-то вечном.

И тут на обоих напало совсем не подходящее моменту истерическое веселье: они побежали вприпрыжку, хохоча, толкаясь и падая, снова бежали и кричали, бестолково перебивая один другого: «Ур-ра-а, свобода!», «О дайте, дайте мне свободу!..», «О вольность, вольность, дар бесценный, позволь, чтоб раб тебя воспел!»…

Они шли теперь по ярко освещённым жилым кварталам предновогоднего ночного города: искрилась и мигала бесчисленными огнями праздничная иллюминация на зданиях, на ёлках внутри дворов, а высоко на крышах светились лозунги, и ярче всех: «Сибири—высокую культуру!». Возбуждённый Аркадий оглядывался кругом и удивлялся: «Смотри-ка: всё по-старому!»—им казалось, что они не были в городе несколько лет.

Но вот они продрогли в своих рваных, грязных и пропотевших одёжках и перед тем, как разойтись, зашли в какой-то подъезд отогреться.

Уже согрелись, стоя возле пышущей сухим теплом батареи на пустой лестничной площадке между первым и вторым этажами, предвкушая вслух, как сейчас придут домой, да залезут в ванны, да переоденутся, да сядут за стол!..—когда внизу всхлипнула входная дверь на пружине, и по лестнице дружно протопали мимо, подозрительно косясь на них, мужчина и женщина, оба плотные и богато одетые: она—в пальто с пышным воротником из чернобурки и в такой же шапке, он—в пыжиковой шапке и роскошной распахнутой дублёнке; оба одышливые и удивительно похожие между собой: оплывшие лица, горящие багровым жаром от мороза щеки, одинаково толстые губы и носы, и маленькие, без выражения, глазки… Они уже прошли мимо, опахнув Аркадия с Мишей удушающе-приторными запахами женских духов, мужского одеколона и алкоголя. Однако мужчина, заинтересовавшись ими, остановился и зычно спросил:
— Чего вам тут надо?
— Погреться зашли,—миролюбиво ответил Миша.
— А ну давайте отсюда!—гаркнул тот: Мишино миролюбие придало ему уверенности.
— Не связывайся, Костик, с ними,—ласково пророкотала женщина.
— А чего их бояться, шаромыг этих—гнать их надо, а то совсем на шею сядут!—с задором ответил ей мужчина.—Давайте отсюда!—и он сделал угрожающий шаг им навстречу; однако женщина благоразумно вцепилась в его рукав и дальше не пустила, да он и сам дальше идти не решился.

Миша видел, как застыли на Аркашином грязном лице глаза и заиграли желваки на скулах: он не в силах был оценить юмора их положения—сдали нервы; не хватало ещё сцепиться с этим бугаем уже после благополучного спасения… И Миша, взяв его под руку, шепнул: «Пошли, пошли отсюда!»

Однако Аркадий упёрся и сказал *сытому* с угрозой:

— Ну, иди сюда, дерьмо вонючее, я *тя щас* умою! — и сунул руку в карман, будто хочет вынуть оттуда нечто устрашающее.

Странная то была сцена и смешная, как в комедии положений, где персонажи перепутались местами: первый поэт области в роли оборванного люмпена, гонимого с тёплой лестницы на мороз, и настоящий люмпен, только явно начальствующий и раскормленный, с негодованием играющий перед люмпенами роль хозяина и гонителя люмпенов… Но когда Аркадий произнёс свою угрозу, тот сразу превратился в самого себя: под визгливый вопль жены на всю лестницу «Помогите!», дёрнувшей его за рукав, оба побежали наверх… В это время во всех дверях защёлкали замки, а Миша, единственный зритель этой комедии, поскорее увлёк Аркадия вниз. Но у входной двери они остановились и подождали: что будет дальше.

Однако ни одна дверь так и не открылась, из чего оба заключили, что женский вопль вдохновил жителей всего лишь крепче запереть двери… А вверху ещё слышалось топанье… Миша выговорил Аркадию:

— Чего ты с ним связался — нам ещё до дома добраться надо!

Аркадий же, не обращая внимания на Мишу и азартно вслушиваясь в топот наверху, ещё и крикнул туда, сложив ладони рупором:

— Эй, толстопузые, ждите! Мы ещё придём ночью ваши меха брать! — затем, расхохотавшись и хлопнув дверью, они вышли и двинулись дальше.

— Ну, ты и рисковый мужик! — удивился Миша.

— А ты знаешь, — отозвался тот, — мой костюм придаёт мне дерзости. Вот приду домой, натяну старую маску — и снова стану всех бояться…

Жена Аркадия, женщина хоть и нервная, и склонная к экзальтации, но в то же время и стойкая в опасных ситуациях, встретила его мужественно: не испугавшись ни вида его, ни того, что лицо его покрыто сплошной чёрно-серой коркой и обмотано окровавленной, присохшей к волосам тряпкой, благоговейно поцеловала его, как целуют икону (да-да, в те годы ещё существовали женщины, умевшие самоотверженно любить мужей, и она относилась именно к ним!); затем сама раздела его, приготовила горячую ванну, сама отмыла его, отмочила и сняла окровавленную повязку с головы, остригла вокруг раны волосы, осмотрела, обработала её и взяла с него слово, что он завтра же с утра отправится показаться врачам. И пока она всё это делала, Аркадий рассказывал, рассказывал, рассказывал ей с ироническими замечаниями и смешными деталями об их подземной одиссее. Хотя в том, что он рассказывал, смешного было мало — просто ему не хотелось ни расстраивать, ни пугать жену, поэтому он всё же находил смешные детали и даже придумывал их, и уже сам верил в них и смеялся над ними.

Затем она стала рассказывать, как сегодня утром позвонил какой-то человек, назвал свой адрес и сказал, что должен передать её мужу одежду…

— Так это же Игорь! — воскликнул Аркадий.

— Но ситуация-то абсурдная! — продолжала она возмущённо. — Я, как дура, собрала всё, что смогла из твоей одежды, кинулась по тому адресу, приезжаю, а Игоря нет — встречает совсем другой человек, который ничего толком не может объяснить, а дежурная потом подошла и говорит шёпотом, что Игоря арестовали. И что я могла подумать обо всём этом?

— Почему арестовали? За что?

— Ну уж не знаю, за что! Сказала, арестовали, а этот мужчина на неё же и накричал: не суйтесь, кричит, не в своё дело, и что Игорь, будто бы, совсем даже не арестован.

— Странно, — сказал Аркадий, задумавшись.

— Но самое странное — не это, — продолжала она, усаживая мужа за стол, чтобы накормить. — Под вечер — я уже из школы вернулась — опять звонит Игорь, и я не выдержала: взвинтилась и кричала в трубку Бог знает что, и мне теперь так стыдно!.. Ну в самом деле: ведь мы тут похоронили вас, оплакали!.. Нет, это театр абсурда, бессмыслица, больной сон: всё не сходится, ускользает, проваливается… От этого абсурда хочется, знаешь, хватить стакан водки, забыться и не просыпаться… Теперь я понимаю, почему у нас много пьющих женщин!

— Да, да, — рассеянно слушая её, кивал Аркадий; ему не давала покоя оброненная ею фраза об аресте Игоря: что бы это значило?..

По сложившейся многолетней привычке, слепливая выводы из мельчайших осколков информации и не решаясь высказать эти выводы даже жене, он думал и думал, и смутные подозрения его всё усиливались: нет, не случайно всё: и обрушение, и подвал… И снова, как бывало раньше, он ощутил: его — да, впрочем, наверное, и всех, кто был *там* — обкладывают; как охотники обкладывают красными флажками лис и волков… И, может, уже занесли руку и над ним тоже — вычислили и скоро постучат в дверь?.. Он бросил ужинать, пошёл к телефону и позвонил Зуеву. Подняла трубку жена Зуева.

— Как дела у Фёдора Матвеевича? — спросил он.

Жена Аркадия подошла и стала делать ему рукой знаки, показывая то на рот, то на телефон, напоминая: тебя могут подслушать!

— Неважно дела у Фёдора Матвеевича, — ответила между тем жена Зуева. — Его оставили в травматологическом отделении: кости на руке срастаются неправильно — надо ломать и снова сращивать!

— Срастутся, — подбодрил её Аркадий. — Вон он какой молодец!

— Да она у него ещё и воспалена — как бы не отняли.

— Будем надеяться на лучшее… В конце концов, главное для писателя — не руки, а голова, — постарался он её утешить.

Потом позвонил Кулебякину. Жена Кулебякина ответила, что Антон Сидорович уехал работать на дачу.

— Как ему там работается? Не икается? Не мучает ничего?

— Кто это говорит? — спросила женщина, заподозрив в вопросе подвох.

— Душа Аркадия Светлого с того света. Прилетела, чтобы шепнуть Антону Сидоровичу пару тёплых слов.

— А-а, это вы, — разочарованно отозвались там, узнав голос Аркадия. — Но ему же всё равно некуда ходить на работу — особняка-то нет!..

Затем позвонил Финк-Червякову. Ему ответили, что Семён Яковлевич нездоров и к телефону подойти не может.

— Что с ним?

— Температура.

— Тридцать шесть и шесть? Это действительно опасно — он умрёт от равнодушия к ближним, — и Аркадий положил трубку; больше никуда звонить не хотелось.

Утром он долго отсыпался после многих суток мучений и недосыпов. Жена ушла на работу, а он всё нежился и дремал, зарывшись головой в подушки. Поднявшись, долго брился, умывался и пил чай, решая: что делать, и с чего начать?.. Ещё будучи в подземельях, они, все вместе: Зуев, Имангильдин, Худяков и он — дали друг другу слово: если хоть один из них останется жив и выйдет оттуда, провести расследование причин катастрофы и найти виновников, чего бы это ни стоило… Эти размышления Аркадия: с чего начать? — и прервал звонок в дверь. Он пошёл в прихожую и спросил:

— Кто там?

— Милиция. Откройте, — ответили ему.

У Аркадия ёкнуло сердце. Долгих-предолгих полминуты стоял он перед дверью в размышлении: что делать? — пока снова не позвонили. Понял: разводить канитель бессмысленно, — и открыл. За порогом стояли лейтенант и сержант в милицейских серых пальто с погонами, а позади них топтались с виноватым видом старичок-пенсионер, живший напротив, и женщина с первого этажа, староста подъезда, взятые, видимо, в понятые. Сквозь виноватый вид на их лицах проступало любопытство: для них Аркадий был не просто соседом, а ещё и гордостью их подъезда.

— Позвольте войти, — сухо сказал лейтенант и бесцеремонно перешагнул порог; спутники его остались пока за распахнутой дверью. — Вот ордер на обыск, — показал лейтенант бумажный листочек с синей печатью на нём.

Аркадий взял его и повертел в руках, но от волнения буквы на нём прыгали в глазах; он вернул его и спросил: что это значит? по какому поводу?

— А то и значит, что обыск, — с чисто милицейской логикой ответил лейтенант и жестом хозяина положения пригласил в квартиру остальных.

Те вошли и сгрудились в прихожей. Лейтенант, не теряя времени, первым делом внимательно осмотрел прихожую и остановил взгляд на грязных, растоптанных, густо покрытых цементной пылью ботинках, в которых Аркадий пришёл ночью и не успел выбросить в мусоропровод. Лицо лейтенанта, увидевшего их, выразило крайнюю степень удовлетворения. Похоже, на этом его служебное рвение было исчерпано — он устремился к ботинкам, как к драгоценной находке, взял в руки и спросил Аркадия:

— Ваши?

— Вы полагаете, что я их украл в музее? — усмехнулся Аркадий.

— Отвечайте на поставленный вопрос: ваши?

— Ну мои, — с лёгким раздражением ответил Аркадий, совершенно не понимая болезненного интереса милиционера к этой рвани.

Лейтенант удовлетворённо хмыкнул и испросил разрешения пройти и сесть за стол, чтобы написать протокол. Разрешение было получено, и всей гурьбой перешли в гостиную.

Лейтенант с подобающей случаю важностью уселся за полированный стол посреди комнаты и стал сочинять протокол; Аркадий, чтобы не мешать столь серьёзному акту творчества, тихонько сел на диван; остальные толпились у двери — приглашать их дальше у Аркадия охоты не было.

Наконец был сочинён протокол о том, что сего числа в присутствии понятых имярек у гражданина Аркадия Светлого найдены и изъяты данные ботинки — следовало длинное и скучное описание их примет; засим все четверо гостей расписались в протоколе. Аркадий, не желая участвовать в этой глупости, расписываться отказался, о чём лейтенант сделал запись в протоколе. На этом формальность была исчерпана, понятые отпущены, рядовому милиционеру велено было забрать Аркадиевы ботинки, завернув их в бумагу, а самому Аркадию лейтенант вежливо предложил проехать с ними в отделение милиции, где ему всё будет разъяснено… Аркадию всё ещё не верилось в серьёзность происходящего — это походило на замысловатую, но глупую игру.

— Сухари брать? — иронически спросил он.

— Я думаю, пока не надо, — ответил лейтенант, нажимая на слово «пока».

— А записку жене написать можно?

— Пишите, — разрешил тот.

Аркадий взял лист бумаги и размашисто начертал на нём: «Дорогая, *они* всё-таки за мной пришли. Я у *них* в руках, но за меня не беспокойся,

думаю, ничего серьёзного против меня нет, и скрутить себя в бараний рог я *им* не позволю. Но на всякий случай, моя умница, будь мужественна и готова к новым испытаниям. Целую и обнимаю тебя. Твой Аркан».

И только когда этот лейтенант в отделении милиции начал допрос, до Аркадия, наконец дошло, зачем им понадобились его задрипанные старые ботинки: разговор шёл не более и не менее чем о трупе, обнаруженном в заводском районе, и о причастности Аркадия Светлого к убийству; доказательство сему — следы возле трупа, оставленные этими самыми ботинками! Вот, оказывается, какое стряпалось дельце!

От такого поворота Аркадий опешил. Но самым непостижимым в этом было — насколько молниеносно они на него вышли. Мистика!..

Действительно, можно было поверить в сверхпроницательность и всеведение милиции, если б этот лейтенант всем своим видом не доказывал обратного. Аркадия просто мучила эта жгучая тайна, и он спросил лейтенанта:

— Объясните, лейтенант: как вы смогли на меня выйти? И я честно расскажу, как всё было.

— Да? — на секунду вспыхнул у того в глазах живой интерес. Но вспыхнул и тут же потух, задавленный; лицо милиционера снова приняло постное выражение; он лишь напыщенно изрёк их старый, как Аркадиевы ботинки, и уныло шаблонный ответ: — Купить меня хотите? Не продаюсь! И запомните: здесь не нам задают вопросы, а мы задаём! А честно рассказать вы и так должны!

Да Аркадий и не думал ничего таить — стал рассказывать всё по порядку, начиная с обрушения особняка. Когда же дошёл в своём рассказе до места, где и как того несчастного мужичонку ударило рамой вагона, лейтенант стал спрашивать: видел ли он своими глазами, как его ударило?

— Нет, — честно признался Аркадий.

А когда он рассказал, как бригадир склонился над упавшим, проверил пульс и произнёс: «Готов», — лейтенант спросил:

— Что за бригадир? Фамилия? Имя?

— Не знаю — его все звали «бугром».

— Так что ж вы ссылаетесь на мифического «бугра», если ваши сведения нельзя проверить? Вы сами проверяли пульс пострадавшего?

— Когда мы его несли, он уже остывал.

— Кто это подтвердит? С кем несли? Можете назвать фамилии, имена?

— Не могу, я не знаю их, — Мишу Новосельцева он называть не стал.

— И что же, вы донесли до улицы — и бросили под забор? — с крайней степенью иронии спросил лейтенант.

— Не бросили, а положили, — ответил Аркадий. Его теперь разбирал стыд, когда он вспомнил, как они с Мишей прыгали и кричали в экстазе о свободе... Он краснел и вытирал платком потеющий лоб. А лейтенант продолжал допрос, желая на чём-нибудь его поймать и запутать:

— Что же это вы — ничего не видели, ничего не знаете. Бросили — и не сообщили ни в скорую помощь, ни в милицию?

— А как вы думаете, — возражал Аркадий, смелея от собственной дерзости, — почему нас, семь человек, засыпанных в подвале, бросили, и никому до этого дела не было: ни власти, ни милиции, ни скорой помощи? Почему никому нет дела до сотен, а может, тысяч живых людей в подземельях? Почему вы игнорируете это, а сидите и высасываете из пальца дело на меня?

— Не уводите разговор в сторону!

— Я не отвечу на ваши вопросы, пока вы не ответите на мои.

Лейтенант предупредил его об ответственности за отказ от дачи показаний, потом задал ещё несколько вопросов; Аркадий молчал. Лейтенант, уставший, видимо, не менее Аркадия — допрос длился три часа без перерыва — задумчиво побарабанил пальцами по столу, затем собрал листы протокола, встал и вышел из комнаты, оставив Аркадия одного, и его долго не было.

Но вот, наконец, он появился и дал Аркадию подписать протокол. Аркадий внимательно прочёл его, но подписать отказался: многие его ответы были записаны неточно; после долгих препирательств лейтенант всё же согласился исправить ответы, и только тогда Аркадий их подписал.

— Так вы меня не выпустите? — спросил он.

— Ну почему же, — сложив подписанные листы в папку и заперев папку в железный шкаф, лейтенант позволил себе расслабиться — начал нечто вроде светского разговора: — Вы человек в городе известный, в столице печатаетесь, так что мне было даже приятно с вами побеседовать. Мы и не думали вас долго задерживать, пока что это в наши планы не входит. А там видно будет. Правда, нам нужна ещё одна формальность: вы нам дадите подписку о невыезде. Извините, но так уж полагается. И на этом *пока* закончим.

Интересно, что в течение всего диалога этот простодушный молодой человек усердно нажимал на слова «мы», «нам», «у нас», так что невольно получалось, будто он причисляет себя к некоему замкнутому сообществу, обращаясь при этом к Аркадию Светлому на «вы» как к представителю другого, чуждого ему сообщества.

— А если я не дам подписки? — спросил Светлый.

— Тогда — в целях удобства следствия — придётся, извините, вас задержать. Вы так и напрашиваетесь...

И Аркадий не стал больше дразнить терпение лейтенанта, написал расписку и, действительно, был отпущен.

Он шёл по улице и думал: как странно всё… Ведь подозреваемых в убийствах так легко не отпускают. Что бы всё это значило? *Они* явно чего-то от него хотят. Но чего? Запугивают? В кошки-мышки играют?.. И всё же: как они на него вышли?—эта загадка занимала Аркадия более всего.

Он решил, не заезжая домой, тотчас поехать к Мише Новосельцеву (однажды он был у него дома и помнил, где тот живёт) и предупредить, что его, возможно, тоже потащат—а также посоветоваться, как быть дальше, и похвастаться своим мужеством: не назвал его на допросе!

Но каково было его удивление, когда он застал лишь расстроенную Мишину жену, которая сказала, что его только что забрали! В другое отделение, в другом районе… Это что, облава? Их, как загнанных зверей, отлавливают по одному?.. Ему стало вдруг на самом деле, без всяких натяжек, страшно: не-ет, *они* не в кошки-мышки играют…

И тогда он кинулся предупредить Варфоломея.

Аркадий считал, что понимает Варфоломея, поскольку знает его лучше других в городе, и я, пожалуй, соглашусь с ним в оценке Варфоломея: да, несмотря на своё природное, почти первобытное простодушие, в котором Варфоломей пребывал и за которым прятался, на самом деле он обладал изрядной хитростью маленького человека, помогавшей ему сохраниться в прекраснейшем из жестоких миров, или—жесточайшем из прекраснейших, где никто никого не любит и любить не хочет и где все, за исключением редких счастливчиков или очень уж добрых людей, просто барахтаются в море одиночества и притворства, делая героические усилия выплыть, имитируя дружбу, товарищество, любовь (не есть ли, между прочим, вся жизнь человеческая этим сплошным героическим усилием в придачу к имитации?).

Хитрость Варфоломея была, собственно, не бытовой изворотливостью или инстинктом самосохранения, которые помогают человеку выжить везде, куда закинут обстоятельства, а скорее умением сохранить своё «я» от шаблонов мышления, присущих грамотному горожанину: не то что бы он смотрел на жизнь горожан свысока или, наоборот, с завистью парии—он просто жил в параллельном городскому бытию мире, давая всему реальные оценки, не обольщаясь ни на чей счёт и не веря никаким нынешним городским мифам.

Если же кому-то захочется умилиться: вот что значит человек из тундры!—то не стоит умиляться: обычно человек из тундры или из тайги, мы в этом многократно убеждались, легко подхватывает суеверия, пороки и предрассудки «цивилизации», и чем «проще» человек, тем быстрее подхватывает.

Просто в тщедушном теле Варфоломея жила душа поэта. Настоящего поэта с мощной интуицией. Хотя ни великим, ни даже большим поэтом он не стал—не успел. Он был просто настоящим, и искренне исполнял (может, даже не задумываясь над этим) завет: «Ты царь: живи один»,—и был таким: одиноким, как перст, царём. Пока трезвый, разумеется.

Аркадий нашёл его с температурой и кашлем. Оказывается, вчера Варфоломей, пока висело густое облако пыли, умудрился быстро вскарабкаться по лесенке на крышу вагона и пробыл там с полчаса незамеченным, пока вагон не продвинули, и, конечно же, промёрз.

— Давай-ка я врача вызову!—предложил Аркадий.

— Нет-нет-нет!—запротестовал Варфоломей.— Есть аспирин, чай есть—вылечусь. Думал, таёжная закалка выручит, да вот… Надо опять в тайгу.

Аркадий рассказал ему, как вчера убило человека и как они с Мишей тащили труп, а также про сегодняшний обыск и допрос, про подписку о невыезде, про то, что уже взяли Мишу… И тогда Варфоломей, лёжа на своей несвежей лежанке и размахивая рукой, болтающейся в обвисшем рукаве старого свитера, посоветовал Аркадию:

— А ты уезжай.

— Как «уезжай»? Я подписку дал,—возразил Аркадий.

— Пусть они подотрутся твоей подпиской.

— Нет, Варфоломей, так у цивилизованных людей не делается.

— Это у цивилизованных. Раскрутят дело, воткнут лет семь, и сдохнешь там—ты неприспособленный. Это же немыслимо: каждый день забор и тусклые рожи. Ты что, не насмотрелся?

— Ну, сбегу, так найдут: у них эта служба хорошо поставлена… Как жить, как работать, как печататься?

— Хэ, нашёл себе печаль… Зато—свобода!

— Да какая это свобода—жить под страхом?

— Почему под страхом? У меня знакомые пастухи есть, возьмут в кочёвку. Года два можно жить, никого не видя: только небо, тайга, вода. Давай, поедем вместе—я тебя устрою.

— Нет,—рассмеялся Аркадий.—Куда же мне в тайгу? Я комаров боюсь…

Долго они беседовали. Варфоломей жаловался, что лёгкие его в тех подземельях пропитались сыростью, что он устал от города и как только подлечится—поедет на родину: поесть сырой оленьей печени и варёного с травами мяса, почувствовать в руках упругое биение живой рыбины… А Аркадий советовал ему, пока он здесь, затаиться, ни единой душе не открывать и не откликаться.

Вернувшись домой, Аркадий целые сутки потом размышлял над советом Варфоломея сбежать, взвесил все «за» и «против», и—решился: следующим же вечером они с женой вышли из дома; он нёс чемодан, она—портативную машинку и сумку с провизией; поймали в безлюдном переулке

такси и уехали на железнодорожный вокзал; там он купил себе билет до Москвы на проходящий поезд. До прихода поезда сдали в камеру хранения вещи, нашли в людном зале ожидания уединённое местечко в уголке, сели и негромко проговорили, не в силах наговориться перед разлукой.

А милиционеры в ту ночь, будто нарочно, всё фланировали по вокзалу—выискивали кого-то, что ли?—и, как казалось Аркадию, внимательно на него поглядывали. Он делился опасениями с женой, а она глядела на него с жалостью и гладила ему руку: «Успокойся, Аркашенька, никто на тебя не смотрит; твои нервы ужасно расстроены—тебе действительно надо уехать».

Глухой ночью он дождался, наконец, своего поезда, простился с женой, вошёл в вагон, взял постель, влез на вторую полку и только тогда спокойно вздохнул и заснул затем под размеренный стук колёс, уносящих его из города, как потом оказалось, навсегда.

Эпилог

Вот и всё, что я хотел рассказать, чтобы положить конец давнему слуху, имевшему хождение в городе и приобретшему со временем характер прямо-таки мистического бреда. Извольте видеть теперь, уважаемые земляки, как проста его подоплёка, и хотя факт, как говорится, имел место—ничего сверхъестественного в нём, как видите, нет. И если даже те подземные галереи до сих пор обитаемы опустившимся бездомным людом, разве можно услышать их хриплые голоса сквозь толщу земли? Да нет же, конечно! Однако до какой неузнаваемости можно исказить и истолковать любой слух!

Правда, возникает сомнение: а нужно ли бороться с мифами и легендами, разрушать их и делать их реальную основу достоянием гласности? Не лишает ли сей маневр историю, далёкую и близкую, аромата тайны? Т. е., образно говоря, вместо окутанных легендами старинных замков с полуобвалившимися сводами, привидениями и плачем сов по ночам мы получаем груду реальных кирпичей, которые куда-то ещё можно употребить… Что лучше?

Но я данного сомнения не приемлю и продолжаю настаивать: надо рассказывать всю правду, ибо она касается того далёкого времени, когда грубые, с сомнительными достоинствами люди вершили судьбами простодушных обитателей нашей области, сея произвол и бестолковщину—эта правда рикошетом достаёт и нас, словно перенесённая в детстве тяжкая болезнь: следы её тянутся потом через всю жизнь, и когда-то она всё равно аукнется, а уж вы сами выбирайте, что вам по душе: грубая правда или флёр легенды? И останутся ли благодарны мне земляки за мой труд, или им приятней жить в неведении—но дело сделано: личины сорваны, все названы своими именами, а аляповато раскрашенная легенда обернулась фарсом. Дело сделано!

Единственное, чего бы ещё хотелось, не слишком злоупотребляя вашим вниманием,—рассказать о дальнейших судьбах наших персонажей; не годится бросать их посреди дороги. Те, кому это неинтересно, чтение моего исследования могут на этом закончить, а остальных приглашаю последовать за мной дальше; при этом постараюсь сделать мой отчёт как можно короче.

Итак, в первую очередь я поведаю, что стало с теми, кто оказался в том морозном декабре запертым в смертельной ловушке под развалинами злополучного особняка и всё-таки вышел оттуда.

Начну по порядку. Аркадий Светлый, взяв, как мы знаем, билет до Москвы, на самом деле из конспиративных соображений сошёл раньше, пересел на другой поезд и уехал к своему брату, работавшему главврачом районной больницы в маленьком заштатном городке, чтобы некоторое время побыть под врачебным контролем, отдохнуть от передряг и поработать в тишине глубокой провинции. Однако по приезде у него начались сильные головные боли—сказалось сотрясение мозга, которое он получил вместе с травмой головы. Брат положил его в больницу; лечение длилось долго; причём сотрясение могло стать роковым, ибо было вторичным; выручил, как видите, *блат*, сей пышный цветок нашей заражённой всеми миазмами жизни—что бы Аркадию оставалось в его положении (прошу прощения за невольный каламбур): без брата и без *блата*? Прозябание до конца дней своих в Доме Печали?

Бросив здесь, в нашем городе, квартиру и работу, жена его примчалась туда и терпеливо его выходила… На сбережения от былых гонораров купили они в том городке маленький домик на имя жены—сам он продолжал жить там фактически нелегально: *прописка* в паспорте его оставалась нашей, а ехать сюда выписываться он боялся. Он всего теперь боялся; страх стал его манией и закрепился навсегда.

Стихи сочинять он перестал совершенно. Зато начал писать исторические романы. Темы для них он избирал как можно дальше от нынешней жизни, раздражался, когда в них выискивали какие-то аналогии с современностью, и проповедовал свою собственную концепцию исторического романа: врут исторические писатели, что ищут в истории ответов на сегодняшние вопросы; для романиста исторический роман—будто бы, всего лишь средство спрятаться от сегодняшнего дня, зарыв голову в песок истории…

Ему помогала писать жена, историк-педагог по профессии, так что практически они теперь работали в четыре руки, и работа подвигалась споро. В целях конспирации он взял себе новый

псевдоним. Таким образом, с поэтом Светлым было покончено навсегда.

Много лет спустя, когда стали публиковаться его романы и появились снова деньги, он решился навестить наш город (и то лишь наведя через знакомых справки, что «дело» его замято), «выписался», наконец, отсюда, «прописался» в том городке и после многих лет почувствовал себя почти счастливым человеком — в сравнении с положением человека без прописки, когда приходится с опаской красться в собственный дом, чтобы не засекли бдительные, любящие «правду» соседи.

Я с ним встречался и беседовал, выведывая подробности *события*.

Казалось бы, писателю всё должно быть интересно; но не ходячий ли это штамп? Из бесед с ним я понял, что воспоминания не только о том событии, но и просто о нашем городе для него слишком болезненны: у него начинали дрожать руки и голос; он просил у меня сигарету, хотя бросил курить, и, давясь дымом, задавал вопрос, казавшийся мне риторическим:

— Это всё было с нами — или мне приснился однажды кошмарный сон?..

Кстати, изучая то время, я сталкивался со странным невротическим синдромом: неприязнь к Большому Чуму, Великому Курултаю, к Шаманам и Хозяевам обиженные люди переносили на земляков, на весь свой народ…

Я понял, что сам Аркадий воспоминаний об этом никогда не напишет: слишком глубокий шрам прошёлся по его душе. Тем большую ответственность за своё исследование я почувствовал.

А ведь он оказался удачливей всех, кто испил с ним чашу бедствий в тех подземельях… Почему судьба оказалась к ним так безжалостна? Или это слепой рок висел над ними — тот самый, воспетый ещё в трагедиях антиков? — или кто-то невидимый, но властный и жестокий вёл их и подталкивал? Готовых ответов нет, а гадать на кофейной гуще в нашем исследовании не пристало — на исходе его меня по-прежнему интересуют только факты.

Я не стану повторяться относительно кончины Карманова, который, кстати, так и остался лежать в том подземном ходе, потому что никто с тех пор так и не удосужился пробраться туда, найти его прах, перенести на кладбище и воздать должное памяти о нём, как велит обычай: близких родственников у него не оказалось, а остальные, избавляя себя от хлопот, сделали вид, что человек всего лишь куда-то делся — уехал, что ли? — и когда вернётся, не сказал, а уж потом, мол, всё как-нибудь само собой решится. Но само собой, как известно, ничего не решается.

Но ведь умер немного позднее и Зуев! Повреждённые кости ему тогда ломать и снова сращивать не стали, т. к. инфекционное воспаление руки не только не проходило, но и прогрессировало; врачи приняли решение отнять руку — Зуев скрепя сердце согласился; отняли, но, оказалось, опоздали: воспаление пошло дальше; остановить инфекции не смогли, и Фёдор Матвеевич скончался, претерпев массу мучений.

В областной газете вместе с его портретом в траурной рамке есть сообщение о его кончине, подписанное Кулебякиным, Финк-Червяковым и ответственными работниками Большого Чума; в нём сообщается: «После тяжёлой продолжительной болезни скончался талантливый писатель-публицист, много сделавший для прославления нашей области, её прекрасной земли и её славных тружеников… Все, кто был знаком с ним и его творчеством, глубоко скорбят о безвременной кончине нашего известного земляка… Память о нём будет вечно жить в наших сердцах». Всё это звучит чудовищной издёвкой по отношению к нему, если вспомнить не только его участие в подземной трагедии, но и всю историю многолетнего остракизма, которому его подверг не кто иной, как все подписавшие некролог.

К тому, что сказано мною о гибели Имангильдина в начале исследования, добавить, в сущности, нечего, т. к. более точных сведений у меня нет. В печати на этот счёт тоже ничего не появлялось. Остались лишь обрывки былой молвы о нём среди земляков в Урупском районе: вернувшись на родину, он хотел работать в районной газете, причём часть тиража издавать на родном языке с помощью разработанного им алфавита. Большой трудности для набора это не представляло: за основу он взял русский алфавит. Но ему не дали — чего-то боялись: урупская газета до сих пор выходит лишь на русском.

Ни национальным, ни русским начальникам он там не был нужен: большую часть времени они занимались своими личными делами и за неимением иных образцов для подражания во всём подражали Большому Чуму, правда, с местными особенностями. А поскольку населения в том районе кот наплакал — все эти особенности были на виду, и местные жители их терпеливо сносили. А что делать? До Бога, как говорится, высоко, а жить надо.

После неудачи с газетой на урупском языке Варфоломей пробовал «уйти в народ» — заняться профессиями своих предков: охотиться, рыбачить, пасти оленей, однако заниматься этим нужны величайшая сноровка, постоянный тренаж и навык с детства, чего он долгие годы был лишён; соплеменники пели его песни, печальные и весёлые, но недоумевали: зачем поэту пасти оленей, когда он может жить в тёплой квартире, еду покупать в магазине и каждый день носить костюм с галстуком? Значит, он плохой поэт? Они посмеивались над ним и его неумением что-либо делать; такова

грустная проза жизни талантливого человека: присутствие снижает пиетет иногда не только до нуля, но и ниже—он сам себе начинает мешать жить.

И потому, наверное, он умер. Умер безвестным, и неизвестно, где, когда и как. Говорят, замёрз пьяный (так чаще всего и кончали жизнь мужчины его племени), и кто-нибудь из местных малограмотных и немногословных приятелей похоронил его, не догадываясь, что хоронит первого урупского поэта, о котором написано в оксфордских академических справочниках. А соплеменники Варфоломея продолжают пасти оленей и охотиться, пока Хозяева не уничтожили до конца их леса и пастбища и пока ещё не всех их малолетних детей переловили и засадили в интернатах за парты, чтобы отучить быть урупами и непременно сделать русскими по языку и обычаям, только—с раскосыми глазами, отчего получались не урупы и не русские, а дегенеративного вида безнациональные гибриды, грузчики в магазинах, шаромыги и пьяницы, трущиеся возле водки, против чего так страстно пытался бороться Варфоломей изо всех своих слабых сил…

И над его безымянной могилой никакого знака: ни обелиска со звездой, ни креста (ведь он носил христианское имя—«Варфоломей»), ни вырезанной из дерева утки, гагары или гуся, грубые изваяния которых оставляли раньше, согласно ритуалу, над могилой урупа сородичи, представляя себе, как после смерти душа человека переселяется в утку, гагару или гуся, взмывает в поднебесье и улетает в далёкий край, откуда нет возврата… Но я не сомневаюсь, что над его могилой вёснами нежно зеленеет трава и цветут торопливые и яркие северные цветы, летом в горячем сухом мареве бесконечного северного дня тонко звенит от гнуса воздух, осенью светится солнечной желтизной осенняя хвоя узловатых черноствольных лиственниц, а зимой посреди морозного тумана горят в чёрном небе клубящиеся звёзды и, словно космические миражи, полыхают северные сияния…

И последний из поэтов, кто там был,—Георгий Худяков, хотя он, как мы уже рассказывали, не вышел вместе с товарищами, а остался в подземельях на неопределённое время.

Ему, пятому ребёнку в нищей семье с пьяницей-отцом и забитой матерью, привыкшему в детстве спать на полу, зарывшись в лохмотья посреди общей свалки братишек и сестрёнок, ему, носившему горькое проклятие битого, униженного детства—ему ли было бояться людей, которых они обнаружили в тех тёмных норах? И он, словно апостол, шедший к прокажённым, понёс этим подземным существам собственное немудрящее, но живое слово, и они, одичавшие до звериной немоты, оценили его щедрый жест и оказывали ему всяческие знаки уважения, которых, быть может, ему так не хватало здесь, на нашей чёрствой земле.

Как ходил потом о нём глухой слух (впрочем, о них обо всех, вернувшихся *оттуда*, ходили одни только глухие слухи, и, поди, разберись, где в них истина, а где домысел?), что он там приобщился к наркотикам; впрочем, кое-какие приметы его дальнейшего поведения отнюдь не опровергают слуха: видимо, подземная передряга с блужданиями по краю гибели настолько сдвинула его психику, что он уже не в силах был выкарабкаться из этого состояния собственными душевными силами.

Точно неизвестно, сколько он в тех катакомбах ещё пробыл—может, до конца зимы, а, может, и меньше; его сожительница Анжела, узнав, что писатели выбрались, а он задержался, пробовала вызволить его через каких-то сомнительного вида посыльных, используя письма, уговоры и посылки с одеждой, не решаясь, правда, как Орфей за Эвридикой, спуститься за ним в это царство Аида—не хватило духу.

Когда же он, наскучавшись по белому листу бумаги и по чистой постели, соизволил вспомнить о жене и заявился, то обнаружил, что его место занято: она уже успела вытащить из грязи и отмыть нового сожителя! Разобиженный Гоша, будто бы, хлопнул дверью и ушёл с гордо поднятой головой, и она, тоже обиженная—столько отдано сил, чтобы привести его в человеческий вид, и всё напрасно!—не вытурила нового сожителя и не бросилась за Гошей.

По другой версии, он явился к ней после долгого отсутствия только затем, чтобы переодеться и выклянчить деньжат, что тоже вероятно.

В общем, Георгий Худяков ушёл и снова загулял, как всегда, в гульбе не зная удержу: ночуя у друзей, у случайных собутыльников и собутыльниц, а то и, когда настало лето, и на скамейках парка, и в лопухах под забором.

Так прошло лето. А холодной туманной осенью тело его обнаружили однажды в парке висящим на суку столетней берёзы, что растут там на высоком откосе, с которого видно почти весь город, раскинувшийся в излучине, прикрытый вуалью дыма, и реку в обе стороны, и далёкие заречные дали, а берёзы эти сыпали в тот день, как всегда в эту пору, вниз с крутого откоса сумасшедший золотой дождь листьев.

Известно, что поэты имеют две похожие особенности души: во-первых, рядиться в живописные костюмы (если даже это костюм нищего) и по-ребячьи разыгрывать роль, неважно какую: серьёзную ли, загадочную или потешную; часто, впрочем, они разыгрывают её довольно аляповато и безвкусно; во-вторых же, они, подобно животным, предчувствуют приближение катастроф и собственной смерти… Вариации на эту тему повторялись и в Гошиных неопубликованных стихах

(в те времена стихи с размышлениями о смерти считались Великим Курултаем «упадническими» и в печать не допускались). А что касается ролей, то Худяков, несмотря на своё ярко выраженное плебейство, частенько, как отмечают современники, чувствовал себя полным собственной значимости богочеловеком, пришедшим на землю, чтобы нести свет в пучины людской юдоли… Но слишком человеческое, сиюминутное победило в нём богоносное; гордыня надломилась, и он сдался жизни по всем статьям; вот и закачался на берёзе…

О чём ему думалось в тот миг, спресованный до такой гущины, что он задохнулся в ней, когда перед лицом этакой земной красоты, осенней, печальной и пронзительной, торопливо (а, может, и наоборот—медленно, оттягивая последний вздох, последний свой шаг, свой рывок в пустоту?) влезал в петлю, чтобы казнить себя? Об обидах? О ненужности никому? О горечи поражения?.. Нет ответа. Silentium.

А может быть, кто-то помог ему туда влезть?..

Говорят, в карманах его пиджачка никакой предсмертной записки не нашли, но нашли много черновиков, и среди них—несколько готовых стихотворений, удивительно искренних и трагически печальных; их можно было бы считать его завещаниями, но они куда-то потом исчезли… Да это и понятно: кому нужен смертельно раненный тоской и печалью поэт, и кому нужны его трагические стихи?..

Вот так—как дым!—развеяны были почти без следа писатели и поэты, которые оказались тогда в роковом подземелье и которых боялись потом, как чумы, потому что, будто бы, они знают что-то такое!..

Теперь—о судьбах ещё двоих участников той подземной экспедиции—о Мише Новосельцеве и буфетчике Игоре.

Миша Новосельцев, как мы знаем, был арестован по подозрению в убийстве одновременно с Аркадием Светлым. Но Аркадия, допросив, отпустили, он был известным поэтом, и задержка его усугубляла слухи, а кто для них был Миша?.. Поэтому они и вели себя с ним по-другому: бесцеремонно, а когда он стал артачиться и защищать своё достоинство, отказываясь подписывать то, что им нужно—а нужен им был компромат на Светлого—они просто засадили Мишу в кпз вместе с отпетыми головушками, которые измывались над ним, как хотели, пока тот сам не запросился на допросы.

Но когда выяснилось, что Светлый улизнул из города, с них—как гора свалилась; Миша стал им неинтересен, и его отпустили. С таким, правда, многозначительным напутствием, сказанным по-провинциальному прямолинейно и, во избежание кривотолков, без свидетелей:

—Мы тебя отпускаем, но чтобы и духу твоего в городе не было!

—Что я сделал? Какое вы имеете право?—начал он «лезть в бутылку».

Объяснение ему было тотчас выложено без всяких церемоний:

—Потому что ты человек ненадёжный—вот и всё наше право. Уезжай, улетай, испаряйся, но чтобы глаза нам больше не мозолил, иначе пеняй на себя! И о том, где вы были после обрушения особняка и о чём мы тут с тобой говорили, никому ни слова. Понятно?

—Понятно,—удручённо согласился тот. И испарился. Вернулся с семьёй в родной город. Но и там у него жизнь не задалась: ни к местным журналистам, ни к писателям дороги больше найти не смог; работал культмассовиком в рабочем клубе и тихо спивался в окружении таких же, как сам, неудачников… И всю жизнь потом вспоминал капитана из военной части; тот про Мишу, наверное, давно забыл, а Мише он даже снился, и они вели во сне нудные, мучительные диспуты…

А у буфетчика Игоря всё вышло иначе. После того разговора с человеком из «органов» он с месяц не мог нигде закрепиться с работой; возвращаться на завод слесарем не тянуло; барменом, буфетчиком, официантом не брали: или не было мест, или намекали на взятку, которую бы он не потянул. Устроился грузчиком в столовую с расчётом продвинуться хоть там, но бабы-поварихи заездили его работой и сексуальными приставаниями, а навару—никакого.

И, отчаявшись, он принял предложение: пошёл барменом в артистическое кафе на их условиях. И дела его наладились самым наилучшим образом: через пять лет службы в том кафе ему предложили должность заведующего большой столовой, потом—директора ресторана. А ныне, спустя много лет, он—руководитель крупнейшего в области объединения общественного питания: с возрастом растолстел, общается только с такими же, как сам, директорами и управляющими, имеет слащаво утрированные манеры, которые перенял у актёров в том артистическом кафе, сумев сдружиться там со всеми. Носит он теперь роскошную седую шевелюру, ездит в «волге» с персональным шофёром за рулём и имеет одну-единственную слабость: к молоденьким официанткам, которых время от времени возит куда-то по очереди с собой на «волге».

Отдельно стоит рассказать о дальнейшей судьбе жены Гоши Худякова (хотя совместная жизнь их узаконена не была) Анжелы Ивановой, поскольку судьба эта тоже представляет для нас определённый интерес: как вы, наверное, помните, Анжела была внебрачной дочерью Хвылины.

Не в силах терпеть одиночество (в наш век поголовной грамотности, когда каждый из нас всезнайка, а главное открытие века — «кто весел, тот и прав», для торопливых наших мужчин и женщин физиологическое одиночество в течение одного-двух месяцев кажется тяжким грехом против природы и уж, во всяком случае, непростительным упущением) Анжела, как мы уже сказали, привела в свой дом нового мужчину, который у неё остался.

Однако на сей раз ей, в общем-то, доброй и отзывчивой женщине, попался, при излишней торопливости её выбора, совсем не такой, с какими ей до сих пор приходилось иметь дело — с полуинтеллигентами, пусть и криводушными, и хамоватыми, однако способными иногда и на прилив нежности, и даже, изредка, на джентльменский поступок. На сей раз ей попался негодяй, каковых, если осмотреться вокруг внимательнее, и искать не надо. С ловко подвешенным языком, и отнюдь не урод лицом — оставшись у неё, он мало того что альфонствовал за её счёт, так он стал её, ещё барахтавшуюся на плаву нормальной человеческой жизни, спаивать и всячески растлевать: ему легче было манипулировать ею, такой: униженной и раздавленной.

Спустя некоторое время он уже приводил в её дом новых женщин для себя, а для неё — новых мужчин (может, даже беря с них плату). Когда же она пыталась препятствовать этому — стал её регулярно избивать и выгонять из дома. И через несколько лет она преобразилась: лицо её огрубело и потемнело от пьянства и побоев, а тело усохло; волосы её неряшливо торчали в разные стороны; одевалась она в свою старую одежду, висящую на ней, как на вешалке, а на ногах болтались старые туфли со стоптанными каблуками, и висели на худых икрах сползающие чулки…

Никому не нужная, бродила она по пивным и закусочным и клянчила выпивку. Завсегдатаи злачных мест уже знали её, подкармливали и опохмеляли или гнали прочь. Особенно не терпели её и изгалялись над ней официантки и посудомойки. Когда её гнали, она злилась, била себя костлявыми кулачками в высохшую грудь и, полупьяная и полубезумная, хрипло кричала: «Как вы смеете — я дочь Хвылины!» — а они покатывались со смеху и кричали: «Иди-иди, пожалуйся своему Хвылине! Он тебя приголубит!..»

Поведение её очень смущало милицию: эта пьянчужка позорила и трепала уважаемую фамилию самого Хозяина области! И когда она слишком распоясывалась, её забирали и куда-то увозили. Но странное дело: как только её забирали — на её месте тотчас появлялась новая! Даже, будто бы, в разных концах города по забегаловкам и пивным заявляло о себе сразу несколько «дочерей Хвылины» — звание это, вместе с неудобствами в виде преследований со стороны милиции, официанток и посудомоек, приносило «дочерям» и дивиденды: мужики, потешаясь, не забывали подкармливать и подпаивать их, и выловить их всех было просто не по силам: во-первых, непонятно, то ли эти самозванки возрождались быстрее, чем их отлавливали, то ли их быстро отпускали, не зная, что с ними делать; а во-вторых, они защищались от милиционеров, как только могли: дрались, царапались и поднимали визг, пользуясь тем, что они всё-таки женщины, и милиционеры не решались их бить, во всяком случае, прилюдно — так что за несколько кварталов было слышно: опять Хвылининых дочек берут!

В общем, терять «дочкам» было нечего, и милиционеры, если их бывало меньше чем трое, отступались, а скандальная известность этих падших созданий росла и множилась: увы, всякое неповиновение властям почитается у нас в народе за самое уважаемое геройство…

А что же сам Хвылина? Как сложилась судьба его самого и его отношения с Великим Курултаем и нашей писательской организацией?

Надо сказать, что его отношения с писательской организацией после той катастрофы пошли на лад, стали, в конце концов, даже сердечными, и этой взаимной сердечности уже ничто не омрачало.

По прямому указанию Хвылины, забывшего, к его чести, все обиды на писателей, им взамен рухнувшего особняка скоро изыскали новое помещение (пока многоэтажный Культурный Центр не ввели в эксплуатацию) и выделили деньги на покупку дорогой новой мебели в кабинеты. А когда вселились в новое помещение и обставились мебелью, было созвано писательское собрание, на котором снова стоял вопрос о приёме Хвылины, поскольку из-за какой-то формальной закавыки решение декабрьского собрания было признано недействительным.

Отсутствия нескольких писателей, куда-то, по официальной версии, уехавших, но пока что не снявшихся с учёта, постарались не заметить и не обсуждать, дабы «не комкать повестку дня»… Кулебякин с Финк-Червяковым учли все промахи прошлого собрания, поэтому следующее прошло, можно сказать, на-ура: Хвылину приняли, причём почти единогласно («против» был всего один голос, и знали точно: картину единодушия испортил Зуев, тогда ещё живой — ему возили урну и бюллетень для голосования в больницу. Но что с него возьмёшь? — развели руками руководители: горбатого могила исправит). Своё утверждение в Союзе писателей в Москве Хвылина, как и обещал, принял на себя; кое-кто из местных писателей, что голосовали «за», втихомолку надеялись, что хоть в Москве его «прокатят». Дудки! Утвердили, и он стал у нас четырнадцатым официально утверждённым писателем.

Надо сказать, что шаманисты (и те, кто искренне верил в шаманизм, и те, кто ни во что не верил, а был привержен шаманизму из соображений удобства), сами по себе неисправимые романтики и фантазёры, подверженные idée fixe: вымечтанной ими умозрительной идее злобного, безлюбого всеобщего равенства,—обожали при этом цифру статистики; они служили ей, не щадя чужих голов, и были готовы ради неё на всё, в т. ч., разумеется, и на подтасовку, так что любая цифра, в конце концов, непременно была дутой. При этом удивительно, что цифра 13—количество членов писательской организации—была не приблизительной, а точной. Настолько точной, что вызывала в Большом Чуме беспокойство: а не кроется ли за нею вызов? И теперь там облегчённо вздохнули.

С тех пор жизнь писательской организации, доселе, можно сказать, полусонная, стала неузнаваема: Хвылина вдохнул в неё мощный импульс. Во-первых, ежегодно теперь туда принимали двух-треё новых членов, и она начала расти как на свежих дрожжах, в полном соответствии с пожеланием Хвылины, и вскоре стала самой крупной в Сибири. Так, членом её стал директор издательства, который, запершись в кабинете, целыми днями писал стихи; по разделу критики вступила преподавательница пединститута, опубликовавшая к тому времени серьёзную монографию о сибирской литературе с 18-го по 20-й век, и одна глава в ней посвящена была творчеству Кулебякина, Финк-Червякова и Хвылины как самых крупных писателей Сибири; эта монография легла в основу докторской диссертации, которую эта преподавательница вскоре и защитила.

Одновременно с этим—так уж совпало—она заняла в своём институте должность завкафедрой современной литературы, причём на этой кафедре—ещё одно совпадение!—стала работать законная дочь Хвылины Лариса, готовившаяся, в свою очередь, к защите кандидатской диссертации. В полном соответствии с правилами преемственности Лариса должна была в дальнейшем занять должность заведующей кафедрой, проводив свою стареющую научную руководительницу на пенсию.

А вместо одного публициста Зуева, к тому времени скончавшегося, появилось сразу три довольно молодых человека: новый руководитель отдела культуры в Большом Чуме, заступивший на место ушедшего на пенсию Таратутина; он, оказывается, тоже «баловался литературой», но, в отличие от охотоведа Таратутина, был переброшен «на культуру» из управления КГБ; его, естественно, занимала тема «славные дела советских чекистов». Вторым был новый редактор областной газеты, сменивший умершего на «боевом посту»Дубова (этот «отображал» в своём творчестве тему «ударных строек»). И третий—тот, что писал книги за Хвылину. Так что все трое, обживая каждый свою хлебную ниву, один другому совершенно не мешали.

Но всё это—во-первых. Во-вторых же, эти новые люди внесли в писательскую организацию «свежую струю», сделали жизнь её содержательнее и богаче. Теперь «с целью улучшить качество литературы» регулярно созывались семинары, конференции, симпозиумы, круглые столы и проч., куда приглашались писатели и учёные из столицы; об итогах встреч сообщалось не только в местных, но и в центральных органах печати, радио и телевидения; а завершалось всё это грандиозным банкетом в самом фешенебельном ресторане города. Для оживления банкетов туда приглашали всех имевшихся в городе окололитературных и околонаучных молодых дам, готовых на всё ради процветания местной литературы; банкеты эти заканчивались далеко за полночь разбором дам и разъездом по гостиницам, где догуливали до утра.

В промежутках между симпозиумами устраивались просто литературные встречи под девизами: «Сибирское лето» и «Сибирская осень», тоже с приглашением именитых гостей; эти встречи сопровождались выездами на природу для очищающего слияния с нею; в таких случаях откупался большой теплоход с рестораном, буфетами и барами, с участием всё тех же самоотверженно отдававшихся процветанию местной литературы окололитературных и околонаучных дам, и теплоход этот, мажорно гудя и наяривая по корабельному радио «Прощание славянки», отваливал в «Сибирское лето» или «Сибирскую осень», а ближе к ночи утыкался где-нибудь носом в берег, кажущийся в темноте окружённым дикой сибирской тайгой. Всю ночь жгли на берегу костры, ели и пили, и будоражили таёжную ночь громкими в темноте звуками брякающего стекла, гитарного зуда и вызывающего тревогу плоти женского хохота и взвизгов, пугая всем этим бессонных стариков и старух в полувымершей деревне, оказавшейся вдруг откуда-то в трёхстах метрах от стоянки… А потом, в самую глухую часть ночи грянет вдруг и понесётся над пространством сонной реки, над вырубленными и искорёженными могучей техникой, бывшими некогда дремучим лесом пустынями, над бескрайними отравленными полями, где, по выражению самих селян, «от колоса до колоса не слышно голоса», и над опустевшими деревнями, достигая самых дальних уголков области, удалая песня: «Н-нас на ба-абу пр-р-ра-аминя-ал!..».

А утром оказывалось ещё, что один из прозаиков побил поэта, и отнюдь не в переносном смысле, не в диспуте, а самым натуральным образом: кулаком по мордасам. И причина конфликта—женщина: не поделили; битым оказывался всегда проворный и экстравагантный поэт, уведший даму из-под носа у медлительного, с большим солидным пузом и с увесистыми кулаками прозаика…

А как же складывались дальнейшие отношения Хвылины с Великим Курултаем?.. Надо сказать, они долго не имели серьёзного развития — ему никак не удавалось перебраться в Москву. Его стратегический план с Культурным Центром блестяще провалился вместе с тем старым особняком: план строительства жилья, школ и больниц был сорван (впрочем, его срывали всегда, оправдываясь перед Великим Курултаем строительством объектов более важных, и оправдания эти срабатывали): все дефицитные трубы, сантехнику, провода перебросили на комплектацию Культурного Центра, — и как ни «натягивали» статотчётность, она ушла в Москву с невыполнением.

Москва «отреагировала» просто: под угрозой строжайших санкций запретила окончание Культурного Центра, выместив, таким образом, на бездушном железобетонном истукане своё неудовольствие, и сколько Хвылина ни пытался доказать Москве, что абсурдно запрещать его окончание, если осталось затратить сколько-то тысяч рублей, когда уже истрачены миллионы! — однако Москва осталась неумолима. Не лезть же было Хвылине из-за такой безделицы опять к Верховному Шаману… Так сурово наказаны были Москвой сам Хвылина, город и вся область. И почти законченный «небоскрёб» пришлось закрыть, опечатать, на окна первого этажа навесить решётки, обновить забор, на ворота навесить амбарный замок: «небоскрёб» *законсервировали*. Мечта Хвылины о скором переезде в Москву опять лопнула.

А тут новая неприятность…

Несмотря на кажущуюся монолитность населения и спаянность его вокруг Большого Чума, среди населения постоянно находились кляузники, норовившие подгадить Большому Чуму и Хвылине. Этих проклятых доносчиков, шептунов, кляузников — нет, не тех, что писали жалобы Хвылине в Большой Чум из чувства долга (этих он любил и поощрял) — а тех, кого охватывал нестерпимый зуд доносить на Большой Чум и самого Хвылину в Москву, Хвылина готов был давить собственными руками: столько они попортили ему крови!..

Не обошлось и на этот раз: именно в это столь трудное для Хвылины время в Москву пришёл новый донос, миновавший Большой Чум — пусть донос из сельского района и на районное начальство, но косвенным образом роняющий тень на область. Москва же, как водится, «спустила» донос в Большой Чум — для принятия мер и ответа.

Суть сего шедевра доносительства на десятке страниц, убористо исписанных корявым старческим почерком, сводилась к следующему: старый красный партизан, чудом уцелевший от всех послереволюционных чисток и репрессий, начав своё послание эмоциональными риторическими фигурами типа: «за что кровь проливали» и «для кого нашу родну совецку власть завоёвывали», — рассказывал о факте, который «дальше терпеть нельзя, потому как весь район уже знает»: будто бы из области в их район пришли «новые веянья» — районное начальство построило себе «охотничий домик» с кухней, баром и баней, которая «по-ихнему называется нехорошим словом — ссаун», и будто бы теперь всё районное начальство, вместо того чтобы дённо и нощно радеть о вверенном ему народе, выходные дни проводит в «ссауне», пьянствует там и, по слухам, «мужеложествует»…

Пришлось этот неприятный вопрос распутывать самому Хвылине: приглашать районное начальство и разбираться с ним на закрытом заседании с принятием всех предосторожностей против разглашения предмета разговора, как если бы разбирался военный или государственный секрет… Эти районные начальники в процессе разбирательства честно во всём сознались, однако раскаиваться не торопились. Да, «охотничий домик» с кухней, баром и сауной действительно построен, а у какого начальства нет теперь таких «домиков», где бы можно было *культурно* отдохнуть, раз уж боремся за *высокую* культуру?.. И попробуй, возрази на это всерьёз!

Пьянствовали? Это навет: да, выпивали в процессе культурного отдыха! Но, во-первых, кто ж теперь не пьёт? А во-вторых, они ж не хлещут по-чёрному нашу родимую водяру — они пробуют виски, ром, французский коньяк, и только затем, чтобы распознать вкусы идеологических противников.

И в «мужеложестве», как выразился грубым русским словом этот обломок старого мира, солидные отцы района тоже сознались по-партийному честно; но, опять же, побывавши на «гнилом Западе» и насмотревшись «ихних» порнофильмов, просто попробовали испытать на себе, как гниют и разлагаются противники.

Что тут делать? И жалко мужиков: свои ведь, надёжные, как собственный кулак, люди, члены Большого Чума, но ведь скандал! Да будь они простые смертные, за один только гомосексуализм — тюрьма, и от трёх до пяти!.. Пришлось наказывать — реагировать на донос, чтобы отчитаться перед Москвой: влепить по выговору и всю компанию рассовать по разным глухим районам, дабы впредь было неповадно…

Но не таков был Хвылина, чтоб оставить мечту о Москве, о заветном Великом Курултае, и не найти выхода из безвыходного положения.

На его счастье, после затяжного периода потепления международной обстановки начался новый период её похолодания. Мы здесь не будем ни рисовать расстановки международных политических сил в тот период, ни перечислять конфликтов, к которым была причастна наша страна, ни

анализировать причин, мотивов и подоплёк этого обострения — всё это ты, любезный мой читатель, найдёшь в старых подшивках газет. Дело для нас сейчас не в этом, а в том, что за тем обострением начался новый виток гонки вооружений как с той, так и с этой стороны; соответственно, в экономику нашу полились новые миллиарды военных ассигнований. Вот тут-то наш многоопытный Хвылина и не проморгал — отхватил такой куш для области, который чуть не раздавил его самого! Но он шёл ва-банк.

Итак, он отхватил себе строительство нового танкового завода.

Строительство началось с полного «нуля», что Хвылине всегда импонировало: в чистом поле, где до этого лишь колосилась пшеница и цвела буйным цветом картошка, от горизонта до горизонта поставили высокий забор и всю землю за забором утыкали колышками, размечая будущие цеха, инженерные сети и дороги… Ах, как упоительны были для Хвылины эти минуты, когда он взирал на чистые колышки в поле, словно маршал перед решающим сражением — на войска, которые приведут его к победе!

Разумеется, название завода ввиду его секретности было закамуфлировано под сугубо мирное: «завод пищевого оборудования» (ведь молочные цистерны тоже называются «танками»!); однако месяца через три даже школьники в городе знали, продолжая, впрочем, играть вместе со взрослыми в секреты, что за завод прибавляется к доброй дюжине уже коптящих в городе небо секретных и сверхсекретных заводов.

Как мы уже рассказывали, Хвылина был специалистом по развёртыванию строительства: снова штабы, планёрки, совещания! Первоначальным планом было предусмотрено закончить строительство через пять лет, но Хвылина не мог ждать — он настаивал, он требовал от строителей, он выжимал из них обязательства закончить его в четыре, в три года!

Однако задача была слишком трудна: ни через три, ни через четыре года завод так и не закончили — всё время чего-то не хватало: измотанная бесконечными стройками область уже изнемогала от этой непосильной стройки; а когда, согласно первоначальным торопливым проектам, цеха всё-таки были выстроены, оказалось, что не хватает проката для брони и надо строить прокатный цех, а когда его построили, оказалось, не хватает стальной заготовки и надо строить литейный цех, и т. д. и т. д., и их строили и строили, расширяя завод до бесконечности, и Хвылина только втайне молил Бога, чтобы противостояние в мире не слабело, а ширилось и крепло, и чтобы штормовой ветер от этого противостояния веселей дул в его паруса, чтобы его «бригантина» полным ходом неслась по бурному морю в тихую, желанную гавань под названием «Великий Курултай». «Бригантиной» он именовал свою судьбу, памятуя о студенческой молодости, когда в компании, выпив, они любили петь песню «Бригантина» — она была гимном его комсомольской молодости:

> Надоело говорить и спорить,
> И любить усталые глаза!
> В флибустьерском дальнем синем море
> Бригантина поднимает паруса!..

Особенно нравилась ему в той песне фраза: «флибустьеры и авантюристы, братья по крови, горячей и густой», — он пел её самозабвенно, с выступающими в глазах слезами восторга и сам себе казался флибустьером, отчалившим в море жизни искать свой «остров сокровищ»…

Как говорится, из песни слова не выкинешь: необходимо здесь рассказать и об одном прискорбном эпизоде, случившемся во время строительства этого завода — время прошло, секреты устарели, и я решаюсь…

Дело в том, что на этом заводе намечалось выпускать совершенно новый тип танка: танк-робот, танк-автомат без экипажа, управляемый по радио и даже самоуправляющийся в боевой обстановке. Танк такого типа был отчасти уже сконструирован нашими замечательными конструкторами параллельно со строительством завода, изготовлен в нескольких экземплярах и проходил испытания на закрытом полигоне рядом с заводом. Уже было решено показать высокой комиссии, на что такой танк способен. Но, как всегда, поторопились: во время испытаний (намечался показ программы взаимодействия этих танков между собой во время атаки в боевом порядке, ибо без этого умения боевой танк никому не нужен) несколько танков, заправленных полными боекомплектами и горючим на сто километров хода, вдруг вырвались из-под радиоуправления, пробили ограждение, ушли в поле, и ничем остановить их было невозможно.

Рассказывают, каким жутким было зрелище, когда эти приземистые, неуправляемые и неуязвимые чудовища, эти слепые убийцы, уничтожающие на своём пути всё, стреляющие в любую движущуюся цель и на любое тепловое излучение, стали расползаться в разные стороны. Это был какой-то скрежещущий сталью Апокалипсис! Ничто не служило им преградой: ни заборы, ни здания, которые они прошибали своей мощью насквозь и шли дальше, ни речки, которые они могли пересекать под водой, ни овраги и леса…

Их можно было сокрушить только крупнокалиберными артиллерийскими или реактивными бронебойными снарядами, но где их возьмёшь на полигоне среди бела дня, под боком у города, далёкого от всех границ и потому не ведающего ниоткуда сиюминутных опасностей?

А танки, окрашенные в зелёный камуфляжный цвет, разбрелись по области, блуждая по хлебным полям, лугам и перелескам, выныривая в самых неожиданных местах. А потом из разных районов стали поступать разобщённые и, возможно, раздутые паникой сообщения: там танк выскочил из леса и обстрелял из пулемёта стадо коров — оставшиеся коровы обезумели от страха и разбежались; там — одиночным орудийным выстрелом разнёс на куски мирно пашущий землю трактор вместе с трактористом; там вышел на дорогу, обстрелял и сжёг несколько автомашин; там ворвался в ничего не подозревающую деревню и проутюжил целый порядок домашних строений…

В конце концов было вызвано на поиски их несколько боевых вертолётов; один танк вертолёты обнаружили и расстреляли с воздуха; второй сумели сжечь бесстрашные сельские парни, бывшие десантники; третий опрокинулся с крутояра в реку и, перевернувшись, наконец заглох.

Но один ушёл по направлению к городу; он-то и натворил больше всего бед. Сначала он разворошил несколько бараков, которыми был тогда окружён наш город, давя в них жителей без разбора пола и возраста; затем пронизал насквозь территорию небольшого завода, оставив за собой пожар, благополучно сам выбравшись из него; затем вырвался на широкую улицу с оживлённым движением; вместо того чтобы идти по своей, правой стороне, он двинулся по левой, давя и превращая в сплющенные консервные банки легковые машины вместе с водителями и пассажирами, распихивая в стороны и корёжа грузовые; когда же поднялась паника и машины стали шарахаться от танка, он ещё и полил их пулемётным огнём; что там в это время творилось — просто невозможно пересказать… Затем, задев за угол очень старого и потому очень прочного, дореволюционной постройки, дома, у которого только и смог, что отворотить угол, он изменил направление и пошёл через район крупнопанельной застройки, высаживая панели и проходя дома насквозь, оставляя за собой вопли ужаса и зияющие проломы в стенах, таща за собой намотанные на траки и зацепившиеся за закрылки и прочие выступающие части провода, панцирные кроватные сетки, занавески и прочие обрывки и обломки житейского скарба.

Наконец, прорвавшись в центр города, раздавив несколько стоявших на автостоянке служебных машин (бодрствующие шофёры успели выскочить и разбежались; имевшие же привычку дремать в машинах были раздавлены), танк-убийца упёрся в стену Большого Чума…

Но недаром его строили более десяти лет, причём со стенами метровой толщины и узкими окнами-бойницами: танк таранил и таранил вставшую на его пути неодолимую преграду, скрежеща гусеницами, круша и перетирая кирпич в пыль, углубляясь сантиметр за сантиметром в стену; по словам очевидца, обвешанный стальными пластинами танк напоминал свирепого звероящера, ощерившегося всеми шипами, лязгающего острыми клыками, жаждавшего добраться до тех, кто внутри. А в это время по другую сторону здания бесчисленный персонал, населявший его, в страхе вылетал из дверей, вырываясь из давки водоворота; со звоном высаживали окна высокого первого этажа, выпрыгивали, расшибаясь и вывихивая ноги, и бежали куда глаза глядят, обезумев от страха; все улицы окрест были запружены бегущими.

А тем временем танк сумел углубиться в стену сантиметров на тридцать, и будь она тоньше, не устоять бы ей против этого бешеного напора… Но тут подоспели военные; въехав на опустевшую площадь перед Большим Чумом в крытых грузовиках, они высыпали из них и, прячась за гранитным пьедесталом под сенью чугунного Ленина, стали расстреливать танк из гранатомётов, а он, уже подбитый, ревел раненым зверем, огрызался пулемётными очередями и всё рвался пробить несокрушимую стену, будто этот ревущий кусок стали действительно был живым и жаждал мести кому-то…

История, конечно, из ряда вон выходящая, наделавшая в своё время в области большой переполох… Погибло, по меньшей мере, человек тридцать (по явно преуменьшенным прикидкам — кому тогда нужны были точные сведения?), не считая разрушенных зданий, искорёженной и сожжённой техники, убитых и раздавленных домашних животных и т. д. Но кто, помимо жителей нашей области, слыхал о ней? Разумеется, никто. Да и в нашей-то области её постарались замять, объясняя военной тайной, возможными происками вездесущего врага и издержками испытания нового вида оружия, убедив людей в том, что ради этого стоит идти на жертвы…

Да что там, в конце концов, каких-то тридцать покойников, когда падали пассажирские самолёты, тонули корабли, терпели крушение и валились под откос поезда, обваливались дома, цеха, шахты, и везде гибли, гибли и гибли люди — кто их когда считал?

А что же стало с производством танков?

Наш сообразительный и хитроумный, как Одиссей, Хвылина, вышел из положения с блеском: пока начать своё производство было невозможно, заказали на других заводах комплектующие детали обычного танка, находившегося тогда на вооружении, детали свезли на наш завод, собрали на конвейере и выдали эшелон готовых танков.

Ну и что тут такого? — возразят мне. Обычная кооперация производства!

Хитрость в том, что эшелон был вывезен с завода в канун революционного праздника с митингом

по этому поводу; в Великий Курултай и лично Верховному Шаману отправили торжественный рапорт о выполнении государственного задания огромной значимости, а такие рапорта дорогого стоили: многие тогда, в том числе и Хвылина, получили за это награды (списки на них готовились загодя, и формировал их не кто иной, как Большой Чум).

Вот теперь путь Хвылины в Великий Курултай был открыт—и его, наконец, туда забрали; цель его жизни была достигнута… Так что, говоря в переносном смысле, Хвылина въехал в Москву на танках.

Ну а что стало с тем тридцатипятиэтажным зданием фаллической формы, так и оставшимся после «консервации» его и отъезда Хвылины в Москву торчать посреди города одиноким сиротой?

Многие годы его так и не могли закончить, боясь нарушить приказ Москвы; самому Хвылине, пока он ещё оставался здесь, уже некогда было им заниматься—всё своё внимание он сосредоточил на танках. Тем более некому было заняться «небоскрёбом» после его отъезда; да и не знали: что с ним потом делать? Все конторы и организации имели свои апартаменты, а если появлялась новая, то куда проще было построить под неё четырёхэтажное здание, чем связываться с этакой махиной, на вершину которой и глядеть-то страшно: голова идёт кругом!

Так наш «небоскрёб» и стоял многие годы, огороженный глухим забором, нависая мрачным силуэтом над городом, и люди обходили нескончаемый этот забор с кое-где уже зияющими в нём дырами с опаской, а вечерами, и уж тем более ночами, близко и подходить боялись.

Почему боялись? Да потому что с некоторых пор поползли тревожные слухи: будто бы за тем забором и внутри самого «небоскрёба» творится что-то странное, особенно тёмными ночами: то вдруг раздаются скрежещущие звуки, то вспыхивают и блуждают по этажам огни; но самое страшное—оттуда доносятся порой жуткие, леденящие душу вопли…

Поначалу город сносил эти слухи терпеливо—мало ли что приходилось слышать в те времена; слухи есть слухи, с ними можно и мириться, они даже развлекали, давая пищу воображению и эмоциональные встряски посреди рутины быта, в котором, согласно фразе из пущенной кем-то гулять по свету ядовитой частушки тех лет, «окромя явлений счастья, никаких явлений нет».

Однако всему приходит конец; пришёл конец и терпению, которое со временем переросло в глухой ропот горожан; уже появились слухи о том, что кто-то крадёт девушек и детей, затаскивает в этот «небоскрёб» и там такое с ними вытворяет, что страшно и представить… И наконец городские власти, обеспокоенные ропотом, которого они боялись больше всего на свете, раскачались: отправили за забор экспедицию из полуроты вооружённых милиционеров. И что же они там увидели, оцепив здание, начиная сужать кольцо и постепенно затем занимая этаж за этажом и подвал за подвалом?

Во-первых, в когда-то запертом здании были вырваны «с мясом» все замки, решётки и запоры. Во-вторых, всё, что можно снять, разобрать, оторвать, выломать: оконные рамы, двери, облицовочные плитки, батареи отопления, трубы, унитазы, раковины, электропровода вкупе с выключателями и плафонами,—всё снято, оторвано, выломано (на что, разумеется, потрачено колоссальное количество человеческой энергии и сноровки, может быть, не меньше, чем на постройку) и унесено, или, раскуроченное и искорёженное, валялось тут же… Отсюда, видимо, эти скрежещущие звуки по вечерам, когда люди после трудового дня приходили сюда поразвлечься, с помощью ломов и кувалд выдирая и выламывая трубы и батареи…

Третье, что они там обнаружили—здание было заселено! Его облюбовало себе множество бродяг—их-то блуждающие огоньки от спичек, свечей и фонариков, видимо, и тревожили горожан ночами. Жили здесь бродяги вольготно: по одному, по двое, по трое на этаже, в зависимости от степени общительности; устроили они себе там спальни, гостиные, кухни, раскладывая очаги прямо на полу, используя вместо дров те же окна и двери, а часть помещений используя как уборные.

В-четвёртых, в подвалах здания найдены человеческие скелеты…

Да, открытиям милиционеров за тем заповедным забором не было конца; и тут надо рассказать ещё об одном удивительном открытии, сделанном ими: они обнаружили там никогда ранее не виданных животных, смахивающих на толстых остромордых собак, только на коротких лапах, и с длинными голыми хвостами, визгливых и агрессивных, сумевших каким-то образом наделать в бетонных подвалах норы и ходы.

Когда стали допрашивать бродяг по поводу найденных в подвалах скелетов—все как один, бродяги уверяли, что пожирают людей эти непонятно откуда взявшиеся зверюги… Будто бы сами бродяги их панически боятся и не рискуют жить ниже четвёртого этажа, поделив таким образом с этими тварями жизненное пространство… Вниз же бродяги сходят не менее чем по двое, причём с палками в руках, и всегда засветло, потому что эти зверюги нападают в темноте, причём без всякого страха: впиваются в пах, в живот, прыгают откуда-то на плечи и впиваются в шеи—отсюда эти душераздирающие вопли по ночам. Бродяги-новички же лезли по привычке в подвал—там их эти твари и пожирали: он ещё жив, а у него уже

кишки выдраны; и сжирали за ночь до белых косточек…

Несколько экземпляров этих свирепых животных с острыми, как стальные иглы, зубами и светящимися в темноте красным огнём глазами были пойманы и изучены местными биологами, и вот к какому пришли они выводу: это обыкновенная, только мутированная, крыса (Rattus norvegicus); мутация же наступила оттого, что эти поразительной живучести зверьки, попав в лабиринты глубоких бетонных подвалов, не в состоянии оттуда выбраться и изголодавшись, научились питаться пластиковой изоляцией электропроводов и кабелей; мало того, что они от этого не погибали, оказывается, пластик явился для них мощным гиперстимулятором роста и размножения.

Это чрезвычайно заинтересовало учёных; на основе открытия они взялись разработать столь нужные в сельском хозяйстве методы гиперстимуляции роста и размножения полезных для человека животных. Была создана лаборатория, начались исследования. Отважные учёные испробовали новый препарат даже на себе, и результаты не замедлили сказаться: сами учёные стали быстро тучнеть и размножаться до такой степени, что если в начале исследований лаборатория состояла из трёх молодых сотрудников, то со временем в ней расплодилось несколько десятков кандидатов и докторов наук. Хотя в целом проблема до сих пор не решена: от этого гиперстимулятора продолжают расти, тучнеть и размножаться только одни учёные. И ещё крысы.

А городским властям пришлось, мобилизовав милицию и санитарных врачей, всерьёз повоевать с этими тварями, чтобы не дать вырваться из подвалов новому виду мутантов, представлявших угрозу не только городу, но, возможно, и стране, а может, и всему человечеству, которое, представьте себе, могло быть съеденным, хватись наши отцы города попозже и выпусти из рук ситуацию, произойди среди мутантов популяционная вспышка и начни они питаться скопищами людей в городах…

Так вот и стоял наш «небоскрёб» много лет полуобитаемым и полупустым, пока, наконец, в городе не создалась кризисная ситуация с конторами, коими уже был занят весь центр города, в то время как жители вытеснены на окраины, а конторы продолжали множиться и захватывать новые кварталы и городские районы, грозя вырваться из-под опеки Большого Чума: ведь вследствие неумолимого диалектического закона перехода количества в качество стало возможным саморазмножение контор простым вегетативным делением, расползание их по лику земли и полная неуправляемость. Именно эта неуправляемость более всего страшила Большой Чум.

Кстати, тогда там сидел уже новый Хозяин, молодой и энергичный. Тут-то ему и понадобился Культурный Центр — чтобы загнать все конторы в одно место, подчинить их и упорядочить их размножение. Было запрошено из Москвы несколько миллионов рублей на окончание строительства «небоскрёба» с приложением обоснований экономической выгоды от этого.

Деньги помог выбить в Москве сам Хвылина, постаревший и раздобревший, теперь уже постоянный Член Великого Курултая и, стало быть, один из главных распорядителей финансов страны — ему уже ничего не стоило добиться этих миллионов, тем более что он, видимо, чувствовал вину за то, что оставил город без действующего «небоскрёба».

И Культурный Центр был, наконец, закончен и заселён организациями — какими именно, перечислить не берусь, т. к. никогда там не бывал, а не все организации, населяющие его, имеют вывески, для них просто уже не хватает места на фасаде. Поговаривают только, что жизнь там, как и в Большом Чуме, течёт автономно от всей остальной жизни и чудо как хороша: там свои столовые и буфеты, парикмахерские, кондитерские и пошивочные цеха, спортивные и кинозалы. Если бы там ещё были и квартиры для служащих!

Впрочем, может, они там уже есть? — ведь эта мысль могла прийти не мне одному… Знаю только, что те, кто знаком с жизнью внутри Культурного Центра, окрестили его в «Счастливый остров», значит, есть тому какая-то мотивация? Не потому ли, что там всегда вкусно ели и пили, не перегружая себя работой, достигнув в этом гигантском эксперименте в одном отдельном здании давно вымечтанного принципа: «каждому — по потребности»?

Конечно, эксперимент оказался дорогостоящим, но расчёты неумолимо показывали, что эффект от него всё равно огромный, т. к. населяющие его чиновники, этот вечный российский бич, никому теперь не мешают работать.

Ходят слухи, что, используя этот опыт, Великий Курултай собирается заложить в каждом областном центре по небоскрёбу…

Ну вот и всё: исследование моё подошло к концу, проблема исчерпана, на все вопросы даны ответы. За сим я своё кропотливое исследование, вылившееся в столь пространное повествование, заканчиваю.

А исследование тёмных пятен сегодняшней, творимой уже нами истории оставим детям и внукам. Они уже родились — те, кто напишут сегодняшнюю историю; они смотрят широко открытыми глазами на наш сегодняшний грешный мир, и всё-всё-всё, конечно же, видят и примечают, как бы изворотливые и наивные в своей хитрости новые Хозяева жизни глубоко ни прятали свои тайны. Всё равно все всё узнают! И воздадут по заслугам.

г. Красноярск 1989–1990

Валерий Хатюшин

Цветок звезды

● ● ●

Наверно, смешно и нелепо
в закатную верить зарю…
Смотрю на вечернее небо,
спокойно и долго смотрю.

Мне волосы ветер полощет
и полнится взгляд синевой,
я вижу яснее и проще
прошедшее перед собой.

Ведомый велением вышним,
прорвал я соблазны греха.
Что было никчёмным и лишним,—
отсеялось, как шелуха.

Испытан земной маятою,
я с ней расквитался давно.
Всему пережитому мною
меня пережить суждено.

И вот, не забывший о многом,
судьбу разглядевший свою,
безропотно, как перед Богом,
под небом вечерним стою.

Внимаю сердечной надежде
на эту живую зарю,
с любовью, неведомой прежде,
в предвечное небо смотрю.

● ● ●

Я шагаю устало
от Москвы на восток…

Что-то птица сказала—
я расслышать не смог.

Сколько хватит мне силы,
столько буду шагать.

Голос неба России
я хочу разгадать.

Всюду прежние лица,
всюду голос родной.

Но о чём эта птица
говорила со мной?..

● ● ●

Свободу завоёвывают кровью.
Не признаёт она иных щедрот.
Она своей безжалостной любовью
на пьедестал ведёт и эшафот.

Свободу завоёвывают кровью.
Глуха к словам без жертвы и борьбы,
она, как смерть, не поведёт и бровью
на уговоры, просьбы и мольбы.

Свободу завоёвывают кровью.
Подкожный страх пред нею изживи.
Цхинвал, Донецк, Луганск и Приднестровье
познали яд и мёд её любви.

Свободу завоёвывают кровью.
Когда остры глаза, сердца и слух,
ни жалам пуль, ни чёрному злословью
не победить в крови свободный дух.

Жестокий мир овеян русской новью.
За русский новый мир идёт война.
Свободу завоёвывают кровью—
и лишь тогда навек она верна.

● ● ●

Ну вот, я пережил и это лето.
Теперь и осень как бы пережить…
Пусть за окном, померкшим до рассвета,
унылый дождик будет моросить.

Пусть ничего кругом не происходит,
дожди и ветры пусть одни шумят.
Для сердца есть покой в плохой погоде,
когда ничем не растревожен взгляд.

Пусть за окном дрожит и гнётся ива
под хмурым небом, от дождя темна.
Над ней ворона пусть летит лениво,
и лишь не шелохнётся—тишина.

Когда осточертеет всё на свете
и станет всё таким ненужным тут,
лишь ива за окном, лишь дождь и ветер
покинуть эту землю не дадут.

● ● ●

Своей привычки старой не нарушу,
уйду от грусти в тихий листопад.
Мне лишь природа успокоит душу,
и незаметно посветлеет взгляд.

Один в прохладном опустевшем парке
присяду над озёрною водой.
Закат осенний в облаках неярких
заронит в сердце временный покой.

И словно скажут мне для утешенья
трава, деревья, тёмная вода:
«Смотри на эту жизнь без сожаленья,
её не будет больше никогда».

Вослед за тихим голосом природы
я повторю себе и не себе:
за все под солнцем прожитые годы
будь благодарен Богу и судьбе.

И сколько б слёз ни пролил ты на свете,
какой бы горький ни проделал путь,—
ты жил на этой сказочной планете,
ты видел мир, который не вернуть.

Твоя печаль восполнится с лихвою
иною платой и теплом другим…
И если мир жестоким был с тобою,
то этим миром будешь ты любим.

● ● ●

Пасмурный вечер, тяжёлые тучи,
трепет листвы на кустах…
Нет, мне уже никогда не наскучит
серая муть в небесах.
Ветер и дождь в среднерусской природе
грустному сердцу нужней,
в этой холодной ненастной погоде
легче ему и вольней.
Взгляд мой оживший спокоен и светел.
Сладостно дышится мне.
Скоро и сам я как дождь и как ветер
буду в родной стороне…

● ● ●

Вырвусь я в своём пророчестве
из тоски лихих годин.
Даже в полном одиночестве
я на свете не один.

Пусть душа, ни с чьей не схожая,
словно комната пуста,
предо мною—матерь Божия
и спокойный лик Христа.

Лампа ночью долго светится
над застывшею строкой.
Есть мне, с кем глазами встретиться
и к кому прильнуть душой…

● ● ●

В Голицынском парке скамейки пусты,
в Голицынском парке—прохлада.
На клумбах широких сгорели цветы
в багряном огне листопада.

Аллеи безлюдны, качели—тихи,
устало-безмолвны деревья,
стада облаков, как немые стихи,
спешат в ледяные кочевья.

И вновь я простился с травой и листвой,
и лету сказал «до свиданья».
В Голицынском парке над хмурой водой—
небес и тепла угасанье.

Стою над водой и не холодно мне,
и прежнего нет сокрушенья.
Угрюмому сердцу спокойно вполне.
Бесслёзны души сожаленья.

Дорога осенняя жизни моей,
недолгие годы земные
и сумрак остывших, увядших аллей
сошлись и слились, как родные.

Меч и камень

Тротил джихада и Дары волхвов…
Две веры, две надежды, две стихии.
Явленья духа этих двух миров
слились в пространстве и в судьбе России.

Сошлись непримиримые миры,
как жизнь и ложь, как Истина и нежить.
Шахидки пояс и волхвов Дары…
И лишь одно из двух должно утешить…

Несовместимы пламя и вода.
Нас вновь столкнули и легко и быстро.
Остра их вера, но у нас—тверда.
И меч о камень высекает искры…

Цветок звезды

В лесной тиши, в глухом затоне
речной воды
я взял в холодные ладони
цветок звезды.
Вонзился в руку, словно жало,
её огонь,
звезда, шипя, в затон упала—
прожгла ладонь.
Тогда, склонясь над зыбкой глубью
ночной воды,
ладони свёл я и пригубил
глоток звезды…
И мне с тех пор во тьме кромешной
светло всегда,
в моей душе, земной и грешной,
горит звезда!

И ныне Божий Сын унижен и распят.
«Что истина?» — спросил с усмешкою Пилат.

Философ, он не знал: она не «что», а «Кто».
Его глазам прозреть не помогло ничто.

Был в слепоте своей Пилат неумолим.
А Истина живьём стояла перед ним.

Пушкин

Летящий сквозь громады лет,
огнём небес отмечен,
поэт в России, он — поэт,
не больше и не меньше.

Он и творец, он и боец,
певец, гонец победный,
а выше — только лишь Отец
и Сын, и Дух Заветный.

Есть слово-символ, как пароль
для всех в России, — Пушкин.
За вечную любовь и боль
нальём по полной кружке.

Когда земные времена
погрязнут в общем блуде,
его строка, хотя б одна,
но в русском сердце — будет.

И пусть во власти высших сил
течёт веков громада, —
останется: «Я вас любил…»,
и большего — не надо.

Победитель

…Дрожали языки огня,
и ночь застыла глухо.
«…Один из вас предаст Меня,
но вы крепитесь духом».

И было ждать совсем чуть-чуть
Земле, чтоб стать иною…
«…Я истина, и жизнь, и путь,
идите вслед за Мною».

Свет на лице. Чело в венце.
Веков минувших стержень.
«…Отец во Мне и Я в Отце,
и Мною мир повержен».

Была святая ночь тиха.
Предатель время выждал.
Ещё до крика петуха
Пётр отречётся трижды.

Нет больше в мире ничего
до крайнего предела,
весь этот мир — лишь Крест Его,
лишь Кровь Его и Тело.

Поэт

Бога об одной просил награде.
Ждал одной любви до седины.
Всё отдал, со всем расстался ради
высоты духовной глубины.

Этот свет сберёг в себе до гроба.
Были вопли недругов смешны —
не слышна была чужая злоба
в небесах духовной глубины.

Должен был и смог не оступиться,
встав на самом гребне крутизны,
чтобы не упасть и не разбиться
с высоты той самой глубины.

Голос моих предков

Это ж сколько ушло поколений
и сожглось отстрадавших сердец,
чтоб для ясных души озарений
я пришёл в этот мир наконец!
Чтобы эти души озаренья
воспылали из тьмы вековой,
чтоб убитые мраком забвенья
наконец встали рядом со мной.
Чтоб отважно, спокойно, сурово
голос предков из праха восстал,
чтоб заветное русское слово
я жестокому свету сказал.
Да, трудились они не напрасно
до меня на российской земле.
И страдали они не безгласно,
и не сгинули глухо во мгле.

Вино и хлеб

Как много лет, мой друг, поверь,
В потёмках я блуждал.
Христос в мою стучался дверь,
но я не открывал.

Я оставался глух и слеп,
мне было знать смешно,
чьим телом был мой чёрный хлеб
и кровью чьей — вино.

Себя изжил я, как беду.
Открыта настежь дверь.
Я нашей скорой встречи жду.
И горько мне теперь…

Я знаю, кто спасал меня —
чья кровь и тело чьё.
И отсвет горнего огня
изжёг лицо моё…

Как много, друг, больших потерь,
как сердцем я устал…
…Христос в мою стучался дверь,
и я — не открывал…

Владимир Алейников

Любви земной бессмертная сестра

* * *

В этих песнях любви не счесть —
Все они перед миром вправе
И уста раскрывать, и цвесть,
Не заботясь всерьёз о славе, —

Что за призрачный локоток,
За которым — обрывы мрака? —
Перламутровый ноготок
Извлечёт и его, однако.

Из темнот создавая свет
И звучание сердца слыша,
Ты одна — как итог примет
И сама вдохновенна свыше.

Да и я из осенних дней
Точно башню построю в кронах,
Чтоб дышалось вдвоём полней,
Чем страдалось в ночах бессонных.

Горьковат неспроста цветок —
Не сомкнёт ли ресницы сухо,
Словно юности завиток
За ушком золотистым слуха?

Он слезами ли изойдёт,
Приобщится ли к травам сорным —
Но пристанище там найдёт,
Где одною тобою сорван.

И мгновения тем тесней,
Пробуждение тем дороже,
Чем в забвении мы честней
К сокровенному в гости вхожи.

Словно сыплются пред тобой
Над росистостью простоватой
Бисер иссера-голубой,
Жемчуг иссиза-розоватый.

И за вызовом золотым,
Нежной чернью морозца скрашен,
Приобщаясь к снегам густым,
Изменяется облик пашен.

За окном не луна взошла
В заповедном кругу тотема,
Но весна, что одна светла,
Как алмазная диадема.

* * *

Ты врождённой красы дороже,
Исчезающая заря,
Там, где в упряжи скачет всё же
Конь игреневый сентября.

Что холмы? — кто-то сбил со счёта!
Скалам некого приласкать —
И стоят, словно ждут кого-то,
Кто сумел бы их отыскать.

Мы с тобой забрели, однако,
На ступень высоты степной —
И рыжее руды собака
Смотрит с нами на край родной.

Город весь в тополях и кровлях,
Точно стойбище небылиц,
Где от скифской удачи в ловлях
Желтизна, словно след лисиц.

Под ногами река петляет,
Белым чайкам кузнечик рад, —
И никто, как на грех, не знает,
Что нельзя посмотреть назад.

Там ночами не спят маслины,
Чтобы твой не тревожить взор,
Для которого всё едино
В этой жизни с недавних пор.

К ветви каждой и птице каждой
Ты внимательна, как дитя, —
Кто тебя наделяет жаждой?
Кто учил тебя, не шутя?

Кто тебя одарил вниманьем
И меня не забыл сейчас? —
И страданий людских признаньем
Просветляется этот час.

• • •

Любви земной бессмертная сестра,
Звезда моя открылась в небе ясном,
И ласкова настолько, и добра,
Насколько мы сближаемся с прекрасным.

Не надо мне чрезмерной красоты,
Жемчужному подобной ожерелью,—
Хочу, чтоб впечатленье высоты
Откликнулось не словом, так свирелью.

Тревожусь, не случилось бы чего—
Но вот оно отхлынуло невольно,—
Поистине достаточно всего,
Что в памяти возникло произвольно.

И мне теперь не только прозревать
Под ливнем исцеляющим рожденья,
Но заново, пожалуй, узнавать
Насыщенность и сущность пробужденья.

Чьё сердце ощутимее взошло
Над грёзами забытого кочевья,
Тот в будущем дышал бы тяжело,
Да выручат защитники-деревья.

Когда бы не священные цветы,
Клокочущие в горле полудиком,
Ему стихий стигийские мосты
Казались бы не помыслом, а криком.

Над градом, приголубленным весной,
Видал ли ты в зеницах суеверий
Серебряные иглы под луной,
Слывущей соплеменницей мистерий?

Мысль есть звезда—на то и звездопад—
И в звёздной азбуке попробуй разберись-ка—
При чём здесь настроений перепад
И дом, где обитаешь не без риска?

Мысль есть звезда, горящая в ночи,—
Ужель, подвластная прищуренному оку,
Разыщет запредельные ключи,
Ещё немотствуя, но речь вскрывая к сроку?

Дни точно пагоды,—песчинки на устах
Неужто сахарны?—окно крестообразно—
И эхо, спрятанное в башенных часах,
Как порох съёжилось, давно огнеопасно.

Пора утеряна—и мыслимо ль собрать
Пчелиный рой в сыром калейдоскопе?
Рука опущена—там нелюдь или тать?—
И это не по нраву Каллиопе.

А ты, Орфей, свой факел смоляной
Не отдавай ни призраку, ни року,
Тотем фатальности затрагивай струной,
Кифару милую влеки к родному току.

Свети во тьме, звезда островитян!
Оправдывай скитания и пени,
Коль нет числа прощающим путям,
Дарящим песнопенья, как ступени.

Ведь зелий нет, способных укротить
Живучесть дружбы,—ей, как птице, мало
И неба этого, где до смерти бродить,
Да и того, где в жизни побывала.

Но ты, земля, так ангельски светла,
Так зову нежности подвержена без меры,
Что осязаемы хранящие крыла
В слезах росы и в розах старой эры.

Любовь не колокол, но искренность сердец,
Душе и Господу послушные начала,
Где тайна единения колец
Стволы дерев неистовых венчала.

• • •

Свет ли вздохнёт и уйдёт навсегда,
Грусть ли в листах заплутала?—
Так ли в июле пылала звезда
И простота расцветала?

Так ли небес достигало, скорбя,
Древо гармонии стройной?
Так ли и ты сознавала себя
Дщерью земли неспокойной?

Всё бы в ночи серебриться реке,
К берегу зябкому жаться,
Всё бы кольцу тосковать на руке,
Чтоб на весу удержаться.

Верить кому и кому объяснить,
Думать о чём, чтоб случайно
Не перерезало тонкую нить
Лезвие жгучее тайны?

Ты не надейся, что годы пройдут,
Мысли возникнут благие,—
Певчему горлу услужливый жгут
Скрутят не те, так другие.

Так поспеши доверяться любви,
С лаской больше не медли,
Чтобы опять загорелись в крови—
Страсть ли великая, свет ли.

* * *

Роза вечером к западу клонится,
Тяжелеет её голова,—
Ты одна в моём сердце, бессонница,
Заронила живые слова.

Семена ли твои небывалые
Стебельками из почвы взошли—
Или к осени думы немалые
Пятипалые свечи зажгли?

И к чему тебе роза-красавица
С лепестками, дыханья нежней,
Если взору дремотному нравится
Приближенье неспешное к ней.

Если телу усталость не новостью,
А наследьем покажется вдруг—
И, терзая с мятежницей-совестью,
Не смыкается жизненный круг,

Если вечером, еле очерчена
Навеваемой силой тепла,
В дом твой давешний милая женщина
Долгожданной хозяйкой вошла?—

С нею в нынешнем доме спокойнее
Жить, как лебеди вместе живут,—
Оттого и гляжу я спокойнее
На бессонницы скрученный жгут:

Не зажжёшься немилой кормилицей
Тех миров, где тропы не найти!—
Только песне бы влагою вылиться
Да цветы привечать на пути,

Только б очи влечение чуяли,
Эту розу признав неспроста,
Где играют—воздушные струи ли?—
Колебаньем вечерним листа.

* * *

Едва прикоснусь и пойму,
Что миг завершился нежданно,
Не знаю тогда, почему
Ты вновь далека и желанна.

Едва осознаю вблизи
Томящее чувство исхода,
Скорее ладонь занози—
Не в ней ли гнездо непогоды?

Но дальше—не знаю, когда—
Быть может, в цепях расставанья—
Коснётся меня навсегда
Жестокое имя желанья.

Ты роза в дожде проливном,
Рыдающий образ разлуки,
Подобно свече за окном,
Случайно обжёгшая руки.

Ты ангельский лепет во сне,
Врачующий шёпот мученья,
Когда зародилось во мне
Мечтанье, сродни отреченью.

И с кем бы тебя обручить,
Виновницу стольких историй?—
Но сердце нельзя излечить
От ропота вне категорий.

Из этих мелодий восстань—
Довольно расплёскивать чары—
Ещё на корню перестань
Изыскивать щебету кару.

В нём хор, прославляющий днесь
Красу твою позднюю летом,
Чтоб ты в ожерелье чудес
Осталась немеркнущим светом.

* * *

Снизойди до меня, снизойди—
Без тебя мне дышать тяжело,—
Что за грусть поселилась в груди?
Сердце хочет к тебе под крыло.

Даже сад мой, так часто дыша,
Бьётся сотней горячих сердец—
Значит, хочет живая душа
Утешенье найти наконец.

Наша жизнь—это облачный знак,
Недомолвки планет и светил,—
Только б ты оглянулась вот так,
Чтобы взор твой согрел и простил.

Может, ангел, явившийся нам,
Сохраняет летящую нить,
Чтобы память не старилась там,
Где не сможем лета воротить.

Лишь в тебе я сумел отыскать
Этот свет, что всегда впереди,—
И твержу заклинаньем опять:
Снизойди до меня, снизойди.

Николай Година

Жалобная книга Бога

* * *

Сезонная напасть — копать картошку в поле,
Когда придушен тучей и дождиком полит,
Когда не пояс рвёт от поясничной боли,
А попросту натура неправильно болит.

Отважно пламенеют осинки вчетвером,
На мой досужий взгляд, не надо б им светиться,
Но суетно еложу повадливым пером,
И вот уже поёт не столь душа, сколь птица.

Общественно полезная во всём напруга.
Гурты правдоподобней нубийских пирамид.
И вялая бежит строка, как след от плуга,
Глагол без чувства меры в конце её гремит.

* * *

Несдержанная на язык ворона,
В которой больше чёрного, чем белого,
Подсматривает сверху, вроде дрона,
Что это я с навозной кучей делаю.

Позируя, зовёт в объятья пугало.
Во всё подряд суются осы вяло.
Бензокосилка за углом попукала
И даже некультурно навоняла.

Примеривая шаг к силлаботонике,
В сердечном ритме мчащих электричек,
Пройдусь окрест — пусть птица плачет тоненько
И не меняет мир своих привычек.

* * *

Кривится озеро и щурится от ветра,
Попал за веко будто бы песок.
Душа нишком степной ландшафт отвергла,
Азарт повял, а интерес посох.

И свойство зеленеть не отобрать у леса,
Где поокол гнездится человек.
Всё тяжелей во мне течёт не в такт железо,
Закономерностей иначит век.

Повымеркнут луга; как совесть в чистом виде
Приспеет неудобная зима.
Уже ничем, лета, меня не удивите:
Я прозорлив и опытен весьма.

* * *

В то лето было много комаров
И мало интересного в округе.
Мы растворялись медленно друг в друге
В пределах неизведанных миров.

Нас уносили солнечные ветры
От папиллярных линий троп и трасс,
Селений, розовых под ортоклаз,
Где серебрились на закате вётлы,

Текла невозмутимая вода
Под дымкой обонятельной отрады
Цветущих трав в периметре ограды…
Куда мы не вернёмся никогда.

* * *

Привык ходить с руками за спиной,
Когда вдогон: — Продал, похоже, сено!
Как слётки, листья кружат надо мной
Под грустную картавинку Дассена.

Рванула перелётная попса
Из летних мест на зимнюю халтуру.
Любовь звала во облацех поза —
Вчера, но я не согласился сдуру.

Теперь топчусь досужно на земле.
Заломленные, вместо крыльев, руки.
От бражной осени навеселе
Всё сущее известное науке.

* * *

Разночинная мелочь подлеска.
Заострённая под карандаш
Ель назорная вырвалась резко
Сквозь гербарный внизу раскардаш.

В коллективном сознании леса
Созревает осенняя грусть.
Может, говорь синичья не пресно
Вкус напомнит стихов наизусть.

Может, чувственный облик берёзы
Вдруг навеет пронзительный сон,
Где не вместе мы, но и не розно,
И о чём говорить не резон.

• • •

Работа требовала действенных глаголов,
А я шалел от прилагательных весны.
Теперь я стар и оживаю от уколов,
Которые полезны, хоть весьма вредны.

Лежит под капельницей город, хлорофиллом
Не обеспечены растения пока.
На доброкачественном, но болезно хилом
Наросте льда уже читается река.

Чужуя где-то, птицы прилетят обратно.
Подаст надежду врач, отладив свой верстак.
Не воздух—алкоголь, по три глотка на брата,
И жить не страшно, и полезно… Как-то так.

• • •

Колхозный сад периода упадка.
С какого боку на него ни глянь:
Червец и тля, ножовка и лопата,
Опухший страж—всему предел и грань.

Едва не захлебнулся кран от всхлипа
Давно до капли вытекшей водой.
Клюв нараспашку, побираясь, скнипа
Актёрствует с вороньей прямотой.

Вернуться бы в свою лесную книгу
По строчным тропам, строчечным полям,
Пока замешивает жизнь интригу
Из будущего с прошлым пополам.

• • •

Военнообязанные муравьи
Антеннами водят, снуют по тревоге.
Но замыслы мирны, напротив, мои,
Желанья легки и потуги убоги.

В распакленных травах, в разгласных шумах,
В размытых тонах камуфляжного лета
Предвидится осени скрытый замах,
Как шутка в конце озорного куплета…

Вернусь, тихий дом необжитым найду.
Присяду к столу—все слова врассыпную,
Едва белый лист обнажит черноту
Однажды по вечеру в пору грибную.

• • •

У меня и в мыслях не было обидеть
Эту взмётчивую птаху над кустом.
Просто я хотел весне найти эпитет,
Ровени пелесой радуясь притом.

Здесь по пять берёз на душу населенья.
Озеро плеснуло взглядом из травы,
Полное воды и безделяжной лени,
Где и цвет, и свет кругово правы,

Где тропа утёком, ветерок в облипку,
Измельчалый до привычного песок…
Жизнь мне подарила лишнюю улыбку,
Сразу стала легче, крепче волосок.

ДиН ревю

Игорь Герман

Премьера

Красноярск: «Палитра», 2017

Дебютная книга минусинского писателя, актёра, режиссёра посвящена нравственному выбору современника. Разножанровые рассказы—от доброй иронии до глубинных исследований человеческой души—порой до боли психологичны, визуальны.

Геннадий Васильев

Контур тела

В бассейне

Уменьшенная копия морей.
Мы плаваем, одолевая скуку,
вытряхивая воду из ноздрей,
лелея праздность.

Нам эти дни — как белые стежки
на ежедневном полотне из драпа.
И тонут, тонут мелкие грешки,
водою смыты.

Пока мы здесь, над нами нет беды.
Пока мы здесь, всегда прозрачна влага.
Минутный след прочертит гладь воды —
и сразу гаснет.

А за стеной бурлит привычно жизнь:
хрипят авто, пугают светотени.
А мы плывем, счастливые моржи,
в объятьях лени.

● ● ●

Вот оно, предчувствие пороши:
небо собирает белизну,
ветерок, как дуновенье прошлого,
языком сырой асфальт лизнул.

И пошёл гулять по голым кронам,
сучья гнуть, сучочками трещать…
Никогда я не был невлюблённым.
Я влюблён.
В кого?
В тебя.
Опять.

Ветерок снежок швыряет в лица,
топит город в снежной бахроме…
Как нам быть?
Как в стужу не свалиться?
И не повредиться бы в уме.

Как пройти достойно эту зиму,
как поймать пороши парашют?
Белый город.
Ночь неотразима.
Как нам жить?
Кого-нибудь спрошу.

Оле и Мише

Живите, дети! Радуйтесь всему,
что вас отныне радовать возьмётся:
и дальним — нам, и ближнему — тому,
в ком признаки слепого благородства.

Дивитесь хлебу — он теперь для вас
черней и солоней, белей и слаще.
Живите всласть! И ваше was ist das? —
пусть будет тем уверенней, чем чаще.

● ● ●

И мечется по кругу
отчаянный вопрос:
как нам понять друг друга?
Как нам понять друг друга?..

Есть ветер и дорога,
и тихий стон колёс.
Всё видно только Богу.
Всё видно только Богу.

Мы сами — словно ветер:
порывисты и злы.
И мы за всё в ответе.
И мы за всё в ответе.

И вяжем, как ворожим,
Гордиевы узлы,
а развязать не можем.
А развязать не можем.

А разрубить — не смеем!
И всё торопим срок,
когда поможет нам —
нам кажется — дорога…

И верим — и не верим.
И произносим: «Бог…»
Но не увидеть нам
того, что видно Богу.

И мечемся по кругу,
и смотрим на дорогу.
Как нам понять друг друга?
Всё видно только Богу.

Столбы. Такмак

И тишина! Такая тишина!
И белизна! И свежий снег на ветках!
И даже неба серая салфетка
уже не так уныла и скучна.

Тропа скрипит, виляя и резвясь,
чиня шагам посильные препоны.
И мы стрижём счастливые купоны
и с суетой утрачиваем связь.

И дребезжат сосульки на усах,
и бархатится иней на ресницах…
И этот день, что бесконечно длится,—
всего лишь миг у Бога на часах.

Грузия. Фрагменты

О, горы Грузии! Языческий восторг
и христианский трепет неподдельный!

Горел сентябрь. Наш отпуск двухнедельный
стоял в зените. Плавился восток,

а вечерами запад напоказ
катил закат на алой колеснице.
И нам порой казалось: только снится
нам вольный край по имени Кавказ.

Тифлис дышал покоем и родством,
струил вино и аромат хинкали.
И «мамин хлеб» из дедовых пекарен
был так пахуч, что пахло волшебством!

И волшебством дышало всё: река—
её валы желтели под мостами,—
и над рекой волшебный Пиросмани
держал барашка в бережных руках.

Волшебно пел булыжник под ногой,
мы шли наверх, к короне Нарикала.
И синева прозрачно намекала,
что пропустить пора бокал-другой.

Пылал в стекле рубиновый пожар.
Бокал вскипал лозою Алазани.
И мы у груши сердце вырезали—
нас грушей щедро одарил Важа.

И это было тоже волшебство—
грузин Важá (хоть правильнее—Вáжа;
порой, ища изящного пассажа,
мы не щадим буквально никого!),

и виноград, и сливы сизый бок,
и спелой груши мякоть—как истома!..
Нам хорошо. Мы далеко от дома.
Тифлис дышал.
И плавился восток.

Подобие стансов

Целый мир я обойти не могу.
Не могу я обойти целый свет.
Но описывает солнце дугу
и за ночью обещает рассвет.

Замерла река, закована в лёд.
Льдом захвачена, река замерла.
Я вздыхаю: «Это скоро пройдёт!»
Усмехаюсь: «Вот такие дела…»

Что же делать? Остаётся одно:
до зари подушку в прах проминать,
ждать, когда звезда заглянет в окно,
и не спать, и всё о ней вспоминать.

В этом мире я давно не один.
Не один я в этом свете давно.
Серый пепел моих редких седин
для кого-то—золотое руно.

Вздует вечер над рекой фонари.
Воронёнком встрепенётся душа.
До звезды тебе не спать. До зари.
Всё вздыхать: «Ах, как она хороша!»

Стынет ночь, дневного света белей.
Палачом моим—часы на стене.
Да воздастся мне по вере моей.
По любви моей—воздастся вдвойне.

• • •

Во мне поселился чужой.
Чужой мной и крутит, и вертит.
Нет-нет, не доводит до смерти,
но где-то проходит межой.

Он с кошкой поссорил меня.
Он струны расстроил на гуслях,
и звуки зашлись—и погасли.
И струны, дрожа, не звенят.

…Меняется смысл бытия.
Гримаса фортуны обидна,
поскольку вполне очевидно:
чужой—это я.
Это—я.

● ● ●

Уже почти по-стариковски заложив за спину руки,
бреду тропинкой, ловлю вращенье
оси земной.
Но ещё не скоро, ещё не скоро момент разлуки
меня с этим миром
и этого мира — со мной.

Я ещё не слепил свой образ.
Я его ещё
не закончил.
И, значит, не время.
Значит, рано куда-то спешить.
…Сидит во мне стих и словно кузнечик — стрекочет.
И пока он во мне стрекочет,
я буду жить.

Апрельский снежок

Куда ты идёшь? Для чего ты на землю ложишься?
В зените апрель, и пора уж на май уповать.
Ты скоро растаешь, тебя не оценят, дружище.
И в грязь тебя втопчут. И слёз не дадут проливать.

Зачем этот снег? Для чего этот ветер колючий?
К чему эти серые тучи над тёмной горой?
В зените весна, и снежок запоздалый летучий
напрасно летит.
Он умрёт, как последний герой.

● ● ●

Если я уйду внезапно —
это не беда.
Не сегодня и не завтра —
как-нибудь потом.

Если ты уйдёшь внезапно —
будет серый день.
Я поплачу. Дождь поплачет.
Солнце не взойдёт.

Если мы уйдем внезапно —
грянет пустота.
Кто над нами станет плакать?
Кто прольет слезу?

● ● ●

Восстановление контуров тела.
Из перечня услуг

Контур тела уже неопределён. Уже размывается.
Мы уже почти бестелесны, похожи на облака.
Дискантом детским скулит метель, поземкою извивается.
Жизнь удивительна! Жаль только, что коротка.

Жизнь удивительна. Мы не берём её подлую сторону —
только ту, что в нас трепещет и в нас дрожит.
И контур тела её бережёт, хранит до последнего вздоха, после которого
он и сам уже восстановлению не подлежит.

● ● ●

Плывут по речке утки —
я слышу их смешки.
Уже какие сутки
не пишутся стишки.

Не выдавить ни строчки
из тюбика души.
Пересыхают ручки,
тупят карандаши.

Хотя б глагольной рифмы
постыдный моветон —
но нет: сплошные рифы,
подводные притом.

И утки… вот и птица,
смеясь, стремится вдаль.
И мне почти не спится.
И мне почти не жаль.

Какая жизнь? Какая?!
Куда течёт опять?
Мы, как тяни-толкаи,
то вскачь рванём, то вспять.

Кого согреют строки?
Наш путь, как ни реки,
от слова и до срока —
едва длинней строки.

…Река, спеша, катает
траву и голыши.
Какая жизнь? Такая!
Не спрашивай — пиши!

Пиши, меняя ручки,
чиня карандаши!
Но всё-таки на случай
на всякий — поспеши.

Не с тем, чтоб плюнуть желчью
в того, кто точит желчь, —
чтобы успеть обжечься.
Обуглиться.
Обжечь.

Светлана Ермолаева

Я верю музыке

Марк Шагал «Одиночество»

В дремучих объятьях природы,
В колючих объятьях зимы
Мы ищем тепла и свободы,
Страшась и тюрьмы, и сумы.

Из горького стылого мрака,
Где звёзды ещё не зажглись,
Скулит ледяная собака
И воет испуганно ввысь.

Из всех одиночеств на свете
Понятней и ближе—навзрыд
Над миром неведомый третий
В картине Шагала парит.

Что будет, что станется с нами?
У скрипки четыре струны.
Ты смотришь такими глазами,
Что мне не избегнуть вины.

Мой ангел, обуглены чувства,
Насквозь их тоскою прожгло.
И пепел просыпался густо
На ангельское крыло.

● ● ●

Когда тоска по человеку
Тебе уже невмоготу,
И трижды ты в чужую реку
Входил, но каждый раз—не в ту,

О чём грустить? Печальный опыт
В зрачках весёлых затая,
Прости им грохот, топот, ропот,
Послушай бездну бытия,

Как раковину, где молчанье
Хранит морскую глубину.
Ты сбылся в музыке случайно,
Попал случайно на войну,

Где маски в бой идут и пляшут,
И смотрят в прорези для глаз.
Звучит моление о чаше
Который раз, который раз…

● ● ●

Я верю музыке, поскольку жизнь одна,
И состоит из музыки и пятен.
Уже весна, за окнами весна,
Но время уклоняться от объятий.

Сломай себя, тростинку на ветру—
Не обретёшь прощения вовеки.
Я тоже вот когда-нибудь умру,
Поскольку смерть таится в человеке.

Ты дудочка, ты мыслящий тростник,
И ветер теребит твои пустоты,
И ты звучишь, поскольку ты возник
Из ничего—из пустоты и ноты.

Быть может, нас спасут колокола.
Неслышно расширяется от звона
Небесный свод, и вечность пролегла
Меж куполом и самым низким тоном.

● ● ●

Всей музыкой, какая есть
На белом безнадёжном свете
(она живёт сейчас и здесь),
И лепестками всех соцветий,
И всех созвучий, и насквозь—
Дождём, промывшем наспех кроны,
Когда дышать не в силах врозь,
Смешав и синий, и зелёный…

Когда устанешь горевать
И звать её горячим стоном,
Когда не хочешь выживать,
Но яростно и непреклонно
Желаешь жить—наверняка
Ты назовёшь любовью это.

Вот отчего душа легка,
Скользит над жизнью городка,
Перелетая в свет из света.

● ● ●

Нас было двое — дождь и я.
Нам город был чужой подарен
С деревьями и проводами,
И весело в оконной раме
Плескалось чудо бытия.

Мы лужи наполняли смыслом,
Поскольку в них отражены
Осколки лиц, слова и числа,
И небо раннее весны,
Что опустилось и повисло.

Мне было грустно и легко,
Поскольку опыт жизни учит,
Что каждый — музыка и случай,
А смерть всегда недалеко.

Здесь, за углом, за поворотом,
Невольно сам ты к ней идёшь.
А дождь — с тобой, в ладонях, вот он,
Весёлый дождь, весенний дождь,
Взахлёб разбрасывает ноты,
И в каждой — ледяная дрожь.

● ● ●

Дар напрасный, дар случайный…
А. С. Пушкин

Жизнь пройдёт через нас,
Нас просветят рентгеном,
Нас просветят лучами,
И останется след.
В чьём-то доме чужом
Он впечатан в простенок,
Чёрный снимок удачи,
Драгоценный билет.

Пробирается луч,
Задевая аорту.
Так о чём эта жизнь,
Не о нас ли с тобой?
После резкой подачи
Мяч взлетает над кортом
И гордится своей
Несравненной судьбой.

В чём тут суть или цель?
Дар, прожитый случайно…
Как в тетради отрезок —
Восемь клеток пути.
Это тайна, нельзя.
Между точками — тайна.
Догадаться нельзя
И нельзя обойти.

● ● ●

Когда Париж — как на ладони,
Чего желать, о чём жалеть?
Прочтите надпись на фронтоне:
«Увидеть — и не умереть».

Вобрать его до самых жилок,
Вживить в себя его печать…
Париж, глядящий в твой затылок,
О чём он хочет промолчать?

Ситэ, купающийся в Сене,
И д’Орсэ, и Сан-Шапель…
В парижской дымке предосенней,
Ты вовсе не умрёшь теперь.

С нелепой Эйфелевой башни
Слетают в прошлое огни.
Париж вчерашний, свет вчерашний,
Меня, как птицу, примани.

Поймай в силки, держи надёжно,
Не вырваться, не улететь.
Парижских улиц невозможных
Очаровательная сеть.

● ● ●

А в России снег,
А в России дождь,
А в России ты
Ничего не ждёшь.
Ничего не ждёшь,
Просто так живёшь,
На рассвете — снег,
На закате — дождь.

На закате — дрожь
Да вороний грай.
Порвалась струна —
Всё равно играй,
Всё равно живи,
Всё равно дыши,
Лишь вороний грай,
Больше ни души.

Погоди, не рвись,
Ненадёжна мгла.
Обнимая высь,
Спят колокола.
На тяжёлый шар,
На ночной ковчег
Ляжет тихий дар,
Ляжет белый снег.

Александр Орлов

Смоляне

К восьмидесятилетию со дня смерти моего прадеда *Павла Епифановича Орлова*, который был арестован 24 сентября 1937 года Екимовичским РО УНКВД и приговорён к расстрелу тройкой УНКВД Западной области 29 сентября 1937 года. Прадед был обвинён по 58-й статье части 8, 10, 11 УК РСФСР. Расстрелян 2 октября 1937 года. Реабилитирован 19 апреля 1989 года прокуратурой Смоленской области. Запись о нём хранится в «Книге памяти Смоленской области».

ЧАСТЬ I

Барин

Орлову Павлу Епифановичу

Фуражка конвоира сбилась набок,
И прадед вдруг задел ногой ведро,
И защемило чуткое нутро,
И раскатились три десятка яблок.

И были скороспелые плоды
Так зелены, коричневы, пунцовы,
В семье к аресту были не готовы,
Но прадеда шаги всегда тверды.

Скрипя, прощались прочные ступени,
И свет из дома плыл ему в лицо,
И падали под ноги на крыльцо
Три строгие, подтянутые тени.

Дела велись по-пролетарски бойко,
Был оглашён бесчинный приговор.
Он был, как ветер, холоден и скор:
Решала в полутьме чекистов тройка.

И высшая ему досталась мера,
И меток был комбедовский стрелок,
Когда нажал на спусковой крючок,
И засмердело дуло револьвера.

А сколько было на Руси таких,
Которых до рожденья звали «барин»,
И каждый был хранителем окраин
И оставался в памяти живых.

Где он лежит? На дне какого рва?
Как успокоить родовую совесть?
Поэму написать мне или повесть?
Ведь память моя русская жива.

ЧАСТЬ II

Епифань

Орлову Александру Павловичу

Приснилось мне, что дед сказал: «Пора!»—
И поманил к себе сквозь колкий валеж.
Я знаю, дед, меня ты не оставишь,
Ты вновь зовёшь с той стороны Днепра.

Ты помнишь лето, мальчика босого,
Который мог с обрыва прыгнуть вплавь,
И ты зовёшь его к себе всё снова,
Но встречу нашу ты пока оставь.

Я знаю: мы с тобою в кровной связке,
Моя ладонь сжимается в кулак,
И до сих пор я не могу никак
Без чести жить, по вековой указке.

Я знаю: там, где свет в чащобы свален,
В Дуброво, где тебя крестила мать,
Ты ждёшь меня у временных окраин,
Чтоб книгу снов со мной перелистать.

Ты мне раскроешь родовые сини,
Покажешь мне наш сад, и особняк,
И земли, что достались от графини,
И где теперь возвысился орляк.

Я духом жив, душой, словами, телом,
Взирая на неезженый большак,
Мой прадед здесь гулял перед расстрелом,
И братья деда гнали молодняк.

Дед, я приду к тебе! Твой мир бессрочен,
Пройду по пустошам, пройду по сосняку.
Я верую—на правом берегу
Ты мне представишь лучшую из вотчин.

Пустошь

Орлову Александру Сергеевичу

Заброшены дома, оставлены молельни,
Всё заросло кругом: дороги, хуторки…
Я помню, как сейчас: мы приближались к Ельне,
Как много лет назад к наделам—барчуки.

Дивились долго мы суровой глухомани,
Бежали люди прочь, хозяйства не щадя,
В молитвах и слезах бросали всё миряне,
Боялись буйных слуг оспатого вождя,

Нам показался свет, он был неяркий,
И мы решили разузнать, что было там—
Изба, коровник или Божий храм,
И, может, ждут вдали нас перестарки.

Мы шли мятежно, встали у развилки,
Был ветер, как едун, расчётлив и солощ.
И вот в брюшине обгорелых рощ
Наткнулись мы на травные могилки.

Мы думали, должно что измениться?
И почему светло на дальнем том юру?
Быть может, это смерть, немая прикосница,
Затеяла с одним из нас игру.

А может, где-то там, в излучине Десны,
Где скрылось эхо в круговерти дупел,
И дуб монаха взгляд скупой насупил,
Хохочут громко призраки войны.

И я тот призрак, отблеск, отголосок,
Пронзающий затменье лет и зим,
Я сил небесных огневой набросок,
Несущий правду мёртвым и живым.

ДиН ревю

Антология литературы для детей

Составители: Ольга Гуляева, Михаил Стрельцов, Виталий Овчаренко

Красноярск.
«Класс Плюс», 2017

ЭДУАРД НОНИН

Волк и рыба

У причала над обрывом,
Где на солнце сохла сеть,
Волк нашёл однажды Рыбу
И решил, не медля, съесть,

— Подожди!—сказала Рыба,
Зная десять волчьих слов:
— А сказал ли ты «спасибо!»
Нашей речке за улов?

— Нет ещё!—Сказал зубастый.
И, пока он отвечал,
Рыба выпала из пасти
И нырнула под причал.

Над обрывом у причала
Сеть уж высохла давно,
Преисполненный печали
Волк рассматривает дно.

Волк даёт себе обеты
За едой не говорить
И, сначала пообедать,
А потом благодарить.

ЭДУАРД РУСАКОВ

Обида

Конечно, вы не видели,
Вам всё равно.
Меня вчера обидели,
А вам смешно.
Я ласковый и маленький,
Я одинок.
Лежу и плачу в спаленке,
От слёз промок.
А мама мне: сыночек мой,
Прости меня,
Проплакала всю ноченьку,
Как ты, и я.
А папа мне: пожалуйста,
Сынок, прости.
Реви, кричи и жалуйся,
Но не грусти.

В глазах моих качается
Моя семья.
И слёзы все кончаются.
Стихаю я.

Пред ними гордо встану я:
— Я не грущу!
И плакать перестану я…

Но не прощу!

Иосиф Куралов

Братан

● ● ●

Хорошо начинать с утра.
Коньячок. Балычок. Икра.

Над столом — сигаретный дым.
За столом — хорошо сидим.

Возглавляет стола овал
Хозяин-интеллектуал.

Интеллектуал-коммерсант.
У него обои «жоржсанд».

Томов — несметная рать.
От стен их не отодрать.

Нарисованные тома —
Пища не для ума.

На обоях ярко видна
Их неслыханная цена.

«Корешки» сверкают, горят,
Как купюры. За рядом ряд.

Каждый настенный фиг
Дороже десятка книг.

Рабочий, блин, кабинет,
А книг настоящих нет.

● ● ●

Из пиджака достаю
Настоящую книгу. Свою.

Люблю я, приняв на грудь,
Себя почитать чуть-чуть.

Себя обижать не стал.
И принял, и почитал.

С выражением, вслух.
В бровь. В глаз. В нюх.

Хозяин-интеллектуал
Стал от восторга ал.

Стал от восторга ал
И в ухо мне заорал:

— Братан! Ты мне от души
Книгу свою подпиши!

Я книгу твою куплю
За буквочку — по рублю!

Дам рупь Леонид Ильича,
А не тот, что теперича.

Представляешь столько рублей?
Каждый доллара тяжелей!

Ты мне буковки сосчитай
И хоть улетай в Китай,

Лондон, Париж, Стамбул,
Казань, Рязань, Барнаул.

● ● ●

— Ну, — говорю, — добро —
Беру из кармана перо.

— Ты, — говорю, — накрыл
Стол на десяток рыл.

Пищу в массы неся,
Поизрасходовался.

А помнишь ли, где должна
На книге стоять цена?

Вот, посмотри на свет;
Цены этой книге нет.

За букву возьму по рублю
Шибко продешевлю.

Я их и считать не хочу.
Работа не по плечу.

А доллары — тать в ночи.
О них мечтать не учи.

И как тут прикажешь быть?
Братану́ что ли морду бить?

А чтобы не бить, — говорю, —
Книгу тебе подарю. —

Коньячком на перо дышу.
Душевное что-то пишу.

Чтоб достало до самого дна.
Отдаю, говорю: — На!

На! — говорю. — Ни за грош
Духовную пищу жрёшь.

Под мецената кося,
Братан, не обкушайся.

● ● ●

Братан, парень простой.
— Ну, ты, — говорит, — крутой.

Предлагаю не гнуть персты.
Если обидел — прости.

Кто вас, поэтов, поймёт?
На халяву и уксус — мёд.

А ты мне про «морду бить».
Предлагаю не бить, а пить.

Постановляю так:
Не уксус пить, а коньяк!

По полной раз десять нальём —
И зелёного змия убьём!

● ● ●

Собутыльники — не бойцы.
За столом отдавали концы.

Воскресали по одному.
Исчезали в ночную тьму.

Никак не могли погодить:
С утра им руками водить.

На объектах метать и рвать.
Функционировать.

А мы по команде «Пли!»
На водочку перешли.

Были несколько суток всклень.
Перепутали ночь и день.

Поспали в тени купав,
На дно стакана упав.

На дне порыдали всласть,
Чтоб в рай душа понеслась.

…Катилась из глаз слеза.
Мутилась в слезе стезя.

Пили водочку братаны
За здоровье родной страны.

● ● ●

Хоть как по земле кружись,
Не исправишь такую жизнь.

Потому что в ней мало лет,
Потому что в ней счастья нет.

Потому что опять — с нуля,
Потому что все бабы — бля…

Потому что не он — певец,
Потому что не я — купец.

Потому что горчит икра,
А шампанское — из ведра.

Потому что такой кураж.
И такой в кураже вираж.

● ● ●

До рая не долетев,
Земных пригласили дев.

Для яркого рандеву —
Музы по вызову.

Немедленно их раздев,
Под медленный их напев,

Красоточек юных сиих
Не стали делить на двоих.

Чтоб не вызывать вражды.
Да и не было в том нужды.

В среде физических тел
Я к поэзии тяготел.

И наблюдал в полумгле
Танец девочек на столе.

Как, каблучками стуча,
Они делают: — ча-ча-ча.

На лету подхватив мотив,
Посуду расколотив.

И красиво летят со стола
Во все стороны брызги стекла.

И стоит пронзительный визг
В ослепительной радуге брызг.

Чтоб руками не лапал братан
Обнажённый девичий стан.

А чтоб лапал другие места.
И скорей целовал в уста.

И сразу тащил в постель.
Ведь что — наша главная цель?

Пир во время чумы!
Как столичные бредят умы.

А что — наша жизнь? Игра!
Как бредят телеэкра-
Ны
Всей родной страны.
И ведущие братаны.

(А как просятся паханы
В рифму! А нам хоть бы хны!)

Хорошо с утра начинать
Содержанием жизнь начинять.

Как ты с похмела ни кисл,
В жизни имеется смысл.

Изгнав из души путан,
Жить продолжаю, братан.

А тебя изгнать из себя
Не могу. Это что — судьба?

В зеркало гляну. А там
Стоит в полный рост братан.

Нет вопроса «быть иль не быть?»
Есть вопрос: чем в зеркало бить?

Отечественные кулаком?
Импортные каблуком?

Чтоб осколки сказали, звеня,
Что вылетел ты из меня.

Хватит у Бога любви
На всех. Без меня живи.

А я без тебя. С утра.
С понедельника. С Богом. Ура!

Кто время провёл не зря
Под Знаменем Октября,

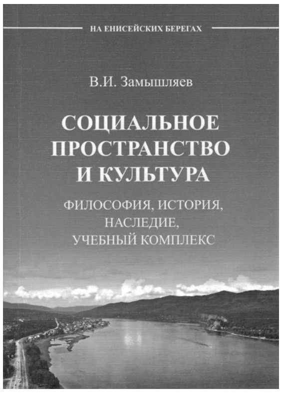
Тот помнит, как нас штамповал —
Общий угол, общий овал —

Всесоюзный прокатный стан:
Братан, братан, братан…

Ты непобедим, как танк,
Созданный для атак.

Я тоже непобедим.
Дальше что? Поглядим.

Д*и*Н ревю



Владимир Замышляев

Социальное пространство и культура. Философия, история, наследие

Учебный комплекс: сборник культурологических статей
Красноярск, 2017

Автор продолжает серию книг под общим названием «На Енисейских берегах…», желая показать всесторонний процесс развития культуры в социальном пространстве Красноярского края, связанного с общей истории страны и её культуры. В осознании всех проблем становления культуры как в стране, так и в регионе нельзя обойтись и без историко-философского осмысления культуры, чтобы не упростить её понимание до перечня эмпирических фактов. Это необходимо и для просвещения современных работников культуры, заслуживающих общественного одобрения, но не всегда осознающих то «величие культуры», которому они содействуют. В сборнике «Социальное пространство и культура…» представлены научные статьи о социальной роли культуры в обществе, о социализации культуры в России, в Сибири и Красноярском крае. Размышления о русском языке, о литературе и воспитании, об истории Красноярской песни и песен XX века, о религии и региональной культуре, о современном образовании, о культурном наследии. Сборник рекомендуется всем, кому не безразлична судьба культуры в России и в её регионах.

Александр Щербаков

В хорошие руки

Рассказ попутчика

Электричка, отошедшая от городского вокзала, уже набирала скорость, когда из вагонного тамбура в салон вошли, оживлённо беседуя о чём-то, два довольно крепких старика; один в олимпийке, некогда модном спортивном костюме, и с рюкзаком за спиною, другой в поношенном долгополом пиджаке, с хозяйственной сумкой в руках. Вагон был полупустым. Седые пассажиры опустились на ближайшую свободную скамью и продолжили разговор, видимо, начатый ещё на перроне. Всем нам, кто оказался с ними по соседству, с первых слов стало понятно, что деды увлечённо толковали о наличной действительности с её разными «загогулинами» в экономике и политике, в нашем полузабытом быте, в общем, о тех самых «гримасах» дикого рынка, которые корчит он перед нами на каждом шагу.

Говорил в основном тот старик, что был в олимпийке, блёклой и немного мешковатой, но ещё ловкой и «боевитой»; говорил убеждённо и напористо, так что другому оставалось только кивать да изредка вставлять короткие реплики. Хотя в его несколько рассеянном взгляде читалось явное желание самому сообщить нечто содержательное. И действительно, едва дождавшись первой паузы в монологе собеседника, он тотчас перехватил инициативу:

— Это верно, старина. Но ты, как в телевизоре, всё больше про далёкое да высокое: про курсы валютные, про власти казнокрадные, про олигархов с дворцами в Лимпопо. А ведь рынок этот ползучий проник уже во все кутки и закоулки нашей житухи, захватил не только людей, но даже и зверьё взял в оборот.

— Какое зверьё?— в недоумении вскинул залысины первый дед.

— Да любое. Возьми хотя бы кошек домашних.

— Что, уж и кошки подорожали?

— Не то слово. Послушай, приведу живой пример…

И далее последовала действительно живая и наглядная история, похожая на притчу, какие в избытке плодит нынешняя повседневность.

— Жили-были у нас в квартире две кошки,— начал дед, отставив с колен на сиденье сумку и расправив полы пиджака.— Мать с дочкой, Маркиза и Ксюша. Беленькие обе, с тёмно-рыжими подпалинками. Пришла весна, наступил дачный сезон, мы со старухой увезли их за город, на свою фазенду, да и оставили там, чтоб не таскать в корзинках туда-сюда. И вот наши кошки блаженствуют на природе, что твои олигархи на Канарах. Привольно им там, еда от пуза (мы оставляем, и соседи балуют), подружек-друзей тоже хватает в околотке.

Вскоре начались кошачьи свадьбы. Женихов к нам набежало видимо-невидимо, всех мастей со всех волостей. Поистоптали грядки, паразиты усатые. Старуха командует: «Гони их вместе с невестами!» Мы приезжали раза два в неделю, обычно с ночевой, и кошки наши поначалу аккуратно являлись к приезду, кормились свеженьким, отдыхали на диванчике в кругу семьи. Потом стали приходить всё реже. И порознь: сперва одна придёт, торопливо похватает с блюдца и уходит. За ней другая таким же манером. По виду мы, конечно, смекали, что у них появился приплод, но где хоронится, долго не знали.

К исходу лета кошки стали прибегать в избушку всё более нервными, беспокойными: мечутся, мяукают в два голоса. И решили мы при первых заморозках забрать домой наших дачниц вместе с потомством, если обнаружится. И вот приезжаем однажды под вечер— дом пуст, кошек нет. Двери на веранду, как всегда, приоткрыты, вход свободный, и доступ к кормам. Затопил я печку, чайку вскипятил… Наконец является одна, мать Маркиза, поела молча и ушла. И тишина. Поужинали мы со старухой, спать улеглись. А с утра пораньше— в огород, на грядки-делянки.

Вдруг голос: «Бог в помощь!— сосед по дроге идёт, с электрички.— Вон ваша кошка поймала кого-то, вроде зверька, в зубах тащит». Разогнул я спину, гляжу— Маркиза пересекла дорогу, пролезла под воротами и юркнула на крыльцо. Бросаю лопату, подбегаю— верно: за шкирку держит котёночка маленького. Сама бело-рыжая, лохматая, а котёночек сплошь черняченький, гладенький, глазёнки, что смородинки мокрые, поблёскивают. Прыгнула на диван, положила его и замяукала: вот, дескать, принесла, посмотрите на моё чадо. Прилегла рядом, полежала чуток, потом

заволновалась, сорвалась — и под дом. Исчезла. Через какое-то время возвращается, но не одна, а со своей дочкой Ксюшей, и в зубах у каждой — по котёнку, по черняненькому опять. Мы со старухой, понятно, забеспокоились: ёкэлэмэнэ, это ж если обе окотились, то сколько натащат!

На диване уже трое их. Сидят там на подушках, свечки глазастые. А кошки рядом отдыхиваются. Потом одна остаётся, другая уходит. И приносит ещё одного, четвёртого! Затем отправляются вдвоём. Мы в страхе ждём пополнения, однако глядим — подбегают пустые. Ну, слава Господу. Пора забирать всех в город, определять на зимние квартиры, потому как уже холодновато по ночам, да и дачники поредели, попросить доглядеть некого. Погрузили в коробку молодняк вместе с матерями, привозим домой. И тут начинается самое интересное.

Подрастая, котята становятся всё шумнее, носятся друг за дружкой, прыгают по кроватям, по диванам, по шторам вверх-вниз, обдирают обои, да ещё и метки оставляют по углам. От такой весёлой жизни давай мы названивать соседям, знакомым, опрашивать, не нужны ли кому котята. Даже объявления по подъездам расклеили, мол, отдадим в хорошие руки. Но что-то за живыми подарками к нам не спешили. Откликнулась одна дама, да и та в последнюю минуту передумала. А другая вздохнула с пониманьем и подсказала, что у Старого рынка есть такое заведение «Кошкин дом», где якобы принимают котят. Мы со старухой, измученные буйными зверятами, сгребли их в корзину и повезли в этот кошачий приют.

Приезжаем. Действительно стоит павильончик сбоку рынка, написано: «Кошкин дом» и мурка нарисована с выгнутой спиной, чёрная и глазастая, вроде наших разбойников. Входим. Запашок шибает в нос, котята там и сям: дремлют в корзинках, ползают в вольерчиках. За барьером сидит полная дама. Встречает радушно. Показываем живность, она любезно разъясняет:

— Да, примем ваших питомцев с удовольствием. Но есть небольшое условие. Сперва их надо будет свозить в ветлечебницу, на улицу Пролетарскую. Там осмотрят котяточек, сделают прививочки, дадут справочку на каждого индивидуальную, привезёте с этими документиками и тогда…

Поморщились мы от нарисованной перспективы, но делать нечего, потащились со своими домашними любимцами на Пролетарскую. Считай, на окраину города, с двумя пересадками на автобусах, да не без претензий кондукторов к таким спецпассажирам. Нашли ветлечебницу. Очередь там поболе, чем в людской больнице. Сидят, стоят страдальцы с собаками, с кошками, с хомячками, свинками разными. Рычанье, лай, мяуканье, писк. Отстояли мы часика этак полтора. Наконец молоденькая ветврач, не иначе студентка-практикантка аграрного вуза, занялась нашими питомцами. Дала по таблетке против глистов и прочих паразитов, выпоили мы их с грехом пополам. После осмотра и прививочек на каждого ушастика получили соответствующую справочку. Не бесплатно, конечно, под сотенку штука.

Собрали мы всю эту документацию в файлик и, на радостях забыв про обед, рванули мимо родной пятиэтажки в «Кошкин дом» по знакомой уже дороге. Прибыли. Начали оформлять новосёлов. Тоже не даром, между прочим. За кормление и проживание до предполагаемой передачи в «хорошие руки» пришлось выложить опять по сотняжке за голову, да ещё и с гаком, забыл уж, за какие услуги. Словом, где-то в зелёненькую точно обошлись все процедуры, не считая транспортных расходов.

И вот едва успели мы закончить приёмо-сдаточные дела и расплатиться, как вбежала женщина средних лет, броско одетая блондинка, должно быть, из новых русских и, тотчас заметив наших котят, живо заинтересовалась ими. Правда, не всеми, а двумя:

— Ой, мне бы вот этих, черепахового цвета! Говорят, они сейчас в тренде.

А я и масти такой не слыхал. Но два котёнка действительно были чуть посветлее, вроде с дыминкой. Восторги гостьи тут же подхватила хозяйка «Кошкиного дома»:

— Да-да, такие высоко котируются. И не зря. Дело не только в красоте и редкости меха. Давно замечено, что именно черепаховые легче других адаптируются в новой обстановке, а главное — приносят в дом богатство, счастье, семейный лад. Это, можно сказать, живые обереги и талисманы. В хорошие руки отдам недорого: по тысчонке за чудо.

— Ну-у, это, пожалуй, многовато, — свела брови покупательница.

И начинают они торг, перекидываясь цифрами, что на твоём аукционе, пока, наконец, не сходятся на кругленькой сумме в семьсот рэ за «чудика». Домовладелица кошачья упаковывает двух черепаховых в картонную коробку, а мы со старухой от порога наблюдаем за всем этим, онемелые, как в той гоголевской сцене. У меня вообще челюсть в отпаде, но бабка, шмыгнув носом, ещё пытается что-то возразить:

— Как же так? Мы ж только что сдали… за проживанье, за питанье…

— А вы кто такие? — поднимает на неё хозяйка хищные шары. — Я вас впервые вижу. Не шантажируйте! И вообще освободите помещение. Или полицию позвать?

Я дёргаю дверь и тяну мою «шантажистку» за рукав, чтоб не связывалась. Счастливая обладательница наших «черепашек», приносящих

богатство и семейный лад, выходит следом с коробкой, перевязанной лентами, и ныряет в свой «Лексус». А мы бредём старой дорогой на автобусную остановку. И я говорю старухе в утешение:
— Не горюй, есть в этом и что-то хорошее. Считай, ещё дёшево отделались при нынешнем-то рынке. А главное — освободились от лишней обузы…
— Да, и ничего личного, только бизнес! — подытожил рассказ соседа бодрый старик в олимпийке и, хохотнув, добавил: — Кошачий.
— Звериный! — поправил его собеседник, затем резко встал, махнул на прощанье и заспешил к выходу с сумкой в руке. Объявили его платформу.

Ольга Суханова

Руан рифмуя с Орлеаном…

● ● ●

А ты меня совсем не узнаёшь,
Хотя всегда по имени зовёшь,
Хотя при встрече окликаешь сам.
Не узнаёшь — не та, не так, не там.
Я знаю: у неузнанных — свой ад.
Нас черти над кострами не коптят,
Но в том аду, едва глаза закрой, —
Другие, кто тебе казался мной,
Мне видятся. Затейливы пути,
Но никуда от ада не уйти.
Толпа людей, аэропорт, вокзал,
И ад везде, едва закрой глаза.

● ● ●

Небо, небо. Крыши, крыши.
Сколько зрителей вокруг!
Закрепить канат — повыше,
Чтобы сразу, если вдруг.

Под ногами — лучик шаткий.
В горле горький ком возник.
И от неба до брусчатки —
Только выдох, только миг.

Возле облака, как птица,
Пляшешь — как в последний раз.
Да, когда-нибудь случится.
Не сегодня, не сейчас.

Ветер листья заполощет,
Дрогнет старенький канат,
Ахнет рыночная площадь.
Нет, никто не виноват.

Свист толпы, цветов охапки,
Звон восторженных хлопков,
Перевёрнутая шапка
Тяжела от медяков.

● ● ●

Неровной горкой сложен хворост.
Палач лохмат и сероглаз,
Он весел и, наверно, холост.
Последний час. Последний раз.

Вот край — страшней всего на свете.
Мне только, только б не кричать.
Ловлю щекою майский ветер
И всё смотрю на палача.

А на краю, на страшном, странном,
Слова послушны и легки:
Руан рифмуя с Орлеаном,
Я в первый раз пишу стихи.

● ● ●

Пожалел бы ты крысу-дурочку,
Не бродил бы в такой дали, —
Ведь она за твоею дудочкой
Побежит хоть на край земли.

И, плутая в проулках узеньких,
Как привязанная, пойдёт
За нехитрой твоею музыкой,
Где всего-то двенадцать нот.

И никем пока не измерена
В речке разная глубина:
Для тебя — только шаг от берега,
Для неё — не достать до дна.

Но она не боится вроде бы,
Не страшна ей у горла мгла —
Страшно ей, что твою мелодию
Не услышать она могла.

Елена Костандис

Яблочный август

Лето пятьдесят пятого года было сухим и жарким. Но уже к середине июля пошли дожди — короткие, несущие свежесть и прохладу, способные напоить истомившуюся землю. И сейчас август стоял тёплый, весь наполненный стуком яблок, падающих с ветвей в садах. Тихо проплывали над крышами перламутровые облака, и небо становилось к концу лета высоким, прозрачным.

Егор Седых сошёл с поезда, огляделся. В его родном городе вокзал был шумным, бурлящим: куда-то торопились, кто-то прощался, кто-то встречал. Здесь же было тихо, безлюдно; пахло — как на всех вокзалах — креозотом, паровозной гарью, но ещё почему-то и яблоками. И сам вокзальчик был крохотный. У входа две старушонки, сидящие с корзинами лука, оглядели Егора цепкими глазами.

Он хмыкнул, утёр лоб (жаркий был день, непривычно жаркий для августа) и зашагал в город.

Улица, которая вела от вокзала к городу, вся заросла лопухами и кустом малины. Из придорожной канавки тянуло сыростью.

— Эй, малец, на Декабристов куда свернуть? — спросил Егор у белобрысого мальчишки, который тащил ведро с водой от колонки.

Тот махнул рукой направо.

Рыже-полосатый кот внимательно оглядывал Егора крыжовенным глазом из-за тюлевых занавесок открытого окна. Он лежал между горшками бальзамина и герани, лениво помахивая хвостом.

«Ишь, и не боятся ведь окно вот так распахнутым на улицу держать», — подумал Егор. Хотя тут — кого можно было бояться? В этом тихом городке все, наверное, друг друга знали. Он ещё раз проверил по бумажке адрес (хотя знал его давно наизусть), будто не мог себе поверить, что и вправду пришёл, куда надо.

Подошел к калитке и позвал громко:

— Есть кто живой?

Видно было, что есть — во дворе тут же залаяла собака. Темноволосая женщина, варившая на таганке варенье, перестала мешать в тазу длинной ложкой, откинула прядь со лба и подошла к калитке.

— Вы к Николаю? Проходите, — она отодвинула щеколду, цыкнула на собаку и пропустила Егора во двор.

Он снял кепку, провёл по коротко стриженым волосам.

— Ну, здравствуй, Лена.

— Здравствуйте… — посмотрела вежливо-вопросительно и повторила: — Вы к Николаю?

— К тебе я. Здравствуй.

Она смотрела в упор, не узнавая, минуту или две, а потом лицо её вдруг сразу потемнело и подурнело, красивые брови сдвинулись недобро.

— Ты это, значит. Зачем пришёл?

— Тебя увидеть.

— Увидел? А теперь назад шагай. Шагай, откуда пришёл.

И тут же раздражённо крикнула псу, залаявшему снова:

— Замолчи, Пушок!

— С таким Пушком только на кабана ходить, — неловко пошутил Егор.

— Ты зачем пришёл? О собаках разговаривать? Иди прочь, говорю же.

— Эх, Лена, ну что ж ты делаешь. Я тебя искал так долго. Ты вон, в какую даль забралась. Фамилию сменила.

— Замуж вышла — вот и сменила. Тебе какая печаль?

— Да никакой печали. Просто увидать хотел. Как-никак жена бывшая.

— Именно, что бывшая!

Пушок снова залился лаем.

Елена Петровна уже почти не помнила ту счастливую весну сорокового. Не помнила или не хотела помнить? Что за штуки с нами проделывает наша память, воскрешая из прошлого образы и людей не тогда, когда мы хотим, а когда ей это заблагорассудится?

Из весны сорокового Елена Петровна, а тогда ещё просто Леночка, помнила лучше всего белую кипень абрикосов в садах и новое платье из шёлкового фая цвета морской волны. Она сшила его на свою первую зарплату медсестры в санатории; сшила у лучшей портнихи города, к которой не только местные щеголихи стояли в очередь, но и московские курортницы считали за честь попасть. Какая это была нежная, беззаботная весна! И в эту весну Егор Седых, приехавший в санаторий по путёвке заводского комитета, увидел Леночку, влюбился с первого взгляда, закружил ей голову,

зачаровал рассказами, и вот уже через полтора месяца Леночка, не помня себя от счастья, уезжала с любимым мужем к нему на родину, в большой уральский город.

Она ещё долго не помнила себя от счастья — так она была влюблена. Именно это позволило ей с лёгкостью поменять родной город — зелёный, приморский, уютный, — на место, где она никого не знала, где деревьев было мало, а заводской копоти много. Но какое это имело значение — ведь рядом был Егор. Она ждала его по вечерам с завода, обмирая от любви и нежности; потом, когда он всё чаще стал задерживаться после смены, — обмирая уже от тревоги; потом от тоски и одиночества. А потом Егор вернулся слишком рано и, нехорошо глядя в упор, сказал, что нужно расстаться: он полюбил другую — красивую учётчицу Тамарку, и комната нужна, так что Лена пусть возвращается к себе в город или делает, что хочет.

— Снулая ты какая-то, — с наивной прямотой заявил Егор. — Ни выпить с тобой, ни погулять толком. Скучно. На Тамарке женюсь.

Лена плакала весь вечер, пыталась поговорить, уговорить, разжалобить, взывала к совести, но Егор, послушав её со скучающим лицом, только ответил:

— Комнату освободи. Жилплощадь нам нужна.

На следующий день Лена собрала пожитки, уволилась со службы — главврач никак не мог понять, почему же она уезжает, и обещал дать место в общежитии. Ночью, не помня себя от горя, прижалась к спине мужа мокрым лицом, прошептала: «Егорушка…» Он отодвинулся и повторил ясным, чётким, как на собрании, голосом: «Жилплощадь освободи».

На вокзале в кассе на неё посмотрели странно, сказали, что билетов пока нет, когда будут — неизвестно, а нужно слушать радио. Она села на свой чемоданчик, не зная, что ей делать дальше, и тут из чёрного короба на столбе зазвучало выступление наркома Молотова.

Началась война.

Люди рвались сюда, на восток, на Урал — она пыталась пробраться в западном направлении, к себе домой. На неё орали нечеловеческим матом начальники поездов, военкомы, проводницы и вообще все кому не лень — она же с тупым упорством пробиралась через полстраны к себе. К маме и папе. В свой маленький город у моря.

Добралась она только в самом конце лета. Она не застала родителей в живых — те погибли при бомбёжке. Сильно немцы этот городок бомбили. И почему-то смерть родителей, как ни дико это было, вывела Лену из состояния полубезумного оцепенения, в котором она жила с момента объяснения с Егором.

Она служила в госпитале; ходила рубить с другими лёд на заливе — это нужно было, чтобы немецкие танки не могли по льду пройти на Ростов. Была одержима теперь одной целью: жить, выжить, победить.

Пятого августа сорок второго в городе взорвали электростанцию, вокзал, что-то ещё.

А через три дня в город вошли немецкие войска.

Какой ангел-хранитель берег её, что в тот день она была дома? Соседка, прибежав, кинула ей скороговоркой: «И не смей носа показывать со двора, расстреляют, как собаку». Через несколько дней Лена узнала: в её госпитале, где оставались раненые, расстреляли всех — больных, сестёр, даже нянечек. И теперь там гестапо. Там до войны был санаторий — тот самый санаторий №1, где она начала работать медицинской сестрой, где встретила Егора.

Она не пошла на службу к немцам, как это делали более рассудительные граждане. Перестала умываться, ходила чучелом, носила самые что ни на есть отрепья — от одной мысли, что какой-нибудь фриц обратит на неё внимание, тело скручивало пружиной. А некоторые бывшие одноклассницы всё же решили, что нужно в жизни устраиваться, гуляли с немцами, жевали шоколад, хохотали старательно громко — ненавидимые исподтишка лютой ненавистью.

Еды не хватало. Немного кормил огородик, но под ложечкой всё время сосало от голода.

Лена стала носить на толкучку вещи, обменивала их на муку, пшено, иногда даже на кусочек сала. И в тот октябрьский день, когда с моря дул, завывая, кинжальный ветер, она понесла на базар отцовское пальто. Встала затемно — ночи становились уже по-зимнему длинными, светало поздно. Она хотела успеть к самому открытию базара, чтобы выручить за это пальто хоть что-то приличное. Может, кусок мяса на косточке, чтобы сварить целый чугунок борща.

Обычно на базар она ходила длинной дорогой. Сегодня ветер и холод погнали её по короткой. Этой короткой дорогой, мимо взорванного цеха консервного завода, люди опасались ходить — говорили, именно туда немцы пригоняют на расстрел, там земля потом ещё несколько дней шевелится. Но холод был так невыносим, что мысль о лишних двадцати минутах ходьбы заставила Лену забыть про страх. Какой ангел-хранитель её в тот день этой короткой дорогой повёл?

Егор рассматривал её в упор, а она смотрела не на него, а куда-то вдаль, задумавшись.

— Ты почти и не изменилась, — сказал он негромко. — Будто вчера расстались. Косы вот только отпустила.

Елена Петровна поправила узел волос и ответила тяжёлым взглядом. Сладкий, карамельный запах горячих яблок и сахара так не вязался с этим ненужным разговором.

— А жену свою куда дел? Она знает, что ты меня искать поехал?
— А нет жены,—нехорошо усмехнулся Егор.—Бросила она меня почти сразу, как узнала, что я без вести пропал. Живо себе другого нашла.
— Чтобы пить и гулять было с кем,—едко заметила Елена Петровна.—А ты, что ж, в плену был?
— Был,—помрачнел Егор.—Да я только год назад освободился.

Она глядела, не понимая.
— Война уж десять лет как закончилась. В каком таком плену ты столько был?
— Да не в плену. Сидел я, Лена.
— Сидел? За что?

Он молчал.
— Погоди, ты что, к власовцам подался?—догадалась вдруг она.

Он всё так же молчал, тискfuriously в руках кепку.
— Ох, Господи…—выдохнула она и опустилась на табуретку, на которой сидела, следя за вареньем, пока не появился в этом дворе её бывший муж.

Пушок залаял снова—на этот раз радостно, приветственно.
— Леночка, я вернулся!—сказал мужской голос, но Елена Петровна сейчас никого не слышала.

Николай Сухарев прожил до войны на свете двадцать пять лет, любил больше всего книги, осеннюю листву в московских парках, любил своих учеников, и если бы кто-нибудь ему сказал, что однажды он вернётся с того света, то Николай бы вежливо посмеялся. В жизнь после смерти он тогда не верил, поэтому и возвращаться было бы неоткуда.

Сейчас ему было сорок, и насчёт жизни после смерти он предпочитал не говорить.

Потому что однажды с того света сам уже вернулся.

Он увидел во дворе незнакомого мужчину в серой, сильно поношенной тужурке; увидел, что жена сидит в оцепенении над тазом с вареньем.
— Вы, простите, ко мне?
— Д-да, к вам, наверное. Я тут это… по поводу военных лет,—сказал вдруг Егор.
— Так что же мы стоим во дворе? Лена, Лена, зови гостя в дом! Идёмте, обедать сейчас будем!—радостно заговорил Сухарев, подталкивая Егора к крыльцу. Елена Петровна хотела сказать что-то, но не смогла, плечи её опустились. Она сняла варенье с огня и тяжёлыми шагами пошла вслед за мужчинами.

Блики августовского солнца лежали на чистых половицах. У стен стояли подрамники и мольберты.
— Вы что, художник?—спросил Егор.
— Я? Нет, я любитель,—засмеялся Сухарев.—Это мой дед был художник, одно его полотно даже в Третьяковке есть. А я просто люблю писать. Тут у нас красиво, вы же видели. Невозможно не писать. Дед сюда приезжал на этюды. Дом от него мне достался; он этот дом купил, чтобы летом работать. Вообще-то я в школе историю преподаю, а пишу так, иногда, в свободное время.

Егор смерил его взглядом. Вот он, значит, какой—новый муж. Ничего так, с виду ладный. Волос с проседью, но тёмные глаза блестят по-молодому.

Вот интересно: быстро она его, Егора, забыла?
— А дети есть у вас?—спросил Егор.—Двое,—улыбнулся Сухарев.—Петя и Лиза. Они двойняшки. Десять лет им как раз через неделю исполнится. С ребятами сейчас на озеро пошли…

«Десять лет,—подумал Егор,—сразу после войны родились. Молодец, Ленка, даже при военном безмужичье устроилась».
— Пойдёмте за стол,—позвал Сухарев.

Обедали, как отметил Егор, «по-образованному». Скатерть вышитая, щи Елена Петровна разливала из белой супницы с золотым ободком.
— За встречу, Егор…
— Семёнович,—ответил тот, подставляя рюмку.
— Закусывайте, она крепкая. Вот селёдочка. А это наш знаменитый ростовский лук, вы такой раньше, наверное, и не пробовали. Лена, угощай гостя!

Елена Петровна сидела, поставив локти на стол, уперев лоб в ладони. Егор оглядывал комнату, представляя, как это всё она тут развешивала, расстилала, прилаживала. «Это у неё даже тогда было—чтобы скатерти, салфетки, красиво всё».

Сухарев прожевал кусочек ноздреватого хлеба («Интересно, тоже сама пекла?») и обернулся к Егору:
— Вы меня простите, Егор Семёнович, я никак не могу вспомнить, где мы с вами воевали. Знаете, контузия, память иногда подводит. Даже смешно—все исторические даты помню, а людей по фамилии забываю. Так где мы воевали?
— А вы не воевали вместе,—негромко и с расстановкой произнесла Елена Петровна, отнимая, наконец, от лица руки.

Муж взглянул на неё недоумевающе.
— Ты не мог вместе с ним воевать. Это мой бывший муж. А воевал он у Власова.

Сухарев опустил ложку в щи и тревожно посмотрел на Егора.

Николая Сухарева после войны стала мучить бессонница. Он просыпался среди ночи от того, что сердце колотилось неистово где-то почти в горле, было трудно дышать, и во сне приходило ощущение, что через минуту—смерть. «Что же вы хотите,—разводили руками врачи,—столько пережить. Контузия, расстрел, заживо похоронили. Скажите спасибо, что хоть так». Пил он мало; курить врачи запретили настрого—всё же лёгкое было прострелено; порошки, которые ему

давала Лена, помогали плохо. Оставалось только одно — читать при свете ночника, чтобы не разбудить жену. Или думать, лёжа в темноте. И он думал. О том, что никакой ход истории не в силах объяснить, как жизнь двух людей может стать одним целым — не по их воле, не по их выбору, а стечением обстоятельств, волной, прибившей две людские щепочки друг к другу.

Впервые Лену он разглядел только после того, как городок был освобождён нашей армией. До этого она куталась в какой-то дырявый платок, и невозможно было разобрать, сколько же ей лет на самом деле. А тогда, в феврале сорок третьего, она сходила в баню, приоделась, и он, увидев её новой и настоящей, ахнул про себя: да она же красавица! Хотя её красота уже ничего и не решала. Он уже любил её. Любил той любовью, какой дети любят родителей, а родители — детей; любил, как мы любим жизнь, солнечный свет, воздух, потому что она и стала для него жизнью, воздухом, всем.

В холодном полусвете октябрьского утра, проходя мимо взорванного цеха, она увидела то, о чём шептались соседки — земля, набросанная кучей. Расстреляли и забросали наспех — уверенные, что зароют как следует потом. Расстреливали не немцы — местные, кто к немцам подался; немцы сами рук и не пачкали. А эти расстреливали — и скорее водку жрать, почти до утра. Ничего убитым не сделается, коль не сразу их закопают.

Её трясло от холода и страха, она нагнулась посмотреть — что это, не мерещится? Скрюченный труп вдруг слабо шевельнулся. Протянула к нему руку и завизжала от ужаса. Хоть и была медицинской сестрой, но как тут было не завизжать — пальцы слабо сжались на её запястье. Она стала лихорадочно поднимать с мёрзлой земли, ломая ногти, тело мужчины в залитом кровью исподнем.

— Нас вчера тут… расстреляли… — прохрипел он, — меня недострелили… всю ночь выбирался… тут вы… помогите…

— Пойдёмте, пойдёмте отсюда, — горячо зашептала она, накидывая на него пальто отца, которое несла на базар. — Я тут недалеко живу, немножко совсем пройти, обопритесь об меня, только скорее, умоляю, скорее, уже светает, увидят нас, не дай Бог…

Кое-как подняла его с земли, он обхватил её за плечи — со стороны они напоминали пьяного мужа и верную жену, которая тащит его на себе домой с гулянки. Дома Лена обтёрла его лицо от земли и крови мокрой тряпкой, стащила с него рубаху и прикусила губу: правое лёгкое было прострелено, пуля прошла навылет.

Через час она стояла перед врачом городской больницы Елизаветой Алексеевной, из «бывших», и сбивчиво лепетала, что ничего, ничего не пожалеет, помощь так нужна.

Елизавета Алексеевна смотрела на неё слегка прищурясь — она вся была, как цвета стали: серый костюм, седоватый старомодный валик, серые глаза. Она пошла служить у немцев, и те её побаивались, потому что любому фельдфебелю она могла сказать что-то такое жёсткое по-немецки, своим ледяным голосом, не повышая тона, что даже этот Фридрих или Пауль, давно утративший человеческий облик, чувствовал себя мальчишкой, вызванным к директору.

— Вы же понимаете, что меня за это могут повесить? — спросила она Лену, но прозвучало так, будто спрашивала себя. — Я хорошо знала ваших родителей. Ради них я вам помогу.

Елизавету Алексеевну немцы всё же повесили, ровно за месяц до освобождения города. Кто-то из соседей донёс в гестапо, что она прячет у себя двух раненых красноармейцев. Она поднялась на эшафот всё такая же прямая и надменная, что-то брезгливо сказала по-немецки охране, и охрана смущённо засмеялась.

Всё это Сухарев узнал уже позднее. А пока он лежал, изнывая от боли в груди, в маленьком доме Лены, кашлял кровью, и гадал: что было бы, если бы эта странная женщина не подобрала его возле наспех закиданной после расстрела ямы? Он не мог разглядеть её толком, видел только печальный блеск глаз из-под дырявого грязного платка, называл про себя спасительницей и понимал, что теперь его жизнь неотделима от её жизни.

— Вот же ты хваткая, — осклабился Егор, — даже под немцем мужика себе в хозяйство нашла!

— А ты гад, — сказала Елена Петровна. Прозвучало это не обидно, не оскорбительно, скорее грустно.

— Егор Семёнович, — Сухарев кашлянул. — Думаю, вам лучше бы уйти после обеда.

— Так я и не к тебе пришёл, — откинулся на спинку стула Егор. — Вон, жена моя сидит, пусть она и решает, когда мне уходить.

— Я тебе не жена уже много лет, — процедила она. — И зря я тебя вообще в дом пустила. Это ты Николаю спасибо скажи. Тебя не за стол сажать, тебя в клетку сажать надо. И людям показывать — вот, смотрите, граждане, так жить нельзя!

— А ты меня не совести, не совести! — поднял голос Егор. — Ты что про плен знаешь? Ты думаешь, я с большой радости к Власову подался? Ты в лагере была, когда жрать нечего, когда баланды даже не было, когда глины кусок сосёшь, чтобы голод обмануть? А тут приехали вербовать в эту… как её… освободительную армию. Говорят — кто не согласится, расстреляем. Кто согласится, будет питаться хорошо, булки, говорят, белые давать будем…

— И как? Дали булки-то? Или обманули? — зло спросила Елена Петровна.

— Смешно тебе? А ты бы попала в лагерь, посмотрел бы я на тебя. Так-то все храбрые, пока там не были…

— Я там был,— спокойно сказал вдруг Сухарев.— Всё верно вы рассказываете, Егор Семёнович. И про баланду, которой не хватало, и про глину, чтобы голод обмануть. Всё так и было, подтверждаю.
— Ну да, я же и говорю,— смешался Егор.— Ну, вот не смог я быть героем и погибнуть. Не все могут. И не всех бабы от расстрела спасают.
— Это вы в сорок третьем в плен попали?
— В конце сорок третьего. Да я у Власова год только повоевал. А сидел потом ещё почти десятку.
— Десятку, не десятку… Что тебе надо, всё-таки? Зачем пришёл?— Елена Петровна встала и заходила нервно по комнате.

Лена и Николай поженились в сорок четвёртом. Сухарева комиссовали, дали инвалидность— Лена продала родительский домишко: она больше не хотела ни дня оставаться в своём городке. Сначала поселились в Москве, у родителей Николая, но потом, весной сорок пятого, когда Сухарев повёз жену, чтобы показать ей старый дедовский дом в Ростове Великом, она поняла, что нигде больше жить не хочет— только здесь. Здесь же и родились в августе сорок пятого их двойняшки.

И с тех пор август для Елены Петровны стал самым любимым месяцем. Озеро слепило расплавленным серебром, медленно проплывали над ним облака, с тихим стуком в садах падали яблоки. Пахло дымом из печных труб, свежим хлебом и сохнущим зверобоем, и тихо шла жизнь— такая, о какой мечталось: мирная, настоящая.

— Прощения я хотел попросить, Лена,— тихо сказал Егор.— Хоть ты меня чтоб простила. Мать, пока я сидел, померла. Отец говорит— от позора. Жены у меня нет, детей нет, братья со мной знаться не хотят. Отец говорит— это всё у меня началось, когда я тебя прогнал. Тогда, мол, и человеком перестал быть. Сказал— найди её, попроси у неё прощения. Если простит, сможешь жить дальше.

Он замолчал. В комнате повисла звенящая тишина. Где-то на соседней улице протарахтел грузовик.
— Ну? Что скажешь, Лена?

Она сидела, опустив глаза на скатерть, будто в вышитых маках пыталась найти ответ на его вопрос.
— Не знаю я, Егор,— она впервые за день назвала его по имени.— Нечего мне прощать или не прощать. Сходятся люди, расходятся— тут сердцу не прикажешь. То, что прогнал тогда— это другой разговор. Но ведь, не прогони ты меня, я бы в свой город не вернулась. Николая не встретила. Так что, как ни крути, а хорошо выходит, что прогнал.
— Ишь, как вывернула…
— А что мне выворачивать? Я живу как живу. Ты не у меня прощения проси. Ты у тех проси, в кого ты стрелял. У тех, кого убил— у них проси.
— Да я и так уже без малого десять лет отсидел…
— А хоть двадцать. Отсидел, да только, вижу, ничего не понял. Иди, Егор. Живи себе. Если там,— мотнула она головой в потолок,— что-то есть всё же, то там нас и рассудят. А я тебе тут не судья.

Он помолчал, потом поднялся.
— Куда вы сейчас?— спросил Сухарев.
— В Сибирь подамся. Там рабочие руки нужны. Или на север. Страна большая. Спасибо вам, как говорится, за добро, за ласку… Слушай, Лена,— сказал он вдруг повеселевшим голосом,— а помнишь, платье у тебя было такое, цвета морской волны? Мы когда познакомились, ты в нём была? Цело платье, нет?
— Дурак,— спокойно ответила Елена Петровна.— Я это платье на два стакана пшена выменяла. В сорок третьем.

Егор шёл к вокзалу, насвистывая сквозь зубы. «Там нас и рассудят», сказала. А есть оно это самое, там? Что там вообще есть? А и шут с ним. Если нет, то и не надо. Гордая такая стала, а ведь как плакала в ту ночь: «Егорушка…» А мужик у неё непрост, ох непрост…

Сухаревы в тот вечер долго сидели в саду. Дети уже пошли спать, а Лена с Николаем всё сидели, обнявшись, иногда обменивались короткими фразами. Лена вдруг прижала ладонь мужа к щеке и сказала:
— Знаешь, так это странно. Но ведь если бы не война, никогда бы я тебя не встретила.

Он поцеловал жену в волосы и прошептал:
— Я тебя очень люблю, Лена.

Тонкий месяц зацепился за выступ печной трубы, и пели в траве свою нежную вечную песню ночные сверчки.

Тёплый был август.

Тёплый и яблочный.

Семён Каминский

Мама Пасюка

Большая перемена уже подходила к концу, когда по команде Конькова несколько пацанов отшвырнули недокуренные сигареты, неожиданно схватили Пасюка и, повалив на заплёванную деревянную скамейку, врытую возле оранжереи, стали сдирать с него штаны. Пасюк пискляво орал и дико вырывался. Всю эту сцену со смешками наблюдали стоящие неподалёку девчонки, но от школы скамейка была не видна из-за высоких кустов, так что помощи ждать было совершенно неоткуда. Штаны сняли не совсем, только стащили на ботинки, предъявив миру белые, худосочные пасюковские ноги и расхлябанные «труханы» в мелкий жёлто-фиолетовый цветочек—и тут оглушительно заверещал звонок. Девчонки ушли, и так как продолжать процесс без зрителей уже не было смысла, Пасюка отпустили. В класс он вернулся самым последним, всё ещё красным и потным, и, ни на кого не глядя, проскочил на своё место. Марк Давидович стоял к классу спиной и вообще ничего не заметил, продолжая скрести по стеклянной доске.

Большая, разговорчивая мама Пасюка была председателем родительского комитета. Она нередко появлялась в школе, с неизменным рвением совершая разные, полезные, по её мнению, дела. Так что если бы кто-то хоть намекнул ей на издевательства, регулярно совершаемые над её сыном, крику было бы немало. Но молчали все. И девчонки, и сам Пасюк.

Впрочем, даже если бы мама Пасюка и издала крик, Конькова всё равно трудно было бы наказать. Коньков неплохо учился и никогда сам ничего дурного не совершал—только подавал идеи и отдавал распоряжения. Был он улыбчивый во весь красивый тонкогубый рот, лёгкий, слушаться его было приятно. Жил с матерью и старшим братом, недавно окончившим вуз. Мать работала медсестрой, молодо и модно выглядела и, по словам Конькова, «пользовалась повышенным потребительским спросом». Её часто не было дома, а брат устраивал занятные вечеринки с ласковыми подружками, и даже Конькову-младшему иногда перепадали их ласки, по крайней мере, он хвастался этим на скамейке возле оранжереи с такими подробностями, что мальчишки напряжённо хихикали и встать со скамейки сразу не могли.

Над Пасюком продолжали прикалываться всячески: после физкультуры, в самый неподходящий момент, затолкнули в женскую раздевалку, стащили у кого-то из девчонок перламутровый лак для ногтей и залили Пасюку прямо в портфель, а теперь вот и штаны сняли на виду у всех. При этом сочувствия Пасюк ни у кого не вызывал, ну абсолютно ни у кого. И хотя по утрам он вроде всегда приходил чистый-наглаженный, только брюки и пиджак коротковаты, в середине дня он уже выглядел помятым, белёсые волосики на голове—торчком, кругленькая сосредоточенная физиономия—в лиловых пятнах, и дух от него—якобы—шёл нехороший, с ним даже сидеть за одной партой никто не хотел. Любимой шуткой Конькова было громко и неожиданно заявить проникновенным басом прямо посередине урока (особенно эффектно это получалось на уроке молодой исторички): «Ирина Валентиновна, откройте, пожалуйста, окно, а то Пасюк тут так подпустил, что дышать—фу-у!—совершенно невозможно!» И Пасюк лиловел ещё сильнее, и класс гоготал, и Ирина Валентиновна, смущённо прервав объяснение на полуслове, начинала дёргать заедавшую оконную створку.

Когда за очередной пациенткой закрылась дверь, медсестра Альбина Конькова что-то сказала врачу.
—Что вы сказали, Альбиночка?—переспросил гинеколог женской консультации Ю.С. Половинкин, снимая очки и отрываясь от писанины в медицинской карточке.—Ваш сын учится в одном классе вместе с сыном этой женщины?.. Этого, знаете, не может быть... ну, в смысле, её сына. Она же у нас нерожавшая... И не могла она рожать: проблем у неё там—полна, как говорится... гм... коробочка. Сын-то, выходит, приёмный. Приёмный, Альбиночка. И никто, получается, об этом не догадывался? Вполне вероятно... Бывает, дорогая, бывает, вы же знаете: одни избавляются, как от лишнего, а другие хотят, да Бог не даёт... мы-то с вами много чего этакого знаем... И, безусловно, распространяться об этом никому не стоит—ни в коем случае!.. Пригласите следующую больную, пожалуйста.

—Ах, Ирина Валентиновна,—печально произнёс Коньков на вопрос учительницы, почему он сидит,

положив понурую голову на сложенные руки, а не записывает новый материал,—вы, наверно, не знаете… А я так переживаю. Наш Пасюк, он же, бедняга, не родной сын своих родителей…

— Как—не родной?—обомлела Ирина Валентиновна, повернувшись к Пасюку.—Мы же его маму знаем…

— Да,—продолжал Коньков, ещё более проникновенно,—маму Пасюка мы знаем… только она ему не мама, вернее, не родная мама. Он—приёмный сын, сирота,—голос у Конькова прямо пресёкся от жалости к товарищу,—и он этого даже сам не знал. Они от него, представляете, это скрывали. Всю жизнь. Всю жизнь! А мы-то думали, почему он так на своих родителей не похож? И вот, оказывается, что-о!..

— Ну что ты такое говоришь?—пыталась возразить Ирина Валентиновна, растерянно переводя взгляд то на Конькова, то на класс, то на Пасюка.—Откуда это такое стало известно?

— А вот, к сожалению, как-то стало,—совсем горестно вздохнул Коньков,—хотя, конечно, я бы не стал травмировать несчастного приёмыша лишними вопросами. Правда, Пасюк?—и он тоже повернулся к Пасюку.—Это же такая беда…

И все смотрели на Пасюка. А тот, даже не лиловый, как обычно, а уже почти синий, вдруг заулыбался—слабо, кривенько, непонятно чему—вроде разглядел что-то на доске или на портретах известных людей над ней.

Ирина Валентиновна подошла к Пасюку и сначала приподняла руку, как бы решив его погладить, но потом только тихонько сказала:

— Может быть, тебе надо выйти, Пасюк? Ты выйди, выйди, можно…

Никто из родных Лильки и не думал, что она вообще когда-нибудь выйдет замуж. Не то чтобы она уж очень была некрасива в девицах, но как-то всего было у неё чересчур много: и немалый рост, и внушительная грудь, и плотные покатые плечи, и пышные чёрные волосы, и широкое плосковатое лицо. «Большая девочка»,—вздыхал её миниатюрный папа-сапожник, когда она тяжеловато топала мимо его будки, возвращаясь из школы с неизменной круглой булочкой в руке. Предполагалось, что учиться Лилька будет в ПТУ, на оператора станков с числовым программным управлением, но она устроилась на какую-то конторскую службу. Заочно окончила библиотечный институт в Харькове, уехала работать в библиотеку маленького военного городка в Казахстане и там вышла замуж за совсем немолодого капитана, такого же чернявого и щуплого, как её папа. Лет ей уже было хорошо за тридцать, когда они поженились, но ведь вышла всётаки!.. И человек, смотри, попался достойный—всё тихим голосом: «Лиля, ты не могла бы мне простирнуть зелёную рубашку?», «Лиля, не сочти за труд налить чашку чаю», «Лиля, как ты скажешь, так и сделаем»… Ну просто кино—и не верится!

Беда после открылась: детей у них никак не получалось родить—и два, и три года, и пять лет после свадьбы. Лечились-консультировались множество раз: Лиля самоотверженно внимала советам, настойчиво глотала таблетки и выполняла все предписания—причём старалась не только она, но и её капитан, которому тоже пришлось пройти кучу малоприятных обследований и процедур, но ничего из этого не вышло.

Капитана (а потом и майора) стали мотать по стране, и Лилька наездилась с ним вдоволь. Поздней ветреной осенью, во время одного из таких, уже ставших привычными переездов из одной части в другую, они сошли с поезда на крохотной станции со своими тремя дерматиновыми чемоданами, исцарапанными до белизны вдоль и поперёк. Шёл назойливый мелкий дождь, обещанная машина из части ещё не пришла, и в пустом, прокуренном зальчике ожидания Лилька сразу увидела на скамейке свёрток из сиреневого байкового одеяла. Свёрток издавал квакающие звуки, рядом стояла железная кружка, оттуда торчала бутылочка с соской, и молока в бутылочке было на треть. Кто это всё здесь оставил, установить не представлялось возможным: в зальчике никого не было, окошко кассира казалось закрытым навечно, а мужичок в железнодорожной форме мгновенно исчез куда-то с перрона, как только поезд, после пятиминутной стоянки, отошёл. Но когда Лиля развернула свёрток, то ничего устанавливать уже не захотела и только выдохнула: «Будет наш!», решительно определяя подкидыша в их семью.

Майор был совершенно ошеломлён таким поворотом событий. Он постоял на перроне. Поглядел в одну, в другую сторону, на мокрые рельсы, на небо. Поёжился. Несколько раз обошёл домик станции. Старательно подёргал все попавшиеся ему двери. Выдвинулся подальше на дорогу… Никого.

Он не переносил, когда нужно было выкручиваться, придумывать, делать что-то «по блату»—и всячески этого избегал. Но тут, скрепя сердце, решил всё как надо. В части сказал так: была жена беременная, по дороге начались роды, и родился мальчонка—пришлось, мол, папаше самому принимать. Никто подробно и не интересовался, как это произошло. Кадровик был сильно пьющий и уже безразличный почти ко всему, как и большинство сослуживцев: приехала семья нового офицера, жена, ребёнок—какие могут быть вопросы? Ясно-понятно, наливай, за приезд! И по второй, и по третьей: за окнами—серый плац, на него льёт, не переставая, холодная серая мерзость, и сотни километров до какой-то другой, не серой жизни, если такая вообще где-то ещё есть…

Короче говоря, справки сделали, а потом майор съездил в райцентр и записал там новорождённого.

Наверное, без подарков нужным людям не обошлось, но в подробности Лильку он не посвятил—у неё и так забот хватало: малыш был очень слабенький, всё время болел—и с кормлением намучились, и с лечением… лучше не вспоминать.

В общем, после появления малого Лиля уже больше в библиотеке не работала, однако чётко, по-строевому, без лишних вопросов и разговоров выполняла нелёгкую домашнюю работу во всех многочисленных передвижениях по местам майорской службы. Но когда произошло долгожданное назначение мужа (уже подполковника) в большой город и получение замечательной двухкомнатной квартиры с настоящими удобствами, постепенно утвердилась в положении уважаемой жены и матери, стала очень общительной и общественно полезной. Успевала заниматься делами и дворового, и родительского, и ещё каких-то комитетов, много, шумно и тщательно обсуждая подробности каждого дела с теми, кто имел к этим важным делам отношение непосредственное, а заодно и с теми, кто не имел к ним отношения совершенно никакого. Делилась жизненными наблюдениями (а повидала она за годы вынужденных путешествий немало), рассуждала о характерах людей, довольно подробно рассказывала про свою семью, хвалила мужа и сына, но никогда ничего не говорила о событии, происшедшем на безлюдной осенней станции, вот уже четырнадцать… нет, погодите, пятнадцать лет тому назад.

Домой он не пришёл. Мама Пасюка забеспокоилась, ждала, металась по комнате, выскакивала на улицу, затем отчаянно кинулась—шесть кварталов—в школу. Свет горел только в вестибюле и двух окнах второго этажа—Марк Давидович проверял контрольную. Кроме него и вахтёрши, в школе никого не было. Когда совсем стемнело, мама Пасюка решилась позвонить мужу—раньше беспокоить его боялась, зная, что начались большие командно-штабные учения.

Подполковник сообщил в милицию. Те долго расспрашивали, искать не хотели, обещали, что мальчишка сам придёт: у них такие истории—сплошь и рядом, каждую неделю по несколько раз. Однако сводку разослали, и ближе к ночи постовые застукали Пасюка на вокзале.

Он сидел в зале ожидания, в углу, на скамейке—руки на коленях, смотрит куда-то наверх и слегка вроде улыбается… или не улыбается? Непонятно. Никто не смог вытащить из него ни слова. Привезли домой, и она снова, как когда-то, переодевала, мыла, кормила с ложечки, укладывала спать, разве что не пеленала… Он не сопротивлялся ничему, но молчал, с той же прилипшей к лицу полуулыбочкой—так и уснул с ней. Она просидела рядом всю ночь, при свете зелёного ночничка смотрела ему в лицо, и ей становилось всё страшнее. Подполковник вернуться домой в этот день не смог, а в коротком телефонном разговоре обещал заскочить только к завтрашнему вечеру—учения были в самом разгаре. Поэтому утром она потащила сына к врачу, а оттуда парня уже не отпустили и на «скорой» отправили, как ей сказали, «в стационар».

Слух обо всём этом как-то добрался до школы, и возле дома маму Пасюка ждала ужасно встревоженная Ирина Валентиновна, которая тут же путано поведала, что произошло вчера на уроке истории. И про то что Пасюк, выйдя из класса на её уроке, оказывается, в школу уже не вернулся и портфель его остался под партой (вот я его вам принесла!). И когда ей сегодня стало известно про бегство и состояние Пасюка, она нашла адрес и примчалась к их дому (я, понимаете, вас жду, жду тут уже несколько часов!). И она очень извиняется (я очень извиняюсь, что не сделала это сразу, ещё вчера!), но, понимаете, Коньков так серьёзно, так участливо говорил о беде своего товарища (я и подумать не могла!), и вообще Коньков—такой хороший мальчик и ученик хороший…

Тут мама Пасюка, которая, ничего не говоря и даже не моргая, слушала Ирину Валентиновну, внезапно ухватила маленькую учительницу за тонкие плечики и, ощутимо встряхнув, выпалила:
—Вот эта мамочка хорошего мальчика, эта шалава гинекологическая, и постаралась!..—и ушла к себе в квартиру.

Сказать, что Ирина Валентиновна осталась стоять на улице с открытым ртом, будет, конечно, весьма стандартным выражением, но что скажешь, если она действительно осталась так стоять?

Подполковник приехал через полчаса.
—Лиля, Лиля, ну что?—спросил он с порога.
—Он—в больнице, заболел,—спокойно отвечала она,—но сказали, что всё будет в порядке. Иди поешь, я тут, на кухне накрыла.
—Да, да,—сказал подполковник,—я ненадолго, машина ждёт. Что это с ним? Простуда, температура? Он бредит?
—Да, немножко бредит,—отозвалась она с кухни.
—Ты думаешь, всё будет в порядке? Ты подъедешь к нему завтра? У меня тут—как назло!..

Он сокрушённо покачал головой, снял ремень, китель, оставил всё на стуле в комнате и закрылся в туалете.

Она быстро вытащила из кобуры пистолет, постучала в дверь туалета («Я—к Антоновне, на минутку, сейчас вернусь!»), набросила куртку и, тихо отворив дверь, выбежала из дома. Она помнила, что это недалеко.

Ей нужно было только перебежать наискосок двор и пересечь узкий бульварчик…

— Зоя-Ванна, тут мама Пасюка пришла! — горланит санитарка, вполоборота повернув голову куда-то назад, в длинный коридор.
— Хто? — издалека спрашивает кто-то невидимый.
— К Пасюку, говорю, мама пришла, — повторяет санитарка.
— А-а… пропускай! — поступает команда, и мама Пасюка движется по коридору.

Санитарка смотрит ей вслед и шепчет другой, должно быть, новенькой санитарке, выглянувшей из ближайшей двери:
— Да, да, это та самая — мама Пасюка… Она тогда выстрелила в лицо мальчишке — однокласснику её сына. И в мамочку этого мальчишки тоже стреляла, но никого не убила. Говорят, парень после выстрела стал страшным уродом, и мамочку его долго латали. Такие ужасы — и не говори!.. А эта отсидела — и теперь вот каждый день приезжает сюда к своему сыну. Только он же… ну, ты знаешь…
— Пасюк, — в то же время бодренько приговаривает в дальней палате Зоя-Ванна, — твоя мама пришла, слышишь, мама твоя пришла!..

Её голос неутомимо и настойчиво будет повторять это ещё много-много раз, пока тот, кому повторяют, наконец, не отзовётся, как будто нараспев, почти невнятно:
— Не-э… не-э… нету у меня-а ни-ка-кой мамы-ы.

В сумерки чахлый автобусик с одной-единственной пассажиркой устало возвращается по пустой серой дороге из пригорода, где расположена старая психиатрическая больница. Пассажирка в тёмном бесформенном пуховике сидит, уставившись в забрызганное окно, и всё покачивается и покачивается, словно большая, грузная тряпичная кукла. На дорогу льёт, не переставая, холодная серая мерзость, и хотя время от времени чуть покалывают глаза размытые огоньки редких придорожных фонарей, неуклюжих производственных построек и жилья, уже понятно, что нет никакой другой, не серой жизни, если где-то вообще есть ещё жизнь.

45-Й КАЛИБР

Любовь Левитина

Магазин Якова

• • •

В южной части Тель-Авива,
не особенно престижной,
Яков держит бакалею —
магазинчик небольшой.
Всё расставлено красиво,
протирает полки трижды
в день его супруга Лея,
аккуратно и с душой.

От семьи Багратишвили
он из «Грузии печальной»
отчей Грузии чудесной,
по рождению еврей.

Вы к нему не заходили?
Яков — сам себе начальник.
Сам придумывает песни,
напевая у дверей.

У него детишек двое,
их автобус возит в школу,
сын Давид и дочка Сандра.
Яков хочет четверых.

И плывут в потоке зноя
звуки песенки весёлой
юрким стилем саламандры
вдоль кирпичных мостовых.

Магазин открыт до ночи.
Покупателей немало.
В сотне метров синагога,
рядом сквер хранит уют.
Забегает люд рабочий,
забредают нелегалы.
Собираясь у порога,
под беседу пиво пьют.

Никого не обижая,
он со всеми одинаков.
Хорошо идёт торговля,
для страны и для семьи.
А страна-то не чужая,
был бы мир, и будет Яков,
сберегая дом и кровлю,
песни складывать свои.

Елена Жарикова

Чашечка чая с чабрецом

Зажигалка

Школьная история

Пустырь за посёлком. Ржавые зевы ощерившихся полуовражьев. Дурниной прущая молодая полынь и привольно распластавшиеся лопухи. Дичь, запустение, арматура, зловонные останки какой-то несчастной мурёнки. Майское, с лёгкими заплатками облаков, просторное небо.

— Здесь давай! — облупленные ранцы брошены в полынный куст. Галстуки комком в карманах.

— Моть, мож не надо?..

— Скисни, дохля!

— Мамка велела домой сразу...

— Ну и чеши!

Оглядываясь и спотыкаясь:

— Моть, мамка сказала...

— Сбрызни!!! — ядрёный плевок смачно угадывает в самую серёдку лопуха.

После ухода малого у полынного куста трое. Мотька презрительно щурит жёлтые рысьи глаза, не глядя швыряет на лопухи латаную-перелатаную и великоватую ему куртку и резко, нервно закатывает рукава линяло-голубой рубахи — тоже батиной, не в размер по его костистой прогонистой худобе.

Напротив Мотьки — нелепо угластая, похожая на пустырный вздорный репейник, вся из колючих локтей-лопаток, фигура Лёвки Шипа, просто — Шипули. Сквозь мутные стёклышки окуляров — беспомощные, слёзным блеском подёрнутые глаза.

Третий, Кирюха Седой — что-то вроде свидетеля-секунданта — примостился на коряжке, которую сам же выволок из кустов и, шмыгая озноблённым носом, лениво почёсывая ржавую путаную шевелюру, ждёт, когда же Мотька будет мочить этого недоноска лупастого.

Когда Шипуля робко, уголком протиснулся в дверь их класса полгода назад и неловко притулил свои шипастые коленки под партой, сев на край щербатой скамьи, у Мотьки предательски сдавило горло и повело рот в горькой судороге: новенький был поразительно похож на старые фотографии в его, Мотькином, альбоме. Отец Мотьки, молодой, иудейских кровей, с глазами раненого оленя, вот такой же угловато-худой (одно ухо оттопырено больше другого), без вести пропал три года назад. Уехал вахтить, за длинным рублём подался на какой-то рудник (Пионерский, что ли), месяц не писал — ну, думала мать, обустраивается мужик, не до того ему. Нет и нет весточек, и не звоночка с того края света. Запросы посылала сначала, потом сама поехала, подсобрав, сняв с книжки последние сбережения (Мотька тогда две недели у тётки Раи обретался). Вернулась словно выпитая горем до дна, усталая, неразговорчивая, бесслёзная. Мотька слышал, как мать рассказывала тётке Рае о своих мытарствах, поисках, о том, как жила в бараке, в углу поварихи, мужиков расспрашивала — тех, кто последний видел Лёвиньку: все расспросы упирались словно в тупую серую стену, в осенний вечер, когда отец Мотьки пошёл вечерком прогуляться по берегу остывающей Сыи — и не вернулся.

Мать с тех времён странноватая стала: порой встанет утром, забудет причесаться, ходит по дому вялая, потерянная, то примется альбом листать, карточки отцовские поглаживать и дышать на них, как на морозное окно: вот-вот согреет своим дыханием родное лицо... а вечерами нет-нет да заговорит с отцом, словно он вот тут, в комнате сидит, валенки подшивает.

— Иглу-то взял чего малую? Не проймёт ведь, войлока вон кака толстуща! Щас другу дам!

И ищет, ищет в игольнице, нахмурившись, иглу потолще, потом вдруг словно проснётся, оглянется виновато — не слышал ли кто её бредовых речей — и снова своя, привычная, тутошняя.

Мотька, не по годам рослый, костистый, за старшого в доме стал. Малой, Гринька, за ним хвостом таскался, хотя и шпынял его Мотька нещадно, и по затылку прилетало младшому невзначай — не лезь не в своё корыто! — но это чудо-юдо с глазьми папиными не сдавалось, а ковыляло за Мотькой и по воду на дальний родник, и на пустырь по пацанским делам, и к поселковому магазинчику за хлебом.

Да как же он похож так на отца-то? — мучился Мотька. Новенький ни с кем не сходился коротко, был вежлив и мягок по-девчачьи, пацанские интересы шли словно мимо него; учителей слушал с прилежанием, сложив почти ровно шишковатые

локти на крышку парты, писал в тетрадке, низко склонив круглые очки и розовея лопухастыми ушами; стихи рассказывал, картавя и заикаясь, краснея пятнами, так что даже противно, оценки ловил средние... Девчонки посматривали на него умно-насмешливо — и не приближались, как будто гадая: что это за зверь диковинный такой?

Мотька ходил вокруг новенького в отдалении, однако неприметно впитывал все его повадки, словечки, привычки. И чем дальше, тем больше обнаруживалось в новом сокласснике отцовских черт: вот он чихнул коротко и засмеялся чему-то, вот, потеряв равновесие, цепляется за перила своими шипами-углами-коленками — везде, во всём похоже до дрожи. Его, как выяснилось, и звали, как отца, — Львом, и это царственное имя так не шло к его нелепо вздёрнутым лопаткам и смешным очкам, что школьная банда дня три корячилась, выдумывая прозвище новенькому. Вышло: Лёвка Шип — вполне презрительно и по существу его нелепому в самый раз — и прямо в глаз!

— Шипуля, припухни! — зудел Стёпка над ухом новенького.

— Куда пополз, Шипота? — издевался Кирюха Седой.

Лёвка Шип поднимал брови, отчего очёчки сползали к кончику носа, беспомощно улыбался, розовел развесистой своей лопоухостью, и, пока формулировал мысль, — отвечать уже было некому. Станут они дожидаться ответа, держи карман! Уже гоняют в футбол во дворе школы и орут:

— Шип, чё глазья лупишь? Давай на ворота!

Но окончательно добил Мотьку один случай.

Регина Павловна (на школьном жаргоне Репа), учительница изящного слова, была на редкость изобретательная личность. Своим восьмиклассникам, худым полуголодным подросткам семидесятых, она устраивала маленькие литературные праздники. В этот день во вторую смену, как всегда в самый неподходящий момент, вырубили свет, и Репа, нимало не смутившись, объявила: «А сейчас вечер при свечах!» Тоже мне, диковина! В суровую застойную эпоху мы сидели при свечах через день да каждый день.

— Ребята, внимание! Мы сейчас зажжём свечи и будем рассказывать истории, страшные и удивительные...

Находчивая, усмехнулся Мотька. Лучше бы домой отпустила: шестой урок, вторая смена, вон как завихеривает весенний ливень на улице, пока до дому допрёшься...

— У кого есть спички или зажигалка?

Ага, щас, так все и спалились! Ясно, у курящих пацанов спички были, но так просто, с головой выдавать себя никто не собирался.

— У меня, Регина Павловна, есть зажигалка.

Репа подняла брови: не ожидала от робкого нескладного еврейчика таких сюрпризов. (Кстати, Репой её прозвали за очень просто: взяли, попусту не мудря, две первые буквы от имени и отчества; да и физиономия её, при тщедушном-то тельце, таки напоминала золотой русский овощ.) Регина никак не могла взять в толк, отчего весь класс полегом лежит, когда она поучает Мотьку, поймав в который раз на грубых ошибках:

— Матвей, ну это же проще пареной репы!

Теперь она достала из учительского стола три заранее припасённых свечки и потянулась через парту к Шипуле:

— Лёва, давайте вашу зажигалку. (Всё, что Репа пыталась сказать вежливо или привлекательно, выходило почему-то глупо.) В этот момент свет внезапно зажёгся, и Мотька невольно взглянул на Лёвкину зажигалку в пальцах Репы. Это была непростая вещица — и он её сразу узнал: отцовская трофейная зажигалка Zippo, от деда доставшаяся, с дарственной гравировкой: «Лёвушке в день ангела».

У Мотьки морозной щетиной взялся загривок. Откуда?! У этого ушастого типа, который каждым жестом, движением бровей, запинками в речи живо напоминает отца — его, Мотькиного, отца, зажигалка?

После уроков Мотька поймал Шипулю около раздевалки:

— Ну-к постой!

Новенький вздрогнул, напрягся спиной, обернулся... и опять на Мотьку взглянули карие оленьи глаза, подёрнутые вековой слёзной печалью — отцовские, незабываемые.

— Где зажигалку взял? Покажь! — Мотьку, костисто-мужиковатого, в классе уважали и слушались: по первому зову шли, по первой просьбе бросались помочь... И не то чтобы он кулаком выбил этот авторитет — да нет, дрался он редко и неохотно, только уж когда совсем припечёт...

Шипуля молчал — твердокаменно, обречённо, только глядел из-под очков обжигающе-жалостливо, так что Мотьке приходилось отворачиваться.

— Чё, не понял? — это подоспел Кирюха. Тот всегда тут как тут. Взял этого хлипёныша за шиворот:

— Ну?!

— Шипулин, Дубавин, Зыков — почему не на классном часе? Марш в класс! — эта Репа всегда выскакивает, словно из-под земли овощ, — в самую неподходящую минуту.

Шипуля попятился на лестницу и в один момент растворился в школьной толкучке.

— Мы щас, только в раздевалке куртки возьмём, а то гардеробщица уходит! — нашли приличную отмазку пацаны, чтобы-таки улизнуть от грозного ока Репы.

На следующий день Мотьке всё-таки удалось подкараулить новенького после уроков и притащить под конвоем Стёпки и Кирьки на пустырь.

Мотька презрительно щурит жёлтые рысьи глаза, колени его подрагивают от напряжения… Шипуля молча стоит, уронив ушастую голову на тонкой озябшей шее.

— Зажигалку отдай и винти отсюда!

Новенький молча качает головой, и на упругие лапы лопуха шлёпаются две крупные слезины. Ишь ты, партизан!

— Где зажигалку взял?

— Отцова,— твёрдо и едва слышно отвечает Шипуля. Это слово, словно спусковой крючок, лишает Мотьку последней выдержки, из-под глыбы его терпения выдёргивают все опоры. Он не видит уже ни жалкой лопоухости, ни умоляющих оленьих глаз, ни дохлой цыплячьей шеи Шипули, а молотит во что попало, закрыв от ужаса и ненависти глаза. Шипуля оказывается колючим, цепким, вёртким, жёсткие жилистые пальцы его цепляются за Мотькину рубаху, острый кулак попадает в живот, какое-то последнее отчаяние делает из него бойца. Очки слетают в сторону в первую секунду, кулак Мотьки уже в чём-то липком-мокром… Он не слышит, как Кирька чего-то орёт, оттаскивая его за рвущуюся с треском рубаху… Шипуля наконец падает, и в этот момент к Мотьке возвращается слух.

— Матве-е-ей! Мо-о-тя!

Спотыкаясь на дурацких пустырных кочках, захлебнувшись от бега и крика,— платок на сторону, волосы седеющие по ветру, фартук снять забыла, тетеря,— бежит к нему мать, а сзади ковыляет кривоногой побежкой предатель малой.

Материн подзатыльник окончательно приводит Мотьку в чувство. Его колотит крупной дрожью, рубаха отцовская висит клочьями, бровь рассечена, глаза застилает слёзная сукровица. Колючие плечи Шипули вздрагивают, какие-то репьи успели ввязаться в его еврейские путаные волосья, школьные брюки изгвазданы… Мотьку вдруг ожигает нестерпимый стыд, накипевшие слёзы предательски полнят глаза, он бежит, бежит с этого проклятого места, запинаясь за корни, за эти дурацкие лопухи, зло смахивая на ходу непонятные слёзы. Только дома, умывшись и забившись от нестерпимого чувства острой жалости на чердак, в своё тайное убежище, он приходит в себя.

Когда вечером, озябнув сердцем, ослабев от слёз, с выгоревшей злостью, весь в ссадинах, полуголый (рубаху рваную припрятал на чердаке), Мотька прокрался в дом, он с изумлением увидел за родным кухонным столом Шипулю— битого, с чудовищно заплывшим глазом, распухшими губами, да ещё в его, Мотькиной чистой рубахе. Второй глаз был живой, ясный, умытый радостью.

— Ну где ты там?— мать, чисто помолодевшая, в синем крепдешиновом платье, с сияющими глазами, тепло подтолкнула его к столу.— Вот, Мотя, знакомься, твой брат, Лёвушка Шипулин. Ну, чего столбом-то стоишь! Хоть руку подай! Давайте, парни ужинать. Картошка остынет!

Поздно вечером, когда побитый и счастливый брат Мотьки ушёл домой, мать открыла Матвею загадку сходства Шипули с безвестно пропавшим отцом. Оказывается, недаром он в эту Малую Сыю на рудник махнул подрабатывать: в молодости, лет пятнадцать назад, тоже там бывал, ну и случилась у него короткая нежная история с одной юной поварихой. Не знал он, уехавши по молодости счастья искать в чужие края, что Тамарка-повариха понесла и родила в положенный срок черняденького худенького мальчика, портретом— вылитый отец. И уж когда, на заработки приехав, увидел он Левушку-подростка, лицом и повадкой на него до невозможности схожего, взыграло ретивое— думал даже остаться, потому и не писал долго, и с Томкой, в Малой Сые бабий век коротавшей, заново познакомился.

И, кабы не сгинул в один сырой осенний вечер, не знамо, как ещё было бы…

— Моть, глянь, он ведь тебе отцовский подарок оставил! Спишь, что ли, уже? Ну ладно, ладно…

Чашечка чая с чабрецом и школьными воспоминаниями

Учительская история

Варенька не заметила, как съёжился шагреневой кожей ноябрьский день, как вкрадчиво поползли из остывших углов каморки химеры прошлых болей, дней и обид, стали уплотняться до слов, окукливаться до образов…

Вареньке ничего не стоило взять первую ноту письма. Только вслушается в *серебреющее повечерье* за окном, поймает медный блик тонущего в морозной дымке заката, закроет глаза для верности и начинает вслепую трогать словно случайные клавиши воспоминаний, сначала как бы ощупью, задерживаясь на паузах, сверяя тон с каким-то своим внутренним редактором, с какой-то только ей слышимой звуковой линией,— и потом всё быстрее, быстрее говорок клавиш, словно далекий перебой набирающего скорость поезда…

В её одинокой квартирке-конурке густел запах чая с чабрецом и липовым цветом, она забывала, что хотела разогреть слипшуюся глыбу макарон, что и за хлебом надо было сбегать… рой призвуков, ритм образов, грай согласных, зияние гласных, шёпот безгласных выводил её на орбиту снов, предчувствий, озарений… Дыхание словно схватывало, перед глазами мельтешила мошка непрошеных слов, на кончиках пальцах пульсировала непостижимая теплота создаваемой ею жизни.

В подъезде внезапно хлопала дверь, и Варька вздрагивала, на мгновение выдернутая из своего дивного полёта, беспомощно прищуривалась

в окно и, глотнув остывшего травяного эфира, снова ныряла в пленительную сутолоку слов и образов.

Сегодня она вспоминала свой первый день работы в школе. Самое первое сентября! Накануне она отутюжила до полного геометрического совершенства свою синюю юбку в складку, ещё раз прорепетировала «тронную речь», которую намерена была обрушить на головы своих подданных — пятиклашек, перетряхнула содержимое учительской сумки, где каждая скрепочка-линеечка занимала отведённое ей место, и прошлась разок-другой в новых туфлях, пружиня и прищёлкивая каблучком.

Убеждённая в своей неотразимой молодости и взбодрённая дыханием первосентябрьского холодка, Варька летела в школу, едва задевая подмороженную землю, и ей казалось — ещё чуток, и она взмоет в эти златолиственные кроны, раскинет привольно лёгкие руки и закружится вместе с сорочьими переполохами и воробьиными суматохами!

На линейке она стояла едва дыша, окружённая неуёмным благоуханием бордовоголовых георгинов, звёздчато-стрельчатых белых астр, тугих карнаухих бархатцев, — вся в празднично хрустящем целлофане, в синих безупречных складочках, в сиянии ресничек, кудряшек ямочек… Из-под душного разноцветья букетов едва были видны макушки белокурые и рыжие, русые и тёмненькие, они беспрестанно вертелись, о чём-то своём щебетали, по временам дёргали Вареньку за рукав и задавали глупые вопросы: «А когда классный час кончится? А у нас много учебников? А кормить будут? А вас как зовут?»

Когда по команде директора дружная когорта вверенных ей пятиклашек двинулась к школьному крыльцу, Варя, сияя каждой складочкой и ямочкой, прищёлкивая каблучками, торжественно прошествовала на виду всей школы.

На классном часе Варька — нет, Варвара Михайловна! — чувствовала себя искусным дирижёром необъятно-сложного тридцатиголового оркестра, ясно и звучно манипулируя весёлой разноголосицей. Она вспоминала, что ловко отбивала, словно ракеткой в теннис, очередной вопрос, остроумно закругляла чьё-то недоумение, изящно наклонялась, чтобы поднять укатившуюся ручку… В каждой её педагогической жилке подрагивал пьянящий восторг, голова слегка подкруживалась — но руки стремительно взлетали, ставили нужную паузу, метко резюмировали. Правда, все тридцать голов как-то смешивались в один блестящий горланящий пёстрый ком… имён она не запомнила, фамилии, особенно нерусские, показались ей невыговариваемыми. Исахуджиев Эдхамжон! Фазизуллаев Абдулазбек! (А ведь у них ещё и отчество! — Курбанназаровичи какие-нибудь!)

Нагрузив новёхонькие ранцы учебниками, щебечущие взахлёб дети завалили её букетами — Вареньке не хватало рук, чтобы удержать эту пёструю клумбу… Хорошо, что Алёнка-компаньонка прибежала вовремя в школу, помогла разобраться с этой стихийной оранжереей…

Варенька откинулась на стуле, стряхнула морок воспоминаний, поправила седеющие пряди, сняла очки в толстой оправе…

В это мгновение в окно её первого этажа кто-то коротко постучал. Варенька вздрогнула, потянулась к стеклу, прищурилась… В ноябрьских синих сумерках под окошком стоял улыбчивый молодой человек, лет эдак тридцати. В восточной роскоси его тёмных глаз было что-то знакомое. Варенька поспешила к двери. Не без робости приоткрыла дверь на цепочку.

— Не узнали, Варвара Михайловна? Вот, проходил мимо, решил зайти попрощаться. В Питер с Полиной переезжаем. Всё-таки вы у меня классной были столько лет…

— Абдулазбек? Ну как же тебя узнать? Да проходи же! У меня и чай есть, только вот заварила!

Долго толклись в узкой прихожей: Абдулазбек извинялся, что не предупредил о визите, Варенька неловко распихивала по полкам вольно разбросанные туфли, ботильоны…

Потом пили чай с чабрецом, лимоном и липовым цветом, с домашними вафлями и вспоминали. И то самое первое-первое сентября тоже.

— Я ведь тогда самый маленький в классе был, слабый, болезненный.

— Помню-помню: шея худенькая, цыплячья, черняенький, дичок такой, самого едва от полу видно, одни глазища — зырк-зырк! Сурьёзный — страсть! Игрушечный Казбич! Тебе с сахаром?

— Да, пару кусочков. Меня тогда из соседней школы только перевели. Всего боялся: слова кому-то сказать, к учителю подойти, спросить, где туалет.

— Божечки мои! Так, вот вафли — бери-бери, сегодня делала, я сейчас блины ещё погрею… Ты ведь на первое сентября тогда с бабушкой пришёл?

— Точно так. Вот вы говорите, летали, парили в этот день? Цветочки-бантики всякие вспоминаете… Вы и вправду тогда светились, просто Золушка из сказки — ямочки-кудряшки, юбочка такая кокетливая… А у меня утром 1 сентября маму на скорой с инфарктом увезли. Мама такая молодая была, ну вот как я сейчас, стройная, звонкая, певучая, Шахерезада из «Тысячи и одной ночи» — и только…

Он замолчал, кроша вафли на блюдце. Молодая учительница изящной словесности только в октябре узнала, что у мальчишки были непростые времена. И как-то это забылось потом, она успокоилась, зная, что парня воспитывает бабушка, а отец завёл другую семью. Бабушка Абдулазбека исправно ходила на собрания, записывала все

рекомендации, вовремя сдавала деньги на нужды класса, мальчик всегда выглядел опрятно…

Варенька уже не рада была, что невольно заставила его ещё раз пережить этот день.

— Порок сердца. Мало она тогда продержалась, после операции через месяц её не стало. На всю жизнь запомнил, как пахла машина скорой во дворе, как отец метался по комнате, собирая маме вещи в больницу, как бабушка Айнур меня обнимала и говорила, что на первое сентября всё равно надо идти, всё-таки новая школа, учебники получить, с классом познакомиться, уже и костюмчик, и портфель — всё собрали, букет нарезали… Ребятишки на линейке дурачились, смеялись, толкали меня, знакомиться лезли, а у меня ком в горле стоял. Словно холодом меня тогда обдавало, хотя день тёплый, солнечный был. А вы тоже всё смеялись и спрашивали, как правильно пишутся мои имя и фамилия. Тормошили и допытывались: чего я такой молчаливый и в сторонке от всех держусь. А я чую, начну говорить — разревусь… и так мне тошно тогда было, и — не обижайтесь, Бога ради! — всё мне каким-то фальшивым и раздражающим виделось: и вы с вашими кудряшками-ямочками и голосочком звонким, и вся эта орава одноклассников, и этот тяжеленный букет…

Коротко звякнула чашка о блюдце, Варенька всхлипнула, скомкала салфетку. Опять потянуло чабрецом…

— Варвара Михайловна, может, ещё по чашечке, а?..

45-Й КАЛИБР

Яна-Мария Курмангалина

Самая обычная любовь

● ● ●

за время пока я пекла пирог
обсыпав мукой края
мой старый знакомый шагнул за порог
постылого бытия

последний свой час не вписал в графу
судьбы но пустил под нож
за время пока в духовом шкафу
мой хлебный томился корж

и небо не сдвинулось ни на грамм
минуты не сбили счёт
мы ели пирог и ребёнок мам —
сказал мне — отрежь ещё

● ● ●

длится день в балансе светотени
лист кружит на новом вираже
осень это время сожалений
обо всём что кончилось уже
что ещё тревожило когда-то
и о чём так долго не спалось
осень это точка невозврата
золотая маленькая ось
в середине тёмного ненастья
где идёшь наощупь как фантом
в жизнь влюбляясь заново и насмерть
но ещё не ведая о том

● ● ●

облака весенние раздуты
талою водою налиты
он живёт над вывеской «продукты»
а она — над вывеской «цветы»

нелегки страдания поэта
просыпаясь в утреннем поту
он всегда по сторону по эту
а она как водится — по ту

вот идёт поглядывая строго
за спиной вздыхает весь район —
человек стоит через дорогу
человек мечтою опалён

он готов собой объять полмира
он готов бледнея и дрожа
прочитать отрывок из шекспира
для её второго этажа

с этим всё как водится непросто
но однажды по пути домой
жизнь столкнёт их возле «перекрёстка»
или возле лавки с шаурмой

и тогда сюжет перебегая
в мир войдёт понятная без слов
светлая огромная благая
самая обычная любовь

Мария Шурыгина

Марвелы в Жуковке

«Ё-оошеньки…»—раздавалось из-за стенки. Это Васин папа так просыпался по выходным и сладко потягивался всем своим большим крепким телом. Потом неразборчиво—шепотки. Мама тихо смеялась—так, будто папа её щекотал, а она утыкалась от смеха носом в одеяло. Какая-то приглушённая возня и мамино: «Услышит же…». Потом папа расслабленно мурчал: «Проголодалась? Тебя кормить надо?» Мама не успевала ещё ответить, как Васька, вслушивающийся в родительское сладкое утро за стеной, кричал из своей комнаты: «И меняя!» «И тебя?»—с придуманным удивлением весело откликался папа, и они бежали на кухню жарить большую яичницу, на троих. «Ёшеньки—это мы»,—думал Васька.

Он их даже нарисовал как-то. Вот снег лежит—голубые загогулины внизу листа. Вот деревья вокруг—это лес, куда они ходили гулять в Жуковке, у деда. А вот и Ёшеньки—папа, мама, Васька, в шубках и шапках, мохнатые от голубых загогулин. Как ёжики, только иголки мягкие. А вокруг крутятся большущие, как вертолётные винты, снежинки.

Теперь Васька рисует марвелов.

«Вот ведь уродцы!»—в сердцах как-то сказала нянечка, Нина Фёдоровна. «Уродцев» принёс в садик Кирюха Малышев—сначала фигурки марвелов, потом журналы с комиксами. И пропал Васька. Или наоборот, спасся—не поймёшь. Раньше в садике минутки считал до маминого прихода, а теперь с утра утыкался в комикс—день и пролетал, будто не было.

Дома у Васи таких пластиковых героев тоже куча, но все китайские. Вот Кирюхе везёт, у него настоящие марвелы! Ему отец привозит из командировки, наверное, из самой Америки. Киря не жадный, даёт поиграть.

А ещё у Васьки марвелы на планшете есть—много серий, весь день можно смотреть. Человек-паук, Халк, Тор, Железный человек, Фантастическая четвёрка, Капитан Америка… А серия заканчивается—тоже не беда. Васька—выдумщик, и марвелы всегда с ним рядом—на улице, в поликлинике, у соседки в скучных «гостях», и когда папы долго нет. Мальчик представляет любимых героев и рисует их, рисует… Чаще всего любимого Росомаху, конечно.

Папа вчера опять пришёл поздно, Васька заснул почти. Сквозь сон слышал, как родители ссорятся на кухне. И утром папа ушёл рано-рано, не стал будить Васю. В зале на диванчике постель неубранная. Такое недавно стало случаться, до того как Васька с марвелами познакомился.

День начался плохо. Васька забыл вчера планшет на зарядку поставить, утром—тык!—не работает. Вот и сидит хмурый на подоконнике, смотрит на улицу. За окном снег. Не идёт—висит. Ветра нет совсем, и снежинки будто растерялись. Ветер давал направление, а сейчас они толкутся в воздухе, не понимая, куда лететь? Бестолково, потерянно.

Мама сейчас тоже напоминает Васе такую снежинку: бесцельно меряет комнату шагами, присядет, застучит спицами над недовязанной кофточкой и снова вскакивает. Походит—замрёт. Так тревожно от этого Ваське… Он хватается то за карандаш, то за комиксы. Скорее бы планшет зарядился, с ним веселее.

Куда-то пропали, растворились их весёлые выходные. Вася не слышит ссор, натягивает наушники. Иногда вроде родители мирятся, и мальчик откладывает планшет. Случаются тихие домашние вечера втроём—как раньше, с шутками и вкусным ужином. Мама смеётся Васиным и папиным рассказам, но как-то не по-настоящему: громко, заливисто, картинно встряхивая чёлкой—так, словно её для кино снимают. Папа мрачнеет, а потом опять пропадает допоздна. Порой от него пахнет вином, и мама потихоньку плачет в ванной.

— Вась, чего сидим-то?—вдруг спохватывается мама.—Одевайся бегом, в садик опоздаешь!

Васька морщится и нехотя сползает с подоконника: так надеялся, что мама забудет! «Терпеть не могу ваш садик!»—бурчит мальчик, напяливая свитер.

У мамы опускаются руки. Она растерянно, с отчаянием каким-то смотрит на него и вдруг совсем неожиданно говорит:

— Вась… а поехали в Жуковку? Я отпуск взяла—поживём на свежем воздухе. Ты же давно там не был…

Как вспышка—в Жуковку! Васька аж зажмурился. Вот здорово, никакого садика! Но что-то словно царапает его изнутри:

— А папа как же? Без нас?

— Папа потом, наверное, приедет, в выходные, — торопливо отвечает мама.

Три часа ехали в жаркой электричке. Поначалу Ваське было скучно: пассажиров мало и все сердитые какие-то, окна грязные, не видно ничего. Но потом в проходе неожиданно возник Магнето и напал на них! Росомаха сразу подскочил, закрыл Ваську с мамой и лезвия из рук вырастил. Но у него же весь скелет из металла, Магнето его сразу и обездвижил, примагнитил к месту. Васька не растерялся и накинул на Росомаху специальное антимагнитное одеяло — он давно его придумал, даже рисовал несколько раз и Кирюхе в садике показывал. Росомаха закутался в одеяло и кинулся на злодея. Магнето понял, что ничего сейчас сделать не сможет, и удрал.

Тут как раз объявили Жуковку. Васька с мамой, увешанные сумками, спрыгнули из духоты поезда на низкий, присыпанный гравием перрон и с удовольствием вдохнули осенний холодок. Электричка сомкнула за ними двери и стала деловито набирать ход, раздвигая пространство полосатыми боками. От поднятого ею вихревого потока Васька прикрыл глаза: наполненный «машинными» запахами воздух бил в лицо, лохматил волосы — и это было приятно. Электричка уходила, оставляя в ушах странный, будто сглатывающий звук: «гл-гам, гл-гам, гл-гам» — так колёса проглатывали стыки рельс.

Возле покосившейся билетной будки сидела маленькая рыжая Жучка. Васька обрадовался старой знакомой: собака всегда встречала электрички, улыбаясь прибывающим добрыми карими глазами. Обходчики её подкармливали, но она была ничья — сама по себе. Мама говорила, что, наверное, её забыли хозяева, снимавшие здесь на лето жильё, а она всё ждёт, ходит встречать. Но Васька не верил, что можно забыть такую хорошую собаку. Наверное, она просто любит поезда.

Мальчик погладил лохматые уши — Жучка зажмурилась и вильнула хвостом. Мама ни за что не согласится взять собаку к себе, опять скажет: «Неприученного пса — в городскую квартиру? Не выдумывай».

Они скормили Жучке пряник, перешли пути и направились к посёлку мимо чуть подёрнутого дымкой озерца. Накрапывал дождь. Он расчертил озеро рябыми полосами, и оттого оно стало напоминать старый шифер на деревенской крыше. Скопа билась об него, пытаясь сквозь толщу полосатой воды ухватить добычу. Росомаха бы пару раз ткнул в воду своими лезвиями, как гарпунами, и наловил бы кучу рыбы… да куда до него глупой птице.

Грязюка была совсем непролазная. В межсезонье дорога здесь вспучивалась высокими глинистыми колеями, заполненными красноватой жижей. Васька с мамой затоптались на вязкой обочине. А чего топтаться? Через дорогу мостов нет. На той стороне Капитан Америка обмывал от грязи сапоги у колонки. Струя била в красную сапоговую резину, и комья налипшей глины слетали с неё тяжёлыми плюхами. «Эгей!» — крикнул мальчик, Капитан поднял голову, улыбнулся и махнул рукой — узнал. Кэп тут же вытащил из кустов маленькую лодочку, поднял свой щит, как парус, и, скользя меж колеями, ловко стал править в их сторону. «Так и людей можно возить туда-сюда», — подумал Васька. И вот уже он стоит в лодке бок о бок с Капитаном Америкой, рядом сидят соседский Санька, директор лесхоза дядя Юра и бабка Свиятиха. «По пять рублей за проезд», — важно говорит Васька и морщит в строгости брови. Монеты приятно тяжелят ладонь, Капитан улыбается и запевает их любимую песню…

— Олька, ты, что ли? Чего в городе в такую погоду не сидится? — Капитан Америка у колонки вдруг превратился в дядю Митю-соседа.

— Здравствуйте, Дмитрий Александрович! Да вот, отпуск взяла, думаю здесь пожить пару недель, дом в порядок привести.

— Это правильно, дом без хозяина не может. Вы левее перейдите, к пригорку, там колея помельче. Да мальца на руки возьми — у нас тут вчера телёнок увяз, целую операцию по спасению устраивали. Погоди, я тебе сейчас с сумками помогу.

Васька насупился: что он — телёнок, в грязи завязнуть? Сосед уже месил жидкую грязь мытыми красными сапожищами, пробираясь на их сторону. Мама подхватила Ваську под мышки и, прижав его к бедру, начала переправу. Он молча терпел этот женский произвол, разглядывая отпечатки тракторных шин в колее. «Как удавы ползали», — подумал Васька. Лодка всё плыла по жидкой грязи, но Капитан вдруг насторожился и оборвал песню: над поверхностью стали вспучиваться рыжими пузырями блестящие удавьи бока. Узоры на чешуйчатой шкуре напоминали следы протекторов. И тут Васька увидел, что зубастая тварь заходит Капитану за спину! Мальчик схватил весло, замахнулся и…

— Приехали! — тяжело дыша, сказала мама, опуская Ваську возле колонки.

Они обмыли сапоги — мама от налипшей грязи, а Васька просто так, за компанию — поблагодарили дядю Митю за сумки и пошли вверх по улице. Мальчик увидел высокую крышу дедова дома и в нетерпении прибавил шаг. Представил, как стукнет железная тяжёлая щеколда на воротах, как они заскрипят, как гулко затокают под их ногами ступени крыльца…

— Погоди, нам ещё к Свиятовым зайти, ключи забрать, — сказала мама.

— Маам, ну давай я у деда в ограде подожду! — заныл Васька. Он побаивался строгую бабку Свиятиху.

— Не выдумывай. Мы ненадолго.

Постучали в калитку, звонко отозвалась мелкая собачонка в глубине двора.

— Кого там нелёгкая несёт?—откликнулись из дома.

«Какая такая „нелёгкая“»?—удивился Вася.— Может, электричку так называют?» Мальчик вспомнил тяжёлую, грохочущую громаду поезда, принёсшего их на станцию. Да, наверное, она Нелёгкая и есть.

— Ксения Ивановна, здравствуйте! Это Оля. Я за ключами!

— А, проведать приехала. Да заходите, нельзя через порог ключи-то отдавать,—бабка Ксеня уже манила их в дом.

Разулись в маленьких сенках, ступили за порог. Их сразу обдало жаром, как из бани. Большая белёная печь посередь кухни была так натоплена, что казалось, воздух вокруг идёт маревыми пластами, плавится.

— Вот и заходите. Жарковато у меня, да я так люблю, а то кости от сырости ломит. Сейчас и чаю вскипячу.

Мама взглянула на расстроенное Васькино лицо и сказала:

— Ой, Ксения Ивановна, спасибо, мы к вам на чай завтра зайдём. Нам бы сейчас до дому добраться, печь протопить.

— Ну, смотри, не забудь. А то Васю у меня пока оставь—чего ему в холодной горнице сидеть? Вечером и заберёшь.

Васька замотал головой.

— А чего не хочешь? Я тебе курочек покажу: вот они у меня, за печкой—Ряба и Перуша. Из курятника-то их переселила—холодно.

Васька заглянул в отгороженный досками угол кухни. Там, ошалевшие от жары, сидели две пёстренькие курицы. Бабка ухватила ту, что поближе—серенькую, и протянула мальчику—на, мол, держи. Вася испуганно и неловко взял это мягкую, пахнущую пылью птицу и замер от неведомого раньше ощущения: в его ладонях часто-часто билось маленькое сердечко. Курочка была почти невесомая, тёплая от печки и от своей внутренней теплоты. Она спокойно сидела в руках, поглядывая на мальчика чёрным глазом. Васька осторожно опустил её на пол, она чуть взмахнула крыльями для равновесия и спокойно отошла, что-то поклёвывая на полу.

— Видишь, не боится. Значит, понравился ты ей.

Вася смущённо улыбнулся: правда? Мама наконец взяла ключи, и они выбрались на прохладную улицу. Мальчик шёл, глубоко задумавшись, руки всё ещё ощущали лёгкость и тепло живого существа—такого хрупкого и доверчивого. Маленькие орлята, которых они с Железным человеком нашли в гнезде на северном хребте Скалистых гор, поглядывали также, но глаза у них были жёлтыми в коричневых крапинках. Васька и Железный Тони Старк спасли то гнездо от нападения горного ягуара, а потом полетели дальше. Но стучат ли орлята сердечками, когда держишь их в руках, Вася почему-то не смог представить.

Вот добрались и до дома. Васька знал, конечно, что дед умер ещё весной, хоть мальчика и не брали на похороны. Но он всё время забывал, что деда нет и уже не будет—ему казалось, что тот просто уехал куда-то или ушёл в свой лесничий долгий маршрут. Вот и знакомый дом, и улица—всё, как прежде. Казалось, сейчас дед выйдет навстречу, поцелует маму, защекочет, подхватит на руки Ваську и понесёт в дом. Но не вышел.

Они с мамой вытирали грязные сапоги о металлическую скобу возле крыльца, как вдруг услышали слабое мяуканье. На крыльце сидела дедова кошка, когда-то пушистая, а теперь мокрая, сделавшаяся от этого очень маленькой.

— Муська-гулёна, опять вернулась!—ахнула мама. Кошку после смерти деда отдали знакомым на другой конец села, но она всё время убегала в свой старый дом, ловила здесь мышей, жила под крыльцом—наверное, ей тоже казалось, что дед просто уехал на время и скоро вернётся.

Мама открыла тяжёлый замок, и они втроём шагнули в выстывший дом. Обычно Васька сразу начинал носиться по комнатам, проведывать свои любимые места: лез в этажерку с подшивками журналов, в заветный ящик комода, где перекатывались дробинки, похожие на горошины перца, и лежали стреляные гильзы охотничьего ружья, гладил чучело глухаря в прихожей, прыгал на упругой сетке кровати—и всё ему было весело, всё будто внове. Но теперь почему-то не бежалось. Тихо было в доме, совсем тихо. Васька даже испугался этой тишины. Словно всё здесь замерло и забыло, как это—звучать и двигаться. Воздух в комнатах стоял недвижим многие дни—никто не нарушал его слоёв, не наполнял движением. Никто не открывал дверцы шкафа, не ронял книг, не гремел заслонками печи, не скрипел половицами. И часы замерли, будто притормаживая время—давно их не заводили, они и забыли, как стучать. Даже любимая дедова картина над письменным столом вдруг показалась Ваське мёртвой. Поэт Пушкин стоял на берегу моря, за спиной его скала, а перед ним плескалась и разбивалась брызгами великая стихия. Дед говорил «витийствует», а Васька так и не понял, про кого это—про Пушкина или про море? Но даже само это слово было очень живым, и живыми были волны, и плащ развевался почти также красиво, как у Человека-паука. А теперь на картине—нарисованный поэт, нарисованное море… Всё не так.

Но грустить было некогда. Мама помогла Васе раздеться и велела сушить Муську. Мальчик забрался на диван, закутал мокрую кошку в старое

полотенце, усадил на колени и стал вытирать лапы, грустную морду… Муська не вырывалась, только вздрагивала всем телом — это холод выходил из неё постепенно, будто длинными волнами. Наконец осенняя промозглость в маленьком тельце истаяла, кошка распушилась и замурлыкала. Мама гремела чем-то на кухне, печка уже нагрелась, пахло жареной картошкой — дом наполнялся теплом и жизнью. Тягостное впечатление первых минут забылось. Васька тоже пригрелся на диване и стал клевать носом. Рядом сидели дед и поэт Пушкин, а чуть дальше, у стола, Росомаха в дедовых очках читал грустное и гордое стихотворение про анчар — или это было муськино мурлыканье?

— Василёк, да ты заснул, что ли? Просыпайся, с утра ведь ничего не ел, — мамин голос выдернул мальчика из мягкой дремоты.

Тело после короткого сна было уютным и неуклюжим. «Я, наверное, сейчас похож на Мишлена», — подумал Васька, вспомнив смешного человечка из рекламы шин. Мысль показалась ему забавной, он даже попытался изобразить, как ходит Мишлен.

— Ты чего косолапишь, как медвежонок? Иди, умывайся.

Поужинали картошкой с любимыми «поджарками» и солёными огурцами из дедовых ещё запасов. Потом играли в домино, и Васька к месту — не к месту кричал «Ррыба!». Мама смеялась, как маленькая девочка — по-настоящему, а не как дома, и так же, как Васька, залезала в азарте коленками на стул.

Потом пили чай с пряниками. Вдруг погас свет — в Жуковке такое часто случалось. И стало совсем здорово! Они с мамой смотрели в окно, будто в телевизор — там, на тёмном экране неба, показывали приход зимы. Ещё утром кругом была осень, слякоть, «грязина непролазная». А сейчас, к ночи, похолодало, и с низкого неба посыпалась невесомая крупка. Будто кто невидимый там, за тучами, чуткими пальцами присаливал землю первым снегом — чтоб сохранить до весны.

На оставшихся на ветвях крупных ранетках вырастали снеговые шапочки. Так и смотрели на неслышно ступающую зиму Васька, мама и гномики-ранетки в пушистых колпачках. Было уютно, грустно-приятно и немножко таинственно. Вот бы кто-нибудь из марвелов сейчас достал гитару и… Но в темноте комнаты Васька почему-то не смог различить знакомых силуэтов.

Всё равно хорошо. Вот бы всегда так…

— Мам, а зачем в город? Можно и тут жить. Как Санька. — Васька вспомнил соседского мальчишку, с которым играл летом. — И папа бы приехал. И Жучку к себе возьмём.

— Можно бы. Да такая тут глухомань… — задумчиво ответила мама. Она тоже хотела вернуться в Жуковку, где всё с детства так просто и понятно.

Васька опять почувствовал в её голосе ту городскую тоску, которая тревожила его и делала маму похожей на бестолковую снежинку в безветренную погоду. Мальчик сунул голову маме под руку, обхватил руками крепко. Она улыбнулась, ероша светлые волосы. «Странное слово — „глухомань“. Будто здесь глухие Маньки какие-то живут», — удивился про себя Васька. И вот уже картинки заскакали перед глазами: Манька-старая носки вяжет на лавочке, Манька-средняя пироги в печь ставит, а девчонка Манька из подполья картошку достаёт…

— Мам, а эта вот… глухомань — это что? Лес?

— Ну и лес тоже. Так любое глухое место назвать можно. Значит, далеко от цивилизации, от города.

— Это плохо?

— Да уж чего хорошего.

Васька задумался. Неправильное какое-то объяснение. Жуковка — хорошее село, и люди здесь хорошие, и природа. Деда вон сколько раз в другие лесхозы звали на работу — начальником, а не простым лесничим, а он из родной Жуковки никуда.

Глухомань… Мальчику представилось, что пелена снега обложила горстку жуковских домов невесомым ватным облаком, и не доходит сквозь него шум города, гул машин. И Интернета нет, и в телевизоре пять каналов всего. Вот поэтому, наверное, и говорят: «глухо». Но что-то манит сюда, не даёт забыть. Будто шепчет-зовёт кто сквозь снег: «Глухомааань…»

Спали с мамой на широкой дедовой кровати, вдвоём под тяжёлым ватным одеялом. Пришла Муська, забралась к ним, заурчала, как моторчик. В печке уютно потрескивало, будто огненные кузнечики прыгали по ломким прогорающим поленьям, и мерцали красными крыльями сквозь щели в дверце. По потолку ходили длинные тени, было тепло и совсем не страшно. Васька прижался поплотнее к маме и стал представлять, как усталый от подвигов Росомаха входит в сени, садится у печки, долго, по-дедовски стягивает сапоги, разматывает портянки. Придвигает большое лукошко, снимает навязанные сверху тряпки, а под ними — тронутые морозцем рябина да калина, коряжки, на зверей похожие, смешной гриб трутовик — гостинцы «от зайчика». Натруженными руками герой перебирает лесные богатства и рассказывает, как он сегодня… Васька уже не понимал, Росомаха это или дед — потолок, и печка, и Муська вдруг сдвинулись, поплыли, и Васька поплыл во сне неведомо куда, так и не услышав лесных рассказов.

И снилась ему рыжая Жучка со станции. Она лизнула Ваську в лицо и, не торопясь, побежала в сторону дедова дома. Иногда она оглядывалась, по-доброму посматривая на мальчика, словно проверяя — идёт ли? В отдалении прогудела «нелёгкая» электричка, папа спрыгнул на перрон Жуковки и зашагал по улице. За ним, тихо похрустывая снегом и вспугивая сонных птиц, на мягких лапах брела большая медведица-зима.

Рустам Карапетьян

Папа захлопнул чемодан

На балконе

Все танцевали модный танец. Напротив Саши скакала очаровательно раскрасневшаяся Ниночка. Внезапно танец кончился.

— Пойдём посмотрим на звёзды. Передавали, что сегодня звездопад,—чуть задыхаясь, предложила Нина. Саша окинул взглядом душную комнату и сказал:
— Пойдём.

Музыка возобновилась с новой силой. Они вышли на балкон. Остальные так были увлечены новым ритмом, что их ухода никто не заметил. На балконе было свежо и темно. Звёзды скрывались за невидимой облачностью. Нина несколько раз громко вздохнула.

— А звёзд не видно,—заметил Саша. Помолчали. Нина ждала, что Саша поцелует её. Она стояла опираясь на перила, чуть откинувшись назад. Это должно было быть очень красиво, как у одной популярной актрисы во вчерашнем кино. Сегодня днём Нина специально потренировалась перед зеркалом. Саша напряжённо вглядывался в тёмное небо.

— Холодно,—пожаловалась Нина.
— Смотри,—сказал Саша,—вон там звезда, видишь?
— Где?—Нина повернула голову.
— В-о-он, над крышей того дома.

Нина взяла Сашу за руку.
— Ты хочешь мне что-то сказать?—тихо спросила она. Но он не хотел. Внизу проехала машина. Пьяный вывалился из подъезда, проковылял, пошатываясь, вдоль дома и скрылся за углом. Саша смотрел вниз. Нина покусывала губы. Это она тоже подсмотрела в каком-то фильме. На балкон выглянула пергидрольная хозяйка:

— Мы идём пить чай,—сказала она, глядя на Сашу.
— Иду,—тут же согласился Саша и нырнул в комнату вслед за хозяйкой. Нина осталась на балконе. Ей хотелось смотреть на звёзды и плакать. Но звёзд не было видно.

Расстрел

По тёмной лесной тропинке двое вели его на расстрел. В спину больно тыкался ствол автомата. Второй шёл чуть сбоку. Шли не торопясь. В кино он много раз видел, как главный герой в такой ситуации резко прыгает в сторону и сбегает. Или кубарем кидается под ноги конвоирам, а потом—бац-бац! Но то было в кино. А тут ствол автомата тыкался прямо в спину. Внизу живота поднывало. Вдруг лес стал реже, и группа вышла на невысокий откос. Внизу текла речка.

— Есть последнее желание?—спросил тот что повыше.
— Покурить бы.

Тот что повыше протянул ему тонкую палочку. Он не торопясь сосал её и думал, как здорово, что он никого не выдал и ничего им не сказал. Потом отбросил окурок в сторону. Встал на край откоса. Взглянул в глаза своим палачам.

— Повернись спиной,—приказал тот что пониже.

Зуд внизу живота усилился до нестерпимо-щекотного и вдруг прорвал, ударив в кровь отчаянно-песенной бесшабашностью.

— Вон там!!!—заорал он и ткнул пальцем за спину конвоирам. Они оглянулись, а он спрыгнул и покатился под откос, потом вскочил и побежал, чуть прихрамывая и отплёвываясь от попавшего в рот песка.
— Тыдщь! Тыдщь!—гремело сверху—Ты убит! Стой! Так нечестно! Тыдщь! Я попал!

Но он из последних сил нырнул в кустарник, и они его не догнали. Потом тот что повыше приходил жаловаться. Но командир встал на защиту своего бойца и сказал, что тот только ранен. Через полчаса он уже выздоровел, а к обеду они уже победили. Того что повыше убили в бою. Того что пониже он лично расстрелял из отобранного автомата.

В маршрутке

Серое небо нависало тяжело и низко. В воздухе стояла плотная морось. Сквозь неё медленно

плыла старая маршрутка. У Саши сел телефон, и он, от нечего делать, разглядывал нерусскую кондукторшу в чёрном платке—то ли таджичку, то ли узбечку. Та что-то быстро тараторила в телефон на своём языке. Её лицо было, как старое пожелтевшее фото. Но невозможно было понять, что оно выражает. Может быть, она разговаривает с кем-нибудь из своих многочисленных детишек. А может, передаёт информацию в террористический центр.

Подозрительная кондукторша тем временем закончила разговор. Она спрятала телефон, мельком глянула в окно и пронзительно объявила:
— Следщая органызáл!

Кто-то улыбнулся, Саша поморщился. Он не был поклонником органной музыки, но часто любовался этим хорошо сохранившимся зданием бывшей кирхи. Она стояла неподалёку от его дома. Саша встал и направился к выходу. Пассажиры сонно смотрели в мутные стёкла. Встретившись взглядом с Сашей, кондукторша вдруг улыбнулась и что-то сказала ему.

— Что, что?—не понял Саша.
— Замуж зовёт,—повторила она и рассмеялась звонко, как девчонка.

Саша заметил, какие у неё ровные красивые зубы, и неожиданно для себя улыбнулся в ответ. Отчего-то ему вдруг понравилось, что кто-то позвал её замуж. Ещё приятнее было то, что он рад за такую незнакомую и нерусскую кондукторшу. Хотелось как-то продлить это ощущение, и Саша сказал:

— Вы прекрасно выглядите.

Женщина смущённо отвернулась и пошла по салону. Саша проводил её взглядом. Судя по фигуре, она была ещё сравнительно молода. Саша удивился, что сразу не заметил этого. Уже выскочив из автобуса в светло-серую муть, он несколько секунд смотрел вслед. Узкая ладонь протёрла изнутри запотевшее окно, и Саша едва успел ухватить напоследок улыбку и сияющий взгляд. Саша помахал рукой и даже подумал с теплотой: «Понаехали тут, понимаешь». Потом развернулся и неспешно двинулся в сторону дома сквозь усиливающийся дождь.

Расставание

— Ну что, будешь меня ждать?—в третий раз спросил крупный стриженный под ноль парень в дешманском спортивном костюме. Лицо после вчерашних проводин у него было чуть опухшее.
— Конечно, буду!—девушка в красном мини прижалась к нему, показывая, как крепко она будет его ждать. Даже на высоких каблуках, она была чуть ниже его. Так и стояли больше ни о чём не говоря. Вот уже дали команду. Из громкоговорителя на перрон хлынул торжественный марш. Разношёрстная толпа качнулась к вагонам, а девушка всё не отпускала его.
— Ну всё, всё, хватит, я пошёл, письма пиши,—парень кое-как оторвал её от себя и заспешил в вагон под бдительным взором грузного капитана.

Люди рыскали вдоль вагонов взад-вперед, в мутных стёклах ища своих. Когда находили, тут же начинали махать руками и что-то кричать на прощание. Внутри вагона тоже махали руками и орали в ответ. Но окна были закрыты и ничего не было слышно. Начал накрапывать дождик. Радио вдруг заиграло громче, вагоны дёрнулись и двинулись вперёд. Народ последовал за ними. Состав постепенно набирал скорость, и толпа начала расслаиваться. Кто-то остался стоять и махать рукой. Кто-то трусцой бежал по перрону. Кто-то неспешно повернул назад. Девушка была на высоких каблуках и осталась стоять на месте. Внезапно марш оборвался. Сначала показалось, что очень тихо. Но тишина быстро наполнилась вокзальной суетой. Заморосило.

К девушке подошёл мужчина в строгом костюме и распахнул над нею зонтик. По возрасту он годился ей в отцы.
— Ну что, проводила?—спросил он.
— Проводила,—сказала девушка.
— Ясно,—мужчина посмотрел в хвост уходящего состава,—пойдём?
— Пошли. Ты где машину оставил?
— На стоянке.

Девушка взяла его под руку, и они скрылись в подземном переходе.

Потом подошёл мой поезд. Но меня никто не провожал.

Ночью

В двенадцать ночи вспомнил, что ещё вроде бы оставались пельмени. Пошёл на кухню, залез в морозилку, отсыпал в миску штук пятнадцать, убрал пачку обратно. За окном заорала машина. Выглянул в окно. Машина перестала орать. Налил в кастрюлю воды, поставил на плитку. Подумал, что неплохо бы под пельмени хряпнуть ещё и водочки. Опять открыл холодильник, достал подмёрзшую бутылку. Не устоял перед искушением, сразу налил себе стопку, одним быстрым движением опрокинул в глотку, водка мягко скользнула внутрь. Вернулся в комнату, бережно неся бутылку. Проверил, как лежит трубка на телефоне, опустился в кресло перед телевизором. Холёная дикторша убеждала, что всё не так уж и плохо. Сам не заметил, как заснул. Проснулся внезапно. Она

стояла рядом. От неё пахло морозом и сигаретами. Посмотрел на часы. Было полвторого. «Спать хочу, умираю, завтра поговорим» — отрезала и скрылась в ванной. «Пельмени!» — вдруг вспомнил он и прошмыгнул на кухню. Взгляд упал на сумочку, валяющуюся на стуле. Бесшумно открыл, осторожно порылся, извлёк на свет позолоченную зиповскую зажигалку. Обнаружил и внимательно изучил каллиграфическую гравировку «Любимой и единственной». Щёлкнул задумчиво пару раз. В миске неаппетитно размякали пельмени. Только тут понял, что забыл включить газ. Включил, сел и стал ждать, рассеянно вертя в руках зажигалку. Ещё подумал устало: «Жаль, что водки больше нет».

Одиннадцатиклассница Саша

Одиннадцатиклассница Саша выпила водки, чтобы не было так страшно, а потом наглоталась таблеток. Она побоялась брать снотворное в поселковой аптеке, где работала их соседка. Поэтому Саша просто собрала в кучу все таблетки, которые нашлись дома. Саша глотала их по несколько штук зараз и запивала остатками водки, задыхаясь и закашливаясь. Вскоре пьяная Саша отрубилась. Потом она очнулась в собственной блевотине. Блевотина, словно позеленевший от старости мухомор, была усеяна пятнышками таблеток. Превозмогая слабость, Саша умылась, почистила зубы, убралась, вынесла мусор, замочила бельё и проветрила комнату. Когда родители вернулись домой, они ничего не заметили. Мать осторожно приоткрыла дверь в комнату дочери. Несколько секунд она всматривалась в темноту, пытаясь понять, спит Саша или нет, а потом также осторожно прикрыла дверь. Потом родители пошли пить чай и думать, как жить дальше.

— Она совсем что ли долбанулась, 20 тысяч за какой-то телефон? — кипятился отец.

— Ну, может, что-нибудь придумаем, — пыталась утихомирить его мать,

— Живёт на всём готовом, вот и обнаглела. Сопля такая, палец о палец ещё не ударила, а 20 тысяч ей дай!

— Можно ведь в рассрочку взять, будем платить по тыще-две в месяц, — рассудительно предложила мать. Она устала и боялась пропустить сериал.

— Тоже мне, нашли, блин, олигарха, — уже более спокойно заметил отец — тыщу-две, говоришь?

Засвистел чайник. Саша лежала, скрючившись под одеялом. Она слышала, как родители бубнят на кухне. Ей было муторно и страшно. И нужно было делать аборт.

Солдатик

Был у Мишки такой случай в детстве. Если посудить, ерунда, в общем-то. Спёр он как-то солдатика у Славки, приятеля своего. Миниатюрного такого, пластмассового. Ну и подумаешь! Да их у Славки — просто завались. Он даже и не заметил, наверное. У него мать часто в загранкомандировках была, постоянно ему то солдатиков, то модельки привозила. А солдатик класснющий был: немчик со всей боевой амуницией.

Домой с добычей вернулся, стал, счастливый, им играть на письменном столе. Тут отец вдруг в комнату заглядывает:

— Ты уроки сделал?

— Нет, делаю ещё…

— Ну-ну, — отец на всякий глянул строго и ушёл.

Еле-еле успел тогда немчика спрятать — тетрадкой быстро прикрыл. Отец давно уже в гараже с машиной возится, а сердце всё так и бухает: а вдруг бы заметил?

Ну это ещё ладно. Дальше хуже. Поиграть нормально никак не получается. Постоянно кажется, что вот-вот запалят. Ну и совесть как-то подзуживает — нехорошо ведь всё-таки поступил. Со Славкой тоже рассорился. Не из-за солдатика. Сам уже распсиховался. Из-за ерунды какой-то. В общем, издёргался весь. Родители видят — что-то не так с Мишкой, стали осторожно допытываться. Но стыдно было, так и не признался. Кончилось тем, что сорвался, нагрубил. Отец, конечно, вспылил и выпорол. Ну как выпорол — хлестанул разок ремнём. Не так больно, как страшно. Но странное дело — на душе тут же полегчало. Вроде как искупил, что ли. Поплакал, поплакал и успокоился. И жизнь как-то постепенно опять вошла в колею.

Солдатика хотел выкинуть втихаря, но уж больно тот хорош был. Всякие там погоны, фляжечка, чего-то там квадратненькое на поясе, винтовочка с оптическим прицелом — ну всё при нём, аккуратненькое такое. Даже лицо, как настоящее — даром, что росточку в немчике не больше сантиметра. Жа-а-алко! Поэтому и пожадничал — сунул в спичечный коробок и закопал за гаражами. И как-то вдруг словно запамятовал где. Да и вообще про тот случай забыл. Как отрезало. До поры до времени.

Это уже потом, много позже, некстати снова всплыло из каких-то тёмных глубин и стало время от времени поднывать. С той поры, как узнал, что Славка, приятель его детский, в Чечне погиб. Он там не просто так, а в снайперах ходил. Вот как-то во время миномётного обстрела его и засыпало в яме какой-то, где у него лёжка была. Пока спохватились, пока доползли да откопали — он уже и задохнулся.

А гаражи те, за которыми со Славкой пацанами лазили, уже снесли давно. На их месте современное офисное здание построили. На первом этаже «Райффайзенбанк» какой-то.

Похороны

Послали нас на похороны. Умерший дед был то ли в высоком звании, то ли как-то круто воевал, не помню уже точно. А может, и то и другое одновременно. Наверное, потому наши командиры и расщедрились на солдат. Отправили меня с Олежкой и ещё двоих новобранцев. Ну водитель ещё был, конечно. Сопровождал нас грузненький майор с мордой, как у мопса. Задача была, как два пальца: вырыть яму и дотащить гроб от автобуса до места. Было лето, душно, на небе ни облачка. С ямой получилось вообще зашибись. Когда мы добрались, оказалось, что она уже выкопана. Майор позвонил вышестоящему, высморкался и приказал ждать. Потом пригрозил гауптвахтой, «если что», назначил Олега старшим и уехал. А мы легли загорать. Олежка почти сразу куда-то пропал, перед этим пообещав дать в морду, «если что». Довольно быстро он вернулся с буханкой хлеба и бутылью воды. Хорошо, что нас вместе отправили. Он такой проныра, с ним не пропадёшь. Мы перекусили. Тут прибежала грязно-рыжая дворняжка. Я бросил ей кусок. Потом мы с ней немного побродили вокруг, разглядывая памятники. Но ей быстро надоело, и она куда-то свалила. А я на одном из памятников наткнулся на фотку девушки. Она была чем-то похожа на мою одноклассницу, с которой у нас не сложилось. Я помню, что мы честно с ней пытались, но не помню, почему не вышло. Потом она уехала в другой город. На фотке на девушке была светлая кофточка. И ещё у неё была чёрная коса. И умерла она уже давно. Я пялился на неё, пока не подошёл Олег. Гянул на фотку, подмигнул мне и спросил, не хотел бы я замутить с такой девахой. Я ответил, что он придурок. Олег щербато ухмыльнулся и угостил меня сигаретой.

Через несколько часов появился наш майор. И почти сразу же подъехал автобус. Из него начали выползать тёмные старики и старухи. Некоторые были с медалями. Один дед с костылём. Стало понятно, почему понадобилась наша помощь. Мы подошли к автобусу, вытащили малиновый гроб и отнесли его к яме. Немного покурили в сторонке. Кто-то принёс верёвки из автобуса. Мы осторожно на верёвках спустили гроб в яму и засыпали могилу. Толпа двинулась к автобусу, а мы к своей машине. К тому времени в животе уже бурчало. Майор велел нашему водителю следовать не в часть, а за автобусом. Потому что нас позвали на поминки. Ещё днём, когда мы только ехали на кладбище, Олежка шепнул нам, что может так и получится. Он уже не первый раз выезжал на похороны, потому и знал. Ну и потом весь день мы, конечно, на это надеялись.

На поминках народу было не очень. Но в небольшой комнатке, казалось, что много. Майор опрокинул пару стопок. Он торопливо закусывал, а сам всё искоса поглядывал на нас. Наверное, боялся, что не уследит, и мы напьёмся. А мы налегали на еду. Среди толпы была молодая грудастая училка в чёрной мини-юбке. Училкой её Олег назвал потому, что у неё очки были. И волосы собраны в пучок. Олег сперва хотел было к ней подкатить, но не подкатил. Настроение не то, потом объяснил он. Зато в коридоре бабуля-хозяйка втихаря от майора всунула нам бутылку водки.

После отбоя Олежка позвал меня в каптёрку. Молодых звать не стали, потому что салаги ещё. Наш водитель свалил в самоволку. Вместо него был хозяин каптёрки — рыжий Лёха. У него нашёлся хлеб и сало. Первую стопку выпили не чокаясь, за деда. Покурили. Олег сказал, что его дед погиб на войне. Я в ответ соврал, что мой тоже. Лёха промолчал. Он вообще был неразговорчивый. Вторую подняли за наших дедов. Сало оказалось классное. Покурили ещё. Я начал рассказывать длинный анекдот, но запутался. Олежке с Лёхой почему-то это показалось смешным. Мне тоже. Третью замахнули за любовь. Олег начал переживать, что так и не познакомился с училкой. Я брякнул, что он придурок. Олег неожиданно психанул, и чуть не заехал мне кулаком в глаз. Хотя бить в лицо у нас не принято — можно наряд схлопотать. Но Лёха вовремя влез и разнял. Олег сказал, что я сам придурок. А я ответил, что да, и пофиг. Тут нам стало смешно. Хотели выпить на посошок, но водка кончилась. Мы ещё раз перекурили и отправились спать. Хорошо так посидели, душевно.

Потом, когда через пару месяцев кто-то умер ещё, а меня не взяли на похороны, было очень обидно.

Ветеран

В доме на пересечении улиц Ленина и Горького умер ветеран Великой Отечественной войны Алексей Петрович. В районе он был последним ветераном, принимавшим участие в боевых действиях. Оставалась ещё парочка с трудового фронта — но это же совсем не то. Поэтому хоронили торжественно. Военкомат даже прислал небольшой автобус и военный оркестрик.

Последние годы жил Алексей Петрович одиноко. Друзей у него не было — все поуходили уже. Близких родственников тоже не осталось. Так что на поминки собрались в основном бабульки со двора и несколько дальних родственников, проживающих не очень далеко. Ещё какие-то официальные и неофициальные лица были.

Говорили много тёплых слов. Как всегда, немного приукрашивая. По правде говоря, был Алексей Петрович человек тяжёлый, неуживчивый. Словно

так и продолжал свою войну, только теперь то с жэком, то с соседями, то с шантрапой дворовой. Вёл он её методично и до победного. Везде ему надо было свой нос сунуть, и по делу, и без. Почему машина на газон заехала, зачем лавочку пацаны перетащили, когда, наконец, дадут горячую воду? Его не очень-то любили, но связываться не хотели. Чуть что, сразу хватал свою ветеранскую корочку, тросточку старенькую—и к начальству. Тросточка, больше для психологического эффекта была. Хромал, да, но не очень. Приступы страшной хромоты настигали Алексея Петровича исключительно в кабинете очередного чиновника. А тот мысленно матерился, но вежливо прислушивался. Ветеран всё ж таки. Последний.

Даже самые вреднючие бабульки с Алексей Петровичем не связывались. Потому что понимали: случись что, к нему придётся на поклон идти. Когда у Ольги Петровны из первого подъезда сифонящую газовую плиту забрали, а новую никак не ставили, кто жэковцев приструнил? А когда «Водоканал» весь двор перекопал, а назад заасфальтировать «забыл», кто тогда со своей красной корочкой аж до директора дохромал?

Поминки устроили в квартире Алексей Петровича. Была у него сталинская двушка на втором этаже, места хватало. Приехали люди из городских новостей, сняли сюжет. Костыркин (скольки-то там юродный внук лет сорока) показал им комнату покойного. Непонятного цвета пыльный диван, рядом тёмный неподъёмный шкаф, какие только по деревням ещё, наверное, остались. На основательном комоде старенький чёрно-белый телевизор. Прямо над диваном, на стенке, завешанной потёртым красным ковром, висело несколько чёрно-белых фотографий в рамочках. На всех них красовался Алексей Петрович в сержантской форме. На одной фотографии улыбающийся генерал вручал ему медаль.

—За что это?—спросил усатый корреспондент, сделав знак оператору дать фотку крупным планом.
—Ну это бой был, а он там геройски, с риском для жизни всех прикрыл, уничтожив там,—потея, выкручивался Костыркин. За что у Алексей Петровича была медаль он, конечно же, ведать не ведал. Они, вообще, виделись за всю жизнь всего раз пять, и то давно и мельком—так уж получилось. Но уличить Костыркина всё равно было некому. «Надо будет найти медаль-то»—вяло подумал он.

Телевидение закончило съёмку и уехало. Скучающий Костыркин смотрел в окно, как они грузятся и отъезжают. В соседней комнате негромко пили водку. К Костыркину тихонько подошла опечаленная шатенка в очках с тонкой оправой.

—Примите мои соболезнования,—сказала она сочувственно.
—Спасибо,—поблагодарил Костыркин,—извините, забыл, как вас зовут...
—Мы незнакомы. Я—Татьяна, риэлтор, вот моя визитка.

Тут же откуда ни возьмись вынырнула юная родственница Людмила, с которой Костыркин впервые познакомился только на похоронах (тоже какая-то там правнучка на киселе). Людмила сильно беспокоилась. Татьяна дала визитку и ей.

Алексей Петрович, как и большинство из его поколения, почему-то никак не мог собраться или не хотел написать завещания. Зато Людмила оказалась особой ушлой. К тому же, кроме неё, вдруг объявилась и ещё пара родственников. Так что история с разделом и продажей двушки длилась долго. Но, слава Богу, всё закончилось.

Фотографию деда с генералом Костыркин забрал себе и отдал Андрюшке, своему сыну-семикласснику (сама медаль, кстати, так и не нашлась). Андрей отнёс фотку в школьный музей. Но поскольку Алексей Петрович никакого отношения к его школе не имел, да и вообще жил в другом районе—фотографию не взяли. И так свои материалы вешать некуда.

Но Костыркин фотографию не выбросил. И, как оказалось, правильно сделал. Она ещё пригодилась, когда через несколько лет районные власти формировали Бессмертный полк. Её отретушировали и увеличили. Генерала отрезали. На фотографии двадцатидвухлетний гвардии сержант Алексей Петрович 7-го механизированного корпуса весело смотрит куда-то в сторону. На вырученные от продажи квартиры деньги Костыркины смогли позволить себе большой «Nissan». Риэлтор Татьяна—слетала в Турцию на курорт.

Жилец

Иногда за окном было темно. Иногда светло. Тьма и свет чередовались в определённом порядке. Так же, как тепло и холод. А ещё был дождь. Капли сбегали по стеклу, рисуя живую неповторяющуюся картину. Завораживающую и звучащую. Несколько раз он видел радугу. Она поднималась из-за крыши девятиэтажки напротив и пропадала в верхнем правом углу окна. Ещё изредка на подоконник садились птицы. Они толкались, ворковали что-то на своём птичьем и опять улетали. Время от времени он слышал собачий лай. Но самих собак он не видел, потому что этаж был пятый. Зато из окна был виден большой кусок неба. И очень редко, если повезёт, он мог видеть звёзды. Но чаще всего небо оставалось ночью просто тёмным. Иногда он

видел и слышал всё пронзительно ясно, а иногда словно сквозь туман. Лучше всего он изучил свою комнату — рисунок обоев, трещинки на потолке, старый хромой шкаф, под одну из ножек которого был подложен кусок фанеры. Комната была одна и та же. И она всё время менялась — двигались тени, что-то проявлялось на солнце, что-то исчезало в тени. Приходила женщина и кормила и мыла его. Иногда она садилась рядом на табуретку и читала вслух. Он рассеянно слушал. Её голос был похож на дождь. Потом он умер. Через полгода из комнаты всё вынесли и сделали в ней ремонт. Вскоре здесь поселилась студентка. Комната при ней стала очень чистой и аккуратной. А на окно девушка повесила плотные шторы.

Весна

В аккуратно заштопанном пиджачке ёрзал стукач Маркин на старой кривой скамейке и ждал, когда же выйдет из комиссии спец Лапунов. Но тяжёлая зелёная дверь оставалась неподвижной. Тот самый Лапунов, который уже однажды в курилке усомнился в принятых на самом верху сроках по установлению весны. Из-под осевшего грязного снега проклюнулись прошлогодние окурки. Тот самый Лапунов, который вечно прогуливал воскресники, ссылаясь на загруженность работой. Невдалеке под окнами скрёб метлой тёмный немой Гизматуллин. Шло время, а Лапунов, который непонятно за какие шиши приобрёл своей дочке фортепиано, всё не выходил. Маркин переживал. Потом он стал думать о том, что если его повысят, то можно будет пошить себе костюм. Лучше, чем у Лапунова. Из дорогого материала. Завёлся, дёрнулся и заглох пришлый автобус. Кто-то тускло маячил внутри. Маркин старался не смотреть в ту сторону. Он хотел видеть светлое будущее. Вот сойдёт снег, наступит весна, или даже лето, и Маркина наградят путевкой на море. Ведь он ещё ни разу не был на море. Внезапно, уловив какое-то движение у дверей, Маркин поднял взгляд. На пороге, утирая пот, стоял жалкий Лапунов, который был на море уже целых два раза.

— Ну как? — суетливо кинулся к Лапунову едко пышущий одеколоном Маркин.

— Временно отстранили. До выяснения, — махнул Лапунов рукой и уступил дорогу. Маркин полоснул его злобным взглядом, пригладил волосы, проскользнул в дверь, аккуратно закрыв её за собой. Лапунов отошёл к скамейке, достал из кармана «Приму» и закурил. На пробивающемся из-под снега асфальте развалились голуби, млея от долгожданного тепла. Прозрачно сочились сосульки.

Подковылял Гизматуллин с метлой. Лапунов привычно угостил его. Гизматуллин взял, подкурил, затянулся, одобрительно качнул головой, вопросительно хмыкнул, указав глазами на дверь: как, мол? Лапунов улыбнулся и снова махнул рукой. Гизматуллин довольно промычал. Он всегда был расположен к Лапунову. Потом Гизматуллин пошаркал дальше. А Лапунов, докурив, загасил бычок и щелчком отправил его в урну. «Эх, хорошо, весна!» — подумал он. Из дверей выполз бледный Маркин и рухнул на скамейку.

— Я же всё… Я же никогда… — губы его тряслись.

Вслед за ним из дверей появился уполномоченный и неотвратимо приблизился к Маркину:

— Ну что же вы, — строго сказал он, — а направление-то забыли.

Он заботливо сунул в нагрудный карман маркинского пиджака жёлтый бланк и снова скрылся за дверью. Из скучающего неподалёку служебного автобуса грузно спрыгнул хмурый обладатель потёртой кожанки и направился к Маркину.

«Весна. Хорошо», — напомнил себе Лапунов и заспешил домой.

Гизматуллин не любил весну за то, что весной из-под снега появляется всякая грязь. Гизматуллин любил весну за то, что всё в природе обновляется, подавая тем самым пример. Ещё Гизматуллин любил Лапунова. За то, что тот никогда не жадничал на сигаретку. А ещё за то, что Лапунов нежно относился к этому миру. А вот непьющего и некурящего Маркина Гизматуллин не любил. Не за что было его любить. Отойдя от всё ещё растерянно улыбающегося Лапунова, Гизматуллин кинул взгляд на окно. За пыльным стеклом серела тюлевая занавеска. Гизматуллин перевернул метлу и стремительной арабской вязью вывел в воздухе очередную букву. Занавеска чуть колыхнулась. Гизматуллин перевернул метлу обратно и огляделся, изучая оставшийся фронт работ. Тут и там посеревший снег умирал в сверкающие лужицы. В курилке рядом с Лапуновым жмурилась на солнце стайка очередных бедолаг. Весна. Надо только поскорее убрать мусор, и будет всё хорошо.

Папа захлопнул чемодан

Папа захлопнул чемодан, сел на стул и сказал:
— Ну вот и всё…

Мама плакала в соседней комнате. Папа сказал мне:
— Ну что, давай попрощаемся как мужчины?

Тогда я схватил перчатку и швырнул ему прямо в лицо!

Тогда я навёл на него пистолет и сказал: «И никогда больше не возвращайся!»
Тогда я кинул в него томагавк, копьё и гранату!
Тогда я выпустил на него стаю бешеных собак!
Тогда я метнул в него миллион молний!
Тогда я стукнул волшебным посохом, превратил его в ящерицу и посадил в аквариум!
Тогда я схватил цепи и приковал его к стулу!
Тогда я схватил цепи и приковал его к этому дурацкому стулу!!
Тогда я схватил цепи с кандалами и приковал его к этому дурацкому стулу!!!

— Я понимаю, — сказал папа, — ну ладно, пока. Я зайду в воскресенье, и мы обязательно куда-нибудь сходим.

Папа встал, взял чемодан и ушёл, сутулясь и чуть прихрамывая.
Он был сильно изранен, но всё равно ушёл.

45-Й КАЛИБР

Анна Долгарева

И снег, и человеческое слово…

● ● ●

Я так боюсь поссориться с тобой —
чтоб это не было последним разговором.
Идёт весна, она идёт, как бой,
по городам, по красным светофорам.
И мы с тобой — мы происходим в ней,
но происходим как бы вопреки
огромной, обступающей войне,
невероятным приступам тоски.

Я так боюсь поссориться теперь —
со всеми, с кем когда-то говорила.
Наш Рагнарёк, и нам его терпеть,
собрав в кулак оставшиеся силы.
Но только нежность побеждает страх.
На небе — красно-синем, цвета мяса,
отчётливо виднеется корабль,
но мы вцепились в землю — в эти трассы,
хрущёвки и цветочные ларьки,
и станции метро, и магазины,
и это всё живое — вопреки.
И мы с тобой живые — вопреки.
И даже слышен стрёкот стрекозиный.

Пускай она уходит, эта дрянь,
огромная космическая хтонь.
Уйди, от городов моих отстань,
моих любимых никогда не тронь.

А что ещё, вот мой зелёный двор,
в нём жёлтые цветы и много света.
Я завершаю каждый разговор —
«люблю»,
поскольку важно только это.

● ● ●

когда вот так: горбатые домята
и сморщенная мокрая рябина,
и на полях разобранных и смятых
лежит трава, — мы помним о любимых.

и так ещё: от чёрно-снежных ёлок
вечерний горизонт — слегка мохнатый,
и на берёзах, тоненьких и голых,
туман и снег — как сахарная вата —

то мы тут ходим со своей любовью,
больные ходим со своей любовью,
и носимся со внутренней любовью,
и производим мир своей любовью.

а мир и сам — гляди же — происходит:
горчит во рту вода, листва опала,
и птицы с ней взлетели в небо, хоть и
укрыты мы от неба одеялом —

из серого и тёплого, как в детстве,
из сахарного снега и из облака.
а мы тут носим — никуда не деться —
вот это, что стозевное и обло.

храни тебя от чёрного пространства,
от космоса голодного ночного —
горячее дыханье лиса-братца,
и снег, и человеческое слово.

Писатели Кузбасса

Татьяна Ильдимирова

Кис-брысь-мяу

Тёплым летним вечером самое главное — не заходить домой ни за чем, ни попить, ни в туалет, ни за мячом. Загонят. Родители видят темноту другими глазами: как нечто, таящее опасность, словно они родились уже взрослыми и никогда не знали парную, сливочную, обволакивающую ласку летних сумерек и общность с теми, кто гуляет вместе с тобой. Даже если это люди из другого дома, чужой компании, если они старше или младше, даже если они вообще мальчишки, мимо которых днём проходишь, задрав нос, — вечерами все становятся друзьями, объединёнными игрой, разговорами, лёгкими подколками, кульком жареных семечек, коллективным желанием как можно дольше не идти домой. Нет, я не замёрзла и не голодна. Ещё пять минут, ещё десять минут, мам, ну пожалуйста, сейчас, сейчас, мы только доиграем, мы же тут, у подъезда, все здесь, никто не ушёл.

Окно Олиной комнаты с другой стороны, смотрит на дорогу, а окна кухни и родительской спальни выходят на двор. Олю ещё не кричали ни разу, но на окна она глядит с опаской. На кухне темно, окно спальни задёрнуто шторами, и оттуда рвётся наружу тусклый телевизионный свет. Оля знает: её позовут, когда закончится фильм, и надеется, что он длинный.

Время летит быстро до неприличия. Бегут-спешат минуты, вечер близится к ночи, лето — к середине.

— Я знаю окно, где женщина голая по вечерам ходит, показать вам? — спрашивает Рита.

Все хохочут, никто же не скажет: «Да, конечно!».

— Она даже на балконе курила один раз голая!

Кто-то интересуется:

— Совсем прямо голая?

— Нет, в трусах и в лифчике, а волосы такие, как у ведьмы — до самой попы.

— Скажешь тоже, голая. Сама, наверное, такая же ходишь, — говорит Санька.

— Я — нет, — краснеет Рита. — Я дома в спортивном костюме хожу.

Двор тонет в темноте. Небо спускается ниже, ложится на крыши. Звёзды яркие наперечёт, а вокруг мелкой россыпью мерцает звёздная пыль, как осколки вдребезги разбитого бокала.

Ноги приятно гудят. Сегодня все напрыгались в резиночку, даже Рита, которая уже большая. Оля скакала, как и все, до четвёртых, но горела реже других и, поймав кураж, чувствовала, что прыгает она лучше всех. В такие минуты она любила, нет, обожала своё крепкое загорелое тело за то, как оно здорово умеет скакать в резиночку или через скакалку, бегать в салочки и в казаки-разбойники, гоняться за воланом. Прыгала Оля и зимой, она натягивала резинку между стульями и упорно тренировалась дома; соседи снизу при встрече ругали её за постоянный топот.

Вокруг уютный, надёжный полумрак. Над подъездом зажёгся свет, и видно, как под светильником роится мелкая насекомая жизнь. От комаров отмахиваются бесплатными газетами с объявлениями.

Оля открывает газету и читает с выражением:

— Мужчина, 45 лет, обеспеченный, порядочный, без ж/п, Козерог, познакомится со стройной девушкой для серьёзных отношений. Люблю природу, рыбалку, лес.

— Хочешь позвонить?

— Ты чего, перегрелась?

— Так поприкалываться. Ты как будто его будущая невеста, вся такая милая и романтичная и мечтаешь о свидании на лесной полянке. Знаешь, как будет весело, мы с Варей однажды так звонили. Варь, скажи, круто было, да?

Варя кивает и заглядывает в газету:

— Смотри, а вот у этого указан пейджер. Лучше давай что-нибудь надиктуем. Например, «моя голова кружится от возможности скорой встречи, жду тебя завтра у фонтана в 14:00?»

— Ну и откуда ты собралась звонить? К автомату тащиться не хочу. Из дома если, так у всех там родители.

Оля читает дальше.

— Слушайте: «Отвечу по всем жизненно важным вопросам, да или нет».

— Это же за деньги, да?

— Конечно.

— Я тебе бесплатно скажу: да.

— Что «да»?

— Просто «да» и всё.

— Оля, — спрашивает Варя, — а вы покупали «спид-инфо» на этой неделе?

— Нет ещё.

— А почитать дашь?
— Может быть, и дам.

Вчера день был весёлый — седьмое июля, Иван Купала — обливай, кого попало! Когда идёшь гулять, будь готова к тому, что тебя с ног до головы окатят из ведра прямо с балкона или побегут за тобой с бутылками с холодной водой. В общем, если есть желание куда-то дойти красивой, то с этой мыслью можно распрощаться. Варя, например, струсила и целый день просидела дома.

Утро пришло прохладное, приправленное моросящим дождём, воздух прогрелся только к обеду, и вода ледяная была совсем некстати. Пока Оля шла в магазин и обратно, её облили трижды, причём один раз — на пороге магазина. Домой она притащила обгрызенный с концов мокрый батон.

Последним, кто облил её, был Санька: налетел со спины, как придурочный, схватил за плечо, вылил ей на макушку воду из бутылки и удерживал силой, пока не закончилась вода. Оля, опешив, даже вырываться забыла, фыркала, хлюпала и булькала бесполезно.

После обеда Оля вышла во двор, вооружённая бутылкой, и сразу увидела Риту. Та, облитая, бежала к подъезду, едва ли не плача. Волосы её мокрые были как у пуделя, а белая футболка облепила тело и стала прозрачной. Санька и Витёк мчались за ней вприпрыжку, скандируя: «Сиськи! Сиськи! Сиськи!»

Неожиданно Санька сильно хлопает Олю между лопаток. Она вздрагивает.
— Да у тебя там комар большой сидел и присосался уже.
— Ты чего на меня зыришь, в штаны напузыришь! — сердится Оля.
— Хочу и смотрю. Могла бы, между прочим, и спасибо сказать.
— А я, может, не хочу, чтобы ты на меня смотрел.
— Мало ли что ты не хочешь. Ты же не государственная тайна, чтобы на тебя и посмотреть было нельзя.

Оля дёргает плечами и спрашивает:
— Ходили сегодня на стройку?
— Ну а как же! Мы на последний этаж поднялись и, ты прикинь, на самом краю сидели. Ноги перекинули вот так и сидели. Андрюха, правда, поднывал, только настроение всем портил.
— Вы дураки совсем, что ли, и не лечитесь?! Ещё и маленького с собой потащили! Вот дураки-то, а!
— Да брось ты! Представь, как повезёт тем, кто будет там жить. Вот бы мне! Высота такая, выше, чем на колесе обозрения!

Стройка разрасталась на ближнем пустыре, на берегу городской речки-вонючки Искитимки. Будущие дома во дворе называли небоскрёбами, хотя в каждом из них было всего-то по двенадцать этажей. Ходили разговоры, что строить там нельзя, что почва зыбкая, будет вонять болотом, дома могут съехать в реку, да много чего ещё говорили. Ходить на стройку, разумеется, не разрешалось, но разве мальчишек это когда-нибудь останавливало? У каждого из них была наготове страшная история о знакомом мальчике, который на стройке разбился насмерть, но от этого стройка становилась ещё притягательнее. Существовал незримый пацанский кодекс, требующий нехитрых, всем знакомых подвигов: на стройке сесть, свесив ноги с двенадцатого этажа, пройти через реку по конструкции под мостом, забраться в разрушенный дом, о котором говорили плохое, дразнить злых собак. Санька недавно прошёл инициацию соседским бультерьером, и его едва спасли, в последнюю секунду оттащив собаку.

Каково это, смотреть вниз с двенадцатого этажа, даже представить страшно.

Надя из всех девочек жила выше всех, на пятом. Однажды, когда больше никого не было дома, Оля и Надя сидели на подоконнике, свесив ноги на улицу, и орали во всё горло, подпевая магнитофону: «Стоп кипятильник, стоп холодильник, стоп будильник, итс! май! лайф!», а потом «Художник, что рисует дождь». Оля словно раздвоилась, и пока первая Оля купала босые ноги в потоке ветра, глаза не могла открыть из-за близости неба и весь свой страх истошно орала в песню, пугая голубей, вторая Оля любовалась собой и балдела, ловила кайф от того, какая же она всё-таки бесстрашная, свободная и прекрасная и как это здорово — жить.

— Оль, ты мою жвачку будешь? — спрашивает Надя.
— Да ты же её уже долго жуёшь.
— Но она ещё вкусная.
— Если клубничная, тогда буду.
— Нет, со вкусом колы.
— О, давай. Мне мама никогда колу не покупает, говорит, что это гадость, которая разъедает желудок. Такая вкуснятина — и вдруг гадость. Я б её хоть каждый день пила.
— Может быть, в карты? — кто-то предлагает. — У меня с собой.
— Я не хочу, — отвечает Оля.
— А я хочу, — говорит Надя.
— Кто ещё будет?

Оля в карты играть не умеет, сколько ни пыталась вникнуть — не удалось, словно это была очень сложная наука. Все умели, а она никак. Она даже масти запомнить не могла.
— Варя, а ты погадать мне можешь? — спрашивает Оля.
— Это же карты для игры, а не для гадания. Они врать будут, лучше даже не пробовать.
— А те, что у тебя дома, не врут?
— Нет, те обычно правду говорят. Вот неделю назад одна девочка из художки, вы её не знаете,

просила погадать на мальчика, карты сказали, что он тоже её любит, она тогда ему первая позвонила, и они уже в кино успели сходить.
— А потом мне погадаешь?
— Можно подумать, тебе есть на кого гадать,— усмехается Рита.
— А вот и есть.
— На кого же, очень интересно!
— Это пока секрет.
— Ну чего врать-то?

Оля покраснела, нагнулась к лодыжке и принялась расчёсывать какую-то болячку:
— Комары—звери какие-то в этом году, прямо убийцы,—сказала она никому.
— Ты язва, Ритуза,—заявила Надя.
— Я? Нет, я просто очень открытая, что думаю, то и говорю. Вот ты мне сказала, что я язва, и я нормально тебе ответила. А Олька ничего не сказала, проглотила и сидит себе, как дохлая селедка. Неправильно это, я так считаю, ей так очень сложно придётся в жизни. И вообще, хватит уже разговоров этих, давайте хотя бы в кис-брысь-мяу поиграем, пока мальчишки здесь.
— Я лучше домой пойду,—сказала Оля.
— Брось, время ещё детское.
— Чур, я первая спиной встану,—говорит Рита.— Давайте только по-взрослому играть, а не только в щёчку целоваться, как в первом классе.

Кис-брысь-мяу не любит никто, игра глупая и чуточку стыдная, подходящая только для сумерек, при свете пока невозможная. Когда тебе одиннадцать и в кис-брысь-мяу выпадает чёрный цвет, то есть пинок, а попросту подсрачник, это неприятно, но не так позорно, как если вдруг розовый—поцелуй в щёку, а особенно красный—поцелуй в губы. Ладно, если с девочкой—привычно, только смешно: губы мягкие, у всех пахнут одной и то же жвачкой. Если вдруг выпадает мальчишка, то все остальные смеются с интересом и чувством облегчения: хорошо, что не я. Хорошо, что я могу смотреть и смеяться, а не подставлять губы, зажмурившись и скривившись от стыда. Особый смех, если выпало целоваться двум мальчикам—впрочем, они всегда ржут и отказываются, обмениваясь дружескими пинками.

С мальчишками никогда не угадаешь, как будет. Кто-то клюётся натвердо сжатыми губами, кто-то вытирает губы перед поцелуем, но всё равно они мокрые, как дождевые червяки. От некоторых противно пахнет первыми попытками курить, у кого-то немытые волосы и пыльная майка. Самое неприятное—после исполнения игровой повинности они тоже смеются. Нет мальчика, который бы не смеялся. Некоторые и плюются потом демонстративно, и тогда кажется, что уродливее и противнее тебя нет никого на свете. Обида несусветная.

Ещё страшно представить, что до конца лета будут гулять сплетни о том, кто и с кем целовался в кис-брысь-мяу. Сплетни, как известно, разлетаются по двору, словно в детской игре «испорченный телефон». В сплетне безобидные поцелуи могут превратиться в страстные, с языком, а равнодушная девочка обернётся влюблённой коровой. Это всё пустые, неоправданные страхи: что происходит в игре—то остаётся в игре. Можно за вечер несколько раз целоваться с мальчиком, а утром он пройдёт мимо и даже не поздоровается, делая вид, что не узнаёт. Стали играть, и все подряд, как назло, выбирали то розовый цвет, то белый, то, разыгравшись, красный. И вот уже Варя в третий раз отправилась с Юркой в подъезд на «пять минут наедине», а вернулись они не через пять минут, а через десять, когда уже все поочерёдно пытались за ними подглядеть. Вышли они из подъезда, друг на друга не глядя, и сели на разные концы скамейки. Вот Надю поцеловал в щёку Витёк и, как водится, сплюнул на землю. В другой раз Наде снова достался Витёк, он вместо поцелуя шлёпнул её по попе, засмеялся и дал дёру, Надя завопила: «Поймаю, убью гада!», а когда он вернулся, она треснула его по затылку ракеткой для бадминтона.

Оля выбирала розовый—цвет самый безопасный. Поцелуй в щёку, пусть и у всех на глазах, вытерпеть было легче всего. И всё-таки это был поцелуй, не детское хождение за ручку, не увиливание от игры. Розовый—цвет сдержанности, гордости, нежелания целоваться в губы с кем попало на потеху публике. Настоящая женщина не целуется без любви. Но, поддавшись общему куражу, Оля назвала-таки красный и чмокнула в губы Надю, пока пацаны кричали им: «Взасос! Взасос!»

Все разгорячились, всем весело.

Посреди общей радости за Витьком явилась бабушка и увела его домой, несмотря на протесты, вцепившись в руку, как бультерьер. Его всегда загоняют первым: родителей у Витька нет, бабушка над ним трясётся. Вместе они смотрятся уморительно, Витёк на две головы выше бабушки. Всем его так жалко, что даже смеются над ним неохотно и соблюдают правило—если бабушка ищет Витька, а он на стройке, значит, он в библиотеке.

— Мяу!—говорит Оля на втором круге.
— Какой цвет?—спрашивает Рита, и голос её искрится от предстоящего удовольствия.

«Санька»,—догадывается Оля.
— Белый,—говорит она, чтобы не целоваться.
— Олька, тьфу на тебя, договаривались же повзрослому играть.
— А что, это не по-взрослому?
— Нет, это как в детском садике. Давайте, раз уж играем, то по-настоящему.

«Варя тоже выбирала белый»,—думает Оля и молчит.

— Ну так что же, белый или передумаешь?
— Белый,— упрямо говорит Оля и зачем-то добавляет: — И красный.
— Сразу два нельзя! — говорит кто-то из пацанов.
— Отчего же,— лукаво заявляет Рита.
— Так нечестно, они уйдут в подъезд, и мы не узнаем, целовались они или нет.
— Да у неё же на лице всё будет написано! — смеётся довольная Рита.
— Хватит,— говорит Оля и поворачивается.— Я больше с вами не играю. Я серьёзно говорю!
— Вот сейчас сходишь в подъезд с нашим Александром и можешь больше не играть.

«Дура!» — громко думает Оля. Про себя ли, про Риту — сама не знает. Она смотрит на свои окна и надеется, что прямо сейчас её загонят домой.
— Я с ней не пойду,— неожиданно говорит Санька, и Оля до бровей вспыхивает багряной обидой.
— Эй, народ, да вы что,— кричит Рита.— Есть же правила!

Оля и Санька поднимаются на площадку между четвёртым и пятым этажами. Там сложнее за ними подглядывать и подслушивать, если желающие найдутся.

Свет перестаёт гореть на третьем; на этажах выше выкручены лампочки. Темнота в подъезде, как и во дворе, мягкая, привычная, нестрашная, здесь каждый сантиметр Оле знаком, она может подниматься наверх с закрытыми глазами. Санька идет первым, он протягивает ей руку и сжимает ладонь, Оля вскрикивает и от неожиданности, и от боли и отдергивает руку.
— Я сегодня занозу посадила, большая такая,— говорит Оля.— Вот тут она, в мякоти. Не вытаскивается никак.
— У меня булавка есть, хочешь, вытащим? — предлагает Санька.

Когда они остаются одни, оба ведут себя как нормальные.
— Нет, нет, не надо,— отвечает Оля.— Я лучше дома, сама. Не трогай только руку.

На лестничной площадке подоконник низкий. Оля садится на него, сложив руки на колени, будто на уроке. Санькиного лица в темноте почти не видно: только фигуру его у перил. Он не смотрит на Олю, отвернулся. Стены облупленные, исписанные. Одна из надписей в темноте не видна, она процарапана по побелке ключом: «О + С» когда-то было написано, но Оля давно исправила надпись на «О + О».

Пахнет краской, сырой штукатуркой: у соседей ремонт. Этих соседей ненавидят все в подъезде, потому что ремонт они делают постоянно и начинают новый, едва закончив старый.

Рука ноет, и Оля впивается зубами в ладонь, пытаясь высосать занозу.
— Ну и сколько нам тут сидеть? — спрашивает она.
— Пять минут, если мы играем.
— Я не играю больше.
— И я не играю.
— Дурацкая игра, правда? Я сейчас вообще домой пойду. Потом скажу, загнали. У тебя есть что новое посмотреть?
— Ты «Кладбище домашних животных» смотрела?
— Нет, это про что?
— Это страшное кино, такое страшное, умереть со страху можно! Там про оживление мёртвых. Принести?
— Не знаю. Я не хочу ужастик, я не засну потом. А «Леон» у тебя есть?
— Что ещё за «Леон»?
— Там про киллера и девочку. Надя смотрела. Интересное, говорит, не оторваться, она полфильма проревела.
— Я девчачье кино не люблю.
— Да оно не девчачье, говорю же — про киллера. Только грустное.
— У нас в классе у пацана одного киллер в хату залез, уборщицу застрелил, вот это грустно.
— Богатый, наверное, пацан.
— Да, ничего такой.
— А что же он в твоём классе делает, такой богатый?
— Ты что, у нас знаешь, какой математик сильный! К нему многие хотят попасть.
— Я математику не люблю,— говорит Оля.

«Мы здесь уже давно, все подумают, мы тут целовались,— с тревогой думает она.— Я совсем не хочу с ним целоваться. Он, наверное, и не умеет. Хорошо всё-таки, что он тоже целоваться не хочет. Я бы тогда умерла прямо тут».

Санька садится рядом, и Оля отодвигается так, как только позволяет подоконник. Не получается сесть так, чтобы совсем не касаться Саньки, и она просто на него не смотрит и снова кусает себя за ладонь. Потом облизывает губы, отчего-то сладкие, будто Оля объелась сладкой ваты.
— Дома достану занозу,— говорит она. Волосы падают ей на лицо

Оле кажется, что за ними подглядывают. Ей мерещатся то шёпот, то шаги, то сдавленный смех, она подходит к перилам и заглядывает в узкую щель, в которой пробивается краешек жидкого света.
— Эй!
— Да нету там никого. Кошка, наверное, пробежала.
— Кис-кис-ксс…

Тишина.
— Я пошёл, да?
— Иди-иди, передавай всем привет,— говорит Оля и бежит домой первая, обгоняя Саньку, перепрыгивая сразу через несколько ступенек.

Дома она запирается в ванной, коротко плачет, вытирает глаза пальцами и впервые в жизни бреет ноги лезвием «Балтика», уничтожая лёгкий золотистый пушок.

Елена Буевич

Лист кленовый

● ● ●

Сентябрь, сентябрь, как плотен твой помянник!
Среди полян, затопленных слюдой,
о всех ушедших грезит коноплянник,
о всех, утёкших за водой седой…

Тёплы их руки, бывшие оплотом,
нежны объятья, хоть и не видны.
Навстречу им—в стремлении бесплотном—
срываюсь, преисполнена вины.

И замечать так странно потому-то,
что ничего смертельный миг не стёр,
что не о них вздыхаю поминутно
и разжигаю мысленный костёр,

в котором не для них горят поленья,
а для тебя,—ушедший, но живой.
Да молишься и ты—вне озлобленья,
в душе не опустевшей и жилой.

Вспомни Алушту с улыбкою странною

Не Алушту сладчайшую летнюю,
одна тысяча девятьсот…
где больную тебя, шестилетнюю,
мама с пляжа «домой» несёт,

но Алушту недавнюю, зимнюю—
с солнцем мёртвых на пляжах твоих,
с мандаринно-январской корзиною
в крымубежище на двоих,

с той тоскою неубиваемой
от напитанной кровью земли,
со шмелёвской, неупиваемой,
синей чашей морской вдали,

с новогодним контентом из телика,
с контингентом в кафешках из зон,
и шестого—с террасы отелика—
Рождества колокольный звон.

И трёхдневную, непространную,
в недоверчивом сердце дрожь.
И разлуку, с улыбкою странною.
Впрочем, что же в ней странного, что ж?

● ● ●

Дом был другой, и заборчик—другой,
и тропинка, протоптанная, дугой,
и в снегу—тяжёлые ветки
и следки соседской левретки…

Но очнёшься случайно не там, а тут,
где подхватят тебя и несут, несут,
и поют на ходу, и смеются,
и бессмертными остаются.

Лист кленовый

Лист кленовый безголовый,
свежий, юный, неземной.
Ах, с какой надеждой новой
увязался он за мной!

И летает, и сияет,
и спасает, и поёт,
будто больше не зияет
смерти выход (или вход).

Неужель, бежавший тленья,
будет счастлив индивид?
Нету летоисчисленья,
как Георгич говорит?

Только жду не без опаски,
с непонятною виной,
что иссякнут эти сказки,
эти танцы под Луной.

Есть невидимы законы,
по которым навсегда
мрак бездонный заоконный
позовёт меня туда,

где заждавшуюся лодку
обнимает старый Стикс,
где найдёт свою находку
каждый игрек, всякий икс.

Явление цветущего абрикоса

1.

Он первый, он самый отважный,
он чует, что будет теплей,
и шмелик однофюзеляжный
поверил ему, дуралей.
И бабочка, la mariposa,
не зная прогноза вполне,
мерцает в столпе абрикоса,
на светлой его стороне.
Все вместе они обязались
втянуть меня в эти дела—
летать, любоваться на завязь,
сулить наступленье тепла.

2.

К старости становишься японцем.
И стоишь под солнцем, чуть раскос,
и глядишь: с тишайшим перезвонцем
помавает веткой абрикос.

Обогнал он яблоню с черешней,
посетил на миг земную клеть,
чтоб воздушной радостью нездешней
окатить, утешить, облететь.

Будто растворились двери рая,
и стоит в пристанище добра,
на тебя, заблудшего, взирая,—
дерева цветущая гора.

А вокруг—ристалища и квесты,
пёсий лай и человечий бег.
И летят, как «капельки» челесты,
абрикоса радость, сладость, снег…

3.

иногда ветка абрикоса—
это хокку
иногда—
пара строф
порой
встретишь дерево
которое тянет
на полноценное
стихотворение—
строф на пять
или даже
на семь
но что же тогда,
абрикос-поэма?
дорога ли это
под абрикосовой сенью?
или абрикосы-ворота
в дивный новый мир?
или просто крона,
опрокинутая в небо—
космос цветущий?
но никогда
знаете, никогда
мне ещё не попадался
абрикос-верлибр
такой где всё
с маленькой буквы
почти без знаков препинания
строка—два-три слова
неужели он не существует?

Война

Хочешь, скажу тебе, что будет на самом деле?
Война нас заставит забыть о нас, держать себя в чёрном теле,
выветрит все упоминания о любви из сна и яви,
выберет из всех—нас двоих и железной рукой задавит.

Это за то, что мы хотели увидеться в мае—
сфоткаться на мосту, из центра ехать в трамвае,
долго гулять над рекой, искать созвездие Девы,
засыпать под утро, не зная, кто мы и где мы.

Это за то, что много всего мечтали,
мало имели, тяжело трудились, были из стали,
и когда другие ломались, ты молился и я молилась…
Мы получим сполна за всё, и тут ни при чём справедливость.

Здесь работает высший закон, закон для Иова:
у других—безмятежный сон, плодоносит корова,
тучны стада у них, не пропадают дети,
лишь для таких, как мы, нет ничего на свете.

И когда друг друга жизнь случайно протянет: «на»!—
наступает конец, миру венец, война.

Иван Волосюк

Невооружённым взглядом…

● ● ●

Снег сам собой не образует мифа:
мы бабу снежную лепили — дети скифов,
сакральный смысл оставив на потом,
с кургана покатились кувырком.

А зимы были страшные: страшнее,
чем ночь в бомбоубежище. Дощечки
привязывали вместо лыж к ногам;
и даже если дом не уцелеет,
то в кухне летней как-нибудь у печки
перезимуем и хвалу богам

весной, когда снега сойдут с курганов,
мы выразим посредством истуканов.

● ● ●

Мир недостроенный, шестоднев,
вместе: ягнёнок, лев.

Помнишь, тогда возлежал в тени,
пьяный, с «ночной», — пойми.

— Ты так начало грозы проспишь
(тоже мне — Кибальчиш).

По полю с бухтой Плохиш ползёт,
скоро уже — рванёт.

Будет под вечер пространство стыть
да пароходы плыть.

Будет под утро всё тишь да гладь
(тоже мне — благодать).

● ● ●

Туда не пускают чужих, своих,
ударят соломинкой по горбу,
и чувство такое, что меньше их,
и в дальнем сидишь ряду.
Прижечь эту боль, что рукой прижать,
неси подорожник, пройдёт скорей,
но слово хочется прожужжать,
найти его среди трав, корней.
Смотри на буквы в прицел, лови,
иди за ним по стене, в окно,
кто был с поэзий по любви,
тот с ней останется всё равно.

● ● ●

По живому пространству, где фосфор
оставляет чахоточный след,
я прошёл невесомо и просто,
без знамён, без потерь, без побед.

Там о смерти ни слова — не каркай:
ворон ворона не заклюёт!
На какие военные карты
нанесут этот пеший поход?

Я ходил по холмам и пригоркам
(хочешь смерти — так быть посему),
но ни корки теперь, ни полкорки
я с чужого стола не возьму.

● ● ●

Соглашайся на меньшее, дура,
после хитростью всё заберёшь.
Старый Шлойме глотает микстуру,
собирает патроны Гаврош.

В этом городе страшно и дико,
и не выпрямишь спины людей,
чтоб там ни напридумывал Диккенс,
чтоб там спьяну ни плёл Теккерей.

Добываем ли глину в карьере,
добиваем лопатой врага,
всё равно мы своё отгорели
и попутали все берега!

● ● ●

Обжарить рыбу с двух сторон,
чтоб масло тоже порыжело,
когда пришёл Наполеон,
меня убили подо Ржевом.

Хотят ли русские войны,
отсюда мне не доглядеться,
а нам снега затем даны,
чтоб никуда от пуль не деться.

Сегодня снова не усну,
но, если что, в подвале свечка,
а дальше будет, как в Крыму,
где люди есть и человечки.

• • •

Давай о смерти ни гугу,
кто был не прав—война поправит,
мой голос внутренний картавит,
и я по снегу, как могу,
иду домой.

Но медленней ползёт улитка,
чем я (во сне) туда иду.
Что, если это не молитва,
а так—губами шевелю,
о, ангел мой?

Хоть стены там тепла не держат,
есть только стулья и кровать…
Из человека выпал стержень,
и больше нечего ломать.

• • •

Всё не так, как раньше мне казалось,
Бог с тобой, прохожий, я в порядке.
Солнечная осень состоялась,
но потом, на деле, оказалось—
вариант журнальный, то есть краткий.

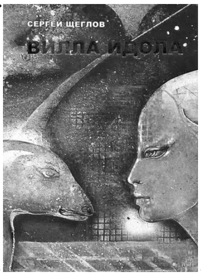
Хвойный лес, куда с тобой вернёмся,
где не пахнет минами-грибами,
хвоя отфильтровывает солнце,
и оно тебя теперь коснётся
липкими, душистыми лучами.

Музыка нетканая возникла—
я отсюда слышу её гомон.
Бог с тобой, прохожий, я привыкну,
за меня ещё попросят выкуп
и получат деньги по-любому.

• • •

Я смотрел невооружённым взглядом на звёзды и планеты.
Я слушал невооружённым ухом голоса перелётных птиц.
Я прикасался невооружёнными пальцами к остывающим камням.
Что я ещё мог сделать,
чтобы остановить войну?

ДиН ревю



Сергей Щеглов

Вилла идола

Красноярск: «Красноярское Воскресение», 2012 / Москва: «Вахазар», 2012

Скандарское озеро

Никогда не позабыть
Твоих кувшинок чары,
Запах рыбы и грубой силы,
Журчания воды
По ту сторону границы,
Что режет тебя надвое.

Где ты добрее и где—настоящее?
Кому принадлежат кувшинки
За той чертой?
И если лягушка переплывёт озеро,
Она нарушит законы?

В тихую заводь медленно лодка вплывает.
В воде отражается солнце,
Сверкая вокруг золотыми дукатами.

И лишь на том берегу,
Как мрачное предзнаменование,
Высятся горы со страшным названьем—
Проклятие.

Невенке Урбановой

Я знаю, ты любишь жёлтые листья в вазе,
скучаешь по жёлтым сумеркам Белграда,
грустишь без света рампы и аплодисментов.
Театр полон, все билеты проданы: аншлаг!

Кому теперь приснится этот сон?
И кто скрывается в окне за жёлтой шторой?
Один лишь силуэт: не разглядеть,
и на вопрос вопросом не ответить…

Оркестр, вы играете Шопена?
Играйте тише, но прошу—играйте!
Вы шёпотом Шопена прошепчите:
пускай в тумане дремлет старый Стикс.

Всю ночь на землю падал белый снег.
В твоих руках билет с открытой датой…
Проснулся мир, а ты навек уснула,
и спишь спокойно в жёлтой тишине.

Александр Евсюков

Ливням и волнам навстречу

Анзер

Вскипают волны по бортам,
Белеет море—
На утлой лодке в дальний храм
Нырять доколе?

Отстали чайки—вновь к земле
Их сбило ветром.
Но пощадят ли нас во мгле
Морские недра?

Прошли всю салму—вот причал,
Вела молитва.
Вечерний остров замирал,
Как перед битвой.

Мыс Колгуев

К месту крестов и ветров,
Ливням и волнам навстречу
Шли по границе миров
Шестеро—день или вечность?

С нами прощались всерьёз
Перед далёкой прогулкой.
Что там? Молчание звёзд
Под небесами так гулко.

Что там? Пружинящий мох,
Долгие чаячьи крики.
Знание: ты это смог,
Край пропустил тебя дикий.

Берег—песчаная нить;
Где над ногами не властен,
Можешь их только просить
Вынести, вырвать из пасти

Холода, ночи, тоски.
Шаг бесконечного марша—
Боли и страха тиски
Острова этого старше.

Будто усталый орлан,
Вынесший бурю над морем,
Каждый теперь капитан,
Плававший юнгой в Поморье.

● ● ●

Декабрь смертным тяжёлым грузом
сорвётся в море, осядет в снег.
А холод в душах откроет шлюзы—
осиротит нас уже навек.

Но будет радость на высшей ноте,
под вой шакалов, конвой акул;
тех, кто герою на эшафоте
с усмешкой тонкою выбьет стул.

Тут беспросветный гуляет морок.
Как на побывке вы там в раю.
Глаза откроем, а все, кто дорог,
К живому сердцу идут в строю.

● ● ●

Из всех примет былой эпохи
Запомню, кажется, одну—
Ту, что вошла, как спирт на вдохе,
В другую реку окунув.

Увижу снова ближний берег,
Кровавый шар навис над ним,
Но я ещё во всём уверен
И встречам даже рад таким.

Ночами смотришь вверх и выше:
Там не тревожен ветки взмах,
А звёзды сыплются по крыше,
Чуть перезрев на небесах.

Никто не думал, как всё тонко,
И что взаправду та страна
Вдруг расползётся, как картонка
С пятном пролитого вина.

Отец в оцепененье ватном
Процедит: всё к тому и шло.
Багровый диск и свет закатный,
А мне казалось—НЛО.

Сергей Тенятников

Самовозгорающееся пламя

Пейзаж снаружи

А. Т.

если пойдёшь налево, потеряешь веру.
но зачем тебе призрак девы?
сколько ни повторяй «сезам»,
не откроются, как холодильник, небеса.

появился на свет, уже выиграл в лотерею.
разве недостаточно чуда греться у батареи?
надёжнее пол—его постоянство,
лишь он даёт пространство для танца.

поклоняйся иконам, ещё вернее стенам,
они не соврут, из чего наш мир сделан.
в окне пейзаж, как в туннеле, становится уже,
так зачем тебе те горы снаружи?

если пойдёшь направо, потеряешь голос.
но зачем тебе эхо слога?
всё равно криворукий Шива перепутает подарки,
вместо Нобеля достанет пуделя из шапки.

существовали ли греки, раз не было Гомера,
к чему же ты рассказываешь о людях нашего размера?
плавают головы и хвосты, пучат глаза рыбы,
уха навсегда примирит хищника с его добычей.

и пусть ещё чья-то жизнь светится и кружит
во вселенной, лицо твоё высохнет вместе с лужей.
так зачем играть на лире глухой тени,
коли она раньше утра выйдет за двери?

если пойдёшь прямо, потеряешь память.
но зачем тебе эта сознания яма?
знает каждый школьник, что по расписанию
движутся поезда, а не пассажиры, и что как песню

ни петь хором, от этого рояль не станет сосновым лесом.
к чему ломать себе ноги, раз есть колёса?
взгляни на окружающие тебя предметы,
что ты называешь своими. в них нету

жизни, и в этом их наивысшая польза
миру, который они славят, приняв лотоса позу.
так зачем же ты проращиваешь глазастый картофель,
разве Орфей вернулся домой без стоптанных туфель?

Памяти М. М. З.

звёзды замолчали, будто никогда не говорили.
только дети, засыпая, повторяют: «жили-были».
но я помню эту птичью немоту и страх:
«где ж моя, расшитая тобой, рубашка?»

жизнь моя шатается, мой язык считает зубы.
если я домой вернусь счастливым, перебью посуду.
только солнце какой родины в мой затылок светит?
что за птица теперь бьётся надо мною с ветром?

всё моё наследство, всё соседство мира…
это всё как будто ты мне на ночь сотворила.
скоро Рождество. будет снова плакать мальчик.
расщелкнул орех кедровый. он пустой, как мячик.

В ночь перед новым годом

у моей бабушки в избе жила икона.
ни у кого в деревне я больше не видел икон.
тысячи окон и ни одной иконы.
только в опустевшей деревне, откуда
бабушка родом, когда-то стояла церковь.
затем в ней разместили сельский клуб.
а когда я пришёл на это место,
там стоял лишь железный обелиск,
крашенный голубой краской
и увенчанный красной звездой.
на нём был список с фамилиями павших.
и каждый год на девятое мая
собирались люди у обелиска.
им было вместе хорошо, будто
не было войны, никто не умирал,
и церковь звонила в свои колокола.
люди радовались весне и встрече.
хотя, быть может, всё дело в алкоголе?
но я тогда не пил и радовался
просто так со всеми.

позже я узнал, что икона, для которой
бабушка из алюминиевой фольги
смастерила оклад, была бумажной.
Богоматерь с Младенцем были просто
напечатаны в каком-то журнале.
из него бабушка и вырезала этот образ.
когда я это теперь так вспоминаю,
мне делается одновременно больно и легко:
куда брели мы и что у нас осталось?
ни церкви, ни деревни. ни веры, ни земли.
не лучше ли принять иную веру,
а землю распотрошить
и сделать из неё паштет?
но я светлею, когда я думаю,
что у меня была бумажная икона
и со звездой железный обелиск.
не потому ли мы чувствуем и мыслим,
чтоб вспоминать о том, что жертва
не была напрасной, что жизнь — не тень,
а гаснущее и самовозгорающееся пламя.

Пистолет

мой дядя, работавший профессиональным
охотником, привёз мне на день рождения
из тайги пистолет, каких в Красноярске
никогда на моей памяти не продавали.
пистолет был стальной и игрушечный,
но если бы я немного поломал голову,
из него мог бы получиться предмет
первой необходимости юного бандита.
такие самодельные стволы
я встречал в микрорайоне Северный.

но я принесу мой пистолет, чтобы
похвастаться перед одноклассниками,
в школу номер 139, где он будет изъят
на перемене директором. дюжину лет спустя
директора убьют его бывшие ученики.
мой дядя бросит охоту и займётся
овощеводством.
по ночам он будет включать помидорам
в теплице классическую музыку.
про пистолет он никогда не спросит.
да, я и сам о нём вскоре забуду.

Следы

видишь следы от сапог в раскисшей земле?
я говорю: здесь прошёл человек.
но говорю я это неуверенно,
будто человека здесь не могло быть.
будто точнее было бы сказать:
здесь прошёл рыбак, охотник или егерь.
будто правильнее было бы сказать:
здесь оставило следы неизвестное существо,
и нам требуется экспертиза
для воссоздания его облика.
и всё же я шевелю губами:
до нас здесь был человек.
пойдём по его следу.
не стоит месить дольше грязь.
не надо судить по ней о людях.
не будем лепить новых.
следы достаточно свежи.
у нас ещё есть время
догнать этого человека пока не поздно.
мы ещё сможем взглянуть
в его голубые глаза.
видишь следы уже подмерзают?
у нас ещё есть немного времени
окликнуть его по имени.
видишь следы…

Ирлан Хугаев

Чёрт

Школа была за селом у церкви. Когда Филипп шёл по своей слободе, собаки не трогали его, они его знали. Но когда он вышел к чужим дворам, выскочила Жучка, залаяла, а за Жучкой большая собака Волчок. Филипок бросился бежать, собаки за ним. Филипок стал кричать, споткнулся и упал.

Л. Н. Толстой

1.

Говорят, что глупец не знает, что глуп, потому что у него не хватает ума, чтобы это знать. Ума может и не хватать, но ведь душа всем дана полная. Вот почему к зверю применяют поголовный счёт, а людей считают подушно. Любой Наполеон знает в глубине души, что он никакой не Наполеон, а сбрендивший Иван Иваныч, член кооператива. Душевнобольных нет; есть полоумные. Душа не болеет, а только болит. Душа умнее любого ума; даже душа глупца умнее ума любого профессора. Душа всё знает.

Душа с самого начала знает то, над чем бьётся самодовольный ум, вооружённый такими ужасными приспособлениями, что истина, если бы она действительно стояла на пути ума, давно должна была бы капитулировать. Душа знает свою причину, свою отчизну, душа знает добро и зло, рай и ад; душа знает, конечна ли вселенная и есть ли бог или нет.

Только кто её слышит? Душа человека предана анафеме; душа—изгой. Она вне закона, как нелепый и смешной атавизм, и если бы её можно было удалять хирургически, как аппендикс, то так бы и делали.

2.

Филипок был негодный человек. Он это знал и жил со смутным, как древнее сновидение, как воспоминание о прежней жизни, предчувствием, что плохо кончит. Ведь если бы у негодяя вовсе не было представления о добре и правде, он бы не избирал так безошибочно неправедный путь. Впрочем, скажи ему кто-нибудь другой, что он негодяй, он бы, пожалуй, саркастически усмехнулся и потребовал объяснений. Не ради анализа, конечно, а только из апломба, для формальности.

Мыслить и анализировать он не мог, но он видел, что человек он никчёмный, что он не в состоянии распорядиться своей свободой, и лучше бы ему сидеть на цепи. Сколько раз он был свободен—столько раз он попадал в жуткие и смешные, для постороннего взгляда, истории. При этом он причинял боль не только другим, но и на собственном лбу набивал шишки и ломал себе кости.

Этот опыт, не говоря о предчувствии, не предостерёг его, не сделал его лучше; напротив, Филипок постоянно оспаривал его тем, что делал всё наперекор совести и всё глубже погрязал и укоренялся в том болоте, которое сам возделал на целине своей болящей души со злорадным усердием. Снаружи он был только неудачник и негодяй, но если бы кто-нибудь видел его нутро, он решил бы, что Филипок нарочно пытает бога, желая нащупать предел его милости.

На земле не было ни одного человека, кого бы Филипок любил или жалел. Любить—значит отдавать; а Филипок этого не умел и не хотел; он был похотлив и алчен, как гиена.

И внешне он тоже был плюгав и напоминал гиену: у него было плотное неловкое туловище без талии, короткие ноги и запавший зад; его круглые уши имели звериное свойство непроизвольно и беспокойно дёргаться; на шее, которую он никогда не додумался побрить, выросло подобие гривы, и ходил он понурив голову и с безвольно отвисшей челюстью, что придавало его лицу тупое, утомлённо-пришибленное выражение.

3.

Он-то никогда никого не любил, но его-то любили. В начале у него были бабка, отец и мать, которая купала его в голубом пластмассовом тазу, напевая просторные советские песни, с неизменно умильной улыбкой стирала за ним пелёнки и кормила горячей обильной грудью, чтобы Филипок вырос в здорового и красивого человека, защитника правды и строителя жизни.

Может быть, именно материнская любовь зароняет в ребёнка душу; во всяком случае, тот, кого любили, не может быть дурным по природе, от рождения. Не может быть без души тот, кто был любим матерью: матери ли не знать, есть ли душа в её ребёнке? И как бы низко ни пал взрослый человек, этот поднявшийся в гору ребёнок, и каких бы напастей ни довелось пережить душе, хотя бы

самая малая её крупица навсегда сохранит первозданную нежность и чуткость,—а крупица души равна целой душе, ибо память души неделима. Человеческое всегда есть в человеке, потому и называется человеком любой человек.

Для души нет тайн, но душа—тайна. Что и когда случилось с его, Филипка, всезнающей душой, что она наконец замолкла и забилась, дрожа от страха, в самый тёмный угол его естества, неизвестно. Но если бы кто-нибудь взялся рассказать его историю, он бы, наверное, начал с того, что однажды, пока девятимесячный Филипок спал, мать оставила его одного и забежала ненадолго к соседке, а когда вернулась, нашла Филипка на полу, посиневшим от крика. Она ужаснулась и, схватив его на руки, сунула ему в рот грудь, чтобы успокоить, а Филипок сжал свои маленькие челюсти и прокусил сосок до крови (у него как раз прорезались зубки). Вскрикнув, мать отдёрнула его от груди, и Филипок почмокал, будто смакуя. После этого мать не оставляла его ни на минуту, и кормила его с опаской и внутренним напряжением, и при этом шёпотом упрашивала его не кусаться. Но он всё равно кусался время от времени и орал уже без всякой причины.

Его показывали врачам; те мерили ему температуру, слушали сердце и лёгкие, щупали живот с некрасивым, как бородавка, пупком, брали анализы—и не находили никакого недуга.

Но материнская мнительность равна только материнской любви и так же не нуждается в основаниях: до конца жизни мать была уверена, что именно тогда с Филипком произошло что-то нехорошее и, возможно, непоправимое. С тех пор её любовь к Филипку соединилась с дурной, навязчивой и неустранимой тревогой, с горькой догадкой о тщетности её повседневных забот, которым прежде она отдавалась с таким вдохновением.

Всё смешалось в доме Каратузовых. Может быть, напрасно они драматизировали: все дети плачут; но ор Филипка был всё-таки чрезмерен, и он прервал ровное течение их жизни: между родителями начались нервные споры, посыпались взаимные упрёки, припомнились несуществующие обиды.

Старенькая бабка Василиса, которой отец Филипка был единственным поздним ребёнком, худенькая и смирная, держалась в стороне, читала про себя молитвы и время от времени робким полушёпотом, потому что покойный отец её невестки был партийный и ветеран социалистического труда, говорила, что хорошо бы Филипочка крестить. Бабка мечтала понянчить Филипка и верила, что могла бы его успокоить, но её невестка отчего-то ею всегда брезговала и никогда не позволяла прикоснуться к внуку, ревностно ограждая его от любого бабкина участия. В тот день, когда Филипок укусил мать в первый раз, бабка ходила на рынок за картошкой; будь она дома—и мать не побежала бы к соседке, чтобы не оставлять Филипка со свекровью одного. Теперь, истомлённая распрями с мужем и бессонницей, мать заставила себя поверить, что во всём именно бабка Василиса с её картошкой виновата, и всё чаще и громче бурчала на неё по самым разным, надуманным предлогам: то бабка посуду плохо помыла, то веник не там оставила, то мух на кухню напустила.

Филипок не давал спать даже соседям. По ночам они, обычно выдержанные и тактичные нацмены, глухо стучали кулаками в стены, словно у них было основание думать, что Филипка нарочно заставляют вопить,—и мать бросала Филипка на кровать, будто он обжигал ей руки, и в отчаянии хваталась за голову.

Слёз на глазах Филипка никогда не было; скоро все, вопреки здравому смыслу, начинали думать (хотя никто бы не признался в этом другому), что он кричит нарочно, и малодушно и предательски подозревали младенца в злонамеренности.

Отец, который к тому времени, начав утомляться семейной жизнью и нуждой, начал крепко выпивать, нагибался над ним, лежащим поперёк кровати, и шипел Филипку прямо в лицо (и ему уже никто не возражал):

— Если ты, гадёныш, сейчас не заткнёшься, я вышвырну тебя в окно!..

Тогда Филипок осмысленно и как будто саркастически, потому что угроза была смехотворной (они жили на первом этаже хрущёвки, из их окна можно было запросто шагнуть на улицу), замолкал. Впрочем, ненадолго.

Наконец профессор детской поликлиники шёпотом посоветовал им показать Филипка старухе, колдовавшей в предместье. Мать долго не решалась, но потом собралась с духом. Всю дорогу Филипок орал, чем сильно расстроил попутчиков в автобусе, а ввиду колдуньи сразу притих. Она распеленала Филипка на старом сундуке, совсем, как показалось матери, не слушая её рассказа, обнюхала его, потом взяла голого на руки, присела у печи и сказала:

— Ну, чего притих, карапуз? Покричи, а мы послушаем.

Филипок покряхтел и подёргал ушами.

— Не знаю, всю дорогу кричал,—сказала мать как бы оправдываясь.

— Оно конечно. Ко мне никто просто так не ходит. Но настоящей-то причины ни у кого нет,—колдунья встала и всучила Филипка матери.

— И у меня... нет?

— И у тебя нет.

— Он что же—без причины кричит?

— Ну почему же без причины? Без причины только взрослые кричат.

— Отчего же он кричит?

— Бог его знает.

— Как?.. И всё?
— Да ты не бойся, дочка: денег я у тебя не возьму.
— Может быть, крестить его?.. Или свечку поставить?..
— Почему же не крестить? Можно и крестить, можно и свечку…

Обратно ехали по первому, только что выпавшему снежку, и матери не верилось, что эта та же самая дорога. Она досадовала и на колдунью, и на себя, и на профессора. «Бог его знает!.. Бог его знает»!..—повторяла она в сердцах, передразнивая старуху, но не могла отделаться от ощущения, что старуха всё же успела сказать что-то такое, что ей необходимо было принять к сведению.

Филипок молчал и смотрел воспалёнными глазами на бескрайний белый простор в окне, и когда мать взглядывала на него, её сердце сжималось от умиления и сладкой тоски. Вдруг Филипок чихнул, и мать осенило; она притиснула Филипка к груди и беззвучно разрыдалась: её почему-то не утешило, а страшно напугало, что её маленького сыночка знает бог.

4.

Это открытие произвело на мать какое-то болезненное впечатление. Она, конечно, не верила в бога, но всё же ей было страшно, что бог знает её Филипка, так, словно у Филипка мог быть какой-нибудь позорный секрет. Поэтому Филипка, к тихой бабкиной радости, и крестили на всякий случай, и свечки угодникам поставили,—всё как будто украдкой, пряча глаза от других прихожан, как тати, потому что вера в те времена считалась суеверием.

Филипок рос и кричал всё реже, и уже не так бессмысленно, как прежде, а по более или менее понятным для взрослых причинам, что само по себе тоже служило для них известным утешением. А кусаться и вовсе перестал, потому что перешёл на каши. Тогда же мать сняла с него крестик, чтобы, не дай бог, не увидел кто.

Первое слово, которое Филипок произнёс, было «цыц». Все посмеялись, сочтя это забавным, и тем не менее исподволь стали говорить при нём вполголоса, сюсюкали с ним и всячески перед ним заискивали, лишь бы Филипок не делал им замечаний и сам тоже не орал.

Так он и рос до школы. Только ел и, сидя на полу, рвал газеты. Последнее было его любимым занятием; других игр он не усвоил. Бабка едва успевала за ним подметать; если же целых газет в доме не оказывалось, то он закатывал истерику.
— Погоди, Филипок, миленький; бабка Василиса в киоск побежала,—упрашивала мать.
— Цыц!—говорил Филипок, делая страшные глаза, и снова начинал реветь.

Надеясь отвадить Филипка от этого странного пристрастия, мать иногда покупала ему книжки с картинками, а однажды принесла, радуясь, «Новую азбуку» Льва Толстого, раскрыла книжку и сказала:
— Гляди, Филипок. Тут про тебя есть рассказ. «Филипок» называется. Почитаем?

Филипок молчал, насупившись.
— Ну что ты?—засмеялась мать.—Интересно ведь. Ты только послушай. «Филипок. Быль. Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз все ребята в школу. Филипп взял шапку и хотел тоже идти. Но мать сказала ему: куда ты, Филипок, собрался?— В школу.—Ты ещё мал, не ходи,—и мать оставила его дома. Ребята ушли в школу. Отец ещё с утра уехал в лес, мать ушла на подённую работу. Остались в избе Филипок да бабушка на печке. Стало Филипку скучно одному, бабушка заснула, а он стал искать шапку. Своей не нашёл, взял старую, отцовскую и пошёл…»

Филипок не захотел слушать дальше.
— Цыц!—сказал он, ударил по раскрытой странице своей маленькой пятернёй и смял её. И мать закрыла книжку, молча разгладила её у себя на коленке и убрала на шифоньер.

В школе Филипок, выделяясь только неказистостью и слабыми умственными способностями, взял, однако, в привычку делать всё, чтобы быть на виду. Он пинал девочек, бил исподтишка, несправедливо и трусливо, только с заведомо более слабыми дрался; а когда, случалось, получал сдачи, бесстыдно и жалко вопил. Боли он, пожалуй, действительно не переносил, не хотел её терпеть и по наитию и привычке заглушал её диким ором, чтобы у самого уши закладывало; однако очень любил притворяться, что у него болит голова или живот,—и притворную боль переносил уже со стоическим мужеством, бледнея и постанывая сквозь зубы. Учителя перестали воспринимать всерьёз его жалобы и называли его между собой «артистом», но изображали участие, чтобы Филипку потрафить, хвалили за мужество и с удовольствием отпускали его домой лечиться.

Всё, что было связано с болью, кровью и насилием, его интриговало и зачаровывало. Когда нацмены резали во дворе скотину к поминкам и праздникам, он, грызя ногти, не мог отвести глаз от этого зрелища и, вероятно, переживал единственно доступный ему катарсис. И как-то исподволь Филипок повадился давить хлопотливых муравьёв, дождевых червей, нежно-зелёных лягушат и всякую другую подножную живность; особенно приятно ему было слышать, как хрустят под его ногой грузные майские жуки с их глянцевитыми подкрылками. Большая улыбчивая страна, в которой рос Филипок, любовно и терпеливо внушала ему, что он самый счастливый мальчик на земле, но он не поверил и обозлился и взалкал мелочного разбоя, разврата и вольницы, и каждый его день был праздником непослушания.

При этом в главных вопросах коммунистического воспитания он был ортодоксом и так и не узнал никогда, что сам был крещён. В его классе училась потомственная молоканка, которая ходила с родителями на собрания, замкнутая и худенькая, как сирота, как Неточка Незванова. Когда Филипок об этом узнал, он прибежал к ней на перемене и спросил, сияя подлым весельем:
— Ты что, богу молишься?.. Ха-ха! Ты думаешь, что бог есть?

Девочка покраснела и опустила голову, словно её директор журил. Она не была уверена, что бог есть, но не захотела быть с Филипком на одной стороне.
— Есть.

Филипок широко размахнулся и стукнул её портфелем по голове. Портфель у него всегда был пустой, но девочка всё равно пошатнулась.
— А теперь?
— И теперь. И он тебя накажет.

Филипок рассмеялся животным смехом и, раскинув руки, крикнул в небо:
— Ну, де ж ты, бог? Если ты есть, давай, убей меня! Ну?..— тут он выждал, дав богу время.— Ну что — убил?.. Ха-ха! Дура ты,— добавил Филипок как бы с сожалением и побежал дальше по своим маленьким злым делам.

Филипок сам был дурак, но в жестокости был иногда тонок и изобретателен. Однажды они рвали черешню; Филипок влез на дерево и время от времени, когда в рот уже не помещалось, бросал черешню на землю, другим мальчишкам, которые были слишком малы, чтобы лазать по деревьям. Вдруг Филипок заметил, что один мальчик, лет четырёх-пяти, не ест, а собирает черешню в раскрытую ладонь, держа её у груди.
— Ты чего не ешь?..— спросил его Филипок.
— Маме хочу отнести.

Возможно, Филипку это показалось обидным, потому что ведь и у него была мама, с которой он никогда не додумался чем-нибудь поделиться.
— Чего-чего?.. Ха-ха-ха! Посмотрите на него, на маменькина сыночка!.. Я что — для твоей мамаши стараюсь?.. А ну, ешь, говорю тебе!

Мальчик заплакал и стал есть, всхлипывая и икая.

Когда же Филипку самому приходилось перенести какое-нибудь публичное унижение, он, скоро перестав удовлетворяться муравьями и лягушатами, хватал где-нибудь кошку, обманув её бдительность подлыми нежными призывами, и, сунув её за пазуху и поглаживая через куртку и приговаривая «цыц», уносил её в овраг за школой, чтобы выместить на ней свои обиды.

Так было, например, когда Филипок перед уроком литературы, пока в классе никого не было, написал на доске непотребное, а учитель, не тратя время на формальное дознание, когда и без него всё было ясно, пошёл прямо к Филипку и, взяв крепко за ухо, вывел к доске и заставил громко повторить:
— Я, Филипп Каратузов, не ведаю, что творю, и прошу у всех прощения за то, что я идиот и подлец.

Филипок мог бы, конечно, поупорствовать и попытаться не оговаривать себя, но боль была ужасная; ему даже явно послышалось, как в мозгу что-то треснуло,— а боли он боялся больше, чем позора.

В старших классах, когда включилось половое сознание, он научился нюхать клей «Момент» и стал время от времени прихрамывать из кокетства, чтобы в него, как в стреляного воробья, влюблялись девочки. Но никто в него не влюблялся, а только перешёптывались на уроках и, прикрывая ладонями рты, смеялись до коликов.

Друзей у него не было. Он изображал из себя хулигана, хотя, в сущности, был обычный борщ, или, как теперь говорят, ботан, только что неспособный даже к учёбе и примерному поведению. Благородное и престижное пацановское сообщество с модной в то время босяцкой повадкой, перед которым он заискивал, им манкировало и считало его чмошником, а всех других Филипок сам считал чмошниками. Так и остался один.

Однажды Филипку досталось от трёх одноклассников за то, что он замелил стул классной руководительнице, пожилой преподавательнице истории, отец которой погиб на Отечественной, а сын — в Афганистане. А после урока он шёл за ней по коридору и, корча рожи, показывал пальцем на её юбку. Одноклассники отвели его под лестницу на первом этаже и надавали ему поджопников, а когда Филипок стал визжать, как свинья, которую неправильно режут, один из них от души дал ему в зубы. На вопль Филипка прибежал из спортзала Джигит, молодой физрук, недавно принятый в штат.
— Оставьте пацана в покое,— сказал он.
— Да какой это пацан. Это чёрт и беспредельщик,— сказал один и, шагнув к Филипку вплотную, плюнул ему в морду.

Джигит хотел Филипка утешить (он его ещё не знал толком), но Филипок от него вырвался, утёрся и побежал искать кошку. Это было в самом конце десятого класса, поэтому Филипок даже на выпускной бал не отважился пойти, убедив себя, что он презирает эту пошлую мещанскую традицию. За его троечным аттестатом потом бабка Василиса ходила.

Только дома, с родителями и бабкой Василисой он был храбр: бессовестно передразнивал бабку, так что она совсем уже притихла, словно обет молчания приняла, унижал мать и выказывал полное презрение отцу,— главное, за его пагубное пристрастие; он искренне считал, что он гораздо лучше отца, потому что он, Филипок, не пьёт

водку. Он хорошо усвоил, что дома его за что-то любят и не решатся причинить ему боль, и смело воровал у родителей деньги на клей и сигареты, так что они уже не знали, куда их прятать. Когда он хотел за что-нибудь домашних наказать, он объявлял голодовку и закрывался в комнате, жалея только о том, что у него своего телевизора нет; они подходили к двери и робко, как котята, скреблись и звали к себе, на кухню; а он молчал и злорадствовал, и так хотел, бывало, жрать, что ненавидел их всех, и особенно отца, который будто нарочно громко звякал ложкой.

Отец пил основательно и регулярно. С женой ругался, но с Филипком всегда был смирен, и только изредка, когда его горькая чаша переполнялась, поднимал бунт против сына, всегда говоря одно и то же:

— Если ты, гадёныш, не заткнёшься, я выброшу тебя в окно!

— Очнись, алкаш,— отвечал ему Филипок наискосок, едва повернув голову и даже не вынимая рук из карманов,— небось, не девятый этаж. Сам могу выйти.

И так он и делал: выходил на улицу, когда было охота, в окно, чтобы не идти лишний раз через другую, смежную комнату, в которой жили отец, мать и бабка Василиса, на ночь отгораживаемая ширмой. То, что Филипку уже в восьмом классе великодушно отвели целую комнату, тоже не послужило добру. Уединение опасно для неустойчивой натуры; присутствие другого человека может быть неприятно, но оно всегда вразумляет. В своей комнате Филипок только острее чувствовал, как его гнетёт опека ближних, и, хотя ему уже мало было одной комнаты, он всё чаще запирал дверь на щеколду и лёжа, как поэт или философ, предавался своим праздным и преступным фантазиям, а по малой нужде ходил в литровую банку, которую потом выплескивал под окно, на кустик волчьей ягоды.

Мать исхудала (это прошло мимо сознания Филипка) и часто плакала без видимого повода: ей иногда было достаточно просто взглянуть на сына; с заведомо тщетной надеждой, что может этим Филипка пробудить, она говорила:

— Нас не жалеешь, хотя бы бабку Василису пожалей. Она тебя по-другому любит; мы так не умеем. Порадуй её чем-нибудь. Она старенькая; сколько ей уже осталось.

И однажды Филипку пришёл на ум самый подходящий случаю ответ:

— Да куда там! Ха-ха!.. Бабка Василиса ещё нас всех переживёт!

Мать вздрогнула и хотела сперва сказать: «Типун тебе на язык»,— но постеснялась бабки Василисы, которая сидела тут же, опустив голову и теребя дрожащими пальцами платочек. Кто бы не пожелал бабке долгих лет, даже если мать ею брезговала?— но в словах Филипка матери послышалось какое-то крайнее юродство, несправедливое и обидное. Словно Филипок нарочно беду накликал.

А через несколько дней пророчество как будто начало сбываться: отец Филипка умер во сне пьяной смертью. Два дня Филипок скучал, слонялся по району, рассказывая про отца знакомым и притворялся задумчиво-грустным и рассеянным. На третий день соседи, которые любили Филипкова отца за добрый нрав и уважительное отношение к их нацменским обычаям, резали барана, которого сами купили в складчину (живых родственников у Каратузовых не было никого), и Филипок смотрел.

От похорон остались и мясо, и выпивка, и соседи отдали часть матери, а на следующий день Филипок, положив и того, и другого в сумку, ушёл в окно и устроил в знакомом овраге за школой свои собственные поминки, из которых вышла гнусная пьянка. В ней участвовали несколько околоточных бездельников и пара бомжей, которых Филипку почему-то захотелось поразить своим либерализмом и широтой души. Однако когда он захмелел, он стал учить их жизни, а потом, вдохновлённый их безропотностью, алкоголем и своим особенным положением скорбящего сына, разбил обоим носы (рука у Филипка была тяжёлой, как это бывает у глухонемых, горбунов или просто людей с расторможенными животными наклонностями) и погнал их вон пинками как подлых халявщиков и самозванцев:

— Пошли вон, черти, с моей поляны!— кричал он,— вы ещё не знаете Филипка!

Другие не возражали, потому что Филипок был в трауре, к тому же они рассудили, что их собственного весу от этой расправы только прибавилось. Когда бомжи убежали, они пили здоровье Филипка, хвалили его великодушие и строгость, его понятия о жизни и все напились до чёртиков (Филипок даже хотел с ними брататься, но они его отговорили от таких крайностей). Когда Филипок, не завершив очередного тоста, вдруг свалился, как от снайперской пули, они отнесли его домой и, положив под дверью и позвонив, благоразумно слиняли.

Почти год Филипок валял дурака, издевался над матерью и бабкой, и всё крепче влюблялся в водку, а потом его призвали в армию, на которую мать с бабкой втайне возлагали большие надежды. И тоже напрасные: Филипка там быстро раскусили, как он ни старался вначале демонстрировать южный темперамент; первый год службы он драил сортиры и стирал чужие портянки, радуясь, что в части нет его земляков, которые могли бы засвидетельствовать на родине его позор, а на втором году сам измывался над «черпаками», и притом иезуитски. За эту бесстыдную метаморфозу он был презираем и офицерами, и срочниками своего

призыва, хорошо помнившими его молодость и его единственную за два года самоволку. Однажды, на третьем месяце службы, устав от унижений и побоев, он дезертировал и три дня скитался в окрестной степи; его нашли еле живого и потом до самого дембеля погоняли «Пророком». Все смеялись, а Филипку эта кличка понравилась, и он скоро заставил себя забыть о позорном бегстве, которым дал к ней повод.

По ночам Филипок, закрывшись одеялом с головой, обливался злыми, лукавыми слезами и тем не менее всё как будто просил кого-то сжалиться над ним и сделать так, чтобы скорей настал его дембель. Письма домой он слал обиженные, словно это мать с бабкой его в армию услали, без всякого порядка, запятых и прописных букв, и каждый раз умолял прислать посылку. И мать над ними, не понимая, плакала. Филипок во всю жизнь не прочитал ни одного абзаца, а тут ему самому встала необходимость изъясняться письменно; буква была слишком мелка для него, он не мог на ней сосредоточиться; это его бесило до тошноты, и, пока он писал, с него сходило семь потов.

В армии у Филипка был только один приятель: баптист-молдаванин по имени Аркадий, которого, как он сумел убедить замполита, призвали по недоразумению. Он категорически отказался прикасаться к автомату, и его, попытав несколько раз в политчасти, в итоге снарядили навечно, то есть на весь срок службы, на ротный свинарник, где он за короткое время привёл всё в образцовый порядок и в несколько раз увеличил поголовье свиней, так что даже генералы из штаба приезжали полюбоваться на эту аркадию.

Филипок чёрной завистью завидовал молдаванину (а иногда, в минуты отчаянной тоски и страха, даже свиньям), его самостоятельности и вполне гражданскому быту, закрывая глаза на ежедневный упорный труд, которым молдаванин эту независимость добыл. В свободную минуту Филипок всегда бежал на свинарник: среди свиней он чувствовал себя почти счастливым, даже их хрюканье и вонь казались ему утешительными.

При этом, однако, он считал себя выше молдаванина (Филипок был, как-никак, строевой) и не переставал косить перед ним под блатного, на что Аркадий только качал головой и кротко улыбался и, угощая гостя чаем, совершенно беззлобно, даже как-то любовно спрашивал:

— Так что ты всё-таки видел там, в степи, а?.. Бога, часом, не встречал?

Филипок научился игнорировать этот хоть неприятный, а всё-таки риторический вопрос, но однажды ответил, расстроившись тем, что у молдаванина сахар закончился:

— А ловко ты, батист, всех провёл. Ты же знаешь, что никакого бога нет.

Молдаванин рассмеялся:

— И какой ты после этого пророк? Где это видано, чтобы пророк был, а бога не было?

— Я не пророк,—отрёкся Филипок.

— Так и я не батист. Но если даже такие, как мы с тобой, есть, то бог и подавно есть. Он больше нужен, чем мы.

Филипок вспомнил вдруг свою одноклассницу, которую когда-то стукнул портфелем.

— Все мы, Филипп,—вздохнул молдаванин,—пророки.

— Ну да?

— Ну да. Не для других—так для себя. Каждый человек знает свою судьбу, просто не знает об этом.

Такая философия Филипка почему-то обидела, и он долго не появлялся на свинарнике. А потом снова пришёл, и молдаванин ему искренне обрадовался, и даже угостил его варёным поросячьим хвостиком, который остался от последнего офицерского банкета. Филипок ел, а Аркадий добродушно смеялся:

— Вот видишь: бог не выдаст—свинья не съест.

Наконец настал его дембель, и он вернулся домой, в тихий родной городок, в свою комнату, по которой так тосковал долгих два года. Но и тут его неблагодарная натура не пронялась как следует радостью; он так и не сознал этого чудесного возвращения (потому что любое возвращение чудесно), этой первой минуты, когда мать целовала ему руки, а бабка Василиса, не смея к нему прикоснуться, стояла в сторонке и утирала платочком слезу,—этого всегда уходящего и наступающего времени. Время шло, а он был всё тот же Филипок, лживый и алчный.

Отоспавшись и отъевшись, он осмотрелся, сделал первые визиты знакомым бездельникам и пустился во все тяжкие: несколько месяцев курил анашу (потому что был сезон и бездельники не ленились ездить на поля), потом жрал, за недоступностью настоящей наркоты, и тоже за чужой счёт, таблетки, которые прописывают шизофреникам, так что по ночам сновал по дому и, пугая мать и бабку Василису, давил «крокодильчиков», и, наконец, успокоился на любимой водке.

Покоя, конечно, было мало, потому что пьяный Филипок всегда искал приключений. Он и трезвый был непоседа, хоть трус, а выпивший становился прямо одержим, как это и бывает с трусами, и никогда не мог рассчитать свои понты. Так, в первую после армии новогоднюю ночь он заслуженно попал под молотки. Изрядно выпив в гостях у другого тунеядца, но так и не напившись, а потому хмурый, Филипок шёл домой, когда проходившая мимо компания человек из пятишести крикнула ему чистосердечно: «С Новым годом, братишка!»—а Филипок, влекомый бесом противоречия, хрестоматийно их послал.

В другой раз он увязался за одной девушкой, которая ни за что не хотела с ним познакомиться,

и, когда она скрылась в одном из частных домовладений, он, предположив, что девушки любят решительных и безрассудных, перемахнул через забор, где был жестоко погрызен двумя кавказскими овчарками.

Нередко после своих перипетий Филипок оказывался в больнице, и, в сущности, только тогда мать с бабкой были за него спокойны, когда он лежал, спелёнутый бинтами, на больничной койке.

Но ещё чаще он приходил в себя в городском вытрезвителе, где устраивал пошлейшие сцены, обзывая уборщиц и медсестёр «волками позорными», и по странному праву гордился этими ночёвками и ставил их себе в заслугу, как диссидент тюремные сроки.

Однажды в одном из соночлежников в вытрезвителе он распознал Джигита, того самого физрука из его школы, который стал свидетелем сцены под лестницей. Джигит, бородатый и беззубый, похожий на террориста, узнав его, хохотал как сумасшедший, и Филипок не мог понять причины и только беспокоился, что Джигит как-нибудь имеет в виду тот плевок и «чёрта». Но Джигит смеялся только над самим собой и неисповедимым господним путям.

Позже выяснилось, что Джигит спился, пока Филипок служил родине, и бросил работу. Рассказывали про Джигита, что однажды в крещенскую неделю он набрался до коматозного состояния, и его приятели, желая привести его в чувство, окунули его на местной речке головой в иордань и чуть передержали. От такого крещения он стал как бы немного блаженным: у Джигита развился менингит, который дал осложнение.

Джигит стал навещать Филипка, иногда приводя с собой Гавроша, молодого ещё пацана, кучерявого блондина, только начинающего алкоголика, у которого, соответственно, ещё водились деньги. Джигит с Гаврошем приходили к его окну с бутылкой или двумя, которые распивали, используя его низенький подоконник как стойку в пивной: они—снаружи, а Филипок—внутри, а в непогоду они забирались в комнату.

Поначалу, встречаясь с Джигитом, Филипок присматривался к нему с подозрением, стараясь понять, помнит ли тот, ввиду менингита с осложнением, как его гасили однокашники. Это причиняло ему некоторое неудобство, но от дружбы с Джигитом он тоже отказываться не хотел, именно поскольку у Джигита была адская внешность, что опосредованно укрепляло его собственный статус.

Да и простодушного и щедрого Гавроша тоже не хотелось терять из виду. Гаврош, как выяснилось, был сирота и бывший детдомовец, который совсем недавно женился и перебрался из техникумского общежития к жене и жил с её богатыми родителями как у Христа за пазухой: тесть с тёщей баловали его как родного сына.

С Гаврошем Филипку было всегда хорошо, и дело было не только в том, что его новая родня частенько ссужала его деньгами на карманные расходы: Гаврош принимал Филипка всерьёз, как уже никто, и неблагодарный и наглый Филипок взял над ним власть. Филипок мог запросто щёлкнуть Гавроша по носу или даже отпустить подзатыльник: Гаврош не обижался, а только улыбался, как бы говоря: «Это ничего, я знаю, что ты по-братски…»

Улыбался и Джигит; он вообще ничем не подтверждал его, Филипка, опасений,—напротив, всегда был примером обходительности и благородства, насколько это возможно для алкоголика и сумасшедшего. И постепенно Филипок успокоился и снова стал позволять себе понтоваться в полный рост и растопыривать локти. Он был как вода, которая не имеет своей формы и проникает всюду, куда только её пускают.

Время шло; бескрайняя степь медленно поворачивалась под Филипком, а он только переступал, чтобы не свалиться. До белой горячки у него дело не доходило, хотя пил он каждый день: здоровья Филипок был отменного. Да и то сказать: закусывать, когда было чем, никогда не забывал. И, чтобы он не устраивал абстинентных истерик, мать всегда держала в доме водку.

Когда Филипок выпивал домашней водки, а не Джигитовой или Гаврошевой, но ещё не успевал опьянеть, а был только на взлёте, который любого алкоголика делает благодушнее, мать предпринимала робкие попытки завязать с ним серьёзный разговор.

— Женился бы ты, Филипок,—говорила она дрожащим от волнения голосом.—Посмотри, сколько на свете девушек—и ведь все замуж хотят.

«Конечно,—думал Филипок,—с вами женишься!..» А вслух говорил:

— Плохо ты их знаешь!

— Не клевещи на них, Филипп,—просила мать,—зачем?.. Или, может быть, ты стыдишься нас, нашей жизни?—тогда можно и у жены пожить, нечего…

«Да уж!..»—злорадствовал Филипок, вспоминая про Гавроша.

— …мы только рады будем. Лишь бы тебе было хорошо. Нам что?.. Мы пожили.

А про работу мать и не заговаривала, потому что уже давно поняла, что Филипок ни к какой работе не способен, даже гвозди подавать.

Скоро он совсем уже закоснел в том мнении, что ему все мешают, что если бы матери и бабки не было, он жил бы красиво и правильно, давно бы уже женился, завёл бы детей, как все другие, нашёл бы работу с хорошим окладом и купил машину; и постепенно его мироощущение свелось к подлому ожиданию той минуты, когда он останется один. Голодовок он больше не объявлял, зато совсем разучился есть в кухне с матерью и бабкой;

просто брал приготовленную ему тарелку и уходил на свою половину и чавкал там, празднуя свою ничтожную свободу и одиночество. Потому что он как-то исподволь отметил, что когда он не чавкает, ему не вкусно.

Мать подходила к его двери и тихо говорила:
— Почему ты нами гнушаешься, Филипп?.. За что сердишься? За то ли, что мы все живы?.. Погоди немного.

Мать чахла, и однажды утром уже не смогла подняться с постели. С неделю её подержали в больнице, а потом отправили домой. Она лежала, осунувшаяся и белая, с выражением гордой обиды на судьбу, на свои обманутые надежды и любовь.

Горе-Филипок сблизил мать и бабку, а перед смертью мать совсем помирилась со свекровью и даже согласилась креститься, хоть и не была уверена, что бог есть, и бабка Василиса, задыхаясь от восторга, сбегала за батюшкой в церковь и заплатила ему из денег, которые откладывала себе на гроб. Время было новое: снова никто не стеснялся молиться богу.

Умирая, мать просила бабку Василису простить её и молиться за Филипка, и часто повторяла в бреду:
— Бог его знает, бог его знает… ты представляешь, бабушка?..

Теперь бабка Василиса, которой мать брезговала и никогда не позволяла понянчить Филипочка, нянчилась с ней самой.

Иногда Филипок невольно слышал, как мать вскрикивала с сухим лихорадочным смехом:
— А помнишь?!..— и принималась рассказывать какой-нибудь совершенный пустячок про маленького Филипка,— а бабка при этом, тискае ей кисти рук, чтобы как-то их согреть, молчала и только умилённо всхлипывала, потому что в ней навсегда поселился страх сказать что-нибудь не то. В такие минуты Филипку становилось немного не по себе, потому что он никак не мог соединить в своём воображении того Филипка с самим собой, и ему даже бывало жаль того мальчика, о котором говорила мать, потому что ему только предстоял долгий и безрадостный путь, который он сам уже прошёл,— но он тут же встряхивал зверской гривой, говорил себе «цыц», тихо, но усердно выругивался,— и снова чувствовал, как в нём поднимается обжитая и сладкая ненависть ко всему миру.

Несколько раз, когда мать бывала в забытьи, а бабка куда-нибудь отлучалась, Филипок, предварительно выпив для отчаянности, крал из её аптечки ампулы и, поскольку сам колоться не умел, бегал к одному старому наркоше, известному как Фуфырь.
— Ну ты и скотина, Филипок,— говорил тот и тем не менее кололся на халяву раритетным медицинским стеклом.

Придя домой под благородной тягой, Филипок, по совету Фуфыря («для отчётности»), подбрасывал на место пустые ампулы, сначала на всякий случай вытерев их об штаны, запирался в ванной и мылся, время от времени застывая в эйфорическом оцепенении, стоя весь в пене и похожий на соляной столп и созерцая ландшафты далёких и необитаемых планет.

Однажды, когда он после ванной проходил с полотенцем мимо одра матери, она окликнула его слабым, но суровым голосом:
— Филипп!..
— Что?— спросил Филипок, встав на месте и повернувшись к ней ухом.
— Если ты чистый, Филипп, то зачем ты так долго моешься?

Парадоксальность вопроса смутила Филипка, но он только на всякий случай ухмыльнулся и гордо, как будто перед ним заведомо тщетно заискивали, пошёл дальше. И мать ужаснулась его гладкой, без намёка на лопатки, заплывшей тугим салом спине, словно это была нагота чужого, случайно забредшего к ним человека.

На следующее утро его разбудил какой-то шум в другой комнате. Он приоткрыл дверь: соседки набились толпой и стояли вокруг кровати матери. Слышно было, как всхлипывала бабка Василиса. Филипок тихо прикрыл дверь, вылез в окно и побежал к Джигиту. Джигит давно уже жил в коморке в общем дворе, похожей на курятник. Он сидел в одних трусах на своём порожке на корточках и курил, щурясь на низкое утреннее солнышко и почёсывая волосатые ляжки.
— Матушка умерла,— выдохнул Филипок, присаживаясь рядом.— Выпить бы.
— Ты гонишь,— ответил ему Джигит серьёзно.— Тебе сейчас пить некрасиво. Потерпи два дня.
— Ты кто такой!— закипел внутри Филипок,— чтобы учить?
— Учитель,— сказал Джигит, усмехнувшись.— Бывший, правда. Разве ты забыл?

Филипок не посмел ослушаться и два дня по нацменскому обычаю простоял у своего подъезда на вахте вместе с Джигитом, которого уже боялся и ненавидел всем сердцем. Филипок обливался потом; у него ныла спина, и ноги, привыкшие к тапкам, затекли и распарились в туфлях, в которые его тоже заставил влезть Джигит, и он мечтал, чтобы это скорее закончилось.

К сумасшедшему Джигиту время от времени подходили соседи Филипка, о чём-то с ним переговаривались и отходили, и даже священник с кадилом, который почему-то произвёл на Филипка угнетающее впечатление, задал ему несколько вопросов. На Филипка же никто не обращал внимания, словно он был прозрачный. Иногда Джигит отлучался, и Филипок замечал его деловую суету то в одном углу двора, то в другом. А на третий день

он увидел, как Джигит перемолвился о чём-то с бабкой Василисой, на минутку вышедшей во двор, причём бабка мелко и быстро кланялась ему, и это его оскорбило.

А потом соседи резали барана.

5.

Филипку было уже сорок, а он так и не повзрослел. Его переходный возраст затянулся; иногда ему приходило в голову, что он уже взрослый дядька, но в остальное время он считал себя пацаном. Возможно, в этом тоже была виновата бабка Василиса, которая была жива, ибо трудно внуку осознать себя взрослым дядькой.

После смерти матери он уже свободно ходил по квартире, не стесняя себя только своей комнатой. И телевизор смотрел поначалу, но он скоро сломался. Дом стал пустой: всё, что можно было продать, Филипок продал — бегал на блошиный рынок и сдавал за копейки старухам, торговавшим керосиновыми лампами и самоварами.

Бабку Василису он уже ненавидел, потому что много её обижал и она была свидетелем его вины перед ушедшими родителями и как бы олицетворением его полуживой совести: он всё время ощущал её присутствие как некую скрытую угрозу, один её вид смущал его и вызывал в нём приступы гнева, — и он досадовал, что ширмы, которой её по ночам отгораживали родители, не было в доме. Он бы спросил бабку, куда делась ширма, но не был уверен, что он и её не продал.

Как бы чувствуя это, бабка Василиса, уже давно утешенная и просветлённая равнодушием к жизни и даже к Филипку, всё время, когда Филипок бывал дома, лежала в кровати, худенькая, едва на ней различимая, повернувшись лицом к стенке и натянув одеяло на голову.

— Эй, бабка! — говорил Филипок, иногда останавливаясь у её кровати. — Ты чего там притихла? Или подохла уже?

— Жива, — отвечала бабка робко, не шевелясь и затаив дыхание, с искренним чувством вины.

И Филипок с силой сжимал кулак и замахивался над ней, делая страшное лицо, как если бы она смотрела ему в глаза, а он хотел её ради шутки напугать. А потом презрительно усмехался и шёл дальше, разрешаясь бесстыдной и бессмысленной бранью. С фотографии, что висела повыше коврика над бабкиной кроватью, глядели из дофилипковской эры родители, склонив друг к другу головы и улыбаясь, — так, словно они всё уже знают наперёд и всё это пустяки перед лицом вечности, даже если Филипок не шутит.

А когда Филипок уходил из дому (обычно для того, чтобы пострелять у прохожих сигарет и денег на опохмел), бабка воровски проникала на кухню и если находила хлеб, отщипывала кусочек и съедала; потом набирала литровую банку воды (потому что никогда бы не осмелилась Филипка попросить принести ей), возвращалась на своё место, садилась на кровати и читала «Новую азбуку» Льва Толстого, которую после смерти невестки как-то нашла на шифоньере и которую теперь вместе с иконкой Божией Матери держала у себя под матрацем, в изголовье, или просто смотрела, дрожа веками, в окно, качала ногой и зевала. Заслышав шаркающие шаги и бранчливое бормотанье перед дверью, она испуганно шептала: «Ой, волчок, волчок!..» — и снова ложилась и затаивалась.

Филипок не то что ждал бабкиной смерти, а просто всё время имел ее в виду, ведь бабка всё-таки должна была когда-нибудь умереть, — и никогда не подумал о том, что как он будет жить без бабкиной пенсии. Только однажды он вспомнил, как сказал в отрочестве, когда родители были живы: «Бабка Василиса ещё нас всех переживёт!» — и ему стало на минуту как-то зябко от мысли, что это, может быть, правда. Сколько же ему тогда осталось, если бабке суждено его пережить?..

Был только один человек, с которым Филипок старался быть вежливым: пожилая женщина-почтальон, приносившая бабкину пенсию. Это несмотря на то, что она каждый раз, будто нарочно, коверкала его фамилию:

— Карапузовы? — говорила она, жирно слюнявя палец и деловито листая свои бумажки.

— Каратузовы, — говорил Филипок, у которого мутнело в глазах от ненависти, через силу, натянуто улыбаясь. — Здрасти.

— А где сама Василиса Васильевна? — спрашивала почтальон.

— Отдыхает, — отвечал Филипок и непроизвольно добавлял: — Можете посмотреть.

Он брал у неё деньги дрожащей рукой и вихляя ляжками, потому что в эту минуту всегда слабел от какой-то неги, говорил: «Пасип», — и кое-как расписывался в квитанции. Подпись у него, естественно, каждый раз получалась новая, и почтальон взглядывала на него с подозрением, и Филипок снова старался улыбнуться. А потом, едва дождавшись, когда она поднимется на второй этаж, Филипок бросался в ближайший супермаркет.

Львиная доля бабкиной пенсии сразу уходила на выпивку, закуску и сигареты; он спешил домой в предвкушении праздника, оглядываясь по сторонам в опасении, что его заметит с пакетами кто-нибудь из околоточных алкоголиков, или, не дай бог, сам Джигит, и убеждая себя, что сейчас запрётся дома и сам потихоньку будет пить и есть (надолго хватит!); но, выпив залпом полбутылки и закусив куском райской сёмги, взалкивал общения, шума и суеты, и громких заявлений на правах хозяина положения — и, опрокинув ещё стакан на дорожку, бежал к Джигиту, звал его к себе, и Гавроша просил привести с собой.

После похорон матери Филипок не доверял Джигиту, то есть именно его репутации сумасшедшего,—под хумаром он его остерегался, но, выпив, почему-то не мог без него обойтись. Между тем Джигит больше не выказывал злопамятности и был по-прежнему великодушен, что всегда плохо согласовалось с его пиратским обликом.

Джигит с Гаврошем приходили реже, чем раньше, но всё-таки достаточно часто для того, чтобы разговоры их всегда были почти одни и те же. Конечно, сами они не могли это сознавать; алкоголик не слышит, что пластинку заело: он думает, что это такая музыка.

—…тише, соседей твоих разбудим,—просил хохоча Гаврош, так, словно бабка Василиса, лежавшая в другой комнате, была не в счёт или на самом деле тоже давно умерла.

— А что мне соседи?!—кричал ещё громче Филипок.—Ты ещё не знаешь меня, Гаврош…

— Кхе-кхе-кхе,—смеялся Джигит.

— Ты тоже, Джигит, меня не знаешь,—громко заявлял Филипок и при этом мысленно заклинал Джигита не давать ему повода для подозрений, что это не совсем так.

— А никто, Филипок, никого не знает,—говорил Джигит благодушно, продолжая смеяться.

— Почему это?

— Чужая душа—потёмки.

— Не смеши. Какие у тебя потёмки? Я вот тебя насквозь вижу и знаю, как облупленного,—буровил Филипок, пугаясь собственных слов.

— Отвечаешь за базар?—хитро прищуривался Джигит.

— Отвечаю!—хорохорился Филипок, предвидя с облегчением, но без чувства благодарности, что его снова пронесло.

— Ладно, гроссмейстер,—смеялся Джигит,—тогда давай выпьем за… вза… взаимо… поминание.

— Понимание!—хохотал Гаврош.

— Ты думаешь, я не знаю, что тебе бабка Василиса сказала?..—не унимался Филипок, отпустив Гаврошу подзатыльник.

— Когда?—вскидывал бровь Джигит.

— Когда матушку хоронили.

— Ну?

— Она просила тебя проследить, чтобы я не слишком напивался на поминках, так?

— Так ты ж всё равно напился!—смеялся Джигит.

Когда гости отправлялись восвояси, бормоча и натыкаясь, как слепые, на косяки, Филипок, посидев немного в одиночестве, прикуривал и выходил во двор; задрав голову к звёздам, он выл вещим псом, чующим близкую смерть хозяина, орал матом, изрыгивал проклятья всем, кто его слышит, ругал чью-то мать, грозил и презрительно хохотал в ответ на всеобщее молчание:

— Цы-ыц, волки позорные!..

Несколько раз то один, то другой сосед побивали его, сначала для проформы, потом с ожесточением, серьёзно,—и сами пугались Филипка и отходили с омерзением, потому что он бесновался и кричал, срываясь на неестественный фальцет, и даже пускал изо рта пену. Когда это не помогло, домохозяйки стали просить мужей вызвать полицию, но у нацменов это было не принято, и в конце концов они махнули рукой и просто закрывали окна на время ночных арий Филипка, чтобы их не услышали дети. С ним, как со скунсом, лучше было не связываться.

Когда Филипок, на автопилоте вернувшись в свою комнату, в которой всё было загажено и перевёрнуто вверх дном, словно здесь обитало сто макак, валился на кровать, его сиротливая неспящая душа показывала ему цветные картинки, часто одни и те же. Странное дело: в этих видениях Филипок был как бы другим человеком—он ощущал это по тому, что у него внутри, даже при самых драматичных фабулах, была тишина, и он никогда не вспоминал о водке, словно водки вообще не было в природе вещей.

Бывало, солнечный луч сиял в заветной, ещё из её приданого, бабкиной вазе (которую он тоже продал давно), обливая стену радужными бликами; свет пронизывал занавески на окнах и волосы матери, и они блестели золотом у её висков и на темени, а лицо её было в мягком, обволакивающем черты, сумраке, как бывает на старых иконах.

— Ты понимаешь, Филипок?—спрашивала мать, умоляя и улыбаясь.

— Что я должен понять?—спрашивал Филипок.

— Шапка,—шептала мать.—Куда девалась Филипкова шапка? Ведь он же—смотри—«взял шапку и хотел тоже идти», а потом «своей не нашёл, взял отцовскую».

— Ну и что?

— Ну как же?—смеялась мать,—где ж тогда его-то шапка? Только что была здесь—и вдруг нет её. Куда же она подевалась-то?

— Не знаю,—отвечал Филипок.

— А ты думай, миленький, думай…—и мать приближалась к нему, чтобы поцеловать, и её лицо закрывало весь мир…

Или Филипок бежал по улице совершенно голый, прикрывая обеими руками наготу, и искал, где спрятаться, но всюду, куда бы он ни завернул, были люди, и на каждой улице нацмены с Джигитом резали барана, и он беспокоился, что на него могут подумать, что он баран, раз голый, и тоже схватят и зарежут.

— Я ещё не оделся!—кричал Филипок, и тут бабка Василиса, возникнув из-за его плеча, набрасывала на его наготу белую простынь.

— Кто же тебе мешал?—строго спрашивала она и, взяв его, как маленького, за руку, уводила домой…

Или Филипок ехал в каком-то поезде, и за окнами медленно плыл бескрайний белый простор; только чёрные столбы мелькали прямо за стеклом и пугали Филипка своей внезапностью; потом поезд останавливался; он видел во сне ангела, которого звали Горностаев, и они шли через снежную пустыню: Филипок впереди, ангел позади, как если бы он вёл Филипка на расстрел. Филипок был в тапочках, а ангел — в блестящих яловых сапогах, и Филипок шёл и думал: какое красивое имя у этого ангела, у ангела только такое имя может быть… И ангел Горностаев говорил:

— Ты что творишь, Филипп?.. Если ты не спасёшься сейчас, сию минуту, — ты не спасёшься уже никогда; и чем дольше ты будешь откладывать дело своего спасения, тем дальше ты будешь от спасения…

— Куда ты меня ведёшь? — спрашивал Филипок.

— Я не веду тебя, я только следую за тобой, — отвечал ангел. — Всё в твоих руках, Филипок; даже бог в твоих руках.

— Так эту пустыню сотворил бог? — спрашивал Филипок.

— И пустыню, и тебя, и меня.

— Кто же тогда сотворил бога?

— А это уже не наше дело, — говорил ангел.

«Ах, вот оно что», — думал Филипок, восхищаясь простоте и очевидности этого ответа, и он каждый раз хотел обернуться к ангелу Горностаеву, чтобы сказать ему о своём озарении, но бывало уже поздно: вдруг он ощущал обжигающее прикосновение свинца к затылку, слышал, как крошится под его нажимом череп, а потом чувствовал, как пуля проходила через мозг и убивала одно воспоминание и чувство за другим, один за другим дни его жизни, и это длилось мучительно долго, так что Филипок никогда не познавал полного забвенья.

Сидя на кровати с разверстым ртом и покачиваясь взад-вперед, уставясь на свои грязные ноги, Филипок прислушивался к странным образам, которые в нём ещё шевелились некоторое время; потом поднимал голову, налитую свинцовой болью, брал со стола бутылку, делал несколько глотков, превозмогая рвотный спазм, и приходил в себя.

— Цыц! — говорил он, пускал смрадную отрыжку и встряхивал гривой, фыркая и шлепая губами, как мерин.

Сновиденные впечатления испарялись, и Филипок уже беспокоился только о том, что, возможно, он говорил накануне что-нибудь такое, что могло выдать его мелочную трусливую натуру, и всякую более или менее здравую мысль он заглушал дикой руганью, в голос.

Он делал ещё глоток, заедал чем-нибудь, что попадалась под руку из вчерашних объедков, и прикуривал сигарету, потом вставал с кровати со стойким ощущением, что у него на шее сидит кто-то, и слонялся по комнате, вздыхая и кряхтя, как старуха, и поминутно без всякой видимой причины матерился и трогал через штаны пенис, словно проверяя, на месте ли. В такие минуты Филипок пребывал в тупом озлоблении и раздражении; если он ронял сигарету или с его ноги слетал тапок, он орал так, словно мир рушился, и бабка Василиса, ко всему привыкшая, всё-таки холодела от страха и дрожала под одеялом мелкой унизительной дрожью, когда Филипок проходил через её комнату в уборную.

Постепенно водка урезонивала его и утешала его привычными лукавыми посулами; ему опять мнились перспективы: он представлял, как вечером опять сойдётся в словесной дуэли с хитрым и опасным Джигитом, который себе на уме, и как Гаврош будет восхищаться его остроумию, проницательности и чётким понятиям, хотя никогда не поймёт всех нюансов его тонкой игры; он с удовольствием думал, что сейчас помоется и тяпнет ещё, а потом пойдёт на прогулку, и девушки будут посматривать на него и мечтать: какой самобытный парень; немного небрежный вид, но это, конечно, от опытности и романтического презрения к жизни.

Крепко заспиртованный в ложном пафосе, Филипок завёл привычку задерживаться, когда бывал пьян, перед зеркалом, причёсывая, сурово стиснув зубы, свой лоснящийся жиром пробор. Он не казался себе некрасивым; напротив, он думал, что при других обстоятельствах, если бы он, допустим, был президентом республики, криминальным авторитетом или артистом театра, то все бы увидели, как он обаятелен и харизматичен. А когда он отходил от зеркала, на его лицо возвращалось обычное ему выражение измождённости и незаслуженной боли.

В тапочках и замасленных спортивных штанах, вздувшихся на коленках, он доходил до оживлённой перпендикулярной улицы, садился на корточки и с нарочито отрешённым видом пожирал глазами студенток, спешащих на лекции (рядом был пединститут), и истекал горькой слюной и плевал себе между ступней: рай был прямо перед носом — и совершенно недоступен. Но его бедная напуганная душа вылезала из своей тёмной норы и говорила:

— Гляди, Филипок, как прекрасен мир; и ты мог бы жить в нём, если бы захотел; ещё не поздно.

— Цыц! — шипел Филипок и, если душа не унималась, спускал на неё своих бешеных собак.

Когда его ноги затекали, он вставал и стоял, подавши корпус вперёд и чуть растопырив локти, под невероятным наклоном к земле, и покачивался, как будто висел на невидимых нитках, как деревянная кукла. Его положение противоречило законам физики, — так что девушки оглядывались на ходу и смотрели с недоумёнными улыбками, а Филипок, замечая их любопытство краем глаза,

снова ухитрялся внушить себе, что он им очень интересен и если бы не условности морали, то они бы отдавались ему тут же, на тротуаре.

В сущности, Филипок жил в аду; в последнее время его держало на плаву только то, что чувства его затупились и огрубели, и ни в одном из них он не отдавал себе полного отчёта; другой человек не прожил бы и дня в том затхлом воздухе, которым дышала его бедная разумная душа, среди нелепейших и ужасающих химер, составлявших его постоянную компанию. Душа Филипка опалилась в пламени диких и низких прихотей и уже не могла противиться его бессмысленной воле к саморазрушению и смерти.

6.

С недавних пор у Филипка стало одной химерой больше. Во время утренней прогулки он как-то повстречал Гавроша с его женой. Что Гаврош был женат—это его всегда как-то неприятно коробило, именно, что «малолетка» в определённом смысле взрослее, чем он; но, увидев Катю, он пришёл в такое смятение, будто ему снова прилюдно плюнули в лицо.

Катя была так очаровательна, что потом Филипок всякий раз, её вспоминая, почти ужасался, что она может быть достоянием обычного человека. А то, что этот человек—такой же пьяница, как он сам, да ещё и желторотик в сравнении с ним, делало его похотливые фантазии вполне законными. Катя крепко засела в его голове и сделалась его любимой игрушкой.

Скоро после первой встречи Гаврош и Катя постучались к нему в окошко. У них было пиво и пакетики сушёного жёлтого полосатика. Сначала Филипок хотел пригласить Гавроша и Катю внутрь, но вспомнив, что он уже несколько лет не прибирался в комнате, благоразумно раздумал (да и день стоял солнечный; снаружи было теплей, чем в комнате). Он распахнул обе створки, и они расположились по старинке, на подоконнике, и очень культурно, без мата и дурацких выходок, провели время в обществе дамы. Катя с удовольствием чокалась с новым знакомцем и всё время улыбалась, то и дело отгоняя от себя мушек и отводя в сторону щекотавшую ей шею ветку волчьей ягоды, которая разрослась на филипковской моче.

Катя была чистенькая и беленькая и вся светилась молодостью и непредвзятым, радостным отношением к жизни. Они бы с Гаврошем, пожалуй, подходили друг к другу, если бы не достаточно зримый на облике Гавроша, несмотря на его модные шмотки, отпечаток алкогольной страсти. Во всяком случае, Филипок воспринимал эту пару как неразрешимую и возмутительную коллизию и никак не мог расслабиться и просто наслаждаться холодным свежим пивом и ароматными, как розовый лепесток, полосатиками.

Ему нравилось, что Катя смеет вот так, прямо из горла (впрочем, она пила маленькими глотками и за вечер выпила, может быть, бутылки две) пить с пацанами, не стесняясь того, что о ней могут подумать прохожие или соседи Филипка, и тем самым уже была в сто раз лучше любой из студенток пединститута; и в то же время он не мог понять, зачем ей эти вонючие полосатики, почему она разделяет эту по всему сомнительную трапезу с двумя алкоголиками, почему не гонит мужа домой.

Филипок никогда не видел красавиц так близко, и уж тем более ему не доводилось с ними чокаться. По мере того как бутылки опорожнялись и ставились под окно с филипковской стороны, он отпускал вожжи, давая всё больше воли своим понтам. Он делал задумчивый вид, подолгу, пока Гаврош излагал какую-нибудь историю, смотрел поверх их голов в далёкую синюю даль, незаметно пускал отрыжку и курил без остановки их сигареты, хотя ему ужасно хотелось закинуть в рот горсть полосатиков; при этом если бы в синей дали пролетел дракон, он бы не заметил его, потому что всё его внимание было приковано к Кате. Он неотступно следил за ней краем глаза, отмечая каждую перемену её позы, каждое движение складок её платья. Особое впечатление на него производил жест, когда Катя запрокидывала голову, сложив губы поцелуйным бантиком и неумело прижимая к ним бутылочное горло.

Вдруг Филипку пришло в голову, что Катя хочет ему понравиться и делает ему разные тайные знаки. Поначалу он ещё догадывался, что это всего лишь игра его воображения, но мысль была так приятна и так скрашивала мизансцену, что он к ней мало-помалу приноровился. Тогда сами собой стали являться доказательства. Сначала он перехватил несколько раз её взгляд, после чего она, как ему показалось, смущалась и потупляла очи долу, потом, когда она, решив покурить, взяла из пачки сигарету, а Филипок, упредив её намерение, чиркнул зажигалкой и поднес ей, она коснулась пальцами его руки,—и, как ему, опять-таки, показалось, продлила это прикосновение дольше, чем оно могло быть нужно.

Филипок воодушевился и уже досадовал на пиво, которое только возбуждало, но не приносило удовлетворения; ему жутко захотелось водки, без остатка захватывающей дух; он думал, что будь у них водка, Катя, возможно, уже сегодня объяснилась бы с ним без обиняков.

— А куда Джигит пропал?—спросил Филипок.—Давненько его не видал.

— Постится,—сказал Гаврош, усмехнувшись.—Сейчас же пост. Великий.

— Как это—постится?

— А так: сидит дома трезвый и злой,—сказал Гаврош и рассмеялся, и Катя тоже засмеялась и, чуть покачнувшись, переступила.

— Не выдержит,— добавил Гаврош.— Сорвётся. Он же добрый.
— Плохо ты его знаешь,— заметил Филипок, впрочем, безразлично, гася сигарету.
— А что?— спросил Гаврош.
— Ладно, проехали…

Катя снова засмеялась:
— Джигит не сорвётся, или Джигит злой?

Филипок не нашёлся с ответом, что немного его расстроило, и меланхолично положил на язык полосатика.

Вдруг под окном зазвенели колокольчики; Катя поставила свое пиво на подоконник, вынула из набедренного карманчика телефон отошла в сторонку.
— Да, мам,— послышалось из-за кустов.
— Матушка её звонит,— прокомментировал Гаврош.
— Тёща, значит…— сказал Филипок.— Вы как с ней… с Катей познакомились?
— А. В театре. Она же музыкант. Говорят, талантливая… про неё даже в газетах писали,— Гаврош перешёл на полушёпот и улыбался как-то грустно и покаянно.— Нас из техникума повезли на концерт. Я ей там букетик казённый после её номера преподнёс, и она меня поцеловала, как полагается, и брошкой, прикинь, за меня зацепилась… минуту возились, чтобы разойтись. Весь зал хохотал, будто в цирке. И она тоже. А потом она сама ко мне в техникум приехала с подружкой. И шефство надо мной взяла… и привязала к себе. А потом и домой привела… Родители не смеют с ней и спорить. Она в доме главная… Что?— спросил он подошедшую Катю.
— Ничего,— ответила Катя.— Мама же.

Наступали сумерки; Филипок уже плохо видел их лица и зажёг было в комнате лампочку, но Катя попросила ласково:
— Ой, пожалуйста, не надо,— и осадочек от вопроса с Джигитом нейтрализовался.

Они помолчали.

Гаврош несколько раз устало вздохнул, оперевшись в стену рукой и опустив голову, и Филипок уже набрал в лёгкие воздуху, чтобы сделать рискованный вброс про водку, но Катя вдруг сказала:
— Гав?..
— Мяу?— вскинул голову Гаврош.
— Пора уже. Пойдём?
— Пойдём.
— До свиданья,— сказала Катя, посмотрев на Филипка с улыбкой и беря Гавроша под локоть.
— Давай, Филипок,— сказал Гаврош,— не обессудь, если что.
— Ага,— подтвердила Катя,— вы же сами тут приберётесь, правда?..

Филипок неопределённо кивнул; ему стало тоскливо.

Когда они ушли, недолго пошуршав прошлогодней сухой травой и о чём-то вполголоса переговариваясь, Филипок выпил одним махом последнюю бутылку пива, которую сначала думал оставить на завтра, высыпал в рот едва початую пачку полосатиков и, громко выругавшись, упал навзничь на кровать.

«Гав»? «Мяу»?.. Что это, в натуре, за хрень?— подумал он, как вдруг в стекло снова постучали.
— Сигареты забыли,— сказала Катя смущённо, сцепив у груди пальцы.— Вы же ещё не успели уснуть?

Филипок нашарил на подоконнике пачку и протянул ей.
— Отсыпьте себе половину,— нерешительно предложила Катя.
— У меня есть,— соврал Филипок.
— А, хорошо…— сказала Катя, взяла сигареты и добавила, уже отступая:— Спасибо за вечер. Вы к нам тоже приходите в гости.
— Когда?— спросил Филипок, словно за руку её схватил.

Катя, видимо, не ожидала такого вопроса и, смешавшись, засмеялась:
— Ну… в четверг, может?.. Да, приходите в четверг. Родители на конференцию едут; поболтаем, чаю попьём… То есть,— спохватилась она,— родители тоже не против, конечно; это я так, для ясности.
— А сегодня что?
— Понедельник.
— Ладно,— сказал Филипок, и Катя ушла.

Филипок снова лёг, непривычно взволнованный; что-то ему подсказывало, что Катя нарочно забыла сигареты, чтобы обеспечить себе причину ещё раз его повидать, теперь наедине, и пригласить в гости; возможно, подумал Филипок, она хочет подстроить так, чтобы и Гавроша не было дома?.. Во всяком случае, было ясно как день, что Катя использует его дружбу с Гаврошем, чтобы с ним видеться… А «вы» говорит ему, чтобы пыль мужу в глаза пустить. Другого объяснения для поведения Кати у него не было; да он и не хотел другого, не хотел видеть, что Катя пила не с ним, а с Гаврошем и что без памяти влюблена в своего «Гава» молодой и невзыскательной, жалостливой любовью; а «вы» говорит Филипку просто потому, что он ей в папы годится.

Поворочавшись немного и поревев, как зверь в своём лежбище, Филипок заснул в убеждении, что у него роман. Ему снилось, что он ползает в ногах у Кати и обнимает её колени, умоляя в чём-то простить его, а Гаврош с белой чалмой на голове хохочет, показывая на него пальцем.

7.

Два дня он пережил кое-как. Во вторник сдал пивные бутылки в пункт приёма (пришлось топать пешком несколько кварталов) и выручил на

пластиковую флягу «Баварии», а в среду вечером упал на хвост двум знакомым бездельникам, у которых не было закуски, соблазнив их пакетом полосатиков, нарочно для такого случая припасённого,—и всё время думал о четверге и Кате.

Больше всего на свете Филипок боялся трезвости. У трезвого у него всё начинало болеть, и тот, что сидел на шее, неимоверно тяжелел и всё глубже вонзал ему в бока шпоры, словно требуя перейти в галоп как раз в то время, когда не было ни сил, ни куража. А сейчас он должен был поддерживать форму, чтобы оставаться в своей романтической теме, чтобы образ Кати сохранить во всём его заманчивом блеске и оградить себя от малодушных сомнений в том духе, что, возможно, не Катя была влюблена в него, а он сам болезненно, маньяцки к ней пристрастился.

В четверг он проснулся на рассвете с невыносимой головной болью после дешёвой палёной водки, вонявшей резиной, и старался ещё несколько раз забыться сном, а потом поднялся, стеная и проклиная своё раннее пробуждение. Не было ни сигарет, ни денег, ни пустых бутылок; единственное, что у него было, это его заветный четверг.

Но и он, наступив так волшебно, казался уже холодным и чуждым. Тщетно Филипок пытался предвосхитить его долгожданную волнительную прелесть, заранее рассмотреть крупным планом те минуты, когда он будет сидеть с Катей в одном пространстве, дышать с ней одним воздухом, всласть перед ней рисоваться и разгадывать её тонкие намёки. Трезвость и боль, которые давно стали для него одним целым, накрывали его с головой и лишали воображения. К тому же он вспомнил, что, кроме четверга, ни о чём больше не условился: в понедельник казалось, что этого достаточно, но четверг наступил бескрайний, как степь, и в какую бы он ни бросался сторону, горизонт оставался неизменным.

Прежде он никогда не был у Гавроша; он знал только, что Гаврош живёт в новой девятиэтажке, на углу которой он иногда стрелял деньги и сигареты и показывал прохожим пантомиму с марионеткой; но если бы он и знал номер квартиры, он бы сейчас не посмел к ним явиться, потому что был трезв и, главное, потому, что был приглашён Катей, а не Гаврошем. Такая крайняя мера могла поставить крест на его романе.

Часов до одиннадцати он сновал по квартире, докуривая древние бычки, которые выковыривал из-за плинтусов под кроватью, грызя уже не ногти, а самую кожу на пальцах и плюясь по сторонам ошмётками собственной плоти, и поминутно выглядывал то из своего окна на улицу, то из кухни—во двор, хотя и сам не знал, что или кого он надеется увидеть. Вдруг он сообразил, что Катя про него, может быть, забыла, а пригласила только из вежливости: это предположение было так мучительно, что он чуть не зарыдал и выскочил неизвестно зачем в окно на улицу, рискуя проглядеть что-нибудь со двора.

Продравшись сквозь кусты, на которых только распустились почки, на тротуар, он увидел в сторонке у обочины чёрный джип; парень стоял, прислонившись к капоту отлично выраженным, мускулистым задом и говорил, куря, по сотовому телефону. Филипку показалось, что пацан должен быть с понятиями, раз он курит сигареты при таком спортивном сложении, и, решив хотя бы покурить нормальный табачок, он, ссутулившись и почти вприсядку, на полусогнутых, как щенок, который юлит перед альфа-самцом, подсеменил к джипу.

—Прошу простить, как грицца…—успел сказать Филипок.

—Иди на хер,—ответил парень без всякой экспрессии, как раз закончив телефонный разговор, и, хлопнув крышкой мобильника и не взглянув на Филипка, сел в машину и уехал.

Филипок сунул руки в карманы, быстро посмотрел по сторонам и на окна своей пятиэтажки и стал ходить взад-вперёд вдоль бордюра, как человек, который хочет дождаться попутки. Конечно, он был немного ошарашен; но это было ничего; главное, что спортивная задница была уже далеко, и это было всё равно, как если бы его послал марсианин.

Солнце поднималось за небоскрёбами нового микрорайона, и чем теплей оно пригревало, тем глубже делалось отчаяние Филипка. Он бы давно уже бросился рыскать по злачным закоулкам, и наверняка бы уже нашёл кого-нибудь и опохмелился, но не мог решиться отойти от дому.

—Филипок!—услышал он вдруг и вздрогнул от разрешившегося напряжённого ожидания и оглянулся: Гаврош шёл к нему в неприлично белых, казавшихся оттого огромными, новеньких кроссовках.

«Ага»,—смекнул Филипок и щёлкнул зубами, но тут же напустил на себя безразличный вид, будто он просто погулять вышел.

—А, Гаврош…

Они поздоровались, и, как только Гаврош отпустил его руку, Филипок ухмыльнулся и чиркнул Гавроша указательным пальцем по носу. Гаврош сделал движение, чтобы отстраниться, но не успел.

—Ты куда?..—спросил Гаврош, приходя в равновесие.

—А что?

—Так ведь… Катя… она шарлотку испекла.

—Шарлотку?

—Ну да, такой пирожок с яблоками. Она ведь звала тебя в гости?

Филипок хотел было сделать вид, что приглашение вылетело у него из головы, но решил лучше ещё раз щёлкнуть Гавроша по носу, теперь морально:

— Звала. А ты вроде как не рад?
— С чего ты взял? Просто как-то неожиданно. Мы, говорит, у него были, а он у нас ещё нет. Пускай, мол, моей шарлотки попробует. Она хотела сначала, чтоб ты вечером пришёл, но я сказал, что до вечера мы можем Филипка потерять. Может, говорю, он совсем забыл, что его в гости ждут.

Филипок сглотнул. «Врёшь, гадёныш,—подумал он,—просто самому выпить не терпится, а я тебе заместо предлога».
— И водка есть?

Гаврош обречённо улыбнулся.
— Найдётся. У них там целый бар. Сами не пьют. Для гостей открывают. Даже смешно…
— Вот и хорошо: я же гость?

Гаврош засмеялся.
— Ладно,—сказал Филипок.—Заскочу к себе на минутку.
— Давай, здесь подожду.

Филипок пересёк кустарник, тяжело, но уверенно, давно отработанным движением впрыгнул в окно в свою комнату и осмотрелся. Он сам не понял, зачем вернулся; тогда он приоткрыл дверь в другую комнату и крикнул:
— Бабка Вася, ты ещё здесь?
— Здесь,—ответила бабка из-под одеяла.
— Ну-ну,—сказал Филипок.

Гаврош стоял, опустив голову и любуясь на свои кроссовки как маленький.
— Может, Джигита возьмём с собой?—спросил он, когда Филипок подошёл.—Жалко его.
— Не надо. Пусть себе постится. Дай лучше сигарету.

Они шли и некоторое время молчали как заговорщики, потому что оба чувствовали в этом шествии, именно ввиду такой чистенькой Кати, ожидавшей их дома, нечто притворное, преступное и нелепое. Филипку было тяжко, словно его окружал не весенний воздух, а тёмная морская вода; вдобавок его ужасно раздражали мелькавшие внизу белые кроссовки Гавроша.
— «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, то тут сто грамм, то там сто грамм,—на то оно и утро!»…—продекламировал Гаврош с деланной беспечностью.—А я сначала в дверь к тебе стучусь—тишина, потом в окно—тоже… Случайно тебя увидел; хотел уже обратно, сам шарлотку жрать…
— Вы на каком этаже?—спросил Филипок с одышкой.
— На девятом.
— Высоко.
— Ну, как хочешь; оставайся. Я скажу Кате, что ты высоты боишься,—Гаврош быстро засмеялся, чтобы у Филипка не успело возникнуть вопросов.

Филипок никак не мог настроиться на оптимистический лад; он был озадачен тем, что вместо ожидаемой радости у него были страх и уныние, словно он не по своей воле шёл, а кто-нибудь вёл его; он всё пытался принудить себя развеселиться мыслью о том, что сейчас, наконец, увидит Катю и опохмелится, но это всё были тщетные потуги наподобие тех, что у него случились накануне в уборной. Сейчас, по-честному, он хотел бы просто выпить, как обычно, без усложнений, и посидеть на корточках на любимом углу. Но он знал, что, выпив, он снова будет во власти своих диких фантазий и Катиных чар, и поэтому смирился, как зверь, хорошо изучивший все углы и стены своей западни.

Когда они вышли из кабины лифта, Гаврош, как будто волнуясь, сказал шёпотом, глядя под ноги:
— У меня тут, Филипок, заначка. Может, тяпнем пока по-простому, без баб?
— Спрашиваешь.

Гаврош показал кивком головы направление, и они спустились на цыпочках на один лестничный пролёт, к стенду с почтовыми ящиками. Гаврош отпёр ключиком один из ящиков, вынул из него трёхсотграммовую чекушку, откупорил и протянул Филипку:
— Давай. А закуска дома.

Филипок принял бутылку дрожащей рукой, сосредоточился и, привычно подавив желудочный спазм, сделал несколько глотков и толкнул бутылку Гаврошу.
— Давай, Филипок; за доброе утро…

Филипок кивнул и выдохнул жгучие пары, брызнув слюной.

Они сделали ещё по два глотка, которые пошли уже лучше, и Филипок расслабленно опустился на корточки. Его немного удивило, что у Гавроша было у самого на заначке: значит, он мог и без него выпить. «Врёшь, гадёныш…»,—подумал он и тут же бросил: он уже приветствовал возвращение привычной скудной весёлости, заменившей ему счастье; он чувствовал себя так, словно созерцал утреннюю зарю: солнце поднималось над его холодной степью, и он потягивался и подставлял его лучам свои продрогшие члены. И ему уже снова не терпелось увидеть Катю.
— Филипок?..—услышал он и поднял голову, не открывая глаз.
— М?
— Не трогай меня при Кате, ладно?..
— Да я ж по-братски.
— Ну да; только ведь она не брат нам.
— Ладно,—сказал Филипок через паузу, будто подумав.—Кстати, с обновкой тебя.
— Спасибо,—сказал Гаврош как бы с облегчением и, поставив ногу на пятку, помаячил туда-сюда носком.—Тёща подарила.

8.

Катя, в простеньком, голубом ситцевом сарафане, открыла дверь.

— Здравствуйте,—сказала она, приветливо и свободно улыбаясь, и широко отступила в сторону, придерживая дверь обеими руками.

Филипок дрогнул, подавленный её красотой и близостью, но Гаврош деликатно и ободрительно положил ему руку на плечо.

— Заходи.

Сначала его провели в гостиную, обставленную красивой мебелью, с картинками на стенах и всякими штуками, которые Филипку хотелось рассмотреть поближе; но он взял себя в руки и притворился равнодушным и холодным, даже мрачным, как будто он здесь случайно, как будто на самом деле он просто погулять вышел, а его затащили в гости и собираются с утра пораньше напоить водкой.

Катя посадила его в прохладное кожаное кресло, спросила, как у него дела, как чувствует себя его бабушка, потом похвалила погоду и стала что-то рассказывать, деловито мелькая перед его глазами крепкими белыми икрами и переставляя с места на место какие-то предметы. Филипок поначалу хотел, но никак не поспевал за её разговором; стоило ему уловить одну её мысль, она уже упархивала далеко и смеялась неизвестно чему, так что он запыхался, словно бегал за ней по лесу.

Гаврош тем временем явно заскучал и, взяв со столика номер «Музыкальной академии», упал с ним на диван. У него был как будто обиженный вид.

— Гав,—сказала Катя, вдруг к нему обернувшись,—открой там баночку с грибами. На кухне. Вы же будете грибы?—спросила она, снова поворачиваясь к Филипку.

Филипок пожал плечами, давая понять, что ничего не имеет против грибочков. Тут же он придумал себе, что Катя, может быть, нарочно отсылает Гавроша, чтобы к чему-то его подтолкнуть, но он был ещё слишком трезв для решительных действий и сидел, предаваясь пока что фантазиям; он уже не пытался следить за праздными Катиными сюжетами и только услаждался её голосом и интонациями.

Гаврош вернулся в комнату и снова упал на диван.

— Прошу простить, как грицца,—сказал Филипок, нарочно прерывая щебетанье Кати, чтобы придать себе значительности.—Где можно покурить?

Катя немного опешила и рассмеялась.

— Ладно, мальчики, покурите; на лоджии. А потом приходите на кухню. Завтракать будем.

Гаврошу опять пришлось подняться. Они вышли на лоджию, встали у раскрытого окна и закурили. Ветерок был прохладен, но солнце поднималось к апогею и ощутимо пригревало, жирные уже мухи подлетали и шарахались прочь от дыма. Филипок посмотрел вниз и ощутил в ягодицах тонкую, противную электрическую вибрацию. Он вспомнил, как его в детстве катали на чёртовом колесе; он тогда устроил истерику, так что колесу дали задний ход, чтобы быстрей вернуть Филипка на грешную землю. Впрочем, он уже не был уверен, что это был не сон, или не представление, сложившееся по рассказам родителей.

— Только давай без фанатизма, Филипок, ладно?—грустно сказал Гаврош.

— Ты о чём?

— Ну, я имею в виду, не крепко налегать. Катя испугается.

— Если ей страшно, зачем она меня пригласила? Я вообще могу уйти, если что.

— Да ладно, Филипок; не начинай. Я же только так…

Они помолчали.

— Я, знаешь,—сказал Гаврош тихо,—иногда думаю: может, прыгнуть?..

— Зачем?—спросил Филипок.

— Тошно мне. И пить не могу, и не пить не могу. Если бы не Катя, давно бы прыгнул.

— Если бы не Катя, тебя бы здесь не было,—заметил резонно Филипок, бросил вниз бычок и, откашлянув, плюнул.

Они проследили, как плевок метнулся, будто живой, сначала в одну сторону, потом в другую, и Гаврош грустно и согласно усмехнулся и сказал:

— Только не плюйся, пожалуйста, при Кате, Филипок. И бычки тоже… Вот ведь пепельница стоит.

— Ладно,—сказал Филипок.

Филипок немного разочаровался тем, что Катя накрыла на кухне. Ему очень понравилось кресло в гостиной, в котором он уже чувствовал себя как победитель. Теперь пришлось сидеть на жёстком и скользком табурете. Но когда он увидел на столе бутылку «Распутина», он забыл о кресле. Тем более что кухня тоже была дай бог. Тут даже телевизор был на стенке, что показалось Филипку совсем уже возмутительным барством. «Интеллигенция!»—сказал он себе, притворяясь, что имеет право на эту усмешку.

— Эх!.. я, так и быть, тоже с вами выпью,—сказала Катя.—Может, пойму наконец, за что вы её любите.

— А кто сказал, что я люблю?—сказал Филипок меланхолично.—Это только приправа. Навроде перца.

— Конечно. Но кто же питается одним только перцем?—засмеялась Катя.

Филипок против воли насупился.

— Ну что вы?—улыбнулась Катя смущённо.—Не обижайтесь; я же шучу.

— А кто сказал, что он обижается?—спросил Гаврош.

Он открыл бутылку и молча налил: себе и Филипку по полной рюмке, Кате—на полпальца.

— За что будем?—спросила Катя весело, схватив свою рюмку, будто ей не терпится.

— Пусть Филипок скажет.

— За взаимопонимание,—сказал Филипок.

Гаврош тихо рассмеялся.

— Что?—спросил Филипок.

— Да так, вспомнил кое-что… Жалко всё-таки Джигита. Чёрт его дёрнул пост держать.

Они выпили по первой, второй и третьей, закусывая грибочками, варёной картошкой, посыпанной свежей зеленью, и обильно нарезанной докторской колбасой, и Филипок, давно отвыкший от такой вкуснятины, еле сдерживался, чтобы не выказать свой зверский норов. Давешняя, выпитая на лестнице водка уже выгорала в нём, и теперь в его груди занималась вторая за это утро заря; сердечный прибой плескал всё выше; великий Нил разливался в его пустыне и орошал его увядающие чувства, и они прозябали и распускались, как диковинные дикие цветы.

Говорила только Катя; она становилась всё веселее и красивей, и Филипок старался на неё не смотреть. С каждой минутой его всё крепче терзала обжигающая, злокачественная зависть к Гаврошу, который, как он себя уверил только ему внятными доводами, занял место, предназначенное ему, Филипку. Он ненавидел и презирал его всем сердцем, и эти чувства узаконивались тем, что Гаврош, по всему, обитал здесь на правах подобранного на улице котёнка, нахлебника, который в последнюю очередь узнаёт о том, кто приглашён в гости, и которому доверяют только баночку с грибами открыть. С другой стороны, Гаврош внушал ему какое-то оскорбительное, невольное почтение с тех пор, как он увидел Катю: всё-таки он был причастен к блаженству, о котором Филипок только мечтал, и его пугала мысль, что Гаврошу, умудрённому этим блаженством, были видны его предательские, недостойные чёткого пацана страсти.

Теперь он во что бы то ни стало вознамерился убедить Катю, что она ошиблась в выборе котёнка, то есть показать ей матёрого кота; очевидно, она уже догадывалась о разнице между своим малолетним муженьком и им, прожжённым романтическим бродягой, и он сидел и соображал, чем бы окончательно поразить её воображение,—и торопился опьянеть, потому что только в водке умел черпать вдохновение. Однажды Джигит сказал ему: «Пьянство—запомни—это добровольное сумасшествие»; он тогда подумал, что это просто такая джигитовка, а потом иногда вспоминал эти слова и смутно догадывался, что он, Филипок, и есть добровольный сумасшедший. Всем Наполеонам Наполеон.

Миниатюрные рюмочки его бесили; временами ему казалось, что он сидит совершенно трезвый, и тогда он сам, не выдерживая пауз, брал бутылку и с некоторыми сомнениями наливал: себе—полную, а Гаврошу и Кате, как малолеткам, поменьше. Его коллизия заключалась в том, что, с одной стороны, он сам жаждал скорейшего и возможно полного сумасшествия (ведь ему никто не гарантировал вторую бутылку), с другой—он хотел, чтобы и Кате хватило для толики безумия.

А Гавроша он уже считал совсем лишним, но ведь ему нельзя было не наливать, и Филипок его терпел. Он живо представил себе, что на самом деле не Гаврош Кате муж, а он, а Гаврош в гости зашёл; это его так увлекло, что ему подумалось на мгновение, что он сидит в давешнем победительском кресле, и он в самодовольстве откинулся на его надёжную прохладную спинку…

Он даже не понял, что произошло, и только, глядя в потолок, удивился так неожиданно изменившейся картине мира. Гаврош и Катя вскочили с мест и бросились к нему на помощь.

— Что такое?.. Вы не ушиблись?—спросила Катя с испуганными глазами, беря его под локоть и помогая подняться.

Филипок посопел и снова устроился на табурете, который Гаврош вернул в исходное положение; он не знал, что сказать, и решил, что это может сойти за сознательный трюк, который, возможно, Катю и поразит. Однако Гавроша, который тоже сел на место, вдруг скорчило от беззвучного смеха.

— Ну, Гав!..—с укоризной сказала Катя и незаметно покачала головой.

Филипок взял бутылку и налил сначала себе, потом Кате, потом Гаврошу: «На, подавись, гадёныш»,—подумал он и сказал:

— За твоё здоровье, Катя,—и протянул к ней рюмку, чтобы чокнуться.

— Ой, спасибо,—просияла Катя.—А этот противный Гаврош никогда, небось, за моё здоровье не пил.

Они чокнулись, случайно коснувшись костяшками пальцев, и Филипок выпил, забыв чокнуться с Гаврошем.

Катя, раскрасневшись, вернулась к своей теме и продолжала щебетать, глядя по большей мере на него, на Филипка; изредка Гаврош вставлял свои две копейки и посмеивался, а Филипок сидел со снисходительно-скептической ухмылкой и слушал только себя самого. Несколько раз он взглядывал украдкой на Катины руки и ключицы и поражался их чистоте и нежности, почти как поэт, и неожиданно ставил себе странные вопросы: «Зачем она пьёт?.. Чего она хочет?.. Разве можно пить… с такими пальцами?.. Почему она сидит с ним, с Филипком, за одним столом?.. Почему она не обращается к нему по имени?—всё «вы» да «вы»?»,—и тогда ему приходила на ум фантастическая идея бежать из этого дома, потому что он тут по недоразумению, незаконно, но тут же налетал на него какой-то вихрь и его осеняло соображение, что раз его принимают, значит, любят, и он уже видел, как сгребает Катю в лапы и целует её, и рвёт зубами её нежную плоть. Это было невозможно, мучительно и великолепно.

Филипок встряхнул гривой и посмотрел по сторонам.

— А зачем вам в кухне второй телевизор?—вдруг спросил он совершенно непроизвольно.

Гаврош с Катей переглянулись и рассмеялись.

— Это микроволновка,—сказала Катя, чувствуя некоторое раскаяние.

— А,—сказал Филипок, втайне надеясь, что микроволновка—тоже телевизор, только микроволновый, и он, значит, не так сильно облажался. В сущности, это были пустяки: Филипок всё ещё был под впечатлением того неподдельного беспокойства, с которым Катя помогла ему подняться, когда он брякнулся на пол, как деревянный.

Вдруг под столом зазвенели колокольчики; Катя подскочила и выбежала, унося с собой звон.

— Да, мам!—донеслось уже из гостиной.

Филипок с Гаврошем посидели немного в тишине.

— Матушка её звонит,—сказал Гаврош.

— Понял; не тупой,—сказал Филипок.—Водки больше не будет, что ли?

— Может, хватит?—спросил Гаврош без убеждённости.—Да и первую ещё не допили.

— Издеваешься, что ли?—возмущённо зашипел Филипок,—кому это может хватить? У меня ни в одном глазу. А ты, если не хочешь, не пей.

— Катя испугается.

— Я ей сам скажу.

— Не надо. Я сам.

Гаврош встал и вышел. Филипок посидел, подёргал ушами, схватил за горло «Распутина», сделал значительный глоток из горла и вернул его на место, при этом случайно звякнув об тарелку с колбасой, и, резко убрав голову в плечи, подмигнул бородачу на этикетке. Сейчас Филипку показалось, что тот чем-то похож на Джигита.

Через минуту Гаврош с Катей вернулись. Гаврош, у которого был какой-то побитый вид, аккуратно, стараясь не стукнуть, поставил на стол ещё одного бородача. Катя улыбалась, но как-то неспокойно.

— Ой,—сказала она, присаживаясь,—кажется, вы совсем не интересуетесь моей шарлоткой.

— Да ты не боись,—сказал Филипок, воспрянув и разливая остатки первой бутылки, чтобы скрыть от Гавроша недостачу,—мы же эти… как их… гроссмейстеры. Дойдём и до шарлотки до твоей.

— Тогда я хочу тост сказать,—сказала Катя.

— Давай.

— Выпьем… за любовь,—сказала Катя и посмотрела на Филипка как-то жалобно, будто просила о чём-то, что нельзя сказать вслух.—Чтобы у каждого она была… Потому что ведь водка что?—только приправа, так?..

— А за любовь—по полной,—сказал Филипок и, открыв вторую бутылку, наполнил рюмки Кате и Гаврошу, лихорадочно соображая, что бы мог значить такой тост, и в то же время лукаво торжествуя победу.

Катя не посмела возражать, но выпила только половинку. Они закусили, и Филипок с энтузиазмом почавкал, как будто был один.

— Помнишь, Филипок,—сказал Гаврош, грустно катая вилкой одинокий грибочек в своей тарелке,—как Джигит говорил: неправда, мол, что хорошо то, что хорошо кончается; если ты выпил—и всё закончилось хорошо, это очень плохо, потому что это значит, что ты снова выпьешь. А вот если всё закончится плохо—тогда у тебя будет шанс.

— Джигитовка,—сказал Филипок презрительно.

— А пойдёмте все вместе курить на лоджию!—вдруг весело сказала Катя, будто придумала редкое развлечение.

На лоджии они встали у открытой створки, Катя посередине, закурили.

— Ого!—крикнула Катя.—Люди только на работу идут, а мы уже пьяные!

— Вот за что я её люблю,—сказал Филипок, с замирающим сердцем касаясь её бедра и радуясь за Катю, что её тоже постигло безумие.

— Так вы же сказали, что не любите, что это только перец!—закричала Катя и все засмеялись, то есть даже Филипок раззявил рот и поклокотал гландами.

— А Гаврош-то…—сказал он вдруг.

— Что Гаврош?—спросила Катя, быстро повернув к нему лицо.

— Того… прыгнуть хочет,—сказал Филипок с ухмылкой и плюнул. У него ещё мелькнула мысль всосать плевок обратно, но он уже улетел.

— Куда прыгнуть?..—Катя обернулась к Гаврошу.

— Да не слушай ты его,—сказал Гаврош с досадой и раздавил сигарету в пепельнице.—Пойдёмте лучше водку пить.

Они гуськом пошли на кухню; Филипок шёл последним и смотрел на Катины икры и воображал её всю, без сарафана; а когда они сели, сразу налил всем по полной.

— Хорошая у вас квартирочка,—заметил он.—А где родители работают?

— В консерватории,—сказала Катя.

— Это где консервы делают,—пояснил Гаврош и, не поднимая головы, мелко затряс кучеряшками.

— Ну, Гав!—строго сказала Катя и, не выдержав, прыснула.

Тогда Филипок понял, что Гаврош тоже смеётся, и обозлился; по его миражам прошла рябь, словно кто-то бросил камешек в его великолепный затон, и он положил быть с ними строже.

— За твоих маму и папу,—сказал Филипок и выпил, ни с кем не чокнувшись.

— А хотите, я вам сыграю?—сказала Катя, пригубив и поставив рюмку.

— Во что?—спросил Филипок.

— В большую скрипку,— сказала Катя со смехом.— Хотите?
— Ну, давай.

Через минуту Катя прибежала с виолончелью, которая поразила Филипка своими формами. Она отодвинула свой табурет от стола, села, раздвинула колени, воткнула шпиль в пол между ступней, подергала указательным пальцем самую толстую струну, покрутила краники на головке грифа и сказала, облизнув губы:
— Я стесняюсь; можно ещё выпить глоток?..
— Спрашиваешь,— сказал Филипок, нахмурившись от обуревавших его чувств.

Катя схватила свою рюмочку и немного расплескала.
— Вы много наливаете!..— сказала она, словно оправдываясь.
— Щас подровняем,— сказал Филипок, забрал у неё рюмку и, отпив половину, снова поставил перед ней. Про себя он смекнул, что это уже не просто рюмка, а предложение интимной близости, даже большей, чем поцелуй. Пусть Гаврош утрётся.
— Может, ты не будешь играть?— сказал Гаврош.
— Почему?— спросила Катя.

Гаврош молчал, опустив голову.
— Я тоже не раз просила тебя. Ты меня слушался? Нет. Вот и молчи теперь,— сказала она и взяла рюмку и выпила до дна.

Гаврош усмехнулся и покачал головой.
— Я давно хотел тебя спросить, Гаврош,— вдруг сказал Филипок,— ты чего всё время хихикаешь, а?..
— Не трогай меня, Филипок,— ответил Гаврош и выпил.
— «Ни тро-огый»!— передразнил его Филипок и победно ухмыльнулся.— Ты кто такой?.. Ты думаешь, что знаешь меня? Ты не знаешь меня, Гаврош; понял?

Катя смотрела на них, подняв смычок и натянуто улыбаясь.
— Можно начинать?..
— Давай уже,— сказал Филипок.

Катя сделалась серьёзной, вздохнула и сказала чётко и трезво:
— Никколо Паганини. Вариации на тему из оперы Джоаккино Россини «Моисей в Египте».

Филипок никогда не слышал живой музыки; звук ударил в него, прошёл насквозь отрезвляющей ледяной молнией, по его спине пробежали крупные, с таракана, мурашки, грива встала дыбом, а кожа на голове стянулась так, что у него затрещали уши; потом кровь ударила ему в лицо в мгновенном, несвойственном ему приступе стыда, и он весь затрепетал и непроизвольно вцепился пальцами в край стола и чуть не закричал «Цыц! Цыц!..». Ему казалось, что это он сам звучит, а Катя держит его между ног и водит смычком по его горлу, и он нервно, с усилием, как на плахе, сглотнул слюну.

Душа Филипка болела; басы давили под дых и тянули из него жилы, а когда Катя взяла высокую ноту, у него было такое ощущение, будто он обмочился, и он даже незаметно потрогал между ног... Эпический ветер дул ему в лицо; Филипок увидел себя— одинокого странника, идущего через голую степь, у которой заведомо нет предела, со своей необъятной обидой. Он уже не сомневался, что всегда, ещё до сотворения земли и неба, был влюблён в Катю исступлённой, непоправимой любовью... «За что она любит его? Чем он лучше меня?»,— казнил себя Филипок вопросами и мучился странной ревностью,— не только Катю он ревновал, но также всё, что было в этих звуках; как будто весь мир, который он видел,— и степь, и он сам с его обидой— принадлежал ему, Гаврошу. И малолетка Гаврош вырастал до исполинских размеров и видел Филипка насквозь, как бог.

Катя провела последнюю линию и разлучила смычок со струной. Некоторое время музыка ещё жила в нём; он ещё бросился вслед чудесному балагану на колёсах, в котором играла Катя на своей большой скрипке, но вот он исчез за горизонтом, и Филипок встал на месте, оглушённый тишиной, которую он слышал будто впервые.
— Браво,— сказал Гаврош, несколько раз сухо и размеренно хлопнул в ладони и, звякнув вилкой, закусил последним грибочком.— Но не бис.

Волшебство и очарование прошли, как зевота; мир поблёк и только двоился, ускользая от прямого взгляда, и зыбился от опьянения; всё встало на свои места. За одно это Гавроша можно было убить.

Филипок взял за горло «Распутина» и, уже тщательно прицеливаясь и покачиваясь торсом, разлил по рюмкам. Тогда Катя отставила виолончель к стенке, положила на свободный табурет смычок и сказала:
— Знаете, что? Я вам шарлотку заверну с собой, для вашей бабушки, хорошо?.. Не теперь, потом; когда уходить будете... ладно?..
— Я сейчас,— сказал Гаврош и встал,— мне надо. Только, смотрите, не пейте без меня.
— Ладно,— сказал Филипок, не зная сам, кому он отвечает.

Когда Гаврош вышел, он поднял свою рюмку:
— Давай?

Катя улыбнулась с сожалением и упрёком.
— Зачем ты?
— Да ну его,— сказал Филипок, переходя на шёпот.— Подумаешь. Давай.

Он протянул к ней рюмку, приглашая её чокнуться. Катя смешалась.
— Давай; за любовь,— Филипок ещё приблизился.

Катя испугалась, что Гаврош может застать Филипка в таком положении и, быстро оглянувшись на дверь, схватила свою рюмку, коснулась

ею обглоданных филипковских пальцев, чтобы не вышло звона, и второпях глотнула больше, чем собиралась.

Филипок тоже выпил, закусил колбаской и, чавкая, быстро налил себе и Кате, как будто так и было. Сейчас он казался себе небывалым хитрецом и обольстителем. Он заметил, что она сказала ему «ты»: это было значительное повышение.

— Ловко у тебя получается,— сказал он.

— Что?

— Ну… на скрипке.

— Не, я могу лучше.

— А кто тебе мешал?— подмигнул Филипок.

Катя засмеялась и как-то прихрюкнула.

— Да, кажется, я совсем…— сказала она, смутившись.

— Ага, я тоже,— осклабился Филипок самодовольно. Ему очень понравилось, что Катя хрюкнула: он услышал в этом некое обещание, она теперь казалась вполне доступной. «Может, поцеловать её?..»— стукнуло у него в голове, но тут зашёл Гаврош.

Филипок возмутился ему как постороннему, который ошибся дверью, потому что он совсем забыл о его существовании, или как гостю, который сидит и не уходит, и жрёт и бухает на халяву и мешает ему жить. Однако он подавил приступ гнева и сдался соблазну чувствовать себя победителем, так, словно он уже наставил рога своему приятелю. Хмель любую его подлую мысль подносил ему с подобострастием на сияющем золотом блюдце.

— А кто такой этот…— спросил он больше для Гавроша и закинул ногу на ногу,— который в…

— В Египте?— догадалась Катя.

— Да.

— Пророк.

Филипок скептически, потому что знал только одного пророка, ухмыльнулся.

— Какой ещё?..

— Еврейский,— сказала Катя и повернулась к Гаврошу:— Гав, я сильно фальшивила?..

«Зачем она с ним разговаривает?..— удивился Филипок.— На чьей она стороне?»

— Ничего,— ответил Гаврош, присаживаясь и подозрительно, как показалось Филипку, покосившись на «Распутина».— Выпьем?

Филипок взял рюмку, качнулся торсом и выпил.

— Я больше не буду,— сказала Катя.

Филипку тоже давно уже не терпелось отлучиться, однако он всё откладывал, не желая оставлять Гавроша и Катю наедине, словно предчувствовал, что это может что-нибудь погубить. К тому же было кощунственно прерывать эти прекрасные, полные тонких эмоций минуты ради отправления нужды. Но теперь нужда стала острой и безотлагательной и даже мешала соображать. Филипок встал, неловко толкнув назад табуретку, и без слов пошёл к двери.

— Сразу направо,— сказал Гаврош.

Филипок удивился, что здесь было чисто и светло, как в аптеке, и ещё больше, когда увидел два унитаза. Сначала он подумал, что у него двоится в глазах, а потом понял, что нет: один унитаз был без крышки и с краном, как на мойке. Филипок в него и помочился. Потом он ополоснул из того же краника руки и лицо и вытерся розовым полотенцем, потому что оно, как ему подумалось, больше всего соответствовало его настроению,— и почти бессознательно, просто чтобы по возвращении сделать Кате сюрприз, сунул в карман сотовый телефон, который заметил на стеклянной полочке. Запах полотенца его насторожил; он ещё раз прижал его к лицу и вдохнул полной грудью. Увидев в зеркале знакомую физиономию, Филипок освежил свой пробор большой массажной расчёской, посмотрел на себя вполоборота и тихо сказал:

— Скотина неблагодарная: прыгнуть он хочет. Да кто тебя держит!..

Тут он услышал себя как бы со стороны и на какую-то минуту замер: он успел понять, что его накрывает морок безумия, что он уже не чувствует своей коварной и обольстительной партии, и, возможно, он даже чавкал и над ним смеялись. Что-то подсказывало Филипку, что он упёрся в стенку, дошёл до края своей степи, на котором ему необходимо было разрешить некий— этот— вопрос, и он уже не представлял себе, как он доживёт хотя бы до завтра, хотя бы до вечера, не разрешив этого вопроса. Но его впечатления спутались в неразрешимый узел, а пьяные плоские мысли о Кате, шлёпаясь одна на другую, создали подобие палимпсеста, который сам Филипок был уже не в состоянии прочесть верно и отделить правду от фантазий,— тем более что он никогда не читал и обычных книг. И тогда усилием самозваной и стихийной воли Филипок внушил себе, что всё, вопреки всему, решено и Катя влюблена в него как кошка и просто не знает, как отделаться от своего котёнка. И Филипок тряхнул гривой, шлёпнув губами, как мерин, и, пошатываясь, вышел из уборной.

Перед дверью на кухню его заштормило и он подвис, растопырив локти, как на невидимых нитках; прядая ушами и бессмысленно всматриваясь в рифлёное стекло, он распознал знакомые тихие голоса:

— Гав!..

— Мяу, солнышко.

— Ты куда, Гав?

— Я здесь.

— Ты куда собрался прыгнуть, Гав?

— Чего ты, дурочка?.. На землю. С парашютом хочу. В аэроклуб зовут.

— Как же так? Один?.. без меня? Какой же ты после этого друг?!..

Филипок не захотел больше слышать это безобразие и толкнул дверь. Катя и Гаврош целовались

через стол, оперевшись в него локтями. «Вот сука», — сказал Филипок без понимания, вслух он это сказал или про себя, и, подойдя, сел и уставился в свою тарелку, злой как чёрт.

— Что с тобой, Филипок? — спросил Гаврош.

— Ты не знаешь меня, Гаврош.

— Да пошёл ты, — улыбнулся Гаврош устало и пьяно. — Ещё как знаю.

— Отвечаешь?

— Отвечаю.

Филипок встал.

— Тогда скажи, что я сейчас сделаю.

Гаврош смутился, и улыбка его поблёкла и как бы занемела, но присутствие Кати придало ему храбрости.

— Сядешь и успокоишься.

— Не угадал, — сказал Филипок и, схватив вилку, с хрустом воткнул её Гаврошу в темя.

Гаврош удивился, всплеснул руками и рухнул головой на стол. Филипок и сам опешил: так быстро всё случилось. «Что ты сделал?!..» — крикнула его бедная душа.

— Цыц! — сказал Филипок и взглянул на Катю.

Катя была наконец поражена. Медленно убрав руки со стола и сев прямо, она посмотрела на Филипка сияющими круглыми глазами и раскрыла рот в восторженной улыбке. Она уже забыла о Гавроше, словно тот уже сто лет как был мёртв, и мало ли мертвецов, и сколько их ещё будет! — она силилась увидеть за всем этим настоящего, неведомого Филипка, который может убивать, когда захочет: ведь нельзя же обычному человеку, если он не ангел или бог, просто так взять вилку и воткнуть её в другого человека. И потому она не сопротивлялась, когда Филипок вонзил в её плечи свои страшные хищные пальцы и, опрокинув, прижал её к полу с таким остервенением и силой, словно это была не живая женская плоть, а тряпка, которую он хотел выжать. Сначала Филипок думал только удержать её, чтобы она не убежала и не наябедничала, но вдруг, увидев близко-близко её белые ключицы, тоже забыл про Гавроша.

— Цыц!.. цыц!.. — шипел он ей в ухо, хотя Катя и без того молчала и смотрела в потолок восторженными круглыми глазами.

9.

Филипок сел на полу и осовело осмотрелся: его родная полая степь, орошённая сверх всякой меры, булькала и смердела, как болото, и со всех сторон на него надвигалась стена непроницаемой хмари. Кати не было; один Гаврош нелепо громоздился над его степью, как монумент. Филипок фыркнул, поднялся и, упираясь в стенку и машинально подтягивая одной рукой сползающие штаны, пошёл из кухни и не заметил, как задел ногой виолончель, и она грохнулась и безобразно брякнула струнами.

Входная дверь была открыта настежь; он вышел и стал, было, спускаться по ступенькам, но вдруг услышал снизу нарастающий топот и невнятное напряжённое бормотание, — и в ту же минуту стукнуло и загудело в шахте лифта.

— А-а-а, волки позорные! — заорал он им навстречу, перегнувшись через перила, и эхо гулко прокатилось по лестничной клетке. Филипок сам испугался своего крика и рванул обратно, наверх. С безотчётной пьяной прытью он взлетел по двум лестничным маршам, проскочив мимо Катиной двери, потом по крутой и короткой сварной железной лестнице, где запнулся ногой и врезался лбом в острый косяк, затем в чердачном полумраке по ещё одной, почти вертикальной, сорвал с квадратной деревянной дверцы медную проволоку, заменявшую замок, и выскочил на крышу и заревел, как оборотень после ночного разгула, которого солнце застигло врасплох. Стая голубей разом взметнулась над его головой и шарахнулась куда-то в сторону.

Филипок отбежал подальше от отделанной щебёнкой будки и присел на рубероид, чтобы отдышаться, трогая рукой рассечённый до крови лоб. Через минуту из той же дверцы показалась незнакомая голова. Она взглянула сначала на Филипка, потом по сторонам, и шагнула наружу. За ним ступили на крышу другие. Все были в красивой тёмно-синей одежде, стянутой кожаными портупеями, в блестящих, как у хоккеистов, шлемах и с чёрными палками в руках. Они буднично осматривались и о чём-то совещались, на Филипка взглядывая только мельком, и он подумал, что это, может быть, и не за ним вовсе.

Потом один из них направился к нему; Филипок испугался, что сейчас он будет бить его своей палкой, и вскочил и по наитию отбежал в угол крыши и остановился у бордюра. Что-то ему подсказывало, что этот край — его последняя защита. И действительно: человек встал на месте и поднял руку, в которой держал его, Филипка, тапок. Он размеренно взмахнул рукой, бросил тапок в его сторону и сказал без выражения:

— Здорово, Промокашка.

— В каком смысле?.. — спросил Филипок.

— Ты чего буянишь? Нехорошо. Прекращай этот беспредел. Поехали чай пить. Ты ж не фраер, а фартовый уркаган. И тапок не забудь.

Филипок смотрел на него, прядая ушами, будто хотел сбросить с них лапшу, потом, услышав какой-то шум снизу, с улицы, поставил босую левую ногу на невысокий бордюр и посмотрел вниз. У подъезда стояло несколько машин: два полицейских бобика, скорая и ещё какая-то, похожая на пожарную. С другой стороны угла дома, от которого к деревьям во дворе была протянута лента, переливающаяся на ветру красно-белым пунктиром, стояла на траве, вытянувшись между

трассой и однополосной дорогой, примыкающей к тротуару, жидкая разноцветная толпа, всё больше молодёжь.

Сначала он не понял, чего они все собрались внизу. Но когда кто-то закричал:
— Да вон же он, смотрите!..— сообразил и загордился. Молодые девушки и парни, задрав головы, приветствовали его радостным смехом и улюлюканьем; некоторые ребята показывали на него своим спутницам пальцем, как на падающую звезду, чтобы те успели загадать желание. Филипок всегда хотел быть на виду: теперь он был на виду. Ему было жутковато стоять у самого края, и, может быть, он отступил бы от бордюра, если бы не эта нарядная толпа: он хотел, чтобы его видели,— и сам хотел видеть, как на него смотрят.
— Ну, так что?— услышал он и оглянулся.

Человек в каске стоял на прежнем месте, праздно засунув одну кисть за портупею. Людей позади него, у будки, из которой Филипок выскочил на крышу, прибавилось: помимо прежних, были ещё молодой парень, что-то быстро, на коленке писавший в блокноте, человек с галстуком, говоривший по телефону, и ещё один, похожий на туриста, в панаме, стоял спиной к стенке, оперевшись в неё согнутой в колене ногой, и смотрел в сторону.

Филипок уже забыл, о чём тот спрашивал; да и не интересно было; ему хотелось смотреть на толпу внизу, поэтому он сказал просто:
— Нет.
— Ладно,— ответил тот и повернулся и пошёл к остальным.

Филипок проводил его взглядом, подобрал другую ногу ближе к бордюру и выпрямился над бездной, заметив, что уже не чувствует в ягодицах электричества.
— Браво, Филипок!— закричал кто-то.

Филипок стоял и тупо смотрел вниз, поворачивая голову из стороны в сторону, будто кого выискивая в толпе. Там переговаривались время от времени после невнятных Филипку замечаний, сгибались от смеха, будто кланялись, то в одном, то в другом месте, и снова задирали кверху головы, прикрывая глаза ладонями. «Чего они смеются?— подумал Филипок,— надо мной, что ли?..»

Вдруг кто-то эвристически заорал:
— А слабо тебе прыгнуть, Филипок?!

Толпа рассмеялась.
— Чего стоишь? Или ты трус? Не томи!..— крикнул другой.
— Давай уже; а то шея затекла!
— Прыгай, на лекцию опоздаем!

Через минуту толпа дружным смеющимся хором стала скандировать:
— Пры-гай, Фи-ли-пок; пры-гай, Фи-ли-пок!..

Филипок удивился, что его знают в толпе (потому что редкий негодяй представляет себе размеры собственной дурной славы); ему это польстило, хотя и показалось немного обидным, что они вроде как шутят. Вдруг щёлкнул и взвизгнул мегафон и по-великански грянул строгий голос:
— А ну разойдись! чего орёте? Тут человека убили.

Лилипуты сразу притихли, но расходиться, видимо, никто не думал. «Катю я тоже убил?»— мелькнул у Филипка вопрос. Он помнил, что не видел Кати, когда пришёл в себя, и всё-таки это его беспокоило. «Да нет,— вдруг сообразил он,— тогда бы сказали, что людей убили, а тут сказали, что...»

Внимание Филипка привлекли два странных существа, чёрное и белое. Он не сразу распознал в них кошек, потому что они сидели к нему прямо анфас, подобрав под себя лапы и замерев, как маленькие сфинксы; лишь веки их то раскрывались, то закрывались, медленно и бесстрастно. Они симметрично расположились по краям схожей с надгробием крышки бетонной тумбы, которой начинаются вентиляционные шахты. Филипок отчего-то расстроился; ему захотелось бросить в них кусочком щебня, но он вдруг мысленно махнул рукой и отвернулся.

Кругом над трёхдневной жидкой зеленью деревьев поднимались многоэтажки, сияющие на солнце чёткими гранями, постреливали зайчиками то там, то здесь распахиваемые окна, уютно темнели гроты таинственных тенистых лоджий, колыхались на ветру, как знамёна парламентёров, белоснежные простыни, плыли через небо зыбкие, прозрачные облака. По примыкавшей к Гаврошеву переулку проспекту, за спинами толпы, буднично летали по трассе машины, и Филипка уже удивило, что автомобилисты не останавливаются, чтобы узнать, что здесь происходит. Потом он увидел любимый пятачок внизу, у старой, давно никому не нужной телефонной будки, где он, городской сумасшедший и старый скоморох, показывал за гроши и просто так пантомиму с марионеткой...

Вдруг он заметил внизу Джигита. Он стоял с краю толпы и тоже смотрел на него, но не смеялся, как другие. Филипок обрадовался: ему пришло в голову, что сейчас Джигит прибежит наверх и крикнет: «Оставьте пацана в покое!»,— и растолкает всех этих чужих людей и уведёт Филипка с собой и, может быть, купит ему пива, и они мирно посидят на корточках на согретом солнышком тротуаре, и Филипок по-честному расскажет Джигиту, чего он натерпелся и как устал. Но Джигит, вопреки его ожиданию, только вопросительно, ладонью вверх, помаячил костлявой рукой: «Ты чего,— дескать,— туда забрался?..»,— и, махнув ею и спрятав в карман, быстро пошёл прочь и скрылся из виду. «Джигит не сорвался»,— подумал Филипок, и что-то заставило его обернуться.

Он увидел близко человека в панаме, сдвинутой на затылок; её поля обрамляли белое лицо, как тёмный нимб, потому что он стоял против солнца.
— Ты кто?— спросил Филипок, щурясь.

— Лейтенант Горностаев.

Филипок нахмурился, было, а потом осклабился:
— Да ладно, не заливай. Ангел, что ли?.. Сигареты есть?

— Не курю,— сказал тот.— Как ты, Филипок?.. У тебя кровь.

В его голосе Филипку послышалось сдержанное сочувствие. Он потрогал лоб и посмотрел на свои пальцы.

— Пить хочу,— сказал он, облизнув сухие губы.

— Какие проблемы? Поехали. Всё в твоих руках,— ответил тот, склонив голову набок.

Филипок снова подозрительно ухмыльнулся и зачем-то ему подмигнул. Внизу громко рассмеялись, и он посмотрел: толпа заметно погустела, студентки уже снимали его на телефоны; это ему понравилось, и он, думая им угодить, сделал несколько шагов по краю, впрочем, ступая на бордюр только одной ногой, и опять удивляясь своей храбрости. Опьянения он не чувствовал; во всём теле была странная лёгкость и чуткость.

— Осторожно, понторез,— попросил сбоку лейтенант Горностаев с раздражением. До сих пор он был уверен, что всё закончится хорошо, что Филипок просто понты с вилкой не рассчитал; порисуется перед девочками — и благополучно пойдёт по этапу.— Лучше сядь и расскажи мне… про свою несчастную любовь. Или что это было?..

Филипок думал уже прогуляться в другую сторону по кромке своей степи, но что-то отягощало его карман, так что штаны всё время сползали, и он быстро посмотрел: это был сотовый Кати. Лейтенант не успел отреагировать на это движение и нервно переступил.

— Телефон,— сказал себе Филипок, и лейтенант успокоился.

Филипок не помнил, как он оказался в его кармане, но почему-то обрадовался ему. Он поднёс его к глазам и нажал какую-то кнопку; экран загорелся, и он увидел Катю и Гавроша крупным планом: они стояли, крепко обхватив друг друга руками и повернувшись к нему лицом; Гаврош улыбался, а Катя смеялась… Вдруг ему представилось, как Катя играла на своей большой скрипке. Он хотел вспомнить мелодию, которая казалась, пока звучала, незабываемой, как его необъятная обида и одиночество,— и не мог; и ещё о том минутном счастье, которое он силой взял у Кати и о котором так исступлённо мечтал все последние дни, тоже не было у него никакой памяти,— так что он даже засомневался, что оно было.

— Катю я тоже убил?— спросил он тихо.

— Что-что?..

Филипок смотрел на телефон и уже соображал, кому позвонить. Он всегда мечтал о мобильном телефоне. Теперь он у него был, но позвонить было некому. Вдруг ему пришло в голову, что какая разница: пусть бы только внизу увидели, что он тоже говорит по телефону. Он заметил ярлычок со словом «Мама», тронул его пальцем и поднёс телефон к уху.

— Кому звоним?..— спросил лейтенант Горностаев.

Телефон погудел, потом женский голос буднично сказал:

— Да, Катюша.

— Привет, мама,— сказал Филипок.— Как дела?

— Алло… Гаврош? Алло! Кто это?..

Филипок почему-то не ожидал такого вопроса и смешался. Он не знал, что сказать. Он сказал «Фи…» — и осёкся. Кто он, Филипок, был на самом деле?.. Ведь если он скажет: «Филипок»,— это, пожалуй, ничего не объяснит.

— Алло, кто это?!.. Где Катя?

— Цыц! — сказал Филипок.

— Что?..

— Цыц!..

И тогда терпение бога закончилось.

Лейтенант Горностаев бросился к Филипку и крепко схватил его за штаны у поясницы и дёрнул, было, к себе, но ветхая резинка сразу лопнула, а Филипок испуганно отпрянул, взмахнув руками и метнув Катин телефон через голову, и поставил босую ногу на воздух. Когда он услышал, как взвизгнули внизу молодые девичьи голоса, он всё понял. Он хотел возразить, что, дескать, он не думал, что всё так серьёзно, что он просто погулять вышел, и он ещё судорожно простёр руки к лейтенанту Горностаеву… Мгновенный смертный ужас, озаривший его сознание ослепительной, словно всё небо закрыло солнце, вспышкой, был так повелителен, немилостив и справедлив, что длился вечность. И Филипок увидел, что это было неизбежно, что он с самого начала шаг за шагом всё ближе подступал к этой пропасти и всегда знал, что именно так всё и закончится: это было так ясно, как будто было написано чёрным по белому,— как пишут в книгах, которых он не читал.

Прежде чем Филипок достиг тротуара, его бедная душа полетела, рыдая, жалуясь и ликуя, в свою отчизну.

10.

Бабка Василиса сидела на своей кровати, качала ногой и зевала.

Лев Бердников

Превосходительная старуха

Настасья Дмитриевна Офросимова (1753–1826) слыла дамой «пресамонравной и пресумасбродной». Говорили, что она держала в ежовых рукавицах и свет обеих столиц, и мужа, и своих уже взрослых детей (мето́ду их воспитания она сформулировала крайне прямолинейно: «У меня есть руки, а у них есть щёки»). «Все трепетали перед этой старухой—такой она умела на всех нагнать страх,—сообщает современник,—и никому и в голову не приходило, чтобы возможно было ей сгрубить и её огорошить. Мало ли в то время было ещё в Москве почтенных и почётных старух? Были и поважнее, и починовнее: её муж был генерал-майор в отставке, мало ли было генеральских жён, так нет же: никого так не боялись, как её». Фамилия её стала в XIX веке нарицательной (современники называли похожих на неё больших барынь «Пензенская Офросимова», «Смоленская Офросимова» и т. д.), так что Настасья Дмитриевна интересна как колоритный культурно-исторический тип.

Но разговор наш логичнее начать с пращуров Офросимовой, а именно, с её бабушки по материнской линии, графини Аграфены Волконской (–1732). Просматриваются очевидные параллели. Раскрепощённость, честолюбие, дерзость, бойкость—черты, равно присущие им обеим. К тому же внучке передался от бабки врождённый дар слова, сыгравший, впрочем, в судьбе последней весьма печальную роль. Волконская без обиняков злословила в адрес всесильного тогда временщика Александра Меншикова, соперничала с будущей императрицей Анной Иоанновной, за каковые «продерзости» была в 1728 году сослана в «дальной девич монастырь, а именно Введенский, что на Тихвине», где в 1732 году мирно скончалась. Характерно, что и своего суженого Аграфена, как и в будущем наша героиня, не только выбрала сама, но и на таком выборе категорически настояла. Это она заприметила князя Никиту Волконского (–1740) и «не только не робела перед ним, но, напротив, он чувствовал, что сам с каждым словом всё больше и больше робеет пред нею и не смеет поднять свои глаза». И добилась-таки по своему хотению брака с любимым, причём всегда была стороной ведущей, он—ведомой, так что в их семье установился самый неприкрытый матриархат. После кончины графини императрица Анна Иоанновна из ненависти к ней определила знатного Волконского в придворные дураки. По иронии судьбы, и наша героиня с её бесцеремонно-грубыми словесными эскападами тоже будет восприниматься как своего рода шутиха, а с шутов, как известно, и взятки гладки.

По линии Бестужевых-Волконских наша Настасья была в родстве с половиной барской Москвы, людей чиновных и знатных. Достаточно сказать, что московский главнокомандующий Михаил Волконский (1713–1788) приходился ей родным дядей, а канцлер Алексей Бестужев (1693–1766)—двоюродным дедом. И со стороны отца, Дмитрия Лобкова (1717–1762), она была отпрыском именитого рода тверских дворян. Её прадед, Артемий Лобков, был дьяком Приказа Большой Казны при царе Фёдоре Алексеевиче; дед Пётр (1660–1736) служил стольником, затем состоял у заготовки стерляди к «будущей кампании» в Юрьеве-Польском.

Да и её отец, Дмитрий Лобков, дослужившийся до генеральского чина, был директором Петербургской шпалерной мануфактуры, а на закате жизни (в 1761–1762) стал главным герольдмейстером империи и руководил составлением дворянской родословной книги. Он умер в Петербурге и похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. До наших дней сохранилось надгробие, на коем изображён самобытный дворянский герб Лобкова—сабля обременяет геральдическую перевязь. Примечательно, что сей герб отсутствует в Общем гербовнике дворянских родов Всероссийской империи. Вот как характеризует его современный блогер Владимир Кирпичёв: «Он выглядит геральдически безупречно: грамотно, выразительно и лаконично. Похоже, что эта идеальность собственного герба—единственное, что успел извлечь из пребывания в своей последней должности российский герольдмейстер Дмитрий Лобков».

Настасье едва исполнилась три года, когда она потеряла мать, и девять лет, когда ушёл из жизни отец, поэтому дальнейшее воспитание она получила в семье своих титулованных родичей. Какое образование она получила, неизвестно, но надо думать, вполне приличествующее русской дворянке XVIII века. Есть также сведения, что девочкой её возили путешествовать по Европе.

По-видимому, стремление верховодить были свойственно ей сызмальства, но особенно проявилось в юности, когда она, уже будучи девицей на выданье, положила глаз на скромного, застенчивого подпоручика, генеральского сынка Павла Офросимова (1752–1817). То был человек сановитого вида, но не обладавший ни быстротой, ни остротой ума. Настасья же, напротив, «была ума не столь блестящего, но рассудительного и отличавшегося русскою врождённою сметливостию». Она энергично повела дело и, улучив удобную минуту, *заставила* его сделать ей предложение; а когда родители Офросимова не согласились на сей брак, то она *похитила* своего суженого из отцовского дома и *обвенчала* его на себе.

К моменту женитьбы Павел был капитаном 2-го фузелерного (ружейного) полка. В дальнейшем боевой генерал, отличившийся в баталиях с турками на реке Тохтамыш, кавалер орденов Владимира 4-й степени и Георгия 4-й степени, в миру был натуральным подкаблучником и стоически сносил диктат супруги. На все её упрёки и придирки он неизменно отвечал подобострастным молчанием. Рассказывали, что однажды, когда они ехали в открытой коляске, Офросимов пытался что-то робко возразить жене; тогда та сорвала с него шляпу и парик, швырнула их на мостовую и велела кучеру прибавить ходу. Но муж не только не озлобился, но воспринял сей демарш как вполне законный и справедливый. Так некогда, во время зимнего похода в Анапу 1790 года Офросимов безропотно принял изуверский приказ генерал-поручика Юрия Бибикова (1743–1812) (по счастью, тут же им отменённый) приковать себя к жерлу пушки. И что же Павел? Он с этих пор сделался одним из самых энергичных помощников его высокопревосходительства, равно как и нижайшим рабом своей превосходительной супруги. Забегая вперёд, скажем, что выйдя в отставку, он станет одним из директоров московского Дворянского собрания. А уже совсем под старость, глухой и дряхлый, сосредоточится исключительно на собственной утробе. Сохранились воспоминания о его последних днях (он скончался в марте 1817 года): «Жизнь уже едва теплится в нём, он ужасен, „точный скелет", а говорит и думает только о еде, и всё жалуется доктору, что ему мало дают есть… Сидит и так уписывает!.. Судьба напоследок была к нему добра. Он до последней минуты был в памяти, — не умер, а заснул без всякого страдания».

Надо сказать, наша героиня подчинила себе не только мужа, но требовала, чтобы все, и знакомые и незнакомые, относились к ней с особым почтением. И без того крупная и броская, она, чтобы бить всем в глаза, балах обыкновенно садилась на самое видное место. Весьма привлекательная в юности, Офросимова превратилась в старуху высокую, тучную, мужского склада, с порядочными даже усами; лицо у неё было суровое, смуглое, с чёрными глазами — словом, тип, каким дети обыкновенно рисуют колдунью.

Князь Пётр Вяземский рассказывает, что она «была долго в старые годы воеводою на Москве, чем-то вроде Марфы Посадницы, но без малейших оттенков республиканизма. В московском обществе имела она силу и власть. Силу захватила, власть приобрела она с помощью общего к ней уважения. Откровенность и правдивость её налагали на многих невольное почтение, на многих страх. Она была судом, пред которым докладывались житейские дела, тяжбы, экстренные случаи. Она и решала их приговором своим. Молодые люди, молодые барышни, только что вступивше в свет, не могли избегнуть осмотра и, так сказать, контроля её. Матери представляли ей девиц своих и просили её, мать-игуменью, благословить их и оказывать им и впредь своё начальническое благоволение». Так, своею правдивостью, твёрдым, решительным характером, резкостью приговоров, которые тут же и высказывала громогласно, невзирая ни на возраст, ни на положение визави, она приобрела в глазах света и нравственный авторитет.

А вот как описывает публичное явление нашей героини её современница Елизавета Янькова (1768–1861): «Бывало, сидит она в собрании, и Боже избави, если какой-нибудь молодой человек и барышня пройдут мимо неё и ей не поклонятся: „Молодой человек, поди-ка сюда, скажи мне кто ты такой, как твоя фамилия?" — „Такой-то". — „Я твоего отца знала и бабушку знала, а ты идёшь мимо меня и головой мне не кивнёшь; видишь, сидит старуха, ну и поклонись, голова не отвалится; мало тебя драли за уши, а то бы повежливее был". И так при всех ошельмует, что от стыда сгоришь. И молодые девушки должны были тоже подойди к старухе и кланяться пред ней, а не то разбранит: — Я и отца твоего, и мать детьми знавала, и с дедушкой и с бабушкой была дружна, а ты, глупая девчонка, ко мне и не подойдёшь; ну плохо же тебя воспитали, что не внушили уважения к старшим. Бывало, как едут матери со своими дочерьми на бал или в собрание, и твердят им: — Смотрите же, ежели увидите старуху Офросимову, подойдите к ней, да присядьте пониже. И мы все, немолодые уже женщины, обходились с нею уважительно». Янькова прибавляет: «Не могу теперь припомнить, какая она была урождённая, а ведь знала; но только из известной фамилии, оттого так и дурила».

Невольной жертвой этой превосходительной старухи стал без пяти минут атташе русского посольства в Женеве Дмитрий Свербеев (1799–1874). Вот его рассказ: «Любя покровительствовать молодым людям и зная меня с моего детства, она и меня однажды сильно огорошила. Возвратившись в Россию из-за границы 1822 году и не успев ещё сделать в Москве никаких визитов, я отправился

на бал в Благородное собрание; туда по вторникам съезжалось иногда до двух тысяч человек. Издали заметил я сидевшую с дочерью на одной из скамеек между колоннами Настасью Дмитриевну Офросимову и, предвидя бурю, всячески старался держать себя от неё вдали, притворившись, будто ничего не слыхал, когда она на ползалы закричала мне: „Свербеев, поди сюда!“ Бросившись в противоположный угол огромной залы, надеялся я, что обойдусь без грозной с нею встречи, но не прошло и четверти часа, как дежурный на этот вечер старшина, мне незнакомый, учтивой улыбкой пригласил меня идти к Настасье Дмитриевне. Я отвечал: „Сейчас“. Старшина, повторяя приглашение, объявил, что ему приказано меня к ней привести.— „Что это ты с собой делаешь? Небось. давно здесь а у меня ещё не был! Видно, таскаешься по трактирам по кабакам, да где-нибудь ещё хуже,— сказала она,— оттого и порядочных людей бегаешь“… и пошла, и пошла! Я стоял перед ней, как осуждённый к торговой казни, но как всему бывает конец, то и она успокоилась: „Ну, Бог тебя простит; завтра ко мне обедать, а теперь давай руку, пойдём ходить!“». И она заставила Свербеева гулять с ней по огромнейшей бальной зале, причём не по периметру, а посредине, зигзагами, где танцующие делали разные сложные фигуры. На робкие слова спутника, что это де мешает танцующим, та отвечала громко: «Мне, мой милый, везде дорога!» И, действительно, все пары почтительно перед ней расступались.

Говорили также, что она, жадная до вестей, ко всякому приставала с допросом. Однажды на балу впилась в едва знакомого ей молодого человека:— Сказывай новости.— Ничего не знаю.— Врёшь, батюшка, ты всё скрытничаешь…

Её острого языка страшились все. Когда Офросимова засобиралась в поездку из Петербурга в Москву, то Александр Булгаков (1781–1863) не преминул через брата предупредить содержателя дилижансов Фёдора Серапина (1787–1862), чтобы тот оказал старухе всевозможное снисхождение, «ибо она своим языком более может наделать заведению партизанов или вреда, нежели жители двух столиц вместе». Тот же Булгаков сообщил и другой анекдот, типичный для Офросимовой. Шёл днём проливной дождь; в это время она почивала; под вечер видит — хорошая погода, велела заложить экипаж и поехала на гулянье; а там грязно; рассердилась старуха, подозвала полицмейстеров, и ну их ругать: «Боитесь пыли и поливаете так, что грязь по колено,— подлинно, заставь дураков Богу молиться, так лоб разобьют». Впрочем, она всегда была едка и точна в оценках: когда генерал Арсений Закревский (1786–1865) был назначен Финляндским генерал-губернатором, сказала: «Да как же он там будет управлять и объясняться? Ведь он ни на каком языке, кроме русского, не в состоянии даже попросить у кого бы то ни было табачку понюхать!»

В театре Офросимова сидела не в ложе, как тогда полагалось даме, а в первом ряду партера вместе с генералитетом. Этим она, поборница справедливости, однажды и воспользовалась. Тогда вошёл в силу действительный тайный советник, сенатор М. Г. С., страшный взяточник. Зная о том, что Александр I ему благоволит, никто не смел возмутиться. Но только не Настасья Дмитриевна. В антракте она встала во весь рост, указала на императорскую ложу, в которой находился царь, и погрозила сенатору пальцем: «С., берегись!» Затем преспокойно села в свои кресла, а С. рассудил за благо ретироваться и быстро покинуть театр. И ведь слова и жест прославленной скандалистки не ускользнули от внимания государя! Он стал с пристрастием расспрашивать об их подоплёке. В результате сенатор вынужден был с позором уйти в отставку.

Александр Стахович (1830–1913), чья семья была одного с ней прихода церкви Иоанна Предтечи на Старой Конюшенной, свидетельствовал, что Офросимова первенствовала и во время церковной службы: «Она строго блюла порядок и благочиние в церкви, запрещала разговоры, громко бранила дьячков за нестройное пение или за нерасторопность в служении; драла за уши мальчиков, выходивших со свечами при чтении Евангелия и ходивших с тарелочкой за свечным старостой, держала в респекте и просвирню. К кресту Офросимова всегда подходила первою, раз послала она дьячка к незнакомой ей даме, которая крестилась в перчатке, громко, на всю церковь дав ему приказание: „Скажи ей, чтобы сняла собачью шкуру!“».

Степан Жихарев (1787–1860) относит её к людям самым «крепкодушным». «Настасья Дмитриевна Офросимова, барыня в объяснениях своих, как известно, не очень нежная, но с толком,— записывает он в своём дневнике от 25 ноября 1805 года.— [Она] гоголь гоголем разъезжает себе по знакомым да уговаривает их не дурачиться. „Ну, что вы, плаксы, разрюмились? Будто уж так Бунапарт и проглотит наших целиком! На всё есть воля Божия, и чему быть, тому не миновать. Убьют, так убьют, успеете и тогда наплакаться“». Мемуарист прибавляет: «Дама презамечательная своим здравомыслием, откровенностью и безусловною преданностью правительству».

Интересно, что вопреки её русофильству, самая ожесточённая критика Офросимовой вышла из-под пера известного русского патриота графа Фёдора Ростопчина (1763–1826), в будущем московского губернатора, чью роль в победе над французами трудно переоценить. Как отмечал Филипп Вигель (1786–1856), в героине его комедии «Вести, или Убитой живой» (1807) под именем вестовщицы Маремьяны Бабровны Набатовой «всякий узнает

знаменитую лет сорок сряду законодательницу московских гостиных». Но здесь Офросимова—воплощённая неблагопристойность и грубость. Понятно, что и Набатова—фамилия говорящая, ибо прямо соотносится с распространяемыми ею вздорными сплетнями, сравнимыми по силе воздействия на общество с оглушительным громом набата. Любопытно, что помянутый Александр Булгаков так и аттестовал её «Набатова-Офросимова».

Ростопчин восстаёт против самоприсвоенного ею «права изобличать порок, исправлять развращённых и показывать истинный путь к добродетели». Высмеивается её неумная и неуёмная активность. «Дела уж так много было, что замучилась,—откровенничает Маремьяна,—два приданые делала, племянника отпустила в армию, сбирала ружья и пистолеты на Милицию, дядю похоронила и, благодаря Бога, сестру с мужем помирила, кой-как уладила… Ну, мочи нет, с ног сбили». При этом вся её душа полна только собой: «Меня все любят, и никто от меня ничего не таит,—бахвалится вестовщица,—лестно заслужить такую доверенность… Я от доброго сердца рада со всяким душу разделить»—«Душу-то, не знаю, делишь ли ты,—корит её добродетельный герой комедии, Сила Богатырёв[1],—а секрет, коли нечаянно попадёт в твои руки, то уж тотчас на волю отпустишь».

Но суть в том, что комедийная Набатова отнюдь не доброжелательна. Это вестовщица злобная, и действует она по принципу: «Доброму туго верят, а дурному с радостию». И об окружающих она мнения самого низкого, не устаёт рядить и судить всех по себе. «Что до добродетели касается, то об ней мало думают. Как-то до неё мало охотников! Видно, из моды вышла. И уж это дурной знак, когда станут говорить, что девушка-невеста имеет доброе сердце, добрую душу. Я наперёд знаю, что это значит: либо дурочка, либо скверная лицом». В комедии она распространяет ложный слух о кончине жениха дочери Богатырёва Софьи, офицера Петра Победина, причём делает это, так сказать, по бескорыстной подлости. При этом она в подробностях живописует мнимую смерть этого «молодца, дворянина, воина отличной храбрости», будто бы тот в баталии с французами убит двумя пушечными ядрами. Софья сокрушается о потере, и тогда Набатова ханжит, демонстрируя ей свою показную набожность: «Ну, Бог милость свою над нами явит. Как быть! Живи не как хочется, а как Бог велит. Вот вы, матушка, оправьтесь, поедем к Троице, в Ростов к Пафнутию Боровскому; а летом махнём в Киев: я везде с вами, ни на минуту одних не покину».

Когда же в конце пьесы «убитый живой» Победин является цел-целёхонек, Маремьяна этим вовсе не обрадована—напротив, она клянёт «глупых французов» за неумение стрелять метко. Оскандалившаяся Набатова пытается огрызаться, говорит, что, как благородная дворянка и генеральская дочь, не даст себя в обиду и заслужила право говорить, что угодно и где угодно. На что получает гневную отповедь Богатырёва: «Радуйся на дела мерзкого твоего языка… Стыдно, сударыня, стыдно; что тебе за охота лгать и путать… Что ты делаешь целый день? Лжёшь, врёшь и дурной пример даёшь; злословишь, путаешься не в свои дела, таскаешься по магазейнам, меняешь… с старухами сплетни и, как гончая собака, гонишь и по-зрячему и по-горячему». И продолжает совсем уже прокурорским тоном: «Ты сплетница, разнощица, и ты затем только ездишь по домам, чтобы наполнять их ложью, ссорами и злословием. Язык твой—жало, слова—иголки, ум—зажигательное стекло. Для тебя ничего святого нет на свете; и если я терпел тебя у себя дома, то это для того, чтоб показывать дочери порок во всей его мерзости». Заметим, однако, что Фёдор Ростопчин, весьма влиятельный при Павле I, ко времени написания и публикации комедии находился не у дел. Впрочем, в любом случае, он едва ли мог серьёзно навредить репутации, а тем более популярности Офросимовой-Набатовой.

Впрочем, известен один (!) только случай, когда наша своевольная старуха получила от своего визави самый решительный отпор. Она, надо сказать, терпеть не могла светских модников и всякий раз прилюдно их задирала. Многие после такой взбучки униженно кланялись, конфузились и уезжали домой переодеться. А тут вот вышел облом. Когда она напустилась на известного в то время франта Асташевского, тот (вместо привычного подобострастного почтения) резко её оборвал. Слегка опешив, старуха воскликнула: «Ах, батюшки! Сердитый какой! Того и гляди съест!» «Успокойтесь, сударыня, я не ем свинины»,—парировал Асташевский.

Характерно, что сама будучи отчаянной вестовщицей, Офросимова никогда не мешалась в политику, а тех, кто позволял себе такое, пренебрежительно аттестовала «политиканами» (похоже, этот неологизм в русский язык ввела именно она). «Со времени войны с французами,—поясняет мемуарист,—появился в Москве особый разряд людей под названием „нувеллистов“, которых всё занятие состоит только в том, чтоб собирать разные новости, развозить их по городу и рассуждать о делах политических. Разумеется, все их рассуждения имеют один припев: „Я поступил

1. Примечательно, что умудрённый опытом благородный дворянин с таким именем был выведен и в знаменитом памфлете Фёдора Ростопчина «Мысли вслух на Красном крыльце» (1807) с его критикой великосветской галломании и прославлении исконных русских добродетелей.

бы иначе; у меня пошло бы поживее“ и проч.». [Алексей] Мерзляков (1778–1830) в своей песне прекрасно обрисовал одного из этих господ, живущих политическими новостями:

> Тамо старый дуралей,
> Сняв очки с густых бровей,
> Исчисляет в важном тоне
> Все грехи в Наполеоне.

Помимо помянутой комедии Ростопчина, Офросимова осенила собой сразу два шедевра отечественной словесности: послужила прототипом для образа старухи Хлёстовой в «Горе от ума» (1824) Александра Грибоедова и Ахросимовой в «Войне и мир» (1868) Льва Толстого.

Причём, по мнению литературоведа Михаила Гершензона, в комедии «Горе от ума» под тем же именем-отчеством (Павел Афанасьевич) и сходной по созвучию фамилией Фамусов (от лат. «fama» — пошлая молва) выведен генерал-майор в отставке, богатый и важный московский туз Офросимов. А свояченица Фамусова Анфиса Ниловна Хлёстова буквально списана с Настасьи Офросимовой. (Грибоедов мог встретиться с ней в 1823 году (не случайно в комедии той 60 лет) и, как видно, не мог пройти мимо этой заметной фигуры тогдашней Москвы.) Перед нами ярая крепостница, осуждающая обучение «в пансионах, школах, лицеях». По определению Ивана Гончарова («Мильон терзаний», 1872), это «остаток екатерининского века» с «арапкой-девкой и собачкой», которых она ставит в один ряд. Новоявленная Немезида вершит строгий общественный суд, все спрашивают её совета, делают всё с оглядкой на неё и пытаются подольститься, дабы получить хорошую должность или повышение по службе. И к кому, как не к ней, могут быть отнесены слова Фамусова:

> А дамы? — сунься кто, попробуй, овладей;
> Судьи всему везде, над ними нет судей!
> Скомандовать велите фрунтом!
> Присутствовать пошлите их в сенат.

Хлёстова не стесняется говорить без обиняков правду в глаза. Так, завидев Загорецкого, даёт ему аттестацию:

> Лгунишка он, картёжник, вор.

Когда же Чацкий, услышав такую характеристику, засмеялся, старуха разобиделась и, обращаясь к Софье, учинила и ему строгий выговор:

> Чему он рад? Какой тут смех?..
> Я помню, ты дитёй с ним часто танцевала;
> Я за уши его драла, да только мало.

Любя старину, она категорически не приемлет нововведений вообще и беспощадно костерит всё мало-мальски модное, и никаких препирательств не приемлет (случай с Асташевским — исключение, и лишний раз подтверждает правило). В первоначальной редакции комедии Хлёстова на балу задевает проходящих мимо дам, бросая им вслед осуждающе-презрительное:

> Ах, Боже мой, племянница, гляди, —
> Как у второй княжны измято сзади…
> Как выемка низка! — ну, право, омерзенье!
> Ах, как растрёпана она,
> Как будто, дома и одна…
> У всех запачканы, измяты шемизетки[2]…

Не скупится Хлёстова и на крепкое словцо о светских кавалерах:

> Какие нынче стали моды,
> Конец векам! Вот талии! Уроды!
> Ну, что за галстуки! Как словно хомуты.

Или ещё (это о графинях — бабушке и внучке поочерёдно):

> …как стянута, в чём держится душа!
> Глуха, беззубая, ряба, нехороша,
> Давно бы ей пора в могилу, —
> А бал — как верно в первых здесь.
> А внучка… Что за срам! Тьфу!
> Вся в прорезь! Чуть-чуть не голая…
> Глядеть-то не под силу.

Впрочем, когда те подходят к Хлёстовой и почтительно ей кланяются, та меняет гнев на милость. «Садись, мой миленький дружок! — обращается старуха к внучке, — Как ты мила, как рацвела». И для графини-бабушки она находит слова привета:

> Графиня, друг мой, как я рада,
> Что вижу Вас, божусь…
> Не вспомнюсь… без души…
> Живу в такой глуши,
> Друзей увидеть вся отрада.

А вот Лев Толстой в статье «Несколько слов по поводу книги „Война и мир“» (1867), в противоположность Грибоедову, оценивает прямодушие этой большой барыни положительно: для него она образец независимости и здравости в оценках, «самый милый человек тогдашней Москвы». В романе она фигурирует под именем Марьи Дмитриевны Ахросимовой, которой все «удивлялись и втихомолку посмеивались над её грубостью, рассказывали про неё анекдоты: тем не менее все без исключения уважали и боялись её». Как отмечают исследователи, «Толстой облагородил свою Марью Дмитриевну и дал ей слишком мягкие манеры».

Образ старухи и впрямь притягателен. Она не стесняется прямо выражать своё мнение, подчас противное общественному. Вопреки всеобщей

2. Шемизетка — в XIX веке предмет женской нарядной одежды, полупрозрачная короткая блузка в форме лифа с рукавами, отделанная рюшем, кружевами.

галломании, она демонстративно говорит только по-русски; у неё «густой голос»; она высоко держит свою благородную старческую голову «с седыми буклями». Рассказывается, что обычный образ жизни Ахросимовой состоит в занятиях дома по хозяйству, поездках к обедне, посещении острогов, приёме просителей и выездах в город по делам. Хотя в романе она героиня второстепенная, роль её важна и значима. Эта сторонница старины клеймит реформатора Михаила Сперанского. Она близка к семье Ростовых, так что те нередко гостили в её московском доме на Старой Конюшенной, причём более всех она любила Наташу. На именинах Наташи и старой графини именно она танцует с графом Ростовым, приводя в восторг собравшееся общество. Она же смело выговаривает Пьеру за случай, из-за которого тот в 1805 году был выслан из Петербурга; даёт отповедь старому князю Болконскому за неучтивость по отношению к Наташе во время визита. Наконец, расстраивает план Наташи бежать с Анатолем Курагиным, о котором говорит: «Хорош мальчик! То-то мерзавец!» Примечательна сцена на балу, когда Марья Дмитриевна, по своему обыкновению засучивая широкие рукава (что, как знало её окружение, предвещало грозу), властно остановила в середине зала Элен Курагину и при общем молчании громко ей сказала: «У вас тут от живого мужа замуж выходить стали. Ты, может, думаешь, что ты что-то новенькое выдумала? Упредили, матушка.Уж давно выдумано».

Очень точно резюмировал ситуацию писатель Марк Алданов: «Пример поистине поразительный: Мария Дмитриевна Ахросимова и „Горе от ума“ писаны якобы „портретно“ с одной и той же дамы. Толстой хотел найти красоту и поэзию—нашёл. Грибоедов хотел пошлость и безобразие—тоже нашёл».

В декабре 1820 года нашу героиню разбил паралич, но она и в самой болезни грозно правила домом, заставляя детей по ночам дежурить около себя и аккуратно всё записывать, а вечером рапортовать ей, кто сам приезжал, а кто только посылал спрашивать о её здоровье. Но петь отходную было рано: три недели спустя она вдруг, как тень, является на рождественский бал к Исленьевым и заявляет, что прогнала докторов и выбросила все лекарства: отложила лечение до Великого поста.

Офросимова умерла пять лет спустя, 74 лет от роду, по тем меркам, в глубокой старости, говорили, что, подобно мужу, «ухлопала себя невоздержанностью в пище». Перед кончиной она с завидной твёрдостью диктовала дочери свою последнюю волю, даже в каком чепце её положить, а также раздала бедным много денег и подарков. Видно, что эта превосходительная старуха готовилась предстать перед Богом, только оплатив все свои земные долги. Ведала ли она, что, покидая сей мир, будет удостоена небывалых почестей. Похороны её были необыкновенно пышны. Отпевал её известный вития, митрополит Московский и Коломенский Филарет (В. М. Дроздов, 1782–1867). Гроб провожала вся чиновная Москва, и экипажи растянулись на две версты, причём шляпы кучеров и лакеев были обвязаны чёрным флёром.

Ольга Немежикова

Сказание о Семруке и Прекрасной Зулейхе

Яхина Г. Ш. Зулейха открывает глаза. М.: Изд-во АСТ, 2015 / редакция Елены Шубиной

4 ноября 2016 года. X Красноярская ярмарка книжной культуры. Пятница, полдень. Минут за пятнадцать до встречи с Гузель Яхиной в самом большом помещении ярмарки, в Клубе КРЯКК, свободных посадочных мест уже не было. Далее зал наполнялся на глазах. К началу встречи люди стояли плотной стеной по бокам огромного зала и в центральном проходе. Казалось, здесь собрались посетители со всей ярмарки.

— Спасибо вам, Зулейха,— сменяя друг друга у микрофона, повторяли женщины, в волнении забыв имя автора, Гузель, которая понимающе кивала в ответ.

Благодарили искренне, повторяли, что всю жизнь ждали именно такую книгу, что после чтения романа хочется жить. Многие говорили, что «Зулейха» стала для них нежданным спасением, что камень с души свалился, выросли крылья, открылись глаза, невесть откуда взялись силы, пришло второе дыхание. Благодарили от имени всех женщин, которым эта книга так помогла и которым ещё поможет.

Все имеющиеся в наличии экземпляры «Зулейхи» были распроданы минут за десять после начала встречи, по окончании огромная очередь выстроилась за автографом. Что же так взволновало читательниц? Что осталось невысказанным за общими словами благодарности? О чём этот роман?

Роман повествует о переломном периоде отечественной истории, об обретении человеческого достоинства и любви там, где обрести их, по большому счёту, невозможно, о конфликте влечения сердца и патриархальных догм, о страхе перед *возмездие(м),— за нечестивую жизнь без брака, с иноверцем, убийцей мужа. За то, что предпочла его своей вере, своему мужу, своему сыну.* События происходят на фоне коллективизации 30-х годов и ссылки «врагов революции» из Татарии в Сибирь.

Роман, действительно, от первой до последней страницы увлекательный, жизнеутверждающий, с причудливым сочетанием фантастики и жизнеподобия, написанный лёгким, стремительным языком.

Живая россыпь татарских слов и выражений, религиозных восклицаний, выразительные авторские термины *(красноордынцы, ящейка, калхус)*, умело вправленные в текст, придают ему самобытность и невыразимое очарование. Часть первая, «Мокрая курица», с головой окунает читателя не только в будни героини под пятой сурового мужа Муртазы и демонической свекрови Упырихи, но одновременно погружает в бесконечно прекрасный мир татарского этноса, который в третьей части, «Жить», предстанет уже в национальных мифах и упоминаниях о Золотой Орде.

Сопровождающая роман музыка мусульманских имён словно зовёт вслушаться в их значение и обратить внимание на судьбы: Шамсия — солнечная; Фируза — бирюза, счастливая; Сабида — творящая; Халида — вечная; Зулейха — здоровая, красивая, соблазнительница; Муртаза — избранный; Юзуф — возвышенный Аллахом, библейский аналог имени Иосиф. Первые четыре женских имени принадлежат мёртвым дочерям Зулейхи. Само повествование озарено светом библейско-коранической легенды о любви Юзуфа и Зулейхи.

Пять раз по ходу повествования Зулейха открывает глаза: в доме мужа; на мужской половине в мечети по пути на распределительный пункт в Казань; на барже по Енисею; на поселении перед уходом на охоту в урман; в день расставания с сыном. С каждым разом света в глазах Зулейхи становится больше и больше: от полного мрака до яркого солнца, которое *бьёт, слепит, режет голову на части.* С каждым разом Зулейха просыпается к новым обстоятельствам, которые требуют от неё всё большего мужества и отдачи.

Читается роман на едином дыхании без перебоев: бытование людей в нечеловеческих условиях описано без натуралистического смакования тягот, нечистот; эротика подана метафорически и в самом возвышенном стиле; шокирующие детали иногда врываются мелкими искрами, однако тут же гаснут в потоке воздушно-приподнятых описаний.

Казалось бы, интересная книга, но по прочтении остаётся странное устойчивое послевкусие, в содержании которого тоже хочется разобраться: в какой мере повествование отвечает действительности о реальных событиях, событиях советской истории в частности, и как меру эту воспринимать?

Автор богато одарён художественным взглядом — талант описательности превращает хождение по мукам в хождение по саду с хрустальными цветами, где одно соцветие причудливее другого, и в нарисованной сказке читателям очень комфортно, но при сравнении с действительностью лепестки со звоном ломаются. Ведь роман опирается на конкретный исторический этап, что внушает глубокую веру в реальность описываемых событий, где каждая жизнеподобная деталь подтверждает намерения автора рассказать о том, как оно было на самом деле.

Сначала настороженное отношение к тексту провоцируют досадные неточности. Для примера привожу несколько из разнородных пластов описаний. Внимательный читатель вполне может продолжить перечень.

Клубы пара над тазом с кипятком и наличие металлических предметов на теле в парилке несовместимы с «обжигающим» в ней воздухом.

В воспроизведённой авторским повествованием манере мышления Зулейхи мелькают термины, знать которые неграмотная героиня никак не могла *(аристократически бледные лица)*.

Конный легко сжимает пятками круп коня и в два скачка обгоняет сани. Это не представимо — сжать круп коня пятками…

Двухчасовое пребывание в воде истощённой беременной женщины, минуя катастрофическое переохлаждение, невозможно: в самые жаркие дни Ангара не прогревается выше 12 градусов.

Следы барсуков в январе исключены: барсуки, как и медведи, залегают в спячку; шатуны среди них науке не известны.

Глава «Первая зима» вводит читателя, хотя бы приблизительно знакомого с таёжным климатом, в откровенное изумление. Выживание людей (зимой!) без запасов продовольствия, специфической одежды-обуви, лекарств, инвентаря… Здесь уместно восклицание Станиславского «Не верю!». Не верю, начиная от рассказов про охоту с револьвером, заканчивая счастливой концовкой страшного испытания, из которого все герои выходят не только живыми, но и психически полноценными.

Желающих получить реалистичное представление о тяготах пребывании человека в сибирской тайге можно отослать, например, к роману В. П. Астафьева «Царь-рыба», к документальной книге Григория Федосеева «Мы идём по Восточному Саяну» и многим другим источникам.

Автор использует приём несоответствия настроя повествователя и реального положения героев: среди описаний, пропитанных восторженым пафосом, своим ходом идут зловещие события — от многих кровь должна бы стынуть, краски меркнуть, если не исчезать совершенно. *Белая круговерть в избе — нарядная, праздничная.<…> Весь снег у крыльца — цвета сочной, раздавленной с сахаром земляники.* В этом эпизоде Муртаза только что в исступлении зарубил корову, чтобы не досталась красноордынцам, и тем же топором едва не убил Зулейху, вспоров подушку, которой она от него прикрывалась. Но читатель даже испугаться не успевает. Казалось бы, этот приём призван неизгладимо шокировать, но в руках автора он упрямо работает на распыление впечатлений от сути происходящего.

На ежедневную круглогодичную охоту на Ангаре *(за семь лет сколько холмов обошла, сколько оврагов исходила, сколько ручьёв пересекла…)* Зулейха ходит, не испытывая усталости, а *ружьё, тяжёлое, холодное <…> само прыгает в руки. <…>*

Здесь, в окружении сине-зелёных елей, нужно не ступать — бесшумно скользить, едва касаясь земли; не примять травку, не сломать ветку, не сбить шишку — не оставить ни следа, ни даже запаха; раствориться в прохладном воздухе, в комарином писке, в солнечном луче. Зулейха умеет: тело её, движения быстры и точны; она сама — как зверь, как птица, как движение ветра, течёт меж еловых лап, сочится сквозь можжевёловые кусты и валежник.

Невозможно поверить, что *тело* много раз рожавшей женщины, пережившей голод 1921 г., *легко и послушно.* Зулейха выносила и выкормила пятого ребёнка в состоянии крайнего истощения, на Ангаре никогда не имела возможности нормально отдохнуть, выспаться, поесть, по погоде и деятельности одеться-обуться, блюсти гигиену (длинные волосы в тех условиях исключены изначально, о зубах лучше не вспоминать, но упомянуто про солдата на этапе через Красноярск: *зубы у него во рту — железные, все до единого).* Вернувшись из тайги, Зулейха спешит на вторую работу *в лазарет: драить, скоблить, чистить, натирать, кипятить…*

К сожалению, и сами будни посёлка Семрук воспринимаются читателем, словно это лагерь поселенцев, разве что с несколько специфическими условиями и «какой-то нормой на лесоповале», которую редко кто выполняет, вроде, за это урезают и так небольшой паёк. В то время как атмосфера раскулачивания, когда людей вновь и вновь обирали именем государства, внушает высокую степень доверия автору, как и жизнеописание Юлбаша.

В посёлке Зулейха так и остаётся одиночкой, ни с кем не сближается, и даже работу себе, когда сын немного подрос, выбирает подальше от людей, в тайге, которую называет урманом. Постепенно Зулейха отбрасывает (ни разу серьёзно не заболев), как шелуху, неуместные в новых условиях религиозные догмы и принимает то, что раньше считала стыдом и грехом (жизнь, не отгороженную от мужчин, невозможность регулярной молитвы, мечты о любимом мужчине). Она не только открывает глаза, она поднимает голову и расправляет плечи.

Как хочется во всё это верить, читая правдоподобное, убедительное повествование о буднях раскулаченных и переселённых… По воспоминаниям очевидцев, люди возвращались из ссылки совершенно другими, неузнаваемыми—из романа мы об этом никогда не догадаемся, ни один из персонажей даже на мысль подобную не натолкнёт: герои, как в авантюрном жанре, какими вошли, такими и вышли.

Основной рычаг подавления личности системой ГУЛАГ—унижение достоинства человека, упомянут в романе разве что не в форме случайных эпизодов (унижение в столовой пьяным комендантом Игнатовым поселенца Засеки; избиение в клубе художника Иконникова доносчиком Гореловым). Хочется привести небольшой отрывок в контексте изложенной мысли (воспоминания Б. Окуджавы о матери, вернувшейся из десятилетней ссылки):

И вот я заглянул в её глаза. Они были сухими и отрешёнными, она смотрела на меня, но меня не видела, лицо застыло, окаменело, губы слегка приоткрылись, сильные загорелые руки безвольно лежали на коленях. Она ничего не говорила, лишь изредка поддакивала моей утешительной болтовне, пустым разглагольствованиям о чём угодно, лишь бы не о том, что было написано на её лице… <…>
—Она стала какая-то совсем другая,—сказал я.—Может быть, я чего-то не понимаю… Когда спрашиваю, она переспрашивает, как будто не слышит… (Б. Окуджава. «Девушка моей мечты»).

Вопрос о достоверности не поднимался бы столь остро, будь в романе тема любви основополагающей. Однако значительная его часть освещает конкретный исторический период в конкретных географических условиях, более того, обе темы представляются равноправными. Но когда автор переходит к описаниям ангарских событий, мы попадаем в сказочный мир со сказочными героями на историческом фоне. В то время как содержание обещает суровую правду… Волей-неволей всплывает коварный вопрос, нужна ли она читателям, эта суровая правда, тем более что раскулаченных и переселённых в живых остались считанные единицы, но внуки их здравствуют, а потому тут же приходит ответ: нужна. Мы и наши потомки вправе знать, через что прошли люди. Художественная литература—лучший способ донести историю, как она есть, если автор взял на себя такую миссию. Художественное изображение реального положения вещей пошло бы только в плюс роману Гузель Яхиной, сделав его из развлекательной книжки ещё и авторитетным документом эпохи. Вполне мог бы получиться крепкий исторический роман с многогранными характерами, с присущей человеческой психике мистикой, с леденящей душу реальностью, с красотой окружающего мира и человеческих чувств, которые не отнять никому, если автор сможет весомо их нам передать.

Казалось бы, исторические события и атмосфера эпохи убедительно отражены через бытовые разговоры и происшествия в пьяном угаре, через бытописание и коллизии, исторический пласт на всём протяжении романа сопровождает выразительная символика (черепа животных на кольях—как символ отжившего, папка «Дело» со списками переселенцев, портрет мудрого усатого мужа, карта СССР, флаг, плакаты, тексты песен) и небольшие изящные детали (*В окне многоконечной звездой чернеет большая дыра…),* но трагического накала, которого, казалось бы, требуют описываемые события, с апофеозами и минутами молчания над бездной отчаяния, мы в романе так и не обнаружим. Автор для этого многое сделал, непрерывно сбрасывая и разбавляя читательское напряжение.

В авторской оценке характеров нет никаких сомнений, они абсолютны: где добро—там добро, зло—зло. Лишь образ Игнатова неоднозначен. Он сын своего времени, истовый исполнитель приказов карательной машины. Тем не менее автор довольно правдоподобно наделил этого идеалиста и совестью, и лиричностью, и чувством вины (явления убиенных и гибнущих), а также глубокой любовью к женщине.

До ангельских высот в буквальном и символическом смысле (ангелы на потолке клуба) идеализированы образы Изабеллы и её мужа, благородного доктора Лейбе, остальных переселенцев из героической команды тридцати (за исключением Горелова).

Образы уголовника Горелова, представителей власти Денисова, Бакиева и Кузнеца—яркие, но предсказуемые. Карьера Горелова, вернувшегося с войны лейтенантом НКВД и ставшего комендантом посёлка, по меньшей мере, удивительна.

Образ Юзуфа в романе запредельно возвышен—ощутимо влияние древней легенды о прекрасном непогрешимом юноше. Юзуф ежедневно встречает с охоты мать, общается исключительно со взрослыми, словно дети вокруг отсутствуют (хотя в посёлке детей примерно его возраста восемнадцать человек), работать начинает ещё до двенадцати лет сначала в магазине, с двенадцати продолжает трудиться в художественной артели как опытный художник вместе со своим учителем, художником Иконниковым, в восемь лет свободно владеет французским (уроки Изабеллы). Характеру Юзуфа, его пытливости и целеустремлённости можно только позавидовать. «Первый в посёлке» ребёнок, действительно, идеален: среда его не затянула, тем более не заела. Как этого удалось избежать, по большому счёту, загадка, но то, что такого сына любить легко и приятно, не поспоришь.

Если внимательно приглядеться, мы убедимся: по сюжету у Зулейхи нет тяжёлых невосполнимых утрат. В мужнином доме Зулейха жила беспросветно на положении рабочей скотины по имени «женщина», мужа никогда не любила, к четырём дочерям привязаться не успевала — до их рождения была предупреждена о скорой смерти младенцев. В тюрьме над Зулейхой не издевались, в вагоне было не хуже, чем остальным, от пыток на допросе Игнатов её уберёг. С баржи спаслась, все до одного близкие товарищи волей провидения остались живы. Во время сложнейших родов рядом оказалось «светило». Сын выжил, вырос и уехал учиться, получив от Игнатова надёжную метрику и деньги. Проводив сына, Зулейха встречает Игнатова, который шестнадцать лет ждал её и любил. Вся её жизнь, по её же словам, именно на Ангаре стала, наконец, «хорошей». От описаний смертей в пути и в Ангарской ссылке, как и смертей товарищей Зулейхи, автор читателей уберёг, оставив упоминания, разве что трагедия на Енисее (затонувшая баржа, битком набитая запертыми людьми) показана достаточно развёрнуто. Но даже это событие быстро забывается, затирается последующими — читатели могут смело читать роман на ночь и спать спокойно.

Упомянуты типичные заболевания переселенцев (цинга, пеллагра, дистрофия). Но всё это наших героев ничуть не касается, как будто они живут совсем в другом месте. Перед глазами чудесный мир на Ангаре, мистические явления Упырихи, спасающей внука в самые напряжённые моменты, и преображение Зулейхи. И вот уже страшные страницы истории, которые только художественная литература и способна увековечить, таковыми совсем не кажутся.

Однако, не единожды перечитав роман, склоняюсь к тому, что Гузель Яхина сказала своё романтическое «слово о мире»: о человеческом в человеке, о женском в женщине; показала любовь, которая, если пришла, то пребудет уже навсегда — как утешение в долгом пути, как благодать. За обретённые Зулейхой человеческое достоинство, материнское счастье, за её способность принимать перемены как должное, за готовность жить в том, что есть, искренне благодарили читательницы. Но ни сами персонажи, ни исторические события (во всяком случае, на Ангаре) подлинными так и не стали, обернувшись всего лишь сказочными героями среди назывных декораций мелодрамы, украшенных на переднем плане пышным воображением автора.

ДиН авторы

Алейников Владимир Дмитриевич
стр. 107

Москва / Коктебель, 1946 г. р.

Родился в Перми, вырос в городе Кривой Рог на Украине. В 1962–1964 годах входил в группу молодых криворожских поэтов. В январе 1965 года вместе с Леонидом Губановым основал легендарное литературное содружество СМОГ и стал его лидером. При советской власти на родине не издавался. Публикации стихов и прозы на родине начались в период перестройки. Первые книги стихов вышли в 1987 году. В начале 90-х издано несколько больших книг стихов. Ныне автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого Союза. Член ПЕН-клуба.

Астраханцев Александр Иванович
стр. 52

Красноярск, 1938 г. р.

Родился в деревне Белоярка Мошковского района Новосибирской области. Окончил Новосибирский инженерно-строительный институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Более 20 лет работал в строительстве в Красноярске. Публиковался в различных журналах и сборниках («Наш современник», «Молодая гвардия», «Сибирские огни», «День и ночь», «Дети Ра» и др.). Автор более 10 книг прозы, публицистики, драматургии. Член Союза российских писателей. Председатель Правления Красноярского регионального отделения Литературного фонда РФ. Зам. главного редактора журнала «День и ночь». Живёт в Красноярске.

Аференко Виктор Александрович
стр. 22

Железногорск, 1935 г. р.

Родился в селе Атаманово Сухобузимского района Красноярского края. В 1956-м окончил физико-математический факультет Красноярского государственного педагогического института. Работал первым секретарём Даурского РК ВЛКСМ, директором сельской и городских школ, преподавал физику. Автор многих краеведческих книг и поэтических сборников. Краевед и публицист, поэт, заслуженный учитель Российской Федерации, член Союза журналистов России, заслуженный педагог

Красноярского края, почётный гражданин Сухобузимского района. Неоднократный победитель различных педагогических и творческих конкурсов. Живёт в Железногорске Красноярского края.

стр. 41
Беликов Юрий Александрович
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Окончил Пермский государственный университет имени Горького. В конце 80-х—начале 90-х его стихи публикуются в журналах «Юность», «Огонёк», «Знамя». На всесоюзном фестивале поэтических искусств «Цветущий посох» (Алтай, 1989), куда прибыли авторы отечественного подполья, удостоен Гран-при и титула «Махатма российских поэтов». В 1991-м принят в Союз российских писателей, в том числе по устной рекомендации Андрея Вознесенского. В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность», где учредил рубрики «Письма государственного человека» и «Русская провинция». Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». В 88-м и 90-м выходят две первые книги: «Пульс птицы»—в издательстве «Современник» (Москва) и «Прости, Леонардо!»—в Пермском книжном издательстве. В 2005 году за «утверждение идеалов великой русской литературы» творцы Великих Лук награждают Юрия орденом-знаком Велимира «Крест поэта». Третья книга «Не такой» выходит в 2007 году в московском издательстве «Вест-Консалтинг». Она отмечена всероссийской литературной премией имени Павла Бажова. В 2013 году увидела свет четвёртая книга стихотворений «Я скоро из облака выйду», получившая две престижных награды—премию имени Алексея Решетова и всероссийскую общенациональную премию «За верность Слову и Отечеству» имени Антона Дельвига. Входит в редколлегии двух отечественных журналов «Дети Ра» и «День и ночь». Член Русского ПЕН-центра и Высшего творческого совета Союза писателей XXI века. Награждён орденом общественного признания Достоевского I степени. Живёт в Перми.

стр. 184
Бердников Лев Иосифович
Лос-Анджелес, 1956 г. р.

Писатель, филолог, культуролог. Родился в Москве. Окончил факультет русского языка и литературы МОПИ имени Н. К. Крупской. После окончания института работал в Музее книги Российской государственной библиотеки, где с 1987–1990 годов возглавлял научно-исследовательскую группу русских старопечатных изданий. С 1990 года живёт в Лос Анджелесе. Член Русского Пен-Центра и Союза писателей Москвы. Член редколлегии журнала «Новый берег». Лауреат Горьковской литературной премии 2009 года в номинации «Историческая публицистика». Почётный дипломант Всеамериканского культурного фонда имени Булата Окуджавы. Тексты автора переведены на украинский и английский языки. Автор книг «Щёголи и вертопрахи. Герои русского галантного века» (2008), «Евреи в ливреях. Литературные портреты» (2009), «Шуты и острословы. Герои былых времён» (2009), «Евреи Государства Российского. XV—начало XX вв.» (2011).

стр. 154
Буевич Елена Ивановна
Черкассы, Украина, 1968 г. р.

Поэт, переводчик, публицист. Родилась в городе Смела Черкасской области. Окончила Черкасское музыкальное училище имени С. Гулак-Артемовского по классу фортепиано и заочно Литературный институт (1993, семинар А. В. Жигулина и И. Л. Волгина). Работала преподавателем фортепиано, руководителем литературной студии, журналистом. Автор книг стихов «Странница-душа» (1994), «Нехитрый мой словарь» (2004), «Ты—посредине» (2004), «Елица» (2011), «Две душе—Две души» (2016). Публикации в журналах «Российский Колокол», «Нана», «Наш современник», «Странник», «Парус», «Радуга», «Византийский ангел», в альманахах «Истоки-90», «Витрила-95» и др. Член Национального союза журналистов Украины и Ассоциации украинских писателей. Член Союза писателей России. Лауреат конкурса «Человек года—2005» (Черкассы) в номинации «Журналист года». Работает журналистом, переводит поэзию с сербского и польского языков.

стр. 112
Васильев Геннадий Михайлович
Красноярск, 1959 г. р.

Журналист, поэт, исполнитель авторской песни. Родился в Томске. Отслужил в армии, потом по комсомольской путёвке оказался на КАТЭКе, в Шарыпово. Учился заочно в Иркутском университете на факультете журналистики. Работал в газетах «Красноярский комсомолец», «Свой голос», «Евразия», «Деловая Сибирь», вёл еженедельную программу на красноярской студии «Авторадио», участвовал во всевозможных медиапроектах. Участник Всероссийского совещания молодых литераторов в Ярославле в 1996 году. Живёт в Красноярске.

стр. 156
Волосюк Иван
Донецк, 1983 г. р.

Родился в городе Дзержинске Донецкой области в семье шахтёра. Выпускник русского отделения филологического факультета Донецкого национального университета. Публиковался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Волга», «Воздух», «Новая юность», «Юность», «Литературная учёба», «Новый берег», «День и ночь». Участник 12, 15 и 16-го Форумов молодых писателей России, стран

СНГ и зарубежья, короткий список «Волошинского фестиваля-2015». Работает журналистом.

стр. 37 **Гамзов Алексей Юрьевич**
Ленинск-Кузнецкий, 1978 г. р.

Вырос в Ленинске-Кузнецком, после школы выучился на журналиста в Кемеровском университете. 20 лет работал по специальности с небольшими перерывами. Объехал много стран, подолгу жил в Новосибирске, Москве, в Юго-Восточной Азии. Публиковался в журналах «День и ночь», «Огни Кузбасса», «После 12» и др. Автор книг «Полноценный валет» (2001, совместно с Д. Мурзиным), «Был таков» (2015).

стр. 110 **Година Николай Иванович**
Челябинск, 1935 г. р.

Родился в Полтавской области (Украина), через четыре года семья переехала в Челябинскую область. Окончил Коркинский горный техникум. Работал на серном руднике Дарваза в Каракумах, четыре года служил на военных кораблях Балтфлота. С 1959 по 1987 год жил и работал в городе Миассе: машинистом экскаватора, инженером, председателем рудкома в Тургоякском рудоуправлении. Печатается с 1958 года. Член Союза писателей СССР. Автор более двух десятков сборников стихов и прозы. Лауреат комсомольской премии «Орлёнок» (1968), Всероссийской профсоюзной премии имени Ф. Селянина, Всероссийской литературной премии имени Мамина-Сибиряка (2003). Секретарь Челябинской областной писательской организации (1987–1998), секретарь правления Союза писателей России (1992–1998). Участник Международного конгресса поэтов в Санкт-Петербурге (1999) и Международного форума поэзии в Магнитогорске (2002). Участник «Литературных встреч в провинции», организованных В. П. Астафьевым и др. Стихи и рассказы печатались на семи языках. Заслуженный работник культуры России (1996), почётный гражданин города Миасса (2004), руководитель миасского литобъединения «Ильменит» с 1967 года. Редактор-составитель альманаха «Графоман» с 2010 года.

стр. 149 **Долгарева Анна**
Донецк, 1988 г. р.

Поэт, журналист, военный корреспондент. Автор книг «Из осаждённого десятилетия» и «Уезжают навсегда».

стр. 32 **Донбай Сергей Лаврентьевич**
Кемерово, 1942 г. р.

Родился в Кемерово в семье архитектора. Учился в Новосибирском инженерно-строительном институте. Работал архитектором в «Кемеровгражданпроекте». С 1976 года работает в журнале «Огни Кузбасса», сначала — ответственным секретарём, в настоящее время — главный редактор издания. Автор многих книг стихотворений, последняя из которых «Посредине России» вышла в издательстве «Российский писатель» (2011). Печатался в газетах, журналах и коллективных сборниках Сибири, России и за рубежом. Член Высшего творческого совета Союза писателей России. Заслуженный работник культуры РФ, имеет премии имени В. Д. Фёдорова, Александра Невского, «Белуха» имени Г. Д. Гребенщикова, архиерейскую грамоту «В благословение за усердные труды во славу Святой Церкви».

стр. 158 **Евсюков Александр Владимирович**
Тульская область, 1982 г. р.

Родился в городе Щёкино Тульской области. Выпускник Литературного института 2007 года (семинар М. П. Лобанова). Публикации в журналах «Бельские просторы», «Звезда Востока», «Приокские зори», «День и ночь», «Нева», «Зинзивер» и др.; альманахах «Тула», «Артбухта», «Согласование времён», «Где дом мой…», «В шесть часов вечера каждый вторник»; сборниках прозы «Крымский сборник. Путешествие в память» («Книговек», 2014), «Крым. Я люблю тебя» (Эксмо, 2015), «Flash Story. Антология короткого рассказа»; газетах «Литературная газета», «Литературные известия», «Интеллигент. Санкт-Петербург» и т. д. Проза переведена на итальянский язык. Лауреат конкурсов малой прозы имени Андрея Платонова (2011), «Согласование времён» (2012). Лауреат нескольких конкурсов малой прозы. Организатор ряда литературных и музыкальных мероприятий. Участник семинара критики Совещания молодых писателей при СПМ (2014). Победитель российско-итальянской премии «Радуга» (2016), лауреат премии журнала «Зинзивер» в области критики (2016). Участник шести Форумов молодых писателей России. В конце 2016 года вышла первая книга рассказов «Контур легенды».

стр. 40 **Елистратова Елена**
Кемерово

Родилась в городе Анжеро-Судженске Кемеровской области. Участница литературной студии «Притомье». Лауреат областных литературных премий: имени И. М. Киселёва (2016), «Энергия творчества» (2012) и журнала «Огни Кузбасса» (2010). Печаталась в журналах «Огни Кузбасса», «Балтика», «Литературный меридиан», «Начало века», «Ликбез» и др. Автор поэтических книг «Я придумала то, чего нет» (2012) и «Фрагменты городской мозаики» (2012).

стр. 115 **Ермолаева Светлана Александровна**
Железногорск, 1963 г. р.

Родилась в Красноярске-26 (ныне Железногорск). В 1986 году окончила Московский энергетический

институт, работала инженером-технологом в Санкт-Петербурге. В 1991 году вернулась в родной город, сотрудник Горно-химического комбината. Стихи начала писать в 1990 году. В 1992 году стала лауреатом краевого молодёжного поэтического фестиваля. В 1999 и в 2001 годах принимала участие в краевых поэтических семинарах. В 1999 году стала лауреатом заочного поэтического семинара «Белый лист» на радио России, в 2004 году стала одним из победителей краевого конкурса «Король поэтов». Член Союза российских писателей (2007), её стихи печатаются в газетах Железногорска и Красноярска, журналах «День и ночь» (Красноярск), «Южная Звезда» (Ставрополь), «Новый журнал» (Нью-Йорк, США), различных коллективных сборниках. Живёт в Железногорске.

стр. 134
Жарикова Елена Владимировна
Красноярск

В 1993 году окончила Абаканский государственный педагогический институт. Преподаёт литературу в Красноярской гимназии №1 («Универс»). Руководитель «Литературной гостиной». В 1998 году удостоилась звания «Учитель года» (Шарыпово). Участница и финалист многих литературных конкурсов. Стихи и проза публиковались в литературной периодике. Живёт в Красноярске.

стр. 36
Золотаина Галина Михайловна
Ленинск-Кузнецкий, 1956 г. р.

Родилась в городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Участвовала в коллективных сборниках «Дороже серебра и злата» (Кемерово), «На родине моей повыпали снега…» (Кемерово), «Площадь Пушкина» (Кемерово), «Собор стихов» (Кемерово) и др. Печаталась в журналах «Огни Кузбасса» (Кемерово), «Сибирские Огни» (Новосибирск). Автор книг «Мир прозрения» (Кемерово, 1985). «Гнездо» (Кемерово, 1995). «Горожанка» (Ленинск-Кузнецкий, 2000). Член Союза писателей России.

стр. 150
Ильдимирова Татьяна
Кемерово, 1981 г. р.

Родилась в Кемерово. Окончила юридический факультет Кемеровского государственного университета. В настоящее время работает юристом в банковской сфере. Публиковалась в журналах «День и ночь», «Сибирские огни», «Огни Кузбасса», электронном журнале «Пролог», а также в сборнике «Новые писатели-2013», выпущенном ФСЭИП по итогам форума молодых писателей в 2012 году. Участница форумов молодых писателей в Липках (2003, 2004, 2006, 2012). В 2007 году участвовала в Совещании молодых писателей в г. Каменске-Уральском. В 2011 году—лонг-лист премии «Дебют» в номинации «малая проза» с рассказом «Чужие квартиры», в 2014 году—лонг-лист в этой же номинации с тремя рассказами (под именем Татьяна Гаврилова). В 2015 году вышла в финал российско-итальянской премии «Радуга». Переводилась на итальянский язык. Член Союза писателей России.

стр. 130
Каминский Семён
Чикаго, 1954 г. р.

Родился в Днепропетровске. Прозаик, член Международной ассоциации писателей и публицистов, Международной федерации русских писателей и Объединения русских литераторов Америки. Образование высшее техническое и среднее музыкальное. Работал преподавателем, руководителем юношеского фольклорного ансамбля, менеджером рок-группы, директором подросткового клуба и рекламного агентства, режиссёром и продюсером телевизионных программ, редактором. Публиковался в России, Украине, США, Канаде, Израиле, Германии, Финляндии, Дании, Латвии, в том числе в журналах «Дети Ра», «День и ночь», «Сибирские огни», «Северная Аврора», «LiteraruS», «Зинзивер», «Ковчег», «Сура», «Время и место», «Побережье» и многих других. Лауреат премий журналов «Дети Ра» (2011) и «Северная Аврора» (2012). Автор книг «Орлёнок на американском газоне». Рассказы и очерки (Чикаго: Insignificant Books, 2009), «На троих». Сборник рассказов в соавторстве с В. Хохлевым, А. Рабодзеенко (Чикаго: Insignificant Books, 2010), «Папина любовь» (Таганрог: Нюанс, 2012), «30 минут до центра Чикаго». Рассказы (М.: Вест-Консалтинг, 2012).

стр. 143
Карапетьян Рустам Анатольевич
Красноярск, 1972 г. р.

Родился в Красноярске. Учился в Красноярском государственном университете на математическом и психолого-педагогическом факультетах. Несколько лет посещал литературный семинар А. Лазарчука. Публиковался в журналах «День и ночь», «Новый Енисейский литератор», «Контр@-банда», «Литературный MIX», «Огни Кузбасса», «Мурзилка», «Читайка», «Сибирёнок» и др., а также в различных антологиях и сборниках. Лауреат премии имени В. П. Астафьева в номинации «Поэзия» (2007). Финалист «Ильи-премии» (2008). Победитель конкурса «Король поэтов: реванш» (2008, Красноярск). Лауреат премии «Золотое перо Руси-2010». Лонг-лист Международной Волошинской премии (номинация «За лучшую поэтическую книгу 2014 года»). Руководитель красноярского литературного объединения «Диалог». Автор книг «Четыре стороны небес», «Точка опоры», «Нарисованный слон». Член Союза русскоязычных писателей Армении и диаспоры. Член красноярского представительства Союза российских писателей. Живёт в Красноярске.

Карбушев Сергей Семёнович

обл.

Железногорск, 1957 г. р.

Художник-живописец, преподаватель МБУ ДО «Детская художественная школа» в Железногорске с 1982 года. Участник художественных выставок с 1976 года. В своём творчестве художник стремится к открытым выразительным решениям в различных жанрах — пейзаже, портрете, натюрморте.

Князев Сергей Александрович

стр. 41

Подольск, 1959 г. р.

Родился в селе Шарчино Алтайского края. Кинорежиссёр, поэт, сценарист, продюсер. Среднюю школу окончил в Красноярске-26 (Железногорск, или Атомград). Автор книги избранных стихов «Давний дневник», изданной в Красноярске в 1991 году. Стихи публиковались с 1978 года, в том числе в журналах «Юность», «День и ночь», антологии «Приют неизвестных поэтов (Дикороссы)». Участник литературного движения «Дикороссы». Стихи переведены на армянский язык. Выпускник Ленинградского института киноинженеров и ВГИКа по специальности «Режиссёр документального кино и телефильма». Обладатель Гран-при на Международном кинофестивале «ВГИК-92» (фильм «Наш день. Стансы».). В 1998 году дебютировал в художественном кино короткометражным авторским фильмом «Двинский чай» по мотивам романа Сергея Клычкова «Сахарный немец». Среди отснятых впоследствии документальных работ — «Россия. Опыт молчания», «Приношение русским святым», «А гений — сущий дьявол», «На лугу пасутся кони», «Отченька», «Из небытия», «Аркаимское время в стране городов», «Повесть о сыне». С конца девяностых — руководитель кинокомпании «Ветви лозы» и продюсерского центра «Светосила». Как продюсер работает над созданием цикла телепередач «Свидетели эпохи». В 2016 году — председатель жюри Первого международного кинофестиваля документальных фильмов в Красноярске.

Корзова Ольга Владимировна

стр. 21

Архангельская область, 1965 г. р.

Родилась в Архангельской области. Окончила Архангельский государственный педагогический институт, 26 лет работала в школе. Публиковалась в журналах «Север», «Двина», «Наш современник», «Знамя», в газете «Литературная Россия». Участник сборника «Молодые голоса Севера». Автор книги стихов «Чёрное и белое» (2004). Член Союза писателей России с 2008 года.

Костандис Елена

стр. 125

Москва

Родилась в Тбилиси. Училась в Тбилисском государственном университете (филологический факультет) и в Еврейском университете в Иерусалиме (славистика и сравнительное религиоведение). Аспирантка кафедры философии Российского православного университета. Лауреат литературной премии «Слово-2016».

Куралов Иосиф Абдурахманович

стр. 119

Кемерово, 1953 г. р.

Родился в городе Прокопьевске Кемеровской области. Окончил режиссёрское отделение Кемеровского государственного института культуры. Работал в редакциях газет, в учреждениях культуры, образования. Главный редактор журнала «Университет Культуры», член редколлегии журнала «Огни Кузбасса». Автор книг «Пласт», «Тридесятое пространство», «Тысяча твоих лиц», «Я шёл по воздуху — сквозь воздух», «Живое пространство». Член Союза писателей России. Лауреат областной литературной премии имени. В. Д. Фёдорова, имеет награды администрации Кемеровской области.

Курмангалина Яна-Мария

стр. 138

Одинцово, Московская область

Родилась в Башкирии. Детство прошло в Тюменской области, в посёлке Хулимсунт, близ города Берёзово. Юность — в Краснодарском крае и в Ростове-на-Дону. Окончила Литературный институт имени А. М. Горького (семинар В. А. Кострова) и ВГИК имени С. А. Герасимова (мастерская сценариста А. Я. Инина). Публиковалась в российской и зарубежной периодике, в том числе в журналах и альманахах «Эринтур», «Факел», «Паровозъ», «Кольцо А», «Гвидеон», «Октябрь», «Плавучий мост», «Артикль», «Эмигрантская лира», «Гостиная», «Этажи», «Литеrrатура», «Белый ворон», «Prosodia». Стихи вошли в антологию «Литература Югры, 1930–2000». Автор книг стихов «Белые крылья» (Пермь, 2000), «Вид из окна» (Архангельск, 2008), «Первое небо» (Томск, 2015) и книги для детей, куда вошла повесть «Журавлиное солнышко» (Москва, 2016).

Левитина Любовь

стр. 133

Ашкелон, Израиль

Родилась и выросла на Урале. Физиолог, биохимик, врач-лаборант. В последние несколько лет — социальный работник. В 1993 году репатриировалась в Израиль. Бронзовый лауреат IV Международного конкурса русской поэзии памяти В. Добина, 2011. Финалист интернет-конкурсов «Эмигрантская лира», 2014–2015 и 2015–2016. Лонг-листер Поэтического конкурса «Заблудившийся трамвай» имени Н. С. Гумилёва, 2016. Победитель IV Международного Грушинского интернет-конкурса 2016 в номинации «Поэзия». Лауреат конкурса «45-й калибр» имени Г. Яропольского, сезон-2017. Публикации в интернет- и печатных изданиях (журналах и сборниках) Израиля и России, а также авторские сборники стихов «Не сжигайте мосты»

(Новокузнецк: Союз писателей, 2012) и «Гербарий неисполненных желаний» (Краков: Издательские решения, 2016).

стр. 190
Немежикова Ольга Владимировна
Красноярск, 1965 г. р.

Родилась в Красноярске. Окончила с отличием два факультета в Красноярском институте цветных металлов (ныне ИЦМиМ) по специальностям «горный инженер-геолог» (ленинская стипендиатка, 1987), «экономист» (1993). Финалист литературного конкурса имени И. Д. Рождественского (2016). Публикации в журнале «День и ночь». Живёт в Красноярске.

стр. 117
Орлов Александр Владимирович
Москва, 1975 г. р.

Окончил Московское медицинское училище №1 имени И. П. Павлова, Литературный институт имени А. М. Горького и Московский институт открытого образования. Работал ортопедом в челюстно-лицевом госпитале для ветеранов Великой Отечественной войны, разнорабочим, начальником отдела и заместителем генерального директора в частной компании, последние годы работает учителем истории в столичной школе. Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат Всероссийского конкурса малой прозы имени А. П. Платонова (2011), Всероссийского конкурса малой прозы и поэзии имени Ф. Н. Глинки (2012), Всероссийского конкурса поэзии и малой прозы имени С. С. Бехтеева (2014). Публиковался в широком круге изданий: «День и ночь», «Дети Ра», «Зинзивер», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературная учёба», «Сибирские огни», «Южное сияние», «Юность», в сборниках и антологиях.

стр. 3
Петров Борис Михайлович
Красноярск, 1932–2011

Сибирский писатель. Родился в Туле в семье потомственных оружейников. Окончил исторический факультет Куйбышевского педагогического института. Недолгое время вёл историю в школе, затем занялся журналистикой. Работал редактором куйбышевской областной газеты. Служил в армии, где начал писать рассказы. После демобилизации работал учителем истории в селе Покровском Тюменской области. Вскоре очерки Бориса Петрова стали появляться в местных газетах. Позднее работал редактором районной газеты. Первой книжкой стала «Корзина цветов», изданная Куйбышевским издательством в 1966 году. В 1968 году приехал жить и работать в Красноярск в качестве собкора газеты «Известия». Итогом открытия новой земли явились очерковые книги «Солнцепоклонники» (1977) и «Мой край Сибирский» (1978), изданные в Москве и Красноярске. Вторая художественная книга «Кружка берёзового сока» вышла в 1973-м. После этого появились художественные книги для детей и взрослых «Почему—карась?» (1977), «Тёплая земля» (1982). В 1978 году был принят в Союз писателей СССР. Затем были изданы: «Звёздный камень», «Сполохи», «Моя охота», «Старые, добрые вещи», «С полным коробом из леса», «Жизненный круг» и др. Долгие годы был главным редактором старейшего сибирского журнала «Енисей», литературным редактором и членом редколлегии журнала «Сибирский промысел». Последняя книга «Жизнь—житуха—житие» была издана в 2012 году, уже после смерти Бориса Михайловича. Скончался 10 декабря 2011 года в Красноярске.

стр. 38
Рыжова Агата Юрьевна
Кемерово, 1985 г. р.

Родилась в Кемерово. Училась в Кемеровском государственном университете на филологическом факультете. В 2009 году заняла первое место на областном состязании молодых поэтов «Кузбасс—точка роста». Автор поэтических книг «Мимо всех» и «Путеводитель для сталкера». В 2010 году повесть «Однажды и навсегда» вошла в лонг-лист всероссийской премии «Дебют». Член редколлегии журнала «Огни Кузбасса».

стр. 124
Суханова Ольга
Химки, Московская область, 1972 г. р.

Окончила Литературный институт им. А. М. Горького. Публикации в приложении к «Литературной газете» («Литературный базар»), в Литературном журнале Союза писателей Москвы «Кольцо „А“». Работает в туристической компании, занимается разработкой маршрутов по Скандинавии.

стр. 51
Сухарев Евгений Александрович
Эрфурт, Германия, 1959 г. р.

Родился в Харькове. Окончил режиссёрское отделение Харьковского государственного института культуры (1980). Стихи пишет лет с 14, автор четырёх изданных на родине книг: «Дом ко дню» (1996), «Сага» (1998), «Седьмой трамвай» (2002), «Комментарий» (2005). Лауреат Чичибабинской премии (2005). Лауреат конкурса Российской национальной литературной сети (июль, 2004). Член Международного фонда имени Б. А. Чичибабина (Харьков). В течение многих лет—автор журнала «Белый ворон». Публиковался в периодике Украины, России, Германии. Произведения автора входили в антологии и хрестоматии.

стр. 34
Сычёва Юлия Валерьевна
Кемерово, 1967 г. р.

Родилась в городе Мариинске Кемеровской области. Окончила математический факультет Кемеровского государственного университета. Работает менеджером оптовых продаж. Редактор

поэтического сайта «Термитник поэзии». Член литературной студии «Притомье». Публиковалась в журналах «Огни Кузбасса», «Балтика» (Калининград), «Фантастическая среда» (Барнаул), «Союз писателей» (Новокузнецк), «Кольчугинская осень» (Ленинск-Кузнецкий), коллективных сборниках.

стр. 159

Тенятников Сергей Михайлович

Лейпциг, Германия, 1981 г. р.

Родился в Красноярске. С 1999 года живёт в Германии. Окончил Лейпцигский университет по специальностям «политолог», «историк» и «филолог-русист». Пишет стихи и рассказы на русском и немецком языках, занимается переводами и видеопоэзией. Стихи публиковались в литературных журналах «Белый ворон», «День и ночь», «Журнал ПОэтов», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Плавучий мост», «Эмигрантская лира» и в антологии «Прощание с Вавилоном. Поэты русского зарубежья». Лауреат Шестого Всемирного поэтического фестиваля «Эмигрантская лира-2014» в Льеже (Бельгия). Лауреат литературной премии фонда имени В. П. Астафьева (2015).

стр. 35

Уланова Светлана Владимировна

Полысаево, Кемеровская область, 1967 г. р.

Родилась на Камчатке. Окончила Кузбасский горно-технический и Томский архитектурно-строительный университеты. В настоящее время — горный инженер-маркшейдер на шахте. Одна из организаторов всероссийского фестиваля поэзии имени А. Бельмасова (2013–2016). Публиковалась в журналах «Огни Кузбасса» (Кемерово), «Начало века» (Томск), «Тарские ворота» (Омск), «БЕГ» и «Русский писатель» (Санкт-Петербург), «ЛиФФт», «Московский вестник», «Наше поколение» (Кишинёв, Молдова), в московском еженедельнике «Слово», «Литературной газете» и др. Автор книг стихотворений «На тонких струнах любви», «Кольчугино колечко», серии книг для детей изд-ва «Феникс» «Весёлые трафареты». Член Союза писателей России.

стр. 104

Хатюшин Валерий Васильевич

Москва, 1948 г. р.

Поэт, прозаик, критик, публицист. Родился в городе Ногинске (Богородске) Московской области. Служил в ракетных войсках в Сибири. Работал на строительстве газопровода «Север — Центр», строил КамАЗ. Первая книга стихотворений «Быть человеком на Земле» вышла в 1982 году. С 1986 года член Союза писателей СССР и России. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького. Стихи, рассказы и статьи публиковались в журналах «Москва», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Слово», «Кубань», «Дон», «Аврора», в альманахе «Академия поэзии». Автор многих книг. Более двадцати пяти лет отдал работе в журнале «Молодая гвардия». В настоящее время — главный редактор этого издания. Лауреат отечественных и международных литературных премий.

стр. 161

Хугаев Ирлан Сергеевич

Владикавказ, 1965 г. р.

Выпускник филологического факультета Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Хетагурова; преподавал в школах Северной Осетии — Алании, на филологическом факультете СОГУ, в Новом гуманитарном университете Н. Нестеровой (Москва). Доктор филологических наук, старший научный сотрудник Владикавказского научного центра РАН и РСО-А. Публикации в журналах «Дарьял», «День и ночь», «Дети Ра», «Образы жизни» (Сан-Франциско, США) и других.

стр. 17

Шанин Владимир Яковлевич

Красноярск, 1937 г. р.

Родился в селе Бирилюссы Красноярского края в крестьянской семье. Окончил историко-филологический факультет Иркутского государственного университета и аспирантуру Высшей школы профсоюзного движения при ВЦСПС в Москве. Трудиться начал с 14 лет. Работал в колхозе, леспромхозе, на заводе «Сибтяжмаш», в районных, многотиражных газетах, в альманахе «Енисей», в профсоюзных организациях, служил в армии. Участник краевого семинара молодых писателей Красноярья в 1974 году, и в том же году — зонального совещания молодых писателей Сибири и Дальнего Востока в Иркутске, на котором рукопись рассказов была рекомендована к изданию. Печатался в краевых и областных газетах, в журналах «Молодая гвардия», «Дальний Восток», «Сибирские огни», в коллективных сборниках. Автор книг прозы «Памятник для матери», «Бел-горюч камень», «От зари до зари», «Горька ягода калинушка», «Куплю дом в деревне…», «Имя собственное» (литературные портреты писателей), изданных в Красноярске и Москве. А своей «главной» книгой считает роман-исследование о В. И. Сурикове «Суриков, или Трилогия страданий». В 2011 году вышел первый том «Енисейской летописи» — это хронологический перечень важнейших дат и событий из истории Приенисейского края. Готовится к изданию второй том. «Енисейская летопись» на сегодняшний день является единственным в своём роде изданием, хронологически описывающим исторические события нашего края. Член Союза писателей России. Член правления КРО СП России. Живёт в Красноярске.

стр. 139

Шурыгина Мария Анатольевна

Красноярск, 1975 г. р.

Родилась в Красноярске. Окончила Красноярский государственный педагогический университет

имени В. П. Астафьева (факультет русского языка и литературы). Дебютировала как прозаик на интернет-ресурсе «Мастерская писателей». Печаталась в сборнике издательства АСТ и в журнале «Новый свет» (Торонто, Канада). Публикации в журналах «День и ночь», «Октябрь». Живёт в Красноярске.

стр. 122

Щербаков Александр Илларионович
Красноярск, 1939 г. р.

Родился в селе Таскино Красноярского края в старообрядческой крестьянской семье. Образование: история и филология, экономика и журналистика. Работал учителем, корреспондентом краевых и центральных изданий, ныне возглавляет Красноярское отделение Союза писателей России. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики, повести «Свет всю ночь», сборников рассказов «Деревянный всадник», «Лазоревая бабка», «Змеи оживают ночью», поэтических книг «Трубачи весны», «Глубинка», «Горлица», «Жалейка», «Дар любви». Печатался в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Уральский следопыт», «Сибирские огни», «Огонёк» и др. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Академик Петровской академии наук и искусств. Живёт в Красноярске.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
М. О. Наумова

РЕДАКТОРЫ
отдел прозы
Александр Астраханцев
Евгений Мамонтов
отдел поэзии
Сергей Кузнечихин
отдел публицистики
Геннадий Васильев

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК
Олег Наумов

КОРРЕКТОР
Дарья Романова

СЕКРЕТАРИАТ
Юлия Вятчина
Артём Яковлев

Учредитель: Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края.
Адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при финансовой поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Николай Алешков — Набережные Челны
Сергей Арутюнов — Москва
Юрий Беликов — Пермь
Светлана Василенко — Москва
Вера Зубарева — Филадельфия
Анатолий Кирилин — Барнаул
Валентин Курбатов — Псков
Андрей Лазарчук — Санкт-Петербург
Евгений Минин — Иерусалим
Виталий Молчанов — Оренбург
Дмитрий Мурзин — Кемерово
Миясат Муслимова — Махачкала
Лев Роднов — Ижевск
Евгений Степанов — Москва
Михаил Тарковский — Бахта
Владимир Шемшученко — Санкт-Петербург
Нина Ягодинцева — Челябинск

Журнал издаётся с 1993 г.

16+

В оформлении обложки использованы картины Сергея Карбушева.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Журнал выходит 1 раз в 2 месяца.

ИЗДАТЕЛЬ
ООО «День и ночь».
ИНН 2463042749
Расчётный счёт
40702810800600000186
в «Сибирском» филиале
банка ВТБ ПАО
в г. Новосибирске
БИК 045004788

Корреспондентский счёт
30101810850040000788

Рукописи принимаются по электронной почте:
dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 3.
т. +7 923 571 4936

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 2.08.2017
Дата выхода в свет: 20.08.2017
Тираж: 1200 экз.

Цена свободная.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.
в типографии «Литера-принт»
г. Красноярск, ул. Гладкова,
д. 6, офис 0-10; т. +7 904 895 0340
эл. почта: 2007rex@mail.ru

Сергей Карбушев | Осенние колокола | 90×70 | 2013